

Nota Bene

14

ЛИТЕРАТУРНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • № 14 АПРЕЛЬ 2006 • ИЕРУСАЛИМ

- ВЛАДИМИР ЖУКОВ. Крыш
- МАРТИН ВАН КРЕВЕЛЬД. Израилью не угрожает опасность со стороны Ирана
- САМСОН МАДИЕВСКИЙ. «Народное государство» Гитлера
- МИХАИЛ БЛЮМЕНКРАНЦ. В поисках имени и лица
- АЛЕКСАНДР КУСТАРЕВ. Два козла против мирового зла
- ТОМАС СОУЭЛЛ. Уникален ли антисемитизм?







Nota Bene

ЛИТЕРАТУРНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

№14

АПРЕЛЬ 2006
ИЕРУСАЛИМ

СОДЕРЖАНИЕ

ЛИТЕРАТУРА

- 3** Владимир Жуков. Крыш
14 Михаил Волков. Между корнями и кроной
99 Марк Харитонов. Седьмое небо

ВОКРУГ ИРАНА

- 110** Мартин ван Кревельд. Израилю не угрожает опасность со стороны Ирана
118 Михаэль Дорфман. Мои друзья в Тегеране

ИСТОКИ И СМЫСЛЫ

- 137** Самсон Мадиевский. «Народное государство» Гитлера
151 Анна Гейфман. Начало современного терроризма: очерк обычаев и нравов
177 Томас Соулл. Уникален ли антисемитизм?
186 Михаил Блюменкранц. В поисках имени и лица
204 Александр Мелихов. Не забудьте прошлый свет
218 Борис Парамонов. Сын-одиночка

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

- 223** Александр Кустарев. Два козла против мирового зла
240 Сергей Кургиян. «Чик» и «Цык»

ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ

- 282** Александр Шустер. Бес путал. История со счастливым концом.
История одного документа
295 Григорий Дризлих. Арон Евсеевич Гурвич, каким я его помню

ВЫБРАННЫЕ МЕСТА... (дайджест)

- 302** Дина Рубина. По дороге из Гейдельберга. Посох Деда Мороза
325 Александр Генис. Пиррова победа феминизма
328 Алексей Крымин. Иран – население и революция
332 Леонид Гиршович. Запад есть Запад
336 Григорий Померанц. Через путаницу добра и зла
341 Людмила Кудрявцева. Дети, творящие зло... Кто виноват?
347 Дмитрий Горчев. О влюбленных. Алкоголь. Беседы о Православии.
Вот бы как надо!
351 Ольга Горюнова. И ты Брутал?

ISSN 1565-5318

ЛИТЕРАТУРА



писатель, постоянный автор журнала «Новое время» (Москва) и «Русской газеты» (Болгария), а также ряда изданий США и Великобритании. В 2004–2005 гг. признан одним из самых публикуемых авторов малой прозы, пишущих на русском языке. Член Союза журналистов Москвы. Живет в России.

КРЫШ*

От человека, склонившегося над его ухом, пахло рыбой. Или, говоря здешним высоким слогом, деликатесными морепродуктами.

Этот странный человек, воняющий деликатесными морепродуктами, мог бы не уточнять, за какой столик и кто именно его, Павла, приглашает. И так было ясно.

Малороссийский акцент и особенно неуместный прикид слишком явно выдавали в шептуне наперсточника из какого-нибудь Мариуполя или Луганска.

На вид ему было лет тридцать, а может, и больше. Золотая фикса, костюмчик с белой рубашечкой и галстуком на кадыкастом горле, сидевший, как на огородном пугале... И этот характерный взгляд – ускользающий, будто виноватый.

Шестера, исполнитель, но по всему видно, что тертый.

Под статью ему были и остальные за тем столом. Мелкие бандюки, чувствующие себя хозяевами жизни. Видать, неспроста. Не иначе как в доле они здесь, в кабаке, а то, может, ресторатор Савелий – и вовсе ширма.

На кой он им сдался, чего прицепились? Да куражатся. Чует воронье, что нет у него защиты.

К этому бойкому приبلатненному ресторанчику при выезде с кольцевой на Минку он прибил только по крайней нужде. Кабак его кормит.

Нет, он не из любителей почревоугодничать на халяву. Эти новомодные

* Московская киностудия «Отечество» приступила к производству полнометражного художественного фильма по рассказу В. Жукова «Крыш», который будет опубликован летом этого года в журнале «Дружба народов».

гастрономические прибабасы вроде болезненно разросшейся гусиной печенки – как ее там? да-да, фуа гра – для его желудка, что удар кувалдой.

Все разносолы, которые он может себе позволить – это постный творожок, каши на воде, да и то не всякие, вареная парная курятина, причем только грудки, белое мясо, ну еще овощи-фрукты – не красные, не желтые, а исключительно зеленые. А всего жирного, острого, соленого, жареного, не говоря уже о спиртном – ни-ни. Так что эти аппетитные запахи с кухни, если когда-нибудь и материализуются для него, то разве что в следующей жизни.

Тесна клетка, коротка жердочка... Но и за это ангелу-хранителю на небесах приходится говорить большое спасибо. Что он и делает буквально каждое утро...

Конечно, жизнь была бы совсем тоскливой, если бы не Крыш. Старый попугай достался ему, можно сказать, по наследству – от приятеля, умершего пару лет назад. Сибарит и юморной мужик, школьный учитель истории по профессии, тот в своем клювастом компаньоне души не чаял. Он-то и научил смышленную птицу всем этим хохмочкам и прибауткам, благодаря которым Крыш стал теперь здешней звездой и его, Павла, кормильцем.

Попугай ухитрился даже сохранить некоторые интонации покойного хозяина. И Павла иногда тянуло перекреститься, когда, просыпаясь среди ночи, он с ужасом слышал в бормотании, доносившемся с кухни, знакомые нотки.

Свое необычное прозвище Крыш заполучил от знаменитого военного аса. Когда попугая выпускали из клетки, он по молодости без удержу носился по тесной учительской каморке с низкими потолками, время от времени то натываясь на оленьи рога на стене, то цепляясь за притолоку, то роняя старый глобус на шкаф.

При этом, подученный хозяином, он уморительно приговаривал скрипучим голосом: *«Ахтунг, в воздухе Покрышкин!»*

Но в своем первоначальном виде его героически-ироническое прозвище просуществовало недолго. Очень скоро оно трансформировалось в фамильярное Крышкин-Замухрышкин, а затем и вовсе укоротилось до нынешнего Крыша.

Ну а первое, чему научился наш пернатый Левитан, было сакраментальное *«Разрешите взлет!»* В те мгновения, когда клетку отпирали, чтобы выпустить его полетать, попугай начинал волноваться, бегать туда-сюда по жердочке и тараторил заветную фразу, как пароль.

Не менее забавно выглядело то, как прежний хозяин нацеплял в ответ свою старую дембельскую бескозырку с ленточками и, отдавая попугаю честь, торжественно объявлял: *«Взлет разрешаю!»*

Детвора, в летнюю пору часто облеплявшая подоконник их старого школьного флигелька, в этом месте неизменно раздражалась криками восторга.

Возвращаясь обратно в клетку, попугай также не считал нужным отмал-

чиваться. В этом случае он обычно мудро констатировал, что *«Лучше синица в руке, чем журавль в небе»*.

Но и этим далеко не исчерпывалась сокровищница усвоенной птицей поучительной человеческой мысли. Например, Крыш много лет, откликаясь на трель будильника, поднимал хозяина на работу истошным криком *«Комсомолец, на самолет!»* Если спящий не реагировал, вопль подкреплялся шумным хлопаньем крыльев.

Когда маленькую, но гордую птичку пытались в неподходящий момент погладить, она брезгливо верещала: *«Геть рукопожатие!»*

Не переносил Крыш и того, если кто-то проявлял недостаточное внимание к его эскападам или, не дай бог, решал вклиниться в них со своими комментариями. *«Ты мне клюв-то не затыкай!»* – возмущенно заявлял попугай обидчику.

Имелись в крышином арсенале и не вполне джентльменские выражения из разряда *«Помолчи, двуногое!»*, а также несколько сомнительные комплименты вроде *«отвратительного самца»* вкупе с *«толстой противной»*. Но наш герой, похоже, догадывался, что это уже явный перебор, и подобного моветона, по крайней мере на работе, не допускал.

Впрочем, в теплой компании Павел иногда позволял себе подурачиться и, бывало, украдкой показывал попугаю его любимый сухарик. То был их условный сигнал, после которого Крыш в выражениях уже мог не стесняться.

В ресторане попугаю, когда он пообвык, даже понравилось. Особенно днем, когда здесь было еще не так шумно и накурено.

Его с готовностью выпускали полетать по залу, а на мойке по секрету от босса разрешали поклевать орешки из вазочек с недоодеженным мороженым.

Он даже мог запросто приземлиться на плечо к какому-нибудь из трапезничающих знакомцев и с укоризной заметить: *«А ведь так и не скажешь, что страна голодает!»*

Завсегдатаи ресторана уже привыкли к пернатому болтунишке, но, приводя сюда кого-нибудь впервые, все обычно с коварным любопытством наблюдали за реакцией новенького. А тот, услышав замогильный старческий голос откуда-то с небес, либо выпучивал глаза, застывая, что называется, с куском во рту, либо начинал в недоумении озираться, вызывая в том и в другом случае всеобщее веселье.

Между прочим, Павел и сам попал сюда случайно. Он ехал с попугаем на дачу и, увидав шикарную вывеску неподалеку от автобусной остановки, решил заглянуть на здешнюю кухню, чтобы выпросить остатки орешков или семечек.

На месте оказался Савелий, директор. Прознав в разговоре об удивительных риторических способностях птицы, он с ходу предложил бартер. Павел мог бы приходить сюда ужинать, а в выходные и праздники – еще и обедать. А Крыш пусть в это время летает, поболтает с посетителями. Это, так сказать, программа-минимум. «Ну а там – хоть живите здесь, – махнул рукой Савелий. – Стол и кров на двоих – за счет заведения...»

Буквально через пару месяцев ресторанчик приобрел в окрестностях такую популярность, что Савелий даже поменял вывеску. Теперь предприятие гордо именовалось «У Крыша», и светящийся носатый профиль на его фронтоне был виден издалека.

Что же до Павла, занявшего свой боевой пост за одним из дальних столиков, то местный люд из obsługi стал дружелюбно-насмешливо представлять его в своем кругу как «смотрящего» за процветающим бизнесом.

«Кого же вы у нас представляете?» – переспрашивали молоденькие официантки, решившие, что он действительно что-то вроде общественно-го контролера, коих и без него здесь кормилось немало. «Я – главный инспектор российско-африканского фонда защиты дикой природы», – сказал однажды Павел. После чего к нему едва не прилепилось язвительное прозвище Африканыч.

Надо сказать, что появление Крыша проторило сюда дорожку и прочему зверинцу. Вот болонка Чарлик в своем уморительном сюртучке и со шляпой в зубах. Ежевечерне он обходит на задних лапах ближайшие к сцене столики, собирая чаевые для музыкантов.

А это – бывший цирковой макак Карпуша, прозванный так в честь горбуна из «Места встречи...». Карпуша по заказу публики отпускает звучные шелбаны проигравшим на бильярде. Одного смачного шелчка при этом оказывается для любителей острых ощущений вполне достаточно.

Но надо видеть, как при этом почти любовно Карпуша расправляет жертве челку, освобождая «лобное место», как терпеливо ждет, пока та перестанет испуганно моргать... Дальше следует буквально пушечный выстрел, производимый оттопыренным средним пальцем примата, от которого у незадачливого юнца буквально брызгают слезы.

Но подлинным хитом нынешнего сезона стал, без сомнения, номер под названием «*Лебедева Таня устанавливает мировой рекорд в тройном прыжке*».

Когда в ресторане набивался полный зал, Карпушу наряжали в спортивную маечку и черные семсйные трусы и отправляли изображать знаменитую прыгунью на старте. Макак, обворожительно скалясь, принимался хлопать длиннющими руками над головой, поворачиваясь к «трибунам» то вправо, то влево и выпрашивая таким образом аплодисменты.

Далее начиналось второе действие. Карпуша превращался в судью-стартера и уже в этом качестве давал отмашку попугаю – при этом почему-то красным октябрьским флажком.

Завершалось все тоже по отработанному сценарию. Каркнув «*Кто не спрятался – я не виноват!*», Крыш в три прыжка перелетал из одного конца зала в другой, приземляясь на подвешенном у потолка телевизоре. По пути он ухитрялся именно трижды оттолкнуться от голов хохочущих зрителей, вынужденных отбиваться от пикирующей «Тани» чем попало.

Затем следовал обратный перелет – уже в виде круга почета с мантией на плечах цветов государственного флага. Павел знал: за флаг в принципе могут и привлечь, но пока обходилось.

«Лебедева Таня» неизменно вызывала у разгоряченной публики состояние, близкое к групповому экстазу. Артисты же переносили его тяжело, особенно Чарлик, только начинающий привыкать к бурным проявлениям общественного внимания.

Вместо того чтобы, пользуясь моментом, заняться «чесом», пес в ужасе забивался под стол и дрожал там крупной дрожью, отказываясь работать. Выручал многоопытный Карпуша. Он брал упиравшуюся собаку на руки и уже вместе с ней отправлялся собирать дензнаки, щедро сыпавшиеся в протянутую шляпу.

Можно было себе представить, сколько доставалось за такой вечер Савелию и его людям, если только Павлу с легкостью отстегивали не меньше пятихатки.

И вот этому маленькому дурашливому спектаклю суждено было сыграть в судьбе Крыша, да и в его, Павла, судьбе свою драматическую роль.

Если на успех прочих занятых в нем артистов никто особо не претендовал, то на попугая глаз положили сразу. Сперва предложение уступить птицу последовало как бы в шутку – за пять тысяч баксов. На третий или четвертый раз цена задралась аж до пятнадцати тысяч.

Даже по нашим обильно фонтанирующим нефтью временам это были очень солидные деньги. При этом пахан из компании «луганских», как прозвал их про себя Павел, явно не шутил.

Попугай, конечно, был ему не нужен. А если и нужен, то только как необычная говорящая игрушка, которая неизбежно надоест через пару дней.

Тут было другое: главаря оскорблял сам факт отказа, да еще публично. И от кого – от нищего доходяги-пенсионера, который сам никто и звать его никак.

В этом никчемном человечике, собирающем крошки со стола, Пахан с растущим раздражением чувствовал противостояние, вызов – тот вызов, который до поры до времени не решались бросить ему многие правильные пацаны.

Урки вообще народ обидчивый, мнительный, ревностно относящийся к ритуальным знакам уважения к своей персоне. Пахан как-то поинтересовался у Павла насчет фразы «Геть рукопожатие!» – к чему, мол, это, в чем тут фишка.

Павел от экскурса в историю уклонился – чтобы лишний раз не изображать из себя шибко умного. Предпочел отшутиться: попугай, мол, опасается, что не особо чистоплотные посетители могут заразить его орнитозом.

Шутка была вполне в духе всего остального попугайского юмора. Но Пахан не улыбнулся даже из приличия. И Павел с изумлением и досадой понял, что тот все равно умудрился воспринять сказанное как обидный намек на свой счет.

Вместе с тем, как он потом понял, решить любую проблему с Паханом было довольно несложно. Кроме денежной, естественно. Для этого надо было просто при всех бухнуть ему в ноги и запричитать: «Не губи, отец

родной!» Ну не буквально, конечно, но что-то вроде того. Тот оказался бы вполне удовлетворен и отстал бы, да еще, войдя в роль дона Корлеоне, взял бы под свое покровительство, а то может, и денег бы дал...

Оставалось только подыграть, только один-единственный разок сделать над собой усилие. Но Павел знал, что не сможет.

На зрителей ему было наплевать. Потеряв лицо – как с самим собой-то потом жить? Понты дороже денег – пожалуй, это был принцип и его тоже, пусть и не облеченный в столь яркую афористичную форму.

И он понимал, что ничего не может изменить в грядущей предопределенности событий. Как и то, что Крыша однажды просто отнимут. Отнимут внаглую, безо всяких пятнадцати тысяч, но главное – в конце концов погубят.

Конечно, разумнее всего было бы просто по-тихому выйти из игры. Забрать попугая и уехать куда-нибудь подальше, может, даже в другой город. Да он и рад был бы. Но эти – не дадут.

Он ведь теперь вроде как в деле, часть прибыльного бизнеса. Все думают, что «луганские» здесь свои лохотронские деньги отмыывают, а уж что там за этими деньгами, так сказать, вторым эшелонном – один бог знает. Может, доходы от казино подпольного – от лишних, неучтенных столов или даже целых залов, а может, наркота.

А то и совсем грязное – откупные от торговли людьми. В дни выборов Павел где-то прочел, чуть ли не на уличном столбе, что на такие деньги пол-Москвы отстроено. Но об этом не хотелось и думать.

А где криминальные деньги – там цена человеческой жизни медная копейка в базарный день. Что уж говорить о каком-то попугае?

А если эти учуют, что Павел решил соскочить... Тут и начнется знакомая разводка, сколько он уже наслушался таких за эти несколько летних месяцев... «Да мы вложились...», «Да у нас теперь убытки...», «Да мы людей подвели...» И т. д. и т. п. И все закончится известно чем – «счетчиком».

Павел подумал было обратиться за советом к «пиковым». Это была еще одна блатная компания, что-то вроде землячества, собиравшегося в другом конце зала и, как правило, в дни и часы, не совпадающие с «луганскими». Но он сразу же отказался от этой затеи: тут можно было так завязнуть, что и те, и другие обложили бы его и рвали бы с двух сторон, как две своры одичавших псов.

Был еще один выход, довольно элегантный: на глазах у всей этой шушеры как бы случайно выпустить попугая на волю. Просто забыть однажды закрыть окна в зале, и вся недолга.

Он готов был пойти и на это – лишь бы спасти любимца. Но ведь Крыш – не щегол какой-нибудь. Даже если найдет открытую форточку – не факт, что захочет упорхнуть. А захочет – так далеко не улетит. А если даже улетит, так сам и вернется: где тут, дескать, ваша синица в руке?

Эти, конечно, обо всем догадаются, но промолчат. А потом накажут по-своему. Вызовут на разговор, навалятся толпой, прицепятся: не уследил, мол. И под этим предлогом птицу опять-таки отберут.

Павел знал: наступит день, когда все должно будет решиться. И он при-
близился.

В то утро воры хоронили кого-то из своих. Судя по атмосфере за поми-
нальным столом, покойный оставил этот мир без посторонней помощи. Но
в криминальной иерархии то был человек явно не последний.

Дорогих иномарок с тонированными стеклами и блатными номерами
скопилось на стоянке у входе немерено. Да и с Паханом гости держались,
как минимум, на равных. Паханских же шестерок в этот раз было немного,
да и те пристроились за отдельным столиком.

И еще кое-что бросилось Павлу в глаза... Блюда подавались сплошь диет-
тические. Водки тоже было совсем немного, в основном – минералка, соки.
Уже по одному этому легко вычислялся рейтинг сходки в воровском мире.

Секрет тут был прост. В последние год-два на волю начали «откиды-
ваться» те, кому довелось в начале 90-х поучаствовать в самых первых и
самых беспощадных разборках за сферы влияния в городе. Те, кто тянул
потом реальные сроки, кто уходил на зоне в отказ и, так и не ссученный,
месяцами чалился в шизо, кто жрал не грузди, а гвозди, потом по кусочкам
оставляя себя в операционных тюремных больничек...

С возвращением этих людей возвращалось и время прежних счетов.
Старая воровская каста, консолидируясь, поднимала голову. А, значит, за ее
расположение на всякий случай стоило побороться. И Пахан, игравший се-
годня роль гостеприимного хозяина, стремился не ударить лицом в грязь.

Павлу очень не хотелось в этой ситуации оставаться в зале. И он с удо-
вольствием отиделся бы где-нибудь в подсобке... Но... известные обстоя-
тельства требовали не упускать Крыша из виду...

Отзвучали тосты, пространные и витиеватые, как это всегда бывает в
подобных случаях. Музыканты «по просьбам трудящихся» затянули «Та-
ганку», затем «Мамзель» и «У Сани все ништяк», а в завершение даже
выдали что-то из Бичевской. Наконец, Пахан решил немного поразвлечь
загрустивших гостей «Лебедевой Таней».

Потом к столу позвали Павла. Видно было, что гости уже позволили се-
бе пригубить водочки, может, еще кое с чем вприкуску. Рожи у бандюков
были красные, но, слава богу, не злые.

– Ну шо, Павло, – через стол заговорил Пахан. – Не надумал еще про-
дать мне Крыша? Двадцать пять штук зелени даю – вот тебе мое последнее
слово...

Гости, не знавшие всей подоплеки вопроса, по тону, которым это было
сказано, почувствовали некую интригу. Градус напряжения за столом сра-
зу поднялся на несколько пунктов. Ну, была не была!

«Пятьдесят, – выпалил Павел. – Пятьдесят тысяч, и Крыш твой».

На несколько секунд воцарилось молчание. «Ты че, сдурел, фрайер?» –
тонким голосом выкрикнул за его спиной кто-то из шестерок.

«Малой, принеси», – мрачно буркнул Пахан, не глядя на Павла, и это
был дурной знак.

Малой побежал куда-то – краем глаза Павел видел, что не на улицу, а в подсобки, принес. Гости тем временем приняли еще по маленькой. «Сегодня тебе крупно повезло, очень выгодная сделка», – со значением произнес Пахан, передавая стопку из перетянутых резинками пачек, которые в определенных кругах уважительно называли «двойными котлетами». И по его тону Павел лишний раз убедился, что расчеты меж ними вовсе не закончены.

Он уже знал, что последует дальше. Завтра (хотя почему «завтра» – сегодня, пока деньги на виду) к нему подвалит какая-нибудь паханская дешевка: так, мол, и так... Гриша надысь выпил лишнего... Ну ты понимаешь... Одна косуля, уговорил, твоя, а остальное ты уж, голуба, того, верни... Тебе же спокойнее будет...

В общем, времени у него оставалось не так много.

Авторитетные гости разъехались еще засветло, и «луганские» органично продолжили застолье уже в своей узкой компании.

Пост разом закончился, и официанты притко понесли на стол много водки, а к ней – рыбку красную и белую, балычок, икорку и, как водится, тазик оливье. Как ребята исконно деревенские, налегали урки и на зелень – петрушечку с укропом, лучок... Но главным блюдом стола все же оставалась куча другой зелени – той, с которой вся эта свора буквально не сводила глаз.

Пахан, конечно, помнил, что Павлу пить было никак нельзя, но со злым упрямством настаивал, что надо обязательно обмыть сделку. И тому пришлось-таки осушить пару стопарей.

Павел знал, сколь недвусмысленно по этому поводу будет протестовать назавтра каждая клеточка его бедного тела. Но понадеялся, что если оно раз в пять лет – а вдруг да и пронесет.

Когда музыканты ушли на очередной перерыв, он понял, что настает его выход.

«Как же у нас Карпуша забавно щелбаны бьет!» – не очень трезвым голосом объявил Павел соседям по столу. И, заметив, что Пахан прислушивается, добавил, пьяно икнув: «Вот даже такой крепкий мужчина, как ты, Григорий, даже такой не сможет удержаться... моргнет. Я – так точно не выдержу».

Это он, конечно, скромничал: после карпушиных пальчиков у «крепких мужчин» месяц не сходил фингал в пол-лица, но Григорий ведь мог этого наверняка и не знать.

Все локальные междусобойчики за столом постепенно затихли. Пахан, налившись кровью, уставился на запотевший графин, стоявший напротив. Павел почувствовал, что ступил на лезвие бритвы. Но, как пишут в бульварных романах, отступать было уже поздно.

Для пущей убедительности он снова икнул (или это так выходило само собой?). «Ставлю весь полтинник, – нетвердым движением тыльной стороны ладони Павел подвинул "котлеты" в сторону своего визави, – что не удержишься, моргнешь».

Пахан молчал, будто что-то прикидывая. Павел подумал, что для него, как никогда в жизни, вполне реально сейчас схлопотать вот этим графином по темечку. Но, видно, помогло спиртное. «А давай», – неожиданно согласился Пахан.

– Гриш, да ты чего, не надо, – вразнобой загундели вокруг. «Цыть! – огрызнулся тот. – Тащите Карпуху!»

Макак не подкачал. Его палец опустился на паханский лоб, как бейсбольная бита. Но тот – действительно даже не моргнул, стервец. Правда, физиономия его быстро стала приобретать оттенок спелой малины.

Герою посоветовали приложить холод, кто-то даже протянул через стол ведро со льдом, но тот только отмахнулся. «А шас мой... – он сделал ударение на последнем слове, – ...мой любимый попугай Крыш исполнит "Лебедеву Таню" на "бис"!»

Открыли клетку с попугаем. Из подсобки вывели уже совсем сонного, едва ковыляющего Карпуху, вдели его в трусы, напялили зеленый парик «а ля Таня в Барселоне»...

Павел старался не глядеть в ту сторону, но Пахан такого неуважения допустить не мог: «Что не смотришь на моего попугая? Смотри!»

Покрышкин взлетел над залом явно тяжелее обычного, но публика, судя по шумным проявлениям нетрезвого восторга, ничего не заметила. И уже на обратном пути, завершая перелет, ас вдруг покачнулся в воздухе и вяло спикировал на один из столов.

Павел сорвался с места и бросился туда. Крыш лежал лапками кверху, коготки судорожно подрагивали. Он едва дышал. Компания девиц за столиком вытаращилась на происходящее с неподдельным ужасом. «Крыш, что с тобой? – у Павла сдавило горло. – Пропустите, ему нужен свежий воздух!»

«Он умирает, надо срочно к врачу», – веско произнес в толпе чей-то знакомый голос. Прибежал Савелий с коробкой, устланной тряпьем. В нее бережно перенесли попугая.

Люди Пахана, надо отдать им должное, не растерялись, два переполненных джипа – Павлу едва хватило места в одном из них – резво понеслись в сторону центра. По дороге названивали по ближайшим ветлечебницам.

В одной из них попугая тут же осмотрели. «Ничего страшного, похоже, небольшое отравление», – сообщил молодой ветеринар. Птице аккуратно, через маленькую клизмочку промыли желудок. «А что это у вас с лицом? – сочувственно поинтересовался доктор у Пахана. Вам надо бы в травмопункт». Криво усмехнувшись, тот зыркнул на Павла. Попугая укутали в чей-то пиджак и унесли. О Павле никто даже не вспомнил.

Через несколько дней он зашел в кабак попрощаться – уловив момент, когда «луганских» наверняка не было в зале.

Сарафанное радио сообщило, что Пахана стали называть за глаза Ушибленным, а Крыш после болезни замолчал. И «Лебедевой Таней» он быть больше не хочет. Пахан говорит: сглазили животину, но думает, что попугай еще восстановится. А пока пытается учить птицу новым словам, хочет

повезти ее к себе на Украину, показать родне. Да еще хвалится друганам, что отдал за Крыша аж пятьдесят штук зеленых.

Павел поблагодарил ребят с кухни: мол, «до свиданья за все». То был уже не Крыш – этой фразой увековечил себя кто-то из тех же «луганских», будучи в тот момент не вполне в ладах не только с русским, но и с собственным языком.

Обнялись с Савелием. И Павел поймал себя на том, что рука потянулась было привычно зачерпнуть на прощанье пригоршню фисташек с плиты.

...На даче было пустынно и промозгло. Меж снопами пожухлого бурьяна гулял ветер, в подполе скреблись мыши.

Павел запер дверь, давно державшуюся на честном слове, и, навьюченный поклажей, двинулся к калитке, когда из-за забора его окликнули. Гостей было двое.

– Павлуха, ты хитрый, но мы тоже не дураки, – заговорил первым Малой. – Пусть я не такой ученый, но то, что попугая ты подменил, все ж таки допер... Этот и поменьше Крыша будет, и окрас у него немного другой...

Павел молчал.

– А давай-ка, голуба, посмотрим, что там у тебя в коробе...

Гости легко перемахнули через плетень. Павел попытался запротестовать, спрятать ношу за спину. Его грубо оттолкнули, отняли и короб, и рюкзак.

Напарник Малого достал нож-складень, одним движением перерезал веревки и... Разочарованию этих двоих не было предела. Из кучи ветоши выснулась обаятельная щенячья морда.

Видно, подражая Пахану, Малой помолчал несколько секунд. С понтом дела – обдумывал ситуацию.

– Одного я все ж таки не пойму, – произнес он, наконец. – Когда же ты попугая подменить успел? Ведь все было у нас на глазах...

И тут Павел впервые увидел, какие они, глаза этого человека. Малой смотрел в упор, и прозрачно-серые глаза его были совсем не виноватыми, а жесткими и враждебными.

Наперсточники – тонкие психологи и изощренные физиономисты. Сама профессия обязывает. И Павел точно знал, чего тот ждет. Конечно, не конкретного ответа – реакции. Дрогнешь, дашь зацепку – и рискованная игра в кошки-мышки возобновится на новом, уже более опасном витке.

Но как за мгновения выбрать правильную интонацию? Какая верней? Изобразить благородное возмущение? А может, недоумение: мол, моя твоя не понимает?

Павел предпочел третье: он просто промолчал. Хотя нет, не просто – еще как в детской игре «Замри–отомри» он усилием воли остановил на своем лице то выражение, которое было на нем до вопроса Малого. И доморощенный полиграф не сработал.

Когда визитеры удалились, Павел для страховки на всякий случай еще осторожно выглянул им вслед. Затем выпустил щенка на травку и, порывшись на дне короба, извлек из вороха дачных тряпок спеленутое тельце.

«Отвратительный самец! Помолчи, двуногое! Двуногое!» – разнеслись по участку возмущенные крики, едва Павел стащил резиновое колечко с крючковатого клюва. Что? Этот негодник даже попытался щипаться!

Примерно в километре отсюда, на кругу, где разворачиваются автобусы, их уже больше получаса ждала зафрахтованная Павлом машина. 500 рэ – конечно, ох как ощутимо для его пенсионерской заначки, но ему так жалко было запихивать Крыша обратно на дно короба, что было бы неизбежно для рейсового автобуса.

Ну сколько раз можно надурить профессиональных шулеров? Да еще их же собственным приемом? Правильный ответ: ни разу. Если сильно повезет – максимум раз.

Ему уже сильно повезло. Дважды. Первый раз – тогда в кабаке. На самом деле коробок с тряпьем, что притащил для Крыша взволнованный Савелий, было ...две. Просто обе они были аккуратно склеены между собой днищами.

И попугаи тоже были в двух экземплярах. В нижней коробке уже лежал напичканный снотворным «двойник», в верхнюю уложили успокоенного такой же дозой лекарства Крыша.

Дальше по дороге к машине осталось лишь незаметно перевернуть коробку и под любым предлогом вынудить кого-то из «луганских» взять птицу в руки.

Слава богу, обошлось без серьезных накладок, и Павел остался «забыт» у дверей ветлечебницы с Крышем под мышкой. Хотя где-то он все же не доиграл, что-то не додумал. Иначе Малой с напарником не были бы сегодня здесь.

«Ты мне клюв-то не затыкай! Комсомолец, на самолет!» – донеслось из короба.

«Да-да, родной, на самолет, – в тон попугаю рассеянно ответил Павел, хотя билет у них был в маленький и уютный приволжский городок, до которого им предстояло только плыть. Только плыть и плыть. – Взлет разрешаю! И еще в одном, Крышуля, ты оказался прав: журавль – хорошо, но синица в руке – оно куда как вернее...»



кандидат технических наук, системный аналитик, программист, литератор, автор ряда рассказов, стихотворений и песен. В 2003 году вышла его книга «Квадраты на воде». Живет в Израиле.

МЕЖДУ КОРНЯМИ И КРОНОЙ

1

«...за что и подлежит казни через усыновление». Я вздрогнул и проснулся. Нелепая фраза из чьего-то чужого сна застряла в мозгу. Болела голова, левое колено и все ребра. Еще было холодно и мокро, и чувствовалось, что рядом происходит нечто скверное и, вдобавок, очень шумное. Стараясь не перетруждаться, я осторожно разлепил веки и увидел над собой низкое небо, набухшее мокрыми тучами. В редкие просветы между тучами с трудом пробивались тусклые серо-зеленые лучи света. Освещение было на редкость паршивым, но мне все же удалось различить источник шума и даже разглядеть кое-какие подробности, перечеркнутые косой сеткой дождя, а заодно и осознать собственное положение. Я лежал, спеленатый по рукам и ногам, в чем-то вроде гигантской авоськи, сплетенной из лиан и подвешенной к толстой нижней ветви огромного дерева. Неподалеку, на расстоянии двух криков, возвышалась древняя, покрытая мхом зубчатая стена замка, по углам которой торчали сторожевые башни. Несмотря на дождь, штурм был в самом разгаре. Низкорослые типы в мохнатых оранжевых шубах с кривыми мечами в заплочных ножнах ловко карабкались по длинным приставным лестницам, подбадривая себя пронзительными визгами на грани с ультразвуком. Ног у них имелось, по-моему, более чем по две, а с руками дело обстояло еще хуже. Защитники замка, впрочем, тоже не выглядели слишком антропоморфными. Одетые в синие балахоны со свисающими с плеч пучками каких-то пестрых шевелящихся веревок, они суетились на стене между зубцами. Оттуда на головы осаждающих летели камни и стрелы и лилась дымящаяся черная масса, но тем, похоже, было на все на-

плевать. Некоторых из них задевало, и задетые падали с лестницы, вопя уже басом, но остальные продолжали упорно лезть вверх, туда, где за зубцами стены маячили смутные силуэты защитников. На башне кто-то в черной мантии с алыми концентрическими окружностями – жрец? колдун? – замер, воздев когтистые пальцы к небу. Несколько наиболее одаренных оранжевых уже подобралась к самому ребню стены и, размахнувшись, зацепились за него крючьями. Дела у синих шли, казалось, хуже некуда, но тут хрипло взревела труба, и началось нечто неопишное. Стена замка, сложенная из огромных плотно притесанных одна к другой гранитных глыб, вдруг зашевелилась и выгнулась, образовав широкую вертикальную вмятину, внутри которой оказались все приставные лестницы с облепившими их оранжевыми. По обеим сторонам вмятины вспучились два вертикальных выступа, отчего осаждающие оказались внутри огромной каменной складки. Затем выступы стали стремительно сближаться со звуком, с каким лезвие ножа трется о точильный камень, только во много раз сильнее. Победные крики сменились возгласами ужаса: осаждающие запоздало сообразили, какая участь им уготована. Кое-кто из них в отчаянии прыгнул с лестниц и разбился внизу о камни, некоторые бросились наверх с утроенной скоростью, остальные замерли на месте, парализованные ужасом. Каменные челюсти сомкнулись с чавкающим треском, оборвав многоголосый вопль тех, кто оказался между ними. Еще минута – и выступы задрожали и разошлись, стена разгладилась и стала как прежде, за исключением большого красного скользкого пятна с налипшим на нем мясным фаршем (трагедия обернулась фаршем, нектати пронеслось в голове). Жрец на башне обернулся, и я увидел, что из-под капюшона у него торчит огромный черный зазубренный клюв. Этот клюв широко раскрылся, потом оглушительно щелкнул, и длинный коготь колдуна нацелился в меня...

На этом месте я заорал и проснулся окончательно. Так мне, во всяком случае, показалось, хотя дождь продолжал идти. Открывать глаза, исходя из прошлого опыта, не хотелось, и я некоторое время полежал так. Спустя несколько минут любопытство возобладало. Я осторожно приоткрыл один глаз. Чудовищный замок исчез, а вместо него прямо напротив меня имел место вполне земной и очень знакомый потолок. С потолка лилась вода. Тонкая струйка падала из середины зеленовато-серого пятна размером с оркестровую тарелку прямо мне на лицо. Соседа убью, подумал я. И захопаю с особым цинизмом. Сосед сверху по ночам мыл полы и при этом не жалел воды, которая, повинувшись закону тяготения, к утру иногда просачивалась вниз, то есть к нам. Днем он, должно быть, эти полы пачкал, и Авгию, определенно, нашлось бы чему у него поучиться.

Серый рассвет вставал за окном, заставленным цветочными горшками. На одном из них расположился огромный черный таракан. Он так нагло шевелил усами и выглядел таким самодостаточным, что захотелось врезать ему как следует, да лень было связываться. Из кухни тянуло заманчиво и слышались голоса. Голова все еще побаливала, хотя колено прошло и реб-

ра тоже. Я попытался вспомнить, какой сегодня день, но не смог. Дабы обрести опору если не в пространстве, то хотя бы во времени, я решил пока считать сегодняшний день субботой. А значит, можно было еще спать и спать, но уж очень не хотелось возвращаться в тот же сон. Постонав для порядка, я перелез из кровати в джинсы и поплелся, слегка пошатываясь от пережитого, на звук и запах по узкому темному коридору. В огромной нашей кухне горел свет. За столом сидел Эдик и вдумчиво осваивал солидную горку свежее испеченных блинов, возвышающуюся на блюде. Блины он брал руками, сворачивал в трубочку и макал в миску с чем-то янтарно-тягучим. Соня стояла рядом и внимательно наблюдала за процессом с видом исследователя, фиксирующего рефлекс у подопытного экземпляра. У окна в углу дивана пристроился Сева. На стоящем перед ним мраморном столике горела настольная лампа и лежал какой-то замысловатый прибор, в котором Сева сосредоточенно ковырял отверткой, мурлыча вполголоса: «Мы шли под грохот канонады, поскольку было очень надо». За его спиной певец в телевизоре беззвучно разевал вместительный рот.

– Шалом, люди добрые. Что это вам в субботу не спится? Между прочим, жрать блины без меня очень вредно для здоровья, – сказал я, протягивая руку к блинам.

– Во-первых, сегодня пятница. А во-вторых, Эдик проголодался, – Соня провела рукой по лохматому эдикову затылку. При этом она, видимо, нажала случайно на какой-то нерв, потому что Эдик неожиданно лязгнул зубами и зажевал вдвое быстрее прежнего.

– Чем жрать, лучше бы спал ночью. И сам бы смотрел сны свои кошмарные, а не подсовывал другим.

– А что, опять? – невнятно спросил Эдик сквозь блин.

– Естественно.

– Расскажешь?

– Кофе сварю – расскажу.

В свободное время Эдик пишет прозу в жанре нездорового фэнтези. Закончив одну вещь, он тут же забывает о ней и начинает следующую. Он даже не распечатывает их – так и хранит в своем компьютере, позволяя, впрочем, читать всем желающим. По его словам, он, когда пишет, ничего специально не придумывает, а лишь описывает свои сновидения. А сновидения у него такие, что любой писатель продал бы за них свою бессмертную душу, если бы она у него имелась. Сны, как правило, идут сериями по несколько ночей подряд, всегда продолжаясь с того момента, где закончились накануне, и представляют собой нечто совершенно невообразимое по глубине и яркости сцен и по закрученности сюжета. У меня такое ощущение, что сны эти не являются целиком продуктом подсознания Эдика, а транслируются из какого-то внешнего источника. Во всяком случае, когда Эдик бодрствует, его сны запросто могут присниться другим людям, спящим неподалеку. О возможной природе этого внешнего источника я стараюсь не задумываться.

– Сделаю я тебе кофе, – сказала Соня, открывая дверцу шкафчика. – Правда, у нас только такой остался, без кофеина.

– Осталось, – уточнил я.

– Что осталось?

– Кофе. Без кофеина оно среднего рода. Для меня, во всяком случае.

Эдик проглотил блин и уставился на меня. Как всегда, под его взглядом возникло нереальное ощущение, будто мой вес разом уменьшился на пару десятков килограммов.

Я игриво подпрыгнул, встал на пуанты, кончиками пальцами оттянул джинсы на бедрах и пропищал дурным фальцетом:

– Я маленькая девочка, играю и пою, я Ленина не видела, но Сталину даю!

Эдик критически оглядел меня и погасил взгляд. Я сразу же потяжелел обратно.

– М-да, – сказал Эдик. – Печальная картина. Музыка бездарная, вокал убогий, хореография сомнительная. И текст устарел.

– Подумаешь! – гордо ответил я. – Зато какой нравственный заряд.

– Это да. Что есть – то есть. Куда там «Лолите». Ладно, что у тебя там во сне-то было?

– Все было. Тебя вот только не было, а жаль. Между прочим, сироп-то кленовый! – я постарался придать голосу осуждающую интонацию, но, похоже, не очень-то в этом преуспел. Возможно, оттого, что одновременно залез своим блином в упомянутую миску. – Поклон от канадских лесорубов.

– А кто вчера огурцами закусывал? – парировал Эдик. – Гиви узнает – зарежет. И вообще, кто завтра в ванной мне в тапочки воды с похмелья нальет?

На это я ничего не ответил, поскольку за огурцы Гиви действительно мог «зарезать», а во всем, что касалось завтра, Эдик ошибается редко. Правда, у него получается, в основном, предсказывать всякие мелкие пакости, а не, скажем, выигрышные номера «Лото», но и это впечатляет и с непривычки вызывает оторопь. Я, впрочем, уже привык. Интересно, что по субботам у него это не выходит. От прихода и до исхода субботы его дар предвидения загадочным образом отключается. Но сегодня пятница – а значит, судя по всему, мне суждено вечером напиться. Дабы, согласно пророчеству, обеспечить себе завтрашнее похмелье.

– Эдик, – спросил Сева, не поднимая головы, – ты когда уже, наконец, книжку выпустишь?

– Точно, – оживился я. – Я бы почитал перед сном. Очень способствует.

– Не знаю. Пока желающих издать не нашлось.

– А ты что, уже носил кому-то?

Эдик свернул очередной блин в трубочку и, прищурившись, посмотрел через него на Севу.

– Носил.

– Ну и как?

– А никак. Выкладки какие-то дурацкие стали мне показывать. И по

этим выкладкам получается, что печатать им меня невыгодно. Не просить же их: «Издайте, Христа ради!»

– А если за свой счет? – кротко спросил я. – Нельзя же лишать мировую литературу такого вклада. Возвышенная проза и все такое.

– Придется, видно, мировой литературе захиреть без меня, – вздохнул Эдик, – поскольку на третьей Скрижали – той самой, которую Моисей оставил на горе Синай, – среди прочих второстепенных заповедей была выбита и такая: «Не издавайся за свой счет». И правильно, потому что за свой счет издаваться так же безнравственно, как и отдаваться. Это как если бы актер платил театру за то, что он в нем играет. Нет уж, лучше я похожу в безвестных гениях. Тоже звание почетное.

– Конечно, – согласился я. – Особенно, если сам себя им наградил.

– Какая разница, кто наградил? Гений – понятие относительное. Для меня, допустим, Шостакович гений, а для кого-то он сумбур вместо музыки. А еще кто-то вообще слушает только попсу.

– Шостакович, между прочим, для миллионов гений.

– А для десятков миллионов он сумбур. Что же теперь, на большинство ориентироваться? Лучше уж я сам разберусь, что возвышенно, а что вознижено. Пока ты будешь статистику собирать.

– Слушай, ты, юноша бледный со взором горящим! Я, между прочим, тебя практически похвалил, а что имею в ответ? Похвала, конечно, тонкая, не всякому писателю доступная, но ведь я готов был снизойти до разъяснений. А теперь все, поезд ушел. Сейчас вот поднимусь к тебе на Олимп и надеру уши.

Эдик снисходительно оглядел меня. В его глазах заплясали бесенята.

– Сынок, с кем ты связался? Ты своими небритыми ногами залез в святая святых – в творчество. А там все до боли неоднозначно. Ты на Олимп лучше не забирайся, тут холодно и ветер. И скинуть могут. Сиди вон у подножия, пиши свои программы. Они хоть и проще, зато за них платят. Согласны, сэр?

– Проще? – удивился я. – Как раз наоборот – сложнее. Видите ли, сэр, тут халтура не проходит, пыль в глаза не пустишь. Если программа не работает, это всем сразу видно. В отличие от романа или симфонии. И никакие аргументы типа «вы до моей символики еще не доросли» тут не канают.

– Юноша смуглый со взором потухшим, – усмехнулся Эдик, – съешь блин и расслабься. Нельзя переть на рожон, толком не проснувшись.

С этим я не мог не согласиться. Тем более что весь мой литературный опыт ограничивается одним-единственным рассказом, написанным в шестом классе. Рассказ назывался «Не соло нахлебавшись». В моем тогдашнем представлении это выражение означало, что кто-то нахлебался не в одиночку. Сюжет был прост, но динамичен. Пионер Изя плыл с родителями на прогулочном теплоходе по Волге, а на теплоход напал фашистский авианосец и взял их на абордаж. Все растерялись, кроме, естественно, пионера Изи, который, рискуя жизнью, утопил главный спасательный круг, чтобы

тот не достался врагам. Рассказ даже напечатали в школьной стенгазете, только название исправили и пионера переименовали из Изи в Кузю.

– Эдик, а что это еще за третья Скрижаль? – спросила Соня, ставя передо мной чашку с горячим беспольным кофе. – И почему Моисей ее не взял?

– Сил не хватило за один раз все унести, Сонечка. Они ведь каменные.

– Дефицит ресурсов, – авторитетно заявил Сева. – Как следствие неправильного планирования. Я лично считаю: даруешь кому-то заповеди – даруй также и силу если не выполнять их, то хотя бы дотащить.

– Даем советы Всевышнему? – усмехнулся Эдик.

– Что поделаешь – национальная черта. Если бы он еще им следовал...

– Ладно, – сказал я, – переживем как-нибудь без третьей Скрижали. Мы и те две не очень-то... Спасибо, Сонечка.

– Доброе утро, Саша, – прошелестел сзади меня тихий голос. Я оглянулся. В кресле, стоявшем в нише между холодильником и буфетом, примостилась, поджав под себя ноги, похожая на куклу Барби девушка Лена, которую я вчера привел сюда. Привел так же, как два года назад привели меня.

2

Черт его знает, какое время года было два года назад. Помню лишь, что деревья, кусты, трава и все остальные растительные компоненты современного города остервенело зеленели, за исключением цветов, захвативших также и всю остальную область видимого спектра. Я гулял по тельавивскому парку Яркон и лениво размышлял о своих дальних и ближних перспективах. Как сказал один философ: «Раз уж нам приходится думать, желательно позаботиться о том, чтобы этот процесс проходил как можно менее болезненно». Лично мне лучше всего думается в лесу, хотя в городских условиях приходится ограничиваться парком. Я шел куда глаза глядят и крутил в руках сосновую веточку с длинными иголками и маленькой остроконечной шишкой.

Я достал сигареты, поискал спички и огляделся вокруг. Неподалеку на скамейке сидели два парня и девушка и вполголоса что-то горячо обсуждали. Я направился к ним, держа сигарету наизготовку для вящей демонстрации несложности и одновременно неотложности своей просьбы, но они были так увлечены своим разговором, что не замечали ни меня, ни моих стараний. Парни (почему парни? – подумал я, – взрослые мужики) выглядели лет на тридцать пять – сорок. Один из них был очень тощим и, как видно, очень длинным. Скамейка была слишком низкой для него, и он скрючился так, что его острые колени почти упирались в еще более острый кадык. У него были длинные глаза, длинный нос, длинный рот и длинные уши, и все это было увенчано лохматой копной темно-рыжих волос того самого химически недостижимого оттенка, о котором мечтают все женщины, не желающие почему-либо стать блондинками. Всем этим, а также общей ехидностью облика он напоминал клоуна, забывшего разгримировать-

ся после работы. Второй был массивный, в очках и с бородой и в целом походил на физика из тех, что днюют и ночуют в лаборатории, спят на масс-спектрографе, умываются тяжелой водой и варят пельмени с помощью гамма-лазера, а отпуск считают загубленным, если не провисели его на крюке, вбитом в скальную стену где-нибудь у черта на куличках или хотя бы на Памире. Правой рукой он придерживал нечто вроде необструганной березовой дубинки с рогаткой на конце, не производившей, однако, впечатления оружия. Девушка была маленькой, пухленькой и длинноволосой. Кругленькая такая русалка. Отсюда было не видно, какого цвета у нее глаза, но что-то русалочье в ней, несомненно, присутствовало. На пышной ее груди лежали крупные бусы, сделанные из кипарисовых шишечек. Рядом с русалкой стоял декоративный цветочный горшок с большим полураскрытым лиловым бутонем в обрамлении темно-зеленых бархатных листьев. Эти листья она осторожно перебирала кончиками пальцев. Название страны исхода, казалось, было написано у всех троих на лбу большими буквами. Они заметили меня, когда я подошел чуть ли не вплотную, разом замолчали и с загадочным интересом уставились на сосновую веточку в моей руке, затем так же синхронно перевели вопросительный взгляд на меня. Глаза у девушки оказались, естественно, зелеными, у физика – карими, а у клоуна я не успел разглядеть, так как он их тут же опустил и устоялся на свои ботинки.

– Простите, у вас не найдется спичек? – спросил я по-русски и небрежно помахал сигаретой как бы в подтверждение того, что спички мне нужны не для поджога окружающей среды, а исключительно для мелкой личной надобности.

Все трое переглянулись с непонятым разочарованием. Мне показалось, что они ожидали от меня чего-то совсем другого, и я их ожиданий не оправдал. Мысленно ругнув себя за ненаблюдательность, я уже собрался было повторить вопрос на иврите, но тут бородатый физик кивнул, пристроил свою дубинку между колен, полез в карман куртки и достал зажигалку. Под левым глазом у него имел место слегка запудренный треугольный синяк второй свежести.

– Мы спичками не пользуемся, – значительно произнес он и перевел взгляд обратно на мою ветку. – Зажигалка подойдет?

– Да, конечно, – я прикурил и вернул зажигалку. – Спасибо.

– Не за что, – ответил физик, сунул зажигалку в карман и снова взялся за дубинку.

Я уселся на ближайшую к ним скамейку. Они снова о чем-то заговорили, незаметно поглядывая на меня. До меня доносились обрывки фраз: «...ты уверен...», «...кто мешает спросить...», «...под вторым глазом...». Мне стало любопытно. Наконец, бородатый физик крикнул, поднялся со скамейки и решительно подошел ко мне.

– Простите... э-э-э... можно задать вам один неординарный вопрос? Разумеется, если не захотите, можете не отвечать.

– Пожалуйста, – ответил я как можно любезнее.
– Скажите, зачем вам эта ветка?
– Так, – пожал я плечами. – Нашел под деревом. Красивая. Вообще люблю гулять с веткой. А что?

– Еще раз простите, но что значит – любите? Вы испытываете удовольствие, держа в руках ветку? Физическое?

Он впился в меня глазами, как будто мой ответ был для него невесть как важен. Интересно, подумал я. На сумасшедшего парень вроде не похож, хотя вопросы задает действительно нетривиальные. Правда, вполне безобидные.

– Ну, пожалуй, да. Я же говорю, она красивая. Живая, пахнет хвоей. Вы это имеете в виду?

– Не совсем. Я подразумевал удовольствие... как вам сказать... менее отвлеченное. Более конкретное, что ли. Сродни тому, какое испытывают, держа за руку женщину... Трепет, волнение... так сказать, сексуального характера... понимаете? Когда вы трогаете кору, листья... сладкая тяжесть в сердце... ну, вы меня понимаете...

Он замолчал, но продолжал смотреть на меня в упор. Все-таки псих, подумал я и открыл рот, чтобы вежливо, но непреклонно послать его подальше, и вдруг замер, потому что понял: этот странный тип в двух словах совершенно точно объяснил, почему я постоянно таскаю в руках какую-нибудь деревяшку. А типу, судя по всему, чрезвычайно важен был мой ответ, да и не только ему: клоун с русалкой тоже подались вперед и сверлили меня глазами. Поскольку рот уже был открыт, мне ничего не оставалось, как ответить:

– Знаете, никогда об этом не думал. Но, кажется, вы правы. Ощущения действительно похожи на те, что вы описали. Хотя, если уж быть до конца откровенным, к женщинам я как раз давненько ничего подобного не чувствовал.

– Вот! – в сильном волнении воскликнул физик и схватил меня за рукав. – Я же говорил! Идемте к нам!

Он потянул меня в направлении клоуна с русалкой. В этот момент у меня мелькнула мысль, показавшаяся настолько дикой, что ей воспротивилось даже мое разнузданное воображение. Лезет же в голову всякая чушь, подумал я, присаживаясь на край скамейки. Физик плюхнулся рядом и улыбнулся вполне сердечно:

– Прежде всего, позвольте представиться: меня зовут Лева. Это Эдик. А это, – он кивнул на русалку, – Соня.

– Очень приятно, – сказал я. – Александр. Лучше Саша.

– Здравствуйте, Саша, – пропела Соня, мечтательно глядя куда-то мимо меня.

Эдик повернул ко мне голову, слегка поклонился (что показалось мне весьма трудноисполнимым, учитывая позу, в которой он сидел) и посмотрел на меня в упор. Глаза у него оказались совершенно не клоунские и, я

бы даже сказал, не вполне человеческие. Ни у кого я еще таких не встречал: радужная оболочка цвета расплавленного золота и немислимой глубины зрачок – не круглый, а какой-то овальный. Я вдруг почувствовал себя, как во время спуска в скоростном лифте. Эдик добродушно хмыкнул и отвел взгляд. Странное ощущение тут же исчезло.

– Хватит, Эдик, – нетерпеливо сказал Лева. – Человек еще ничего не понимает. Человек еще не привык. Человеку надо объяснить.

Он повернулся ко мне:

– Саша, я читаю в ваших глазах невысказанный вопрос. Можете и далее не высказывать, я и так на него отвечу, хотя и несколько окольным путем. Вы, без сомнения, слышали русскую народную трагическую песню «Во поле береза стояла»?

– Слышал, конечно. А она разве трагическая?

– А как же! Там самая настоящая трагедия, и состоит она в том, что героиня песни одинока и несчастна. «Некому березу заломати» – помните? Согласитесь, что «заломати» подразумевает нечто совсем другое, нежели «поломати» или, скажем, «порубити»?

Я заворожено кивнул.

– Ну и славно. Так вот, заломати несчастную березу действительно некому, кроме... – он обвел взглядом присутствующих – ...кроме нас с вами.

– Где вы здесь, в Израиле, березу-то нашли? – растерянно спросил я, не решаясь ни углубляться в тонкости семантики, ни реагировать на подозрительное «нас с вами».

– Вот это действительно проблема, – вздохнул Лева. – Хотя и разрешимая. В индивидуальном порядке.

Я осторожно кивнул в том смысле, что вам виднее. Происходящее выглядело некой игрой, правил которой я пока не понимал. Игрой, впрочем, забавной и неопасной.

Лицо Эдика вдруг стало не от мира сего. Он уставился куда-то внутрь себя и забормотал, будто читая невидимый другим текст:

– Спустя час после восхода ночного светила опоясать Элонхи пятью поясами, по числу ступеней посвящения дреда, пояса же сплести из трав, собранных над падающей водой при звездном свете на изломе ночи Безвинно Рожденных. Составить ладони одна подле другой на коре Его меж поясами под нижней ветвью, почувствовать кору Его, войти в древесину Его, стать листом Его, раствориться в смоле Его. Произнести мысленно Вопрос, и ждать, не двигаясь, между корнями и кроной. Ответ придет не сразу, но он придет. Посвященному дано услышать и понять его. Услышать Ответ может только тот, кто задал Вопрос. Ответ длится мгновение, услышавший его становится старше на вечность. Услышавший Ответ обязан запомнить его и потом пересказать непосвященным. Это непросто, ибо ответ приходит не словами, но тот, кто не сумеет пересказать, больше не услышит Ответа...

– В таком вот разрезе, – подтвердил Лева. Соня задумчиво кивнула и погладила свой цветок.

Кончилось все тем, что меня, все еще в состоянии легкого обалдения, привели в квартиру на улице Файерберг. Квартира располагалась на третьем этаже старого дома и, как и весь дом, явно нуждалась в хорошем ремонте, зато количество комнат в ней не поддавалось исчислению. Хозяин ее здесь давно уже не появлялся и появляться не собирался, пока ему будут аккуратно вносить ежемесячную плату – так он сам сказал, – а сколько человек живет в квартире, его не интересовало. Собиралась там весьма разношерстная компания. Этих людей ничто не объединяло, кроме того, что они нуждались в обществе себе подобных – и не просто, а очень подобных. Они оказались довольно плохо приспособленными к тому, чтобы оставаться один на один со своей, прямо скажем, не совсем обычной сексуальной ориентацией. Говоря «не совсем обычной», я имею в виду, что гомосексуализм, лесбиянство, даже зоофилия на сегодняшний день считаются чем-то вполне приемлемым, а завтра, возможно, станут нормой. Но то, что культивировалось в квартире на улице Файерберг, относилось уже, наверное, к послезавтра. Само по себе мне бы такое и в голову не пришло, хотя, как оказалось, именно в моей голове ему было самое место. Я вдруг попал к своим, еще не догадываясь, что живу среди чужих. Покончил со своим одиночеством еще до того, как осознал его.

«Плантафилия», от латинского *planta*, что в переводе означает «растение» – так официально окрестил Лева нашу сексуальную специфику. В качестве альтернативы обсуждались также «фитофилия» от греческого *fitos* и «дендрофилия» от греческого же «дендрос». Посоветовавшись, высокое собрание в лице Левы и Эдика остановилось на латинском варианте, чем добавили к многочисленным победам римлян еще одну – возможно, самую славную. В бытовом общении ребята предпочитали звать друг друга дубоебами, хотя слово «пальма» в том же контексте мне представляется более аутентичным. Девочек же именовали совсем неприлично, пока они, наконец, не выразили протест; таковой был принят, и их стали называть ласково: «тычинки».

3

Хотя в квартире на улице Файерберг не существовало никакой формальной организации и, соответственно, никакой иерархии, вождем племени был молчаливо признан Лева, он же отец-основатель, он же – учитывая его склонность к философским обобщениям – отец-обоснователь. К нему было принято ходить за советами и для справедливого суда. Лева Гульфин приехал в Израиль из города Забродска Калужской области. Он там родился, вырос и закончил школу, потом уехал в Москву, поступил в Московский химико-технологический и увлекся альпинизмом, а заодно и женским полом. На четвертом курсе, делая с тяжелого похмелья лабораторную работу по органике, он случайно что-то во что-то опрокинул и получил в колбе субстанцию нежно-фиолетового цвета с плавающими в ней ядовито зеле-

ными хлопьями и таким же запахом. Через несколько секунд субстанция самопроизвольно закипела и выплеснулась ему на руку. Ожог получился глубокий и болезненный и заживал два месяца, в течение которых Лева каждую ночь спал один и тот же сон, столь же дикий, сколь и непотребный. Когда же все кончилось, он с ужасом обнаружил, что к девочкам его больше не тянет, зато тянет к березам в институтском дворе. Придя в себя после шока, он некоторое время усиленно размышлял, что бы такое смешать, чтобы все стало как прежде. Поразмыслив хорошенько, пришел к выводу, что лучше все же не рисковать: в следующий раз может получиться еще хуже, а березы хотя бы помалкивают. Визит к знакомому сексопатологу ощутимой пользы не принес: тот радостно объявил, что отклонение это хоть и неизлечимое, зато безобидное, а вот на прошлой неделе у него была пара – никаких имен, старик, ты меня понимаешь! – так вот у них такое, ты понял, это просто охуеть! Он в подробностях описал, что было у той пары; Лева послушно охуел и больше по этому поводу к врачам не обращался. Постепенно он приучил себя не считать свою беду бедою, научился соблюдать конспирацию и ненавязчиво уклоняться от участия в общем трепе на тему: «...и тут я ей кладу руку на...». Тем более что учебе это не только не мешало, но даже помогало, поскольку на ухаживания теперь уходило значительно меньше времени. После окончания института Лева вернулся домой, так как легально остаться в Москве у него не получилось, а вариант женитьбы с пропиской он, по понятной причине, даже не рассматривал.

В поисках работы он обошел весь Забродск, потратив на это три часа, и нашел маленькую фотолабораторию, куда незамедлительно и устроился. Жил у родителей. Каждое лето с несколькими своими бывшими однокашниками ездил штурмовать очередную вершину из тех, что понепрístupнее. К женщинам относился бескорыстно, за что был ими весьма ценим и у нескольких даже считался лучшим подругом. По воскресеньям ездил в лес и занимался там любовью с березами. Много их прошло через его руки, пока, наконец, не встретилась та самая, единственная, ненаглядная, всего в получасе ходьбы от станции. С тех пор он приезжал только к ней.

В остальном жизнь в Забродске выглядела стоячей, как затянутый рясой пруд. Спать здесь ложились, самое позднее, в десять часов, а пределом зарубежности считались старые Левины джинсы «Wrangler», в которых он приехал из Москвы. Но время – штука неумолимая, и перемены в городе уже грядут (или грядут? А то и, не к ночи будь сказано, грядут?). Завертятся какие-то выборы, лозунги, митинги и рейтинги. Весной девяносто второго у соседа по лестничной площадке, слесаря Бодунова, начало пробуждаться национальное самосознание. Окончательно оно пробудилось двадцать первого мая в семь тридцать вечера. Без десяти шесть Бодунов вернулся с работы, достал из холодильника бутылку перцовки, бутылку молдавского портвейна и две пива, вылил все это в цветочную вазу, хорошенько перемешал и утолил жажду. В половине восьмого он вышел на балкон и с криком «Жида Россию пропили!» стал кидать пустые бутылки и

другие хозяйственные предметы вниз, стараясь попасть в «жигули» кооператора Авраамченко, припаркованные у соседнего подъезда. В тот самый момент, когда его старания, наконец, увенчались успехом, появился владелец машины в сопровождении младшего брата. Он быстро оценил обстановку, и братья резвой походкой направились к бодуновскому подъезду. Авраамченко был здоровенный хохол с толстой шеей и непомерными плечами, а его брат был еще шире его, выше его на голову и на нее же глупее. Братья Авраамченко высадили дверь бодуновской квартиры и вступили со слесарем в непосредственный контакт. Когда Бодунов через месяц выписался из больницы, оказалось, что о евреях он теперь отзывается боязливо-почтительно, называя их «товарищи иудеи», а обоих Авраамченко не узнает вообще. Кстати сказать, в евреях слесарь Бодунов не разбирался совершенно. Да и где, помилуйте, мог он научиться в них разбираться, если евреев, помимо Гульфиных, в Забродске отродясь не водилось, а за пределы Забродска он никогда не выезжал. Самих же Гульфиных он как раз евреями и не считал, а считал их, наоборот, киргизами, на основании того, что Левины родители в свое время приехали в Забродск из Ташкента. Леву он, кстати, очень уважал за то, что тот лично бывал в Мавзолее и в Елисеевском гастрономе (этими двумя достопримечательностями полностью исчерпывались сведения Бодунова о столице), и даже как-то приходил к Леве жаловаться на то, что уже неделю в одном и том же окне видит и рассветы и закаты.

В общем и целом, эта история с хорошим, как у сказки для послушных детей, концом определила Левино будущее. Она сдвинула что-то в его привычном представлении о жизни как о вялотекущем процессе, управление которым лежит вне доступных ему сфер, перетасовала какие-то понятия в его собственной космологии. При этом никакой личной ненависти к потерпевшему Лева не испытывал, справедливо полагая, что после вазы с подобным коктейлем он и сам вполне мог бы отколоть что-нибудь в этом роде. Просто, обдумывая этот инцидент, Лева вдруг пришел к выводу, что Забродск – в широком понимании этого слова – отнюдь не то место, где бы он хотел провести свои лучшие годы, да и худшие тоже. А увидев вскоре надпись на заборе «Жыды, убирайцеся в Израель!», он сразу догадался, что это не что иное, как замаскированный призыв Сохнута к «товарищам иудеям», и принялся действовать согласно призыву.

В результате, восемь месяцев спустя, Лева сошел с самолета в аэропорту Бен-Гурион, щурясь на пылающее зимнее солнце, оросил Святую землю каплями пота из-под замечательной пыжиковой шапки, которую ему какой-то попутчик – очевидно, по глупости – продал в самолете всего за сорок долларов, и затерялся в шумной толпе абсорбируемых соотечественников. Подругу свою березовую он привез с собой, хотя и не всю, а только нижнюю ветку, самую любимую. Он готовил себя к долгим, тщательным и, возможно, безуспешным поискам собратьев по либидо, но, буквально через две недели по прибытии неожиданно познакомился с Эдиком – точнее,

Эдик познакомился с ним. Дальше дело пошло веселее, а с появлением Со-ни и Севы – заметно веселее, так как геометрическая прогрессия, которой подчиняются подобные процессы, гораздо мощнее арифметической.

4

Эдик занял в компании экологическую нишу, на которую других претендентов быть не могло. Он был недостижим в своей загадочности. Родители Эдика были этнологами и одну половину жизни проводили в Москве, а другую – в разных неудобоваримых местах нашей, тогда еще более необъятной, Родины. Однажды они отправились в Восточную Сибирь, в район Кадарского хребта, чтобы проверить, отразилось ли строительство Байкало-Амурской магистрали на фольклоре коренного населения, и сохранилось ли оно (население) после этого вообще. В эту поездку они взяли с собой Эдика, которому только что исполнилось пять лет. Прибыв в означенный район, они угодили в зону лесных пожаров, особенно свирепствовавших в то лето, чудом спаслись, но заблудились в тайге. Шестеро суток плутали, питаясь чем попало. На седьмой день подцепили какую-то лихорадку, во время приступов которой температура поднималась до сорока двух, а то и выше. В конце концов, на них наткнулись какие-то люди, которые их и спасли. Эти люди отнесли полумертвых Эдика и его родителей в свой лагерь и несколько дней лечили их травяным настоем, содержащим, судя по всему, среди прочих также рвотные, слабительные, одурманивающие и галлюциногенные ингредиенты. Какой именно из них оказался решающим – неизвестно, но подействовало это зелье быстро. Через два дня лихорадка исчезла бесследно. Придя в себя, родители Эдика с изумлением обнаружили, что оказались в деревне неизвестного племени, находящегося на стадии позднего неолита.

Все сведения о народе амо, имеющиеся на сегодняшний день в распоряжении ученых, почерпнуты из записей и фотоснимков, сделанных родителями Эдика со дня их пробуждения в деревне амо и до их таинственного исчезновения спустя неполных два месяца. Племя амо насчитывало около трехсот человек. Внешность они имели своеобразную: очень высокие, с узкоглазыми скуластыми лицами, длинными носами, гладкими иссиня-черными волосами и зеленоватым оттенком кожи. Зрачки у них были овальной формы, как у кошек, только вытянуты они были не вертикально, а по диагонали, наклоненные таким образом, что верхние края правого и левого зрачков были ближе друг к другу, чем нижние. Как мужчины, так и женщины носили бороды, с тем лишь отличием, что у женщин небольшая борода начинала расти после совершеннолетия, то есть в шестнадцать с половиной лет, а у мужчин первая растительность на лице появлялась уже годам к десяти. Основным их занятием была охота и рыбная ловля. Амо умели разжигать огонь, устраивать теплые землянки и рисовать углем на бересте удивительно точные изображения людей и животных в изометрии. Железа

они не знали и пользовались каменными и костяными орудиями, которые изготавливали с большой сноровкой, свидетельствующей о многотысячелетнем опыте. Поначалу амо с опасением поглядывали на незнакомцев, одетых в странную одежду и говорящих на непонятном языке. Но стоило незнакомцам подарить вождю амо топор, пилу и пару ножей из невиданного блестящего материала, который резал дерево намного лучше любого камня и кости, а шаману – фонарик с изрядно подсевшими батарейками, зеркалаще, шариковую ручку и набор презервативов «Три богатыря», как недоверие уступило место осторожной симпатии. Им позволили поселиться в деревне, выделили землянку и даже разрешили участвовать по полнолуниям в ритуальных совокуплениях с Элонхи – священным деревом амо. От ритуальных совокуплений родители Эдика уклонились, за что их вряд ли кто-то посмел бы осудить, хотя на алтарь науки порой возлагались и не такие жертвы. Зато предоставленную свободу они в полной мере использовали для изучения амо, предвкушая, какую сенсацию вызовет их будущий доклад в Академии наук.

Несмотря на то, что вождя звали Амо-Двару-Кауни-Эц, что означало дословно «повелитель амо во всех завтра», его должность была скорее номинальной, а основные обязанности сводились к разрешению мелких бытовых споров, возникавших, к слову сказать, нечасто. Реальная власть в племени принадлежала шаману. Это в первую очередь обуславливалось тем, что вся жизнь амо была строго подчинена религии. Религиозно-философские воззрения амо оказались неожиданно глубокими для народа, не имеющего даже письменности, и несли в себе ту мораль, которая, как принято считать, могла возникнуть только на определенной стадии развития сознания, достаточно удаленной от каменного века, где это племя все еще пребывало. Религия амо представляла собой довольно необычный сплав язычества с монотеизмом. Амо поклонялись Элонхи, что на их языке означало «Создатель». Это исполинское дерево, высотой не менее двухсот метров и диаметром ствола около шести метров, росло в центре огромной поляны, на которой располагалась Амонаа – так называлась деревня амо. Вокруг ствола в радиусе примерно тридцати шагов не росла трава, не ползали муравьи, и даже птицы, казалось, избегали пролетать над этим местом, огороженным низкой оградой из вбитых в землю колышков. Внутрь ограды амо никогда не заходили, кроме как по ритуальным нуждам. Кора Элонхи по цвету и фактуре напоминала выделанную кожу, а блестящие синне-зеленые листья размером и формой напоминали детские ладошки. Других таких деревьев рядом не росло и не рядом тоже, и не было никаких сомнений в том, что любой ботаник при виде Элонхи немедленно испытал бы шок, сопровождаемый обильным слюноотделением. Амо верили, что Элонхи, устав от одиночества и однообразия, создал из хаоса Вселенную – Икам, для чего вначале сотворил материю – Оморо и время – Замун (амо все существительные произносили так, как будто они начинаются с заглавной буквы). Потом Элонхи в течение шести дней создал Землю, небесные

светила, лес, животных, птиц и рыб и, наконец, первых двух амо, которым поселился возле амо с тем, чтобы оберегать их, если они будут жить, как положено, а в противном случае – наказывать. Как именно положено жить амо, регламентировалось Юккой – устным сводом законов, который Элонхи презентовал им в честь сотворения. Законы эти частично представляли собой элементарные принципы выживания малой человеческой популяции и очень напоминали знакомые всем нам запреты на убийство, кровосмешение и так далее, с одной только разницей: в формулировке каждого из них имелось то самое загадочное выражение «кауни эц» – «во всех завтра», – присутствовавшее в имени вождя. В целом Юкка представляла собой весьма развитый нравственный кодекс, из которого следовало, в частности, что незнакомцу, попавшему в беду, следует помочь, и брать с него за это плату запрещено, за исключением того, что он сам предложит в знак благодарности. Для народа, поколениями не видевшего незнакомцев, подобное требование выглядело, пожалуй, несколько надуманным. Правда, у него имелась религиозная подоплека. Среди прочих апокрифов, у амо существовал и такой, отдающий своеобразным мессианством, согласно которому однажды появится некто извне – то ли посланец Элонхи, то ли сам Элонхи в человеческой ипостаси – и подвергнет народ амо Великому Испытанию. В чем состоит Испытание – неизвестно, зато известно, что, если амо выдержат его, они будут вознесены на верхушку Элонхи и смогут броситься оттуда вниз, где их ждет блаженство «кауни эц». Если же Испытание будет провалено, следующий приход посланца и, соответственно, следующее Испытание произойдет не раньше, чем умрут все участники этого.

Помимо законов Юкки, амо обязаны были выполнять ежедневные указы, декреты и повеления свыше. Каждую ночь шаман беседовал с Элонхи и наутро передавал его волю остальным амо. Он был весьма неординарной личностью, этот шаман. Лет ему на вид было за двести, хотя амо вообще редко доживали до пятидесяти. Имени его не знал никто. Носил шаман зимой и летом нечто вроде плаща с клобуком из шкуры неизвестного зверя кожей наружу и чем-то непонятным внутрь. Кожа эта была серой и чешуйчатой и слегка вздрагивала под рукой при прикосновении. Старейшины племени рассказывали, что когда они еще были детьми, он уже тогда был шаманом, носил ту же шкуру и выглядел не моложе, чем сейчас.

Кроме шамана, с Элонхи могли изредка общаться несколько посвященных, так называемых дредов. Простым амо к Элонхи приближаться было запрещено, за исключением полнолуния, когда получившие разрешение члены племени – как мужчины, так и женщины – совершали с ним ритуальное совокупление. Допускались к сакральному действию только совершеннолетние – четверо мужчин и четыре женщины, которых шаман накануне выбирал, руководствуясь какими-то одному ему известными критериями. Счастливики становились вокруг Элонхи, мужчины – на его «женской» стороне, женщины, соответственно, на «мужской». Остальные чле-

ны племени располагались по окружности поляны. Под заунывное пение шамана, сопровождаемое ударами в бубен, избранники клали ладони на кору Элонхи и начинали ритмически покачиваться, потом постепенно входили в экстаз и сбрасывали с себя одежду. В какой-то момент ровная кора Элонхи взбугривалась, на ней появлялись выросты и утолщения, форма которых на каждой из двух его сторон однозначно сигнализировала о ее, стороны, половой принадлежности. Все, что происходило дальше, напоминало массовую оргию. Заканчивалось все это дело коллективным оргазмом, испытываемым не только участниками, но и отдельными зрителями, и благодарственным песнопением до первого луча солнца, с восходом которого кора Элонхи принимала прежний вид.

Эдиковы родители за те два месяца, что прожили среди амо, так и не рискнули поучаствовать в этом ритуале. Вместо этого, они в один прекрасный день решили изучить Элонхи поближе. По крайней мере, несколько человек видели их идущими в его сторону, но никто не сообразил их предупредить, что заходить за ограду не следует, поскольку ни одному амо в здравом уме такое бы и в голову не пришло. Больше родителей Эдика никто никогда не видел. Несколько дней мальчик, плача, бродил по деревне и пытался узнать у окружающих, что случилось с его папой и мамой и почему их не ищут. Говорил он тогда на языке амо достаточно плохо, но все же его вопросы были вполне понятны. Тем не менее на них никто не желал отвечать, а глаза у спрашиваемого переполнялись таким священным ужасом, что Эдик скоро понял бесполезность всех своих стараний.

Несколько дней Эдик прожил в опустевшей землянке. Соседи приносили ему еду. Трехлетняя дочка вождя Лоа приходила и дарила игрушки – деревянные фигурки человечков и животных. Фигурки были не вырезаны, а неведомым образом выращены, их покрывала тонкая кора. Эдик очень полюбил девочку и часами играл с ней. Ее очень забавляло звучание некоторых русских слов, а заодно и сам факт существования другого языка, непохожего на ее родной. Эдик с удовольствием учил ее разговаривать по-русски.

Потом осиротевшего мальчика взял к себе шаман. Этот таинственный старик, которого боялись все амо, включая вождя, с самой первой встречи заинтересовался Эдиком и очень быстро привязался к нему, часами разговаривал с ним, обучал его языку амо, расспрашивал его и внимательно слушал, не выражая, однако, никакого удивления, его рассказы о городах, где есть дома выше Элонхи и люди ездят на самодвижущихся санях с колесами, о железных птицах, в которых люди могут летать выше облаков, и о шведском водяном пистолете, из которого его владелец, вредный Колька из соседнего подъезда, дал Эдику выстрелить всего два раза. Теперь Эдик стал жить у шамана в землянке. С Лоа он встречался каждый день, и они играли в какие-то странные игры, которые придумывали по очереди. Однажды он заплет ее длинные волосы в косичку. Лоа пришла в восторг и никак не могла наглядеться на свое отражение в луже, а потом таинственным шепотом сообщила, что так делают дяди тетям в первую ночь, когда женят-

ся на них. Эдик отнесся к этой информации скептически, но косичку на всякий случай расплел.

Шаман учил Эдика языку амо. Язык оказался неожиданно сложным: в нем не было настоящего времени, но зато различались тринадцать прошедших и двадцать семь будущих времен, каждому из которых соответствовала своя грамматическая конструкция. Там были, например, такие формы, как несостоявшееся прошедшее, или случайное прошедшее, которого могло и не быть, или давнее прошедшее, вспомнившееся только что, или прошедшее, исчерпавшее себя и тем самым потерявшее влияние на будущее. Из будущих времен – немедленное будущее (отчасти заменяет настоящее), неизвестное будущее, будущее, предсказанное в прошлом, личное будущее, будущее племени, будущее мира и так далее. Имелось даже будущее прошедшее время, описывающее возможность изменения прошлого в будущем. Двадцатью семью будущими, считали амо, исчерпываются все возможные варианты, и правильное их использование ведет к пониманию того, какое из будущих наступит на самом деле. Настоящего же, по их представлениям, нет: есть только миг между прошлым и будущим. А на нет, как известно, и слова нет.

Очевидно, шаман собирался сделать Эдика дредом, так как, помимо прочего, он учил его разговаривать с Элонхи. Он утверждал, что у дреда, где бы он ни находился, всегда будет связь с Элонхи, и Элонхи поможет ему, если в этом действительно будет нужда. А однажды он рассказал Эдику, что много лет назад, в день, когда он прошел таинство посвящения и стал шаманом, его предшественником было произнесено пророчество. В соответствии с этим пророчеством, следующим шаманом должен будет стать светлокожий человек, не принадлежащий к народу амо, а до тех пор нынешний шаман не сможет ни уйти, ни умереть. Такой человек еще ни разу не появлялся, поэтому он, шаман, и живет так долго в ожидании преемника. И теперь он надеется, что скоро – тут он употребил грамматическую временную форму, соответствующую личному близкому положительному будущему, связанному с будущим племени, – лет через сорок–пятьдесят, он сможет, наконец, обрести заслуженный покой.

– Меня уже не радует жизнь, – сказал шаман, – но еще не зовет смерть.

В конце концов, все произошло не совсем так, как предполагал шаман. То ли он, рассуждая о будущем, употребил не ту конструкцию будущего времени, то ли следовало ожидать появления еще кого-то светлокожего, но однажды осенью – Эдику только-только исполнилось тринадцать – на окраине деревни приземлился вертолет. Оттуда выскочили несколько человек в джинсовых комбинезонах, вытащили из недр вертолета видеокамеры и разную другую аппаратуру и под руководством самого небритого из них бросились остервенело снимать Амонаа и ее обитателей во всех ракурсах. Перепуганные амо попрятались в землянках; один лишь Эдик, не проявив ни малейшего страха, приблизился к пришельцам и заворуженно на них уставился. Телевизионщики тут же направили камеры на храброго юного

сына лесов. Когда остальные амо убедились, что пришельцы ведут себя мирно, они вышли из своих жилищ, и все пошло как по маслу. В какой-то момент этнолог, прибывший со съемочной группой в качестве консультанта, обратил внимание, что юный сын лесов внешне заметно отличается от остальных аборигенов. А когда Эдик произнес несколько фраз по-русски, хотя и со странным акцентом, консультант – его звали Петро Диегович Лопес-Голобородько, и он был сыном мексиканского эмигранта и поэтессы из Харькова – быстренько сопоставил это с тем фактом, что восемь лет назад где-то в этих местах пропали его коллеги, которых он хорошо знал по разным семинарам и конференциям, и понял, с кем его свел случай. Хотя случай ли – неизвестно. Скорее, упорство, с которым он сумел всяческими правдами и неправдами получить доступ к снимкам этого района, сделанным со спутника, и дотошность, проявленную при их расшифровке.

Петро Диегович основательно расспросил мальчика о родителях и о его жизни среди амо, после чего заявил, что забирает его с собой. Эдик не возражал (покажите мне тринадцатилетнего мальчика, который отказался бы полететь на вертолете), зато воспротивился шаман. Он велел Эдику сказать этим людям, что он, Эдик, больше не является (тут он употребил форму исчерпавшего себя прошедшего) потомком своих предков и что ему суждено другое прошлое (личное будущее прошедшее), которое перейдет в другое будущее (будущее будущее племени). Эдик неохотно, но добросовестно перевел все, кроме временных форм, не имеющих аналогов в русском языке. Петро Диегович озадаченно выслушал получившуюся галиматью и решил, что шаман просто морочит ему голову, чтобы не лишиться мальчика, восемь лет задарма бывшего у него на побегушках. Он попросил Эдика передать шаману, что сына своих погибших приятелей он обязан вернуть домой. Эдик передал. Шаман ничего не ответил и скрылся в своей землянке. Через полчаса оттуда выползла струйка красноватого дымка. Дымок этот свернулся в маленький смерч, приблизился – не иначе как повинаясь дуновению ветра – к вертолету и стал медленно описывать вокруг него круги. Он явно не собирался растворяться в воздухе, как сделал бы любой уважающий себя дым, хотя и никому, в сущности, не мешал.

Через день, отсняв все, что можно было отснять, и вдоволь надивившись на бородатых детей и их бородатых матерей, они забрались в вертолет, посадили туда Эдика, завели двигатели и почти уже улетели, но вертолет вдруг отказался подниматься. Двигатели ревели, вращались лопасти винтов, гнали по земле ветер, но вертолет стоял, точно вкопанный. Так продолжалось четверть часа, пока Эдик, кое-что понимавший в местных дымах, не поделился некоторыми своими соображениями с Петро Диеговичем. В результате из вертолета выволокли ящик с оставшимися четырнадцатью бутылками огненной воды «Кубанская» и отнесли в землянку шамана. Что там происходило дальше, в точности неизвестно, но примерно через час смерч вдруг побледнел, перестал кружиться вокруг вертолета и некоторое время покачивался на месте, затем неторопливо двинулся обратным ходом к шамановой

землянке и втянулся в нее весь. Петро Диегович удовлетворенно крикнул и высказал мнение, что теперь можно лететь. И оказался прав.

В Москве Петро Диеговича ожидали многочисленные дела, и в их числе – обработка результатов наблюдений, каковая задача осложнилась тем, что все пленки, отснятые в деревне амо, по неведомой причине оказались засвеченными. Несмотря на это, он в первую очередь разыскал в Мытищах родителей мамы Эдика и потряс их известием о том, что их внук жив и здоров, а вслед за этим – и самим внуком. Мальчика едва не задушили в объятиях, полили слезами радости и доверху накормили изумительной гефилте-фиш, за искусство готовить которую дедушка в свое время женился на бабушке. Дальнейшая адаптация Эдика к цивилизованной жизни проходила быстро и сравнительно безболезненно для него, чего нельзя сказать об окружающих. Уже на второй день к Эдику подошли во дворе трое податых парней лет шестнадцати и объяснили ему, что проход через их двор платный, а для жидов – вдвойне. Один из них взял Эдика за ухо и уже совсем было начал взимать с него плату, но Эдик что-то прошептал, чего никто не расслышал, и на этом процесс взимания закончился. Парни разом схватились за животы, скрючились и застонали, после чего, с безумными глазами, синхронно бросились в ближайшие кусты. С тех пор к Эдику больше никто не приставал.

В остальном Эдик мало чем отличался от своих сверстников. Акцент его скоро исчез. Учился он хорошо, но в меру: в отличниках не ходил, хотя, по мнению учителей, и мог бы, если бы захотел. Много читал, хотя не то, что обычно читают в его возрасте. Например, найдя на дедушкиной полке сборник академических трудов по биологии, выучил его практически наизусть и постоянно цитировал с непонятным сарказмом. Обзавелся друзьями в своем классе и параллельном. Девочками не интересовался, зато притаскивал домой какие-то корешки, выкопанные в лесу, и часами возился с ними. И все это время его не оставляло ощущение вины перед шаманом, который столько заботился о нем, обучал его и надеялся сделать своим преемником, и которого он, можно сказать, предал, пока тот валялся в своей землянке, перепившись «Кубанской».

Окончив школу, Эдик поступил в МГУ на биофак и в короткий срок сумел очаровать заведующего кафедрой ботаники профессора Лежебокова, изложив ему парочку оригинальных идей и не менее оригинальных методов, каковыми он собирался эти идеи обосновывать.

Закончив аспирантуру и защитив диссертацию по психологии растений, Эдик уехал в Израиль. Почему он это сделал, я до сих пор толком не знаю. На все наши расспросы он отделяется лаконичной фразой: «Пальмы тоже люди». Перед отъездом Эдика профессор Лежебоков – чье имя, к слову сказать, кое-что значило в международных научных кругах – осуществил ряд контактов с израильскими коллегами, в результате которых талантливого кандидата наук уже ждала вакансия научного сотрудника в лаборатории крупной фармацевтической фирмы. Там он с головой погрузился в разработку лекарства нового поколения, которым больные могли бы заражать-

ся друг от друга. В один прекрасный день у него появилось хобби: ежедневно в семь вечера, руководствуясь одному ему известными соображениями, Эдик ходил на бульвар Ротшильда, садился там на одну и ту же скамейку (почему-то она всегда бывала свободна в этот час) и до половины девятого внимательно разглядывал дома напротив. На прохожих он, казалось, не обращал ни малейшего внимания, но через две недели такого вот сидения он внезапно встал, подошел к проходящему мимо бородавтому мужику в очках и представился. Излишне говорить, что мужик оказался Лево́й, прилетевшим в Израиль в тот самый день, когда Эдик начал свои дежурства на бульваре Ротшильда.

5

– Это Лена! – спохватился я. – Прошу любить и жаловать. По очереди. Образовалась тишина, и все с интересом уставились на меня. Кажется, я сморозил что-то не то.

– Вот, видите, – наставительно произнес Эдик. – Джентльмен – он и с дамами джентльмен. Обрати внимание, Леночка: человек с похмелья, но этикет блюдет.

Я растерянно заморгал.

– Мы Лену тут уже часа полтора любим и жалуем, – успокоил меня Эдик. – А вчера ты ее представлял нам каждые десять минут. И заодно сам представлялся. Мы уже почти запомнили, как тебя зовут, когда ты вдруг обиделся и лег спать. Прямо на том же месте, где обиделся. Пришлось нести тебя в твою комнату и втаскивать на кровать.

– А кто вчера мне после водки налил киршвассер? Моралист херов. Прости, Леночка.

– Ничего, Саша, – слабо улыбнулась Лена. – Я знаю это слово.

Такой тип улыбки мне знаком: утрированно неземная, нарочито ангельская улыбка, якобы всепрощающая, а на самом деле предназначенная для того, чтобы ты почувствовал себя натуральным хамом и быдлом и сгорел со стыда после одного-единственного умеренно матерного слова, произнесенного не слишком громко. «А вот возьму и не сгорю», – дерзко подумал я.

– Знание – сила! – пробасили из коридора, и в кухню в халате и босиком прошествовал Толик, неся в руках большую китайскую вазу. Из вазы торчало суковатое полено, одетое в маленькую кружевную блузку, какие носят куклы. Верхний сучок был кокетливо перевязан розовой ленточкой.

– Эпоха Мин, – задумчиво сказала Лена, глядя на вазу. Толик приосанился. В полуосвещенной кухне глаза Лены казались прозрачными. Глядя на нее, я вдруг ощутил невнятное беспокойство, будто некая мысль пыталась пробиться в мое сознание откуда-то изнутри и наталкивалась на запертую дверь. Русское народное состояние «со вчера», подумал я. В доме напротив заиграла музыка в восточном стиле. Марокканская семья, жившая там, не отказывала себе в культуре прямо с раннего утра.

Толик развалился на диване и пристроил вазу у себя на коленях. Он никогда не расстается ни с ней, ни с этим поленом, за что его и прозвали папой Карло. Никто не знает, где он ухитрился раздобыть это сокровище — я имею в виду, вазу. Заработать на нее Толик не смог бы при всем желании, да и желания работать у него отродясь не появлялось. В молодости он закончил Саратовское танковое училище и даже прослужил полтора года на Дальнем Востоке, после чего решил, что созидательный период в его жизни на этом закончен (уж не знаю, что там можно насозидать, командуя танковым взводом), и уволился в запас путем какой-то головокружительной интриги с привлечением разных интересных медикаментов и симуляцией беспробудного пьянства на фоне половой разнузданности. Правда, об истинных своих пристрастиях он на медкомиссии не обмолвился, иначе бы его комиссовали прямиком в сумасшедший дом. С тех пор он больше ничего не делает и не испытывает на этот счет никаких нравственных затруднений, поскольку придерживается собственной теории, заключающейся в том, что материальные и духовные ценности не создаются людьми, а давно уже кем-то созданы, а люди их только перераспределяют, пропуская через себя особым образом, и поэтому любой так называемый производительный труд есть не что иное, как дележ чужого добра. На вопрос «Чем ты занимаешься?» он обычно отвечает: «Честь имею». При этом Толик признает за другими право работать и даже ощущать потребность в труде, которую сам считает психическим отклонением, своего рода комплексом на почве неправильного воспитания. Мы высоко ценим Толину толерантность, любим его за легкость характера и постоянную готовность помочь — как правило, советом — и безропотно содержим его, тем более что потребности у него минимальные: ест, что кладут, пьет, что наливают, и даже стрижется под ноль. Полено его неразлучное досталось ему от плакучей ивы, с которой у Толика одно время была большая любовь. Красавица, но с ужасным характером — она, по словам Толика, постоянно изводила его своими капризами. Когда она отказалась ехать с ним в Израиль, он испытал такой прилив отчаяния, что, будучи не в себе, собственноручно спилил ее, восклицая при этом «Не доставайся же ты никому!»

В телевизоре внезапно прорезался звук. Я обернулся. Там шла какая-то передача из серии «Вокруг света» или что-то в этом роде. На неошкуренном бревне на фоне убогой хижины сидел древний старик с трясущейся головой и редкой пегой бородой, одетый в халат и меховую тюбетейку. На вид ему было лет сто пятьдесят. В руках он держал высушенную тыкву с привязанной к ней палкой, на которую была натянута толстая жила. Старик ухватился за палку и повертел ее, после чего подергал струну, приблизив к ней морщинистое ухо, размером и формой напоминающее слоновье. Струна издала глухое дребезжание, по всей видимости, полностью удовлетворившее музыканта. Он закончил настройку, взял в правую руку волосяной аркан, свернутый в несколько раз, и с силой провел им по струне. Раздался звук, от которого у меня заныло в груди и зачесалось в ушах, а в подошвах возникло

ощущение, будто я стою босиком на битом стекле. Соня охнула, Эдик поморщился, Сева вздрогнул и уронил отвертку, Толик выругался. Старик в телевизоре прикрыл глаза и минуты полторы вдохновенно возил арканом по струне взад-вперед, потом успокоился и что-то прошамкал в услужливо подставленный микрофон. В нижней части экрана появился перевод: «По мне, так нет лучше инструмента, чем кабык. Наши предки на нем спокон веку играли. В нем хранится душа моего народа. Каков народ – таков и кабык. Вот на этом кабыке еще мой прадед играл. А молодежь нынче пошла не та, не хочет играть на кабыке, ей новомодные инструменты подавай, со всякими наворотами». При этом он укоризненно ткнул корявым пальцем куда-то в сторону. Камера повернулась вслед за пальцем и показала нам трех стариков помоложе, лет под сто, сидящих поодаль на другом бревне и уже собравшихся терзать свои тыквы, очень похожие на кабык, но с двумя струнами. Пора было выключать звук, и я огляделся в поисках пульта от телевизора.

– Кто знает, где пульт? – спросил я. – В ваших же интересах...

– Дарвин – козел, – неожиданно возвестил Толик, как-то странно извиваясь нижней частью. – Я вот уже две минуты пытаюсь ухватить ногой пульт – и никак. А обезьяна запросто. Где же тут эволюция? Чистый регресс.

– Чисто конкретный регресс, – лениво уточнил Эдик. – А почему, собственно, ногой? Возьми рукой, не мучайся. И поскорей, а то они сейчас, чего доброго, квартетом сыграют.

– Рукой каждый дурак сможет. Ты вот ногой попробуй.

– Разуваться лень. А с Дарвином я лично никакого противоречия тут не вижу. Верхние и нижние конечности имеют разное предназначение: нижние для ходьбы, верхние для работы. Или, как у тебя, для мастурбации. Поэтому они и должны эволюционировать по-разному: нижние конечности приспособляются для ходьбы, но перестают быть хватательными. Наблюдается кажущийся регресс.

– А я вот думаю, что если бы Дарвин создавал человека, тот бы выглядел по-другому.

– Возможно. Но, к счастью или к несчастью, это задача, которую кроме Бога пока никто не смог выполнить.

– Тоже мне задача! Большинство из нас это умеют.

– Я имел в виду, что только Бог смог создать человека, никого при этом не трахнув. Выключай звук, кому говорят!

Старики в телевизоре взмахнули арканами, но Толик оказался проворнее. Он топнул по пульту, и телевизор затих. Зато ожил мобильный телефон, лежащий на столе. Из него вдруг вырвалась разухабистая мелодия, под которую аппарат стал подпрыгивать и приплясывать. Он был рубаха-парень, этот телефон, особенно на виброрежиме, но Соня схватила его и, ткнув пальцем в нужную кнопку, прервала веселье в самом разгаре.

– Алё?

– Нет, спасибо, – ответила Соня на иврите. – Нет... Я же говорю – не надо. – Она положила трубку и хихикнула. – Предлагают курс русского язы-

ка с углубленным изучением Достоевского и Высоцкого. С марокканским акцентом.

– Достоевский с марокканским акцентом? – удивился я.

– Нет. Тот, кто звонил.

– Неужели среди израильтян находятся желающие? – поинтересовалась Лена.

– А почему бы и нет? – отозвался Сева, не отрываясь от прибора. – Не у всех же родной язык русский.

– А как у них, интересно, насчет курса иврита с углубленным изучением Шая Агнона? – спросил я. – С украинским акцентом?

– Иврит учить – время терять, – изрек Толик.

У Толика с ивритом отношения сугубо взаимные: Толик не знает иврита, иврит не знает Толика. Это совершенно не мешает ему (Толику) существовать и даже ходить по магазинам, выполняя наши поручения. Он просто показывает пальцем на требуемую вещь и говорит: «Ани царих давар казе» («Мне нужна такая вещь») – что составляет добрую половину его словарного запаса. Однажды в каком-то посудном магазинчике он хотел купить подставки для яиц, но таковых в пределах видимости не оказалось, и показать пальцем было не на что. Толик немного подумал и сказал: «Ани царих давар казе: бейцим омдим по» («Мне нужна такая вещь: яйца стоят здесь»), чем надолго вывел продавца из строя. Зато, отсмеявшись, продавец сходил в подсобку и принес именно то, что требовалось, так что в качестве аргумента в пользу изучения иврита этот случай не годится.

– Занятой ты наш, – заметила Соня. – Минутки свободной нет.

– Просто здоровье жалко, – объяснил Толик. – Говорят, иврит головного мозга неизлечим.

– И очень заразен, – подтвердила Соня. – Поэтому на улицу выходи только в шапке.

6

Соня приехала в Израиль двенадцатилетним подростком. До этого она жила с родителями в Ташкенте. Отец ее был замдиректора солидного предприятия легкой промышленности, поэтому материальных проблем в семье не ощущалось, и в их огромной, по местным понятиям, квартире у каждого из троих детей была своя комната. Соня с детства выращивала на подоконнике своей комнаты цветы, кактусы, фикусы и вообще все, что росло. Ее старшая сестра, хоть и не слишком интересовалась ботаникой, но к увлечению младшей относилась с уважительным нейтралитетом. А вот младший брат, врожденный дебил, напротив, постоянно ревновал ее к ее растениям и всячески измывался над ними – мочился в горшок с фикусом, ломал иголки кактусам, опрыскивал цветы средством от тараканов и творил еще многое сверх того. Когда семья переехала в Израиль, Соня вновь завела себе оранжерею на подоконнике, а брат, соответственно, продолжил

свои издевательства над ее подопечными. В конце концов, Соня не выдержала и сбежала в интернат вместе со всеми своими растениями. Закончив курсы секретарш, она устроилась на работу в офис известного имиджмейкера. Ее босс страдал сатириазисом – точнее, наслаждался им – и воцарялся над всеми, кто оказывался в поле его зрения, но Соню он почему-то побаивался и ни разу даже не пригласил взглянуть на акварели Паганини, якобы развешенные у него по всему дому.

Вскоре она познакомилась с молодым человеком, приехавшим год назад из Америки. Звали его Джозеф Бента. Он был чернокожий, притом еврей и в придачу джазовый музыкант. Его хромосомы содержали самую невероятную смесь генов, доставшихся ему от разных интересных предков. По материнской линии там имелась бабушка – солистка оркестра Венской филармонии, польская еврейка, дочь местечкового раввина, любившая скрипку больше Торы, за что и была изгнана из родительского дома на улицу. На этой улице она встретила дедушку, известного гарлемского хулигана, а впоследствии – еще более известного саксофониста, игравшего несколько раз с Армстронгом. Отцовская линия была представлена бабушкой – венгерской цыганкой, чей табор уничтожили немцы под Бачальмашем, и дедушкой-китайцем, прямым потомком личного повара Фердинанда III, короля Германии, Чехии и Венгрии. Музыкальные способности Бенты, видимо, передались ему через поколение и со всех сторон, так как в его неповторимые, сладко терзающие душу импровизации через свинг и синкопы порой просачивались щемящие славянские мелодии в обрамлении жестоких цыганских арпеджио.

Мать Сони была против этой, как она говорила, международно-половой дружбы, хотя и воспитывалась в свое время в духе советского интернационализма и даже возглавляла при Доме пионеров кружок борьбы за права американских негров. Собственно, бороться за их права она была готова продолжать хоть сейчас, а вот на близкие отношения своей дочери с объектом борьбы – не готова. Поэтому домой Соня Бенту не приглашала. Они встречались или у него дома, или на улице, он водил ее в театры, и музеи они все исходили, благо в Израиле с этим проще, чем в Париже – где они, кстати, тоже побывали не раз. Но одно ее настораживало: он к ней за все время даже пальцем не прикоснулся, только задаривал цветами, завалил ими всю ее квартиру. Между тем, Бента ей очень нравился, и она не возражала бы ни против робких попыток поцеловать ее в начале знакомства, ни против самых что ни на есть домогательств впоследствии, но он – ни в какую. Такой джентльмен, что не дай Бог! Все подружки уже хвастались небываемыми ощущениями, а ей приходилось их придумывать, используя разного рода литературу, не всегда правильно подобранную. А однажды она приехала к нему, и дверь была не заперта, она вошла и случайно услышала, как он говорил с кем-то по телефону.

– Вы не понимаете... – голос его звучал взволнованно. – Я, безусловно, согласен, что люди чудовищны, что они не заслуживают... То есть, я к людям отношусь... как бы это сказать... легитимно, что ли, но о сексе с чело-

веком не могу подумать без содрогания. А растения чисты, они не нарушают никаких нравственных норм, ими же самими, кстати, и придуманных...

На этом месте Соня, не дослушав, тихонько ушла и впоследствии ни единым намеком не дала ему понять, что заходила в тот день и слышала этот разговор. Про себя она решила, что Бента – это ходячее воплощение целомудрия, посланное ей в награду за ее добродетель. Почему-то это ее не обрадовало так, как должно было бы. Целомудрия ей уже не хотелось, а хотелось совершенно противоположного. Она ставила возле кровати цветы и воображала за ними его лицо, полускрытое букетом. Постепенно она стала замечать, что ей все больше и больше не хватает не самого Бенты, а именно цветов. Тогда она стала их себе покупать сама. А когда Бента уехал обратно в Америку, не найдя себе в Израиле достойного применения, Соня окончательно пошла по рукам, точнее – по цветам, хотя в человеческом плане чувствовала себя совершенно одинокой, пока случайно не познакомилась с Севой во время экскурсии в цветущую пустыню Негев.

Сева приехал из Ленинграда. После окончания школы и юридического факультета он пошел работать в органы внутренних дел, так как с детства отличался обостренным чувством справедливости и твердым убеждением, что именно там, в органах, эта справедливость и куется. Было в нем что-то от Дон-Кихота, и, хотя внешне невысокий светловолосый Сева никак не походил на знаменитого идадьго, внутреннее их сходство усиливалось тем, что Сева всерьез увлекался ролевыми играми, и персонаж Сервантеса занимался тем же самым, только с гораздо большим фанатизмом. Севино донкихотство однажды чуть не сослужило ему дурную службу. Еще будучи студентом, он повадился выходить вечерами на улицу и искать там обиженных. Он, видите ли, желал вступить за них и наказать их обидчиков, благо имел первый разряд по боксу и второй по дзюдо. Две недели прошли в бесплодных поисках: обиженные все никак не попадались, а может, и попадались, но умело скрывали свои обиды от посторонних глаз и тщательно избегали звать на помощь. Наконец, Сева, у которого справедливость в груди уже бурлила и требовала выхода, прямо подошел в одном из переулков к какому-то парню, озирающемуся с озабоченным видом, и спросил, не боится ли тот чего или кого, и не может ли он, Сева, ему чем-либо помочь. Парень внимательно оглядел Севину очкастую интеллигентскую внешность и сказал, что да, боится. Он тут, значит, как раз снял с нескольких машин аккумуляторы и спрятал в подворотне, а теперь боится, что не сможет в одиночку дотащить их до дома – они, падлы, тяжелые, а нести далеко. А за помощь он готов расплатиться любым аккумулятором на выбор. Сева, разочарованный таким непредвиденным результатом своего благого порыва, грустно набил парню морду, и, выяснив, с каких машин сняты аккумуляторы, взял их и пошел разносить по этим машинам. Тут показался милицейский «уазик». У Севы хватило ума адекватно оценить ситуацию и удрать через проходной двор. На этом его благотворительная деятельность закончилась. Взамен он увлекся электроникой, живописью и женщинами, что не помешало ему за-

кончить университет с красным дипломом и попасть по распределению в следственный отдел Управления внутренних дел.

Однажды в город приехал с концертами известный итальянский дирижер. Год назад он уже гастролировал в Ленинграде, и тогда от швейцара «Интуриста» поступила информация, что кто-то пришел к дирижеру в его «люкс» на десятом этаже. В надежде, что дирижер может оказаться шпионом, международным валютным спекулянтом или хотя бы наркодилером, за «люксом» срочно установили слежку, а также включили микрофоны и скрытую камеру, предусмотрительно установленные во всех номерах отеля еще при его строительстве. Прослушка ничего не дала, так как маэстро постоянно гонял в комнате джаз на полную мощность. Увидеть что-либо тоже оказалось невозможным: камера все время показывала крупным планом подкладку пиджака с надписью «Ot Versache». А визави дирижера, едва выйдя из номера, непонятным образом испарился, чем кровно обидел двух оперативников, которые, получается, напрасно мыли два часа пол в коридоре на десятом этаже и таки вымыли его на совесть. Зато ко второму приезду дирижера органы подготовились как следует. В оперативную группу попал и Сева, благодаря своему внешнему сходству с маэстро. Сумели засечь телефонный разговор дирижера, когда он договаривался с кем-то о встрече, и подослали к нему спецagenta Люську Горгону. Люська, роскошно одетая, в бриллиантах, представилась внебрачной дочерью Ростроповича, пригласила маэстро в свой номер и всыпала ему в вино быстродействующего снотворного, после чего в его «люкс» был запущен Сева, загримированный под дирижера. Контакт пришел в назначенное время, но оказался не резидентом западной разведки и даже не представителем уголовного мира, а всего лишь любовником маэстро. Маэстро, как выяснилось, был пассивным гомосексуалистом, но почему-то не афишировал этого на весь мир – очевидно, не обладал коммерческим мышлением. Раскрываться Севе было запрещено при любых обстоятельствах, поэтому ему пришлось доиграть свою роль до конца. Домой он добрался почти утром и с большим трудом, так как избранник дирижера – бывший солист, между прочим, Мариинской оперы – будучи натурой в высшей степени творческой, обнаружил неумное сладострастие, безудержную фантазию и склонность к садомазо. За эту операцию Сева получил благодарность министра, месяц отпуска в Сочи и курс реабилитации у лучшего ленинградского психолога, убежденного последователя Зигмунда Фрейда. Психолог действительно оказался асом: в течение месяца у Севы полностью пропал страх перед мужчинами. А заодно – очевидно, вследствие какого-то побочного эффекта – и интерес к женщинам. Вместо этого Сева начал вовсе увиваться за сиренью и жимолостью, не гнушаясь также вербой и черемухой. Из органов он ушел и профессионально занялся тем, что до сих пор было его увлечением – конструированием разных электронных проборов. А еще через год уехал в Израиль по причинам, скорее всего, экономическим, так как сионизмом в острой форме не страдал и вообще был евреем лишь в той минимальной степени, какая необходима для получения гражданства, – по деду.

– По-моему, с Достоевским – это все же была шутка, – неуверенно сказала Соня.

– Слишком дурацкая для шутки, – возразил Сева.

– Слишком дурацких шуток не бывает, – заметил Эдик.

– То есть как?

– А так. Чувство юмора не имеет границ. К сожалению.

– Но есть же общепризнанные поводы для смеха, – не сдавался Сева.

– Кем общепризнанные? – поднял бровь Эдик.

– Ну... всеми людьми, что ли. Традиционные темы анекдотов, например. Муж пришел домой, а любовник в шкафу. И так далее...

– Ладно, давай поговорим об общепризнанном, – неторопливо произнес Эдик тоном лектора-просветителя с почасовой оплатой. – Как ты считаешь, музыка Бетховена представляет собой общепризнанную ценность?

– Конечно.

– И ты возьмешься убедить в этом марокканцев, которые живут напротив? Или музыкального редактора телеканала «Эль-Арабия»?

– Пожалуй, воздержусь.

– Охотно верю. И так же точно обстоит дело с юмором. Есть, конечно, какие-то шутки, над которыми смеются большинство примитивно мыслящих людей всех культур, но эти шутки, как правило, сами грубы и примитивны. Что-нибудь об упавшем на голову кирпиче или внезапной диарее... до чего, кстати, красивое слово, а означает всего лишь понос. А юмор более высокого уровня у каждого народа свой. Так же как и одежда, кухня, секс, пытки и многое другое. Вот тебе, к примеру, настоящий японский анекдот: самурай задолжал в лавке мяснику и булочнику. Денег нет, долг вернуть нечем. Пришел он в лавку булочника и в погашение долга совершил сэппуку. Но живот разрезал не до конца, а до половины... Булочник спрашивает: «А почему не до конца?» Самурай отвечает: «Я еще мяснику должен, пойду у него дорежу». Ну, как?

– М-да... впечатляет.

– Поехали дальше. Недавно в Германии вышла книга «Юмор народов мира». Русский юмор там представлен – как вы думаете, чем? В жизни не догадаетесь: «Сказкой о рыбаке и рыбке».

– Здорово! – восхитился Толик. – Ай да Пушкин, ай да сукин кот!

– Сын, – автоматически поправил я.

– Чей сын? – не понял Толик.

– Сукин.

– Кто?

– Пушкин.

– Кто сказал?!

– Тоже Пушкин.

– А-а...

Соня фыркнула. Эдик терпеливо выждал, пока мы успокоимся.

– А вот анекдот, над которым смеются датчане, – невозмутимо продолжил он. – «Вы любите устрицы?» – «Да, с красной капустой». – «Я спросил: вы любите устрицы?» – «Да, с красной капустой». Это все.

В тишине, воцарившейся в ответ на этот образчик юмора, Эдик внимательно оглядел нас и удовлетворенно усмехнулся.

– Вот так. Можешь поверить мне, друг Сева: чувство юмора настолько индивидуально, что даже у людей, его лишенных, это отсутствие выглядит по-разному.

– А какой юмор у амо?

Вообще-то это был довольно бесцеремонный вопрос. Несмотря на то, что Эдик подробно описывал нам свое пребывание у амо, мы стараемся лишний раз не упоминать об этом, подозревая, что его чувство вины перед покинутым шаманом до конца не исчезло. Да еще в присутствии Лены, которая вообще никогда об амо не слышала. Короче говоря, такой вопрос мог задать только Толик.

– У амо? – удивился Эдик. – Действительно, как я мог забыть! У амо очень своеобразный юмор. Например, их очень веселит неправильное использование временных форм. Один из любимых анекдотов амо о том, как некто, говоря о завтрашней охоте, случайно употребляет форму несостоявшегося прошлого. Пока я не освоил всю эту грамматику, они за мной ходили толпами и потешались. Правда, обиды я не чувствовал. У них тому, над кем смеются, вообще не придет в голову обижаться. Напротив, он еще и гордится будет тем, что сумел развеселить других. Еще очень популярны эротические анекдоты о том, как кто-то перепутал во время ритуала мужскую и женскую стороны Элонхи.

Мы снова помолчали. Такое надо было переварить.

– А по-твоему? – спросила Лена.

– Что – по-моему?

– Что такое, по-твоему, чувство юмора?

– Чувство юмора – это способность находить в море правды крупинцы истины.

– Красиво отмахнулся. А как ты определяешь, есть оно у человека или нет?

– Как определяю? – задумался Эдик. Он уже успел нацепить на свое клоунское лицо постное выражение, способное обмануть любого, кто недостаточно хорошо его знал. – А очень просто. Вот представь себе такую картину: кому-то падает на ногу гиря весом десять килограмм. Смешно, да? – он строго посмотрел на Лену. Та пожала плечами.

– Смешно! – сурово отрезал Эдик, в котором явно пропадал комический актер. – Кому не смешно, тот может проваливать. А теперь представь, что кому-то другому на ногу падает гиря весом двадцать килограмм. Смешно?

– Ну, допустим...

– Так вот: для человека с подлинным чувством юмора второй случай ровно вдвое смешнее первого.

– Это если оно линейное, – скромно вставил Толик. – А если нелинейное, то только в полтора.

Лена прыснула, мы тоже. Лекция закончилась.

Дверь в Левину комнату была приоткрыта так, что виден был сам Лева, вольготно разметавшийся на простынях, и кадка с березой у изголовья кровати. Береза эта выглядит весьма необычно: ее ствол волнообразно изгибается, как тело китайского дракона. Я до сих пор не понимаю, как Лева удалось вырастить березу в таком климате. Он ежедневно возился с ней, чем-то поливал, что-то подсыпал и рывкал на всех, кто неосторожно оказывался в радиусе метра от нее. Сексапильная фигура березы явилась результатом поиска выхода из, казалось бы, безвыходной ситуации. Сразу после того, как Лева посадил ее, он стал задумываться о том, что будет, когда дерево дорастет до потолка и начнет пробиваться к соседям на второй этаж. Тут существовали два варианта: либо оно проломит перекрытие, либо – если местный бетон окажется достаточно прочным, чтобы выдержать напор заморского чуда, – не проломит и далее будет существовать в условиях тотальной несвободы. В первом случае следовало ожидать, что соседи, придя в себя, поступят вполне предсказуемо, а о втором Лева даже и думать не хотелось. Решение предложил Сева, за что ему Лева в знак благодарности пообещал целый месяц гладить рубашки и даже сгоряча заикнулся насчет стирки носков, но потом, очевидно, одумался и про носки забыл. Сева посоветовал закреплять кадку под углом к полу. Береза, стремясь расти навстречу силе тяжести (как и любое другое порядочное растение), изгибалась вверх в попытке обрести утраченное направление. Как только ее крона снова начинала смотреть в потолок, Лева наклонял кадку в другую сторону, и обманутому дереву ничего не оставалось, кроме как совершать очередной поворот к зениту.

На стене висят в рамке репродукции трех «Березовых рощ»: одной левитановской и двух куинджиевских. Я не видел картины более трогательной и одновременно более эротичной, чем «Березовая роща» Левитана. Юные, прекрасные в своей невинности молодые березки, их светящиеся на солнце стройные стволы, стыдливо ждущие объятий, раскрытые навстречу поцелуям кроны, листья, что-то шепчущие нежно, и трава, покрывшая землю высоким зеленым ковром, и одуванчики в ней, точно звезды. Обе «Березовые рощи» Куинджи тоже великолепны, хотя это уже почти порнография – настолько там все жарче, откровеннее, прозрачный воздух буквально пропитан вожделением, зрелые, все познавшие березы щедро демонстрируют свои прелести...

Будить Леву мне не хотелось, а вместо этого захотелось вкусить свежего воздуха непосредственно из земной атмосферы. Я прихватил со стола первую попавшуюся книжку, оказавшуюся сборником рассказов Акутагавы, и направился к выходу, по дороге размышляя о том, как хорошо, что я не живу здесь постоянно. Я прожил в этой квартире несколько месяцев, после чего понял, что больше не могу. Сейчас я провожу здесь выходные и

праздники, часто бываю после работы, иногда ночью – все что угодно, но формально я живу в другом месте. По-моему, жизнь и общение – это две разные вещи, и не надо их смешивать. Хотя так считают далеко не все: некоторым даже нравится такая помесь жилой квартиры с клубом.

В полутьме я немедленно споткнулся о какой-то предмет, при ближайшем рассмотрении оказавшийся атташе-кейсом Артура. Вот уж не думал, что Артур здесь появится в ближайшие пару месяцев. Последний его визит обернулся моральной и физической травмой. Решив в какой-то момент выпить виски со льдом, он открыл морозилку, чтобы достать лед, а оттуда прямо на него выпала мороженная акулья голова и вонзилась зубами Артура в руку. Голову эту купил Лева из соображений кулинарной экзотики; она лежала в морозилке и ждала, пока кто-нибудь с ней что-нибудь сделает, но никто из нас в точности не знал, как поступают с мороженной акульей головой. Вытащить Артурову руку из акульей пасти нам не удалось, так как ее длинные изогнутые зубы впились в плоть наподобие рыболовных крючков. Кончилось все тем, что Лева, как косвенный виновник случившегося, повез подвывающего от боли Артура вместе с акульей головой, уже начавшей оттаивать, в травматологию, где дежурный врач, рыдая от смеха, освободил тому руку и наложил швы. С тех пор Лева в своих кулинарных изысках стал поосторожнее. Впрочем, ненадолго: в последнее время он увлекся нетрадиционной кулинарией, раздобыл тайландскую поваренную книгу и стал притаскивать домой из каких-то малоизвестных деликатесных магазинчиков такие вещи, которые даже человек широких взглядов вряд ли назовет едой. Мы старались не подпускать Леву к приготовлению пищи. Когда он все же дорывался, все норовили улизнуть поест куда-нибудь в кафе или в ресторан, а те, кому не удавалось, стыдливо жарили себе яичницу, стараясь не замечать укоризненных взглядов оскорбленного в лучших чувствах повара. Эдик был единственным, кто иногда соглашался отведать Левиной стряпни, хотя и осведомлялся при этом с невинным любопытством, зачем Лева куда-то ездит и покупает там за бешеные деньги то, чего он мог бы сколько угодно наловить, не выходя из квартиры. После случая с акульей головой Эдик призвал Леву к бдительности и, в порядке предостережения, поведал историю, услышанную им от знакомого судебного механика.

Механик этот двенадцать лет плавал на исследовательском судне «Доктор Фауст». Какими конкретно исследованиями они занимались, он в точности не знал, но «Доктор Фауст» бороздил самые экзотические моря. У нашего механика и его закадычного друга радиста имелось хобби – местная кухня. В каждом порту, где швартовался их корабль, они разыскивали какой-нибудь ресторанчик, предназначенный не для туристов, а исключительно для местной публики, и требовали себе там что-нибудь супердупер-национальное. Они настолько закалились в этом нелегком для белого человека увлечении, что могли съесть все, что угодно, как бы оно ни выглядело и чем бы ни шевелило. Однажды, будучи в городе Минделу, что на

Островах Зеленого Мыса (ныне Республика Кабо-Верде), приятели зашли в подходящий ресторанчик и потребовали принести им самое что ни на есть фирменное блюдо местной кухни. Им принесли тарелку, на которой лежал большой лист вроде капустного, а по листу медленно полз здоровенный коричневый червяк, оставляя за собой блестящую дорожку слизи. Друзья переглянулись, потом один из них, вздохнул, пробормотал: «Ну, взялся за гуж...», – после чего ухватил червяка поперек туловища и разом откусил половину, а остальное хлебосольным жестом предложил сотрапезнику. Немедленно разразился жуткий скандал, в ходе которого выяснилось, что фирменное блюдо – это не сам червяк, а та полоска слизи, которую он выделяет при пользе. Ее и надо есть, а червяка есть не надо, поскольку червяк в ресторане всего один, стоит огромных денег, и на нем, в сущности, все это заведение и держится – точнее, держалось. Короче говоря, они съели шеф-повара. Пришлось одному из гурманов сбегать на судно, пока другой оставался в заложниках, и принести все их наличные деньги, к которым они добавили часы и разные другие мелкие ценности. После этого их довольно неохотно отпустили, порекомендовав на прощание никогда больше не соваться в этот ресторан, да и вообще в Минделу.

Внимательно выслушав эту историю, Лева тут же заторопился куда-то и вернулся через два часа с видом крайне разочарованным.

Возвращаясь к Артуру, хочу заметить, что фрукт он еще тот. Внешне он смахивает на перекормленного Иисуса Христа, хотя и без благородства черт последнего, и эту свою христообразность тщательно культивирует, не осознавая всей ее карикатурности. Сам себя он позиционирует как эстет (полный эстет, как говорит Эдик), а на самом деле он педоплантофил. Или плантопедофил, кому как больше нравится. Обожает саженьцы. Обожает только что проклюнувшуюся из земли травку. У себя на подоконнике в блюдечке с водой проращивает фасоль, и стоит появиться свежим росткам, как его из дома за уши не вытащишь. Занят, говорит, работой с молодежью, дети – ростки жизни. Не чуждается также садо-мазо, и хотя больше склонен к мазохизму, по поводу чего периодически навещает некое дерево с осиным гнездом в ветвях, присутствует в нем и определенная жестокость. Он может, например, с улыбкой наблюдать, как подстригают кусты в нашем дворе, в то время как остальных от этого зрелища просто воротит, а Соня однажды натурально в обморок упала. Хотя у нее, конечно, была особая причина: последние две недели она с этими кустами почти не расставалась. Есть у Артура и другие малосимпатичные качества. Например, деньги, взятые в долг, он возвращает редко, неохотно и не тем, у кого брал. Недавно он пережил двухнедельное увлечение пассивной некроплантофилей и всюду таскался с мешком угля, пачкая им окружающих. Хотя это, скорее, палеоплантофилия (надо Леву спросить, он у нас теоретик). А однажды сошелся с древесностружечной плитой, о чем я без содрогания даже подумать не могу. В общем, растленный он тип, этот Артур. И хам заодно. Его у нас недолюбливают и терпят, в основном, из соображений абст-

рактного гуманизма, чего он сам оценить не в состоянии. Однажды он, например, зная прекрасно, как строго мы блюдем нравственную чистоту, привел к нам здорового мрачного типа, оказавшегося любителем кораллов, причем крайне невежественным. Этот зоофил с пеной у рта доказывал принадлежность кораллов к растениям, хотя каждый школьник знает, что кораллы относятся к полипам, а полипы – это животные. В процессе доказательства он размахивал руками и порой задевал ими окружающих. В конце концов, мы объединенными усилиями выдворили Артурова протезе из квартиры. С ним ушла толстая Марина; она жила в комнате, куда потом поселился Толик, но в квартире появлялась редко, поскольку целые дни проводила на какой-то одной ей известной клумбе, опыляя цветы и закатывая им сцены по поводу каждой севшей на них пчелы или бабочки.

С другой стороны, надо отдать Артуру должное: он единственный из нас, кто сумел найти общий язык с компанией инсектофилов, живущих в соседнем доме, и убедить этих извращенцев не напускать свою саранчу на наш газон. А еще он сочиняет стихи, которые никому не показывает, кроме Севы, а Севе читает вслух и после каждого произведения дотошно выясняет его мнение. Сева, будучи человеком одновременно и честным, и деликатным, буквально разрывается между этими двумя несовместимыми качествами и вынужден всякий раз мучительно искать компромисс. (О Севиной интеллигентской рефлексии лучше всего свидетельствует следующая история. Когда началась первая заливная война – я имею в виду войну в Персидском заливе, – на Израиль стали падать иракские скады, сопровождаемые угрозами Саддама затопить Иерусалим газом. Первый обстрел произошел глубокой ночью. Сева позвонил его приятель с целью разбудить, поскольку знал, что в препоганом иерусалимском районе Катамоны, где жил тогда Сева, сирена воздушной тревоги была практически не слышна, в отличие от завываний муэдзина из соседней арабской деревни. Заспанный Севин голос пробурчал: «Алло». Приятель заорал в трубку: «Воздушная тревога! Ракета летит! Быстро надевай противогаз!» Секунд пять ушло у Севы на то, чтобы осмыслить услышанное, после чего он вежливо ответил: «Понятно. А вообще, как дела?») Однажды я оказался невольным свидетелем подобного разговора, происходившего в Севиной комнате, где Артур обычно спит, когда остается ночевать. Я поливал ночные цветы в темном коридоре и случайно услышал их через приоткрытую дверь. Артур декламировал с выражением:

Мне пришлось из России уехать,
Чтобы сразу в Израиль приехать.
Чтобы все позабыть,
Чтобы счастливым быть,
Чтоб лицо свое в море умыть.

– Ну, как тебе? Только честно!

– Понимаешь... – забубнил Сева (он всегда бубнит, когда чувствует себя неловко), – оно... как бы это выразиться... слегка недоработано. Шероховатости кое-где, рифма «уехать – приехать» не слишком удачная... э-э-э... слово «чтобы» четыре раза...

– Да хер с ним, это все технические мелочи, это я потом доделаю. А вообще – как?

– Ну, как тебе сказать... идея, в принципе, не новая... несколько вторичная...

– Да хер с ней, с идеей, идею я потом доработаю. Ты скажи, как вообще?

– Ну... там ошибки... ударение в слове «счастливым»...

– Да что ты к ошибкам цепляешься! Ошибки я потом исправлю. Ты скажи, как тебе стихи вообще? Понимаешь? Вообще!

– Вообще – хорошо. Гражданская, так сказать, лирика...

– Правда – хорошо?

Пауза. Решительный голос Севы:

– Правда.

Артур заметно повеселел:

– Я знал, что тебе понравится. А вот еще. Деревенская, так сказать, лирика...

К счастью, в этот момент я вспомнил, что подслушивать нехорошо.

8

Лестничная наша клетка напоминает лестничные клетки старых московских и ленинградских домов: на ней всегда горит свет, а между первым и вторым этажами даже имеется подоконник, достаточно широкий, чтобы разложить на нем выпивку и закуску, и достаточно длинный, чтобы разместиться возле него троим. Что и делают регулярно какие-то тихие личности, не сумевшие, видимо, до конца освободиться от призраков прошлого. Их самих никто никогда не видел, лишь следы ночных трапез свидетельствуют об их посещениях. Первые три месяца следы были строго выдержанными: бутылка из-под водки «Русская» и банка из-под бычков в томате. Позже ассортимент несколько расширился в пользу полукопченой колбасы. В последнее время эти таинственные посетители, судя по всему, претерпели некую психологическую или финансовую, а то и – кто знает! – национальную метаморфозу, поскольку уже несколько раз мы обнаруживали на подоконнике тарелочки с засохшими остатками суши, в которые были воткнуты палочки для еды, и бутылки из-под сакэ. А вчера, видимо, здесь праздновался какой-то юбилей, так как в углу были сложены горкой пустые устричные раковины.

Я спустился вниз и заглянул в почтовый ящик. Там лежалдохлый таракан (когда-нибудь я поймаю эту скотину, что регулярно их туда подкладывает!), реклама магазина «Статуя свободы», торгующего женским бельем

больших размеров, и конверт. В конверте была записка от Жоржа и приглашение на свадьбу в следующий понедельник. Я вам еще не рассказывал о Жорже? О, Жорж – это наш, можно сказать, светоч, наше знамя и идеал. Истинный джентльмен: всегда в тройке, пенсне, безукоризненные манеры, не рыгает, с деревьями на «вы» – не хватает приличных слов описать все это великолепие! Вдобавок красив, как Байрон, хотя в нашей романтике по понятным причинам это не главное. И к тому же порядочен до отвращения. Но сейчас он, похоже, слегка перегнул. После всего, что у него было с этой дубовой колодой, о которой мы столько слышали, но пока не имели счастья лицезреть, он, видите ли, обязан на ней жениться. Ладно, пусть женится, если ему приспичило, но будь я проклят, если появлюсь на этой свадьбе. Кричать горько, знакомиться с тухлявыми «родителями невесты», которых он притащит с ближайшего дровяного склада, – все это не для меня. Хотя поздравить, конечно, поздравлю и даже подарок подарю. Вообще-то мы все Жоржа очень любим, несмотря на то, что его иногда заносит. Непонятно только, когда это он успел с предыдущей развестись? Такая была идиллия – и нате вам! Может, лишние годовые кольца обнаружились, ранее замаскированные? Или выяснилось, что на ней раньше мясо рубили? Впрочем, это уже не мое дело.

Решив вдохнуть, наконец, порцию утреннего воздуха, смешанного, как утверждают знатоки, с праной, я вышел из подъезда. Розовоперстая Эос уже уступила место сияющему Фебу, чья золотая колесница тронулась в свой каждодневный путь среди звезд – то есть, говоря человеческим языком, рассвело. Послышалось шуршание шин. Возле меня мягко притормозил серебристый «ягуар». Переднее стекло опустилось, Гиви протянул мне для пожатия волосатую длань, украшенную перстнем с огромным рубином, подмигнул и со словами «Прости, дорогой, дэла, мимо проезжал, огурцы там мои полей, да?» нажал на газ и исчез, так быстро, что я даже не успел задать ему традиционный вопрос: «Гиви, ты любишь помидоры?» и выслушать традиционный же ответ: «Кушать – да, а так – нэт». В нашем контексте этот бородатый анекдот приобретал особый смысл. И хотя на самом деле Гиви помидоров не кушал, в остальном он отвечал чистейшую правду: «так» Гиви любил только огурцы. Познакомились мы с ним совершенно случайно. Да иначе и быть не могло: наша жизнь протекала в слишком разных социальных сферах: средний класс, к которому относимся мы, не считая внеклассового Толика, и высший, к которому принадлежит Гиви. Кстати, сам он называет его первым и говорит на эту тему не иначе как с иронией: «Я живу в первом классе, перейти во второй ума нэ хватает». Знакомство началось с того, что однажды на светофоре он въехал на своем тогдашнем «кадиллаке» в зад Левиной «сузуки». Пока они с Левой обменивались данными страховых полисов, тот случайно заметил в «кадиллаке» несколько ящиков с огурцами. Интересно, спросил Лева, неужели обладатели таких машин сами ездят в таких костюмах за огурцами в магазин, хотя их час наверняка стоит дороже, чем вся дневная выручка этого магазина? В ответ Гиви хмык-

нул и сказал, что его час стоит дороже, чем весь магазин, но, к несчастью – или, скорее, к счастью, – именно это дело он не может поручить никому другому. В тот момент у Левы и забрезжила догадка, которая сейчас же и подтвердилась. Гиви внезапно почувствовал необъяснимое расположение к Ле- ве и рассказал ему то, что всю жизнь тщательно скрывал от других. В ответ Лева рассказал ему о квартире на улице Файерберг. Кончилось все тем, что они поехали туда и пристроили огурцы в Левиной комнате, а ящики с огуречной рассадой, которыми оказался набит багажник «кадиллака», на балконе. С тех пор Гиви изредка отрывает час-другой от своего многомиллионного бизнеса (он занимается бриллиантами, электроникой и еще чем-то, не менее прибыльным), чтобы заскочить в наш, как он выражался, дом свиданий. По кавказским меркам и даже по европейским, он человек весьма спокойный. Правда, звереет при виде соленых огурцов, но здесь его можно понять. У него, единственного из нас, есть семья: жена и две дочери. У них тяжелая жизнь, все время в разъездах – месяц в Париже, месяц в Лондоне, два во Флориде, три на Багамах и так далее.

На газоне, расположенном за домом, стояло старое продавленное плюшевое кресло, о которое постоянно точили когти все местные коты. Кресло было невероятно драным и столь же удобным. Я забрался в него, закурил и раскрыл наугад Акутагаву. Почему-то каждому, кто знакомится с нашей компанией, кажется, что мы должны прямо-таки зачитываться книгами и журналами по ботанике, где цветные фотографии и все такое прочее. И дро- чить на какой-нибудь там эдельвейс альпийский. А на самом деле почти ни- кому из нас подобная литература удовольствия не доставляет. Все равно что рассматривать анатомический атлас от большой любви к женщинам. Чи- таем мы то же, что и все нормальные люди. А особые пристрастия – что ж, они есть у каждого. Соня, например, очень любит сказку Аксакова «Алень- кий цветочек», хотя и не может читать ее без слез, особенно то место, где ужасное чудовище, дочка купца, сломала прелестный цветок, который вы- ращивало одно очень симпатичное и доброе существо. Я предпочитаю эро- тические стихи, в особенности стихотворение в прозе Тургенева «Как хоро- ши, как свежи были розы». А песня моя любимая – это романс «Расцвели уж давно хризантемы в саду...». Там, правда, «отцвели», но я переделал, чтобы было не так грустно. Лева, когда засиживается в туалете, на опреде- ленной стадии начинает жалобно подвывать: «Белая береза под моим ок- ном...» Есть еще «Красные маки», когда-то была очень популярна. Ее не только мы любим: одна парочка наркоманов в соседнем доме крутит ее це- лыми днями. Разница только в том, что мы под нее мечтаем, а они торчат. А от песни «Миллион алых роз» – кстати, довольно пошлой – все наши друж- но испытывают душевный – и не только – подъем. Кроме Гены, конечно. Ге- на – это такой двухметровый шкаф с широченными плечами, и вкус имеет соответствующий: обожает деревья постарше, потолще и покряжистей, причем меняет их чуть ли не ежедневно, за что получил прозвище Баобаб- ник, коим по праву и гордится. Одно время он даже в ботанический сад хо-

дил, а там такие деревья, что пробу негде ставить, и пару раз ему потом приходилось лечиться от какой-то гадости и выводить у себя лобковых тлей. При этом он ревнив как турок и срубил за измену уже несколько эвкалиптов. Цветочками он не интересуется. Читает Гена много – правда, исключительно «Отелло», и ничего кроме него. Он знает его наизусть и цитирует в хвост и в гриву, но все равно постоянно перечитывает. Других писателей он не признает, равно как и других произведений Шекспира. Его голубая мечта – накопить денег и лично навестить несколько деревьев-рекордсменов, список которых, распечатанный из интернета, он постоянно таскает с собой и всем показывает. Список выглядит следующим образом:

1. Самое большое дерево: Секвойядендрон гигантский, или мамонтовое дерево (*Sequoiadendron giganteum*). США, Калифорния. Высота 83 м, окружность 24 м;

2. Самое высокое дерево: Секвойя вечнозеленая (*Sequoia sempervirens*). США, Калифорния. Высота 110,3 м;

3. Самое старое дерево: Сосна остистая (*Pinus aristata*). США, штат Невада, в горах на высоте 3275 м, возраст – 4900 лет;

4. Самое толстое дерево: Каштан посевной (*Castanea sativa*). Сицилия. Окружность пяти сросшихся стволов 64,2 м, возраст 3600–4000 лет.

Всякий раз, когда Гена заглядывает в этот перечень – очевидно, проверяя, все ли на месте, – синие глаза его затуманиваются, а на вытесанном из гранита лице появляется какое-то беззащитное выражение, которое ни в коем случае не следует принимать за чистую монету. Возвращаясь к песням, могу лишь добавить, что любимая песня Гены та же, что и моя: «Я спросил у ясеня». Я готов слушать ее целыми днями... только труба мешает... и дождь идет... и высится замок...

Очнулся я от укуса в шею, исполненного то ли комаром, то ли еще кем-то маленьким, но подлым. Сигарета давно догорела, успев прожечь очередную дырочку в поролоне подлокотника. Акутагава валялся на траве. Я понял, что выспаться мне сегодня, пожалуй, не светит. По крайней мере, пока Эдик не ляжет и не начнет сам смотреть свои жуткие сны. Затем мне захотелось глотнуть пивка. Я выбрался из кресла и дошел до лавки, что на перекрестке улиц Файерберг и Шенкин, поздоровался с хозяином, взял из холодильника три банки «Мартенса» и с виноватым видом выложил на прилавок стошечелевую купюру. Хозяин долго шарил в кассе, потом вывалил мне в руку гору мелочи, которая мне была совершенно не нужна, а ему, напротив, нужна, но другой сдачи у него не нашлось. Неплохо бы, подумал я, ввести в обращение отрицательные денежные купюры. Скажем, накупил ты на восемьдесят шекелей, а у него нет сдачи с сотни – никаких проблем: кладешь свою сотню, добавляешь бумажку в минус двадцать шекелей – и в расчете.

Одну банку я прикончил тут же за столиком, две взял с собой. Интересно, что пиво порой оказывает на людей непредвиденное действие. Обычно полагают (и вполне справедливо), что пиво в больших количествах вызы-

вает меланхолию и сонливость и слабо располагает к необдуманным поступкам с сомнительными последствиями. Чаще всего это так и есть. Но иногда получается наоборот, особенно если одним из собутыльников является Эдик, настроенный как следует поразвлечься.

Помню, однажды в Мюнхене мы с Эдиком сидели в «Хофбрау» – знаменитом мюнхенском «биргартене», пивной таких размеров, что ее следовало бы нанести если не на глобус, то уж, по крайней мере, на карту Европы. Внутри стоял сдержанный шумовой фон, состоящий из полузадохшейся музыки, множества негромких, необязательных голосов и звона кружек, и витал дивный запах пива и копченого мяса, от которого мгновенно появлялась зверская жажда и соответствующий аппетит. Немцы и немцы в количестве, пригодном для заселения небольшого княжества, чинно сидели за длинными деревянными столами, пили пиво и ели сосиски и свиные ребрышки. Никто не приставал к соседям, никто не лежал головой в тарелке, никто не пытался начать пивной или еще какой-нибудь путч. Время от времени какой-нибудь из посетителей флегматично поднимался со скамьи и бережно нес свое переполненное жидкостью туловище в дальний конец зала, скрывающийся во влажном полумраке, а может, и вообще за горизонтом. Я приканчивал вторую литровую кружку одноименного с заведением напитка под сосисочное ассорти и уже поглядывал в сторону третьей. Нашим соседом за длинным деревянным столом оказался мужчина лет сорока в зеленом костюме и ярко-розовом галстуке. Внешне он не очень вязался с окружающей обстановкой, но пиво пил умело, демонстрируя сноровку и опыт. Элегантным глотком опустошив кружку, где еще оставалась добрая половина, и потянувшись за следующей, незнакомец, будто продолжая прерванный разговор, произнес на чистом русском языке:

– И все-таки не понимаю я немцев. Шестой год живу тут и до сих пор не понимаю. Вот как, по-вашему: в двадцать четвертом – или когда все это началось – пива здесь тоже было хоть залейся? И сосисок, и всего остального?

Он изящно промокнул губы салфеткой.

– Полагаю, что да, – не слишком уверенно ответил я. – Не доводилось мне слышать, чтобы в Германии когда-либо с пивом бывали перебои.

– Тогда какого черта, спрашивается, они тут пивные путчи устраивали? По-моему, для пивного путча может быть только одна причина: табличка «Пива нет». Тут и я бы, пожалуй, поучаствовал. А на немецком языке даже таблички такой, наверное, не существует.

– Табличку сделать не проблема, – сказал Эдик. – Табличка – это некая условность, сигнал к началу. А сигнал ведь не есть причина. Сражение хоть и начинается после того, как сыграла труба, но не потому, что сыграла труба. Все зависит от субъекта. Скажем, для вас наличие пива и сосисок гарантирует то, что вам не захочется совершать асоциальные поступки – за что я, кстати, вам весьма благодарен, – а кому-то этого недостаточно: ему к сосискам надо еще чего-нибудь – например, власти. И это уже причина для

путча. А если причина имеется, то и надпись «Мойте руки перед едой» может послужить сигналом.

– Да, пожалуй, – усмехнулся незнакомец. – Кстати, вам как приедем я бы рекомендовал оставить это мероприятие – я имею в виду пиво – на вечер.

– А что, вечером тут лучше?

– Не в том дело. Просто вы захотите потом еще по Мюнхену погулять, тем более что тут есть на что посмотреть. А такое количество пива существенно меняет систему ценностей. К архитектуре, например, возникает чисто утилитарное отношение: ах, какое здание красивое, поздняя готика, а вот интересно, есть в нем туалет? И чем дальше, тем все меньше обращаешь внимание на эстетику и стиль, а все больше на комплектацию. И вдобавок почему-то сентиментальным становишься.

Мне так живо представилась эта ситуация, что немедленно захотелось в туалет. А когда я вернулся, тема разговора уже поменялась.

– ...хотите сказать, – вопрошал Эдика сосед, – что если сейчас кто-то вдруг перевернет вам на голову кружку с пивом, это будет смешно?

– Конечно, – отвечал Эдик. – Не мне смешно, так другим. Вам, например. А вот если уже и пиво на голову никому не смешно, тогда дело плохо. Либо война, либо чума, либо просто конец света.

– А вашему приятелю, по-вашему, тоже будет смешно?

– Насколько я его знаю, будет. Причем произвольно. Ему и неудобно будет смеяться – все же его друга облили, – но все равно не сдержится. Не верите – можете убедиться на опыте.

– Как именно? Опрокинуть вам на голову кружку с пивом?

– Ну, зачем же так буквально? Вон сколько людей вокруг. Выберите кого-нибудь посимпатичнее.

– Ну да. А он вызовет полицию, и нас арестуют за нарушение общественного порядка.

– Ничего. Исследователь должен быть смелым и решительным и уж тем более не отступать перед мелкими трудностями. Действуйте! Вон через два стола сидит почтенная бургерская семья: папа, мама и сын с дочкой. Подойдите к ним и облейте папу пивом. Его же собственным. А я буду фиксировать реакцию окружающих, в частности, его семьи. Давайте, не стесняйтесь. Только молча, чтобы вышло как можно более неожиданно.

– А почему я? Вот вы и облейте.

– Потому, что вы местный и владеете немецким. Возможно, потом потребуется дать объяснения. А я по-немецки, кроме нескольких слов на идише, знаю только «хенде хох» и «Гитлер капут».

Казалось бы, нормальный человек на этом месте должен рассмеяться, в шутку назвать Эдика провокатором и рассказать анекдот в тему. А наш сосед вдруг встал, поправил свой чудовищный галстук, подошел к указанному столику, поднял полную литровую кружку пива и деловито опрокинул ее на голову толстому главе семьи. Пиво потекло у того по волосам, по лицу, по ушам, на одежду – сцена была достойна чаплинского фильма. Немец

остолбенел и, судорожно подвигав челюстью, издал звук вроде «Ы-ы-й?...» Его супруга вытаращила глаза и превратилась в соляной столб, чем несколько подпортила стройную Эдикову концепцию. Зато дети не подвели. На мгновение замерев, они тут же закатились безудержным хохотом, хотя глаза у них при этом были испуганные, как у комнатной собачонки, которую забыли вывести, — знает, что на ковре нельзя, но терпеть больше не в состоянии. А сосед наш поставил пустую кружку на стол и неторопливо вернулся на свое место. Через пять минут на крики пострадавшего пришло официальное лицо в наглаженной униформе, но у Эдика на этот случай, очевидно, был заготовлен какой-то трюк, поскольку ни посетители, ни полицейский не обратили на нас троих ни малейшего внимания, как будто нас тут и не было вовсе. Официант нас тоже не замечал, поэтому все наши усилия заплатить за пиво и сосиски оказались тщетными, хотя мы честно пытались, чем я до сих пор горжусь. А незнакомец, некоторое время просидев с видом крайне озадаченным и слегка испуганным, вдруг молча встал и быстро, не оглядываясь, ушел. Больше мы его не видели.

9

На кухне сидели все те же и все так же. Блинов уже не было, и Эдик выглядел умиротворенным. Лена, закутавшись в полутень, рассеянно следила оттуда за Севиными манипуляциями. Толик бережно протирал вазу эпохи Мин белой тряпочкой с синими буквами, подозрительно напоминающей мои новые, ни разу еще не надеванные фирменные адидасовские носки. Соня разливала густой пахучий чай — напиток, употребляя который, мы всегда ощущали известную неловкость, на мой взгляд, излишнюю: табак, например, тоже растение, так что ж теперь — не курить? Телевизор по-прежнему работал без звука. На экране давешний старик или другой, похожий на него как две капли воды, сидел возле костра, над которым висел большой котел, и неторопливо вещал в подставленный микрофон. Перевод внизу экрана гласил: «Вот как градусов станет сто, так вода и закипит. Это у нас уже спокон веку так — и при отцах наших было, и при дедах, и мы тоже ничего менять не собираемся». Я поставил пиво на стол и плюхнулся на диван.

— Благородный юноша, — торжественно произнес Эдик. — Ты спас нас от жажды. Проси чего хочешь. Остерегаясь, конечно, выходить за пределы нашего альтруизма.

— Не извольте беспокоиться, — ответил я. — Лучше умереть поздно, чем никогда.

Толик критически оглядел вазу, спрятал мой носок в карман халата и туманно изрек:

— Смерть не страшна, с ней не раз он встречался в степи.

Сева закончил ковыряться в приборе и осторожно вставил его в розетку. Оттуда раздался треск и полетели искры. Свет на кухне погас.

– Отлично! – с чувством сказал Сева и подергал прибор. Тот не поддавался. – Черт, приварило искрой.

– Я когда-то видел мультфильм «Бытовой электросекс», – задумчиво сообщил Эдик, наливая пиво в стакан. – Там были два персонажа: штепсель и электрическая розетка. Они весь фильм искрометно трахались, отчего во всем доме постоянно гас свет. Ты случайно не его продолжение сейчас снимаешь?

– Как-то я в Крыму познакомился с одним художником-мультипликатором, – Толик сладко потянулся, покосившись на Лену. – И была в нашей компании одна сдвинутая девица. Она к нему прицепилась: почему, дескать, в мультфильмах персонажи часто падают с каких-то там этажей, по ним машины ездят и так далее. Мол, им должно быть больно, и все такое. Мол, зрителям это травмирует психику, а детям – в особенности. Ну, он ее успокоил. Не волнуйся, говорит, наиболее сложные и опасные трюки выполняют дублеры. Мы их рисуем вместо основных персонажей. Она, кажется, поверила.

– Классная идея. Сева, ты, часом, не дублера главного героя собрал?

– Понимал бы что в технике. Этот прибор для тестирования розеток. Он прогнозирует замыкание с точностью до двух часов.

– У-у-у, а я-то думал – с точностью до секунды, – протянул Толик. – Втыкаешь его в розетку, и все. Замыкание. Вот как сейчас.

– Дубина ты, – констатировал Сева, видимо, забыв, что в нашем лексиконе это не является ругательством. Он вышел за дверь, пощелкал там, и через несколько секунд загорелся свет. – Стоеросовая, – уточнил он, вернувшись.

– Сам дрова, – охотно откликнулся Толик, не сводя глаз с Лены. – На работе ты тоже пробки жжешь?

Сева – человек чрезвычайно мирный, но вместе с тем он гений электротехники, и с этим нельзя не считаться. Однажды он купил себе ботинки. Через месяц у левого отвалилась подметка, и Сева пошел в магазин их менять. Владелец обувного магазина, толстый и волосатый иракский еврей, менять ботинки наотрез отказался, заявив, что при правильной эксплуатации ботинки не рвутся, а если это все же случилось, значит, он, Сева, не так ходит. Сева не стал качать права, а вернулся домой и целый вечер провозился у себя в комнате с какими-то микросхемами и проводочками. В результате он собрал маленькую пластиковую коробочку и на следующий день незаметно прикрепил ее у входа в магазин. С тех пор покупатели почти перестали туда заходить, и через месяц магазин закрылся.

Фирма, где работает Сева, занимается разработкой биометрических систем для автоматической идентификации людей. Одни системы устанавливаются в местах, где вход разрешен только по пропускам, и призваны заменить обычные магнитные карточки, которые, как уже выяснилось, довольно легко подделать. Системами другого типа предполагается оборудовать вокзалы, аэропорты и прочие общественные места с целью отлова разыскиваемых преступников и террористов.

– Тебе хи-хи, а у нас проблема на проблеме, – проворчал Сева, отдирая прибор от розетки.

– В чем проблемы-то? – поинтересовался Эдик.

– В распознавании. Казалось бы, мы все такие разные, такие индивидуальные. А вот поди объясни компьютеру, в чем эта разница. Мы для него, как для нас кузнечики. Первые сканеры с трудом шведа от эфиопа отличали. Теперь, конечно, приборы куда точнее стали: абрис лица, рисунок ушной раковины – это для них детский лепет. Сейчас учитывают десятки параметров. И при всем при том срабатывает такая штука в тридцати случаях из ста.

– Что, небось, накладные усы ее с толку сбивают?

– Ну, усы и борода для системы – ерунда... – тут Сева запнулся, удивленный своим внезапным вкладом в мировую поэзию, но быстро освоился и обвел нас взглядом, исполненным достоинства. – Различные конфигурации усов и бород есть в базе данных, и специальная программа их сама накладывает и убирает при сравнении. А вот конфета за щекой, например, искажает внешность так, что система пасует. Даже с помощью обычного грима можно ее обмануть. В результате мы вообще отказались от визуальной схемы.

– А если по составу мочи? Он ведь химически индивидуален, а? – спросил Эдик без тени улыбки.

– Точно! – обрадовался Толик. – Писаешь в баночку и предъявляешь на входе. А если групповой пропуск заказывали, то все делают в общую канистру. Класс!

– Уринографом мы тоже занимались, – после долгой паузы поведал Сева. – Наша группа его разрабатывала. На выставках демонстрировали, ажиотаж был полный. А покупать никто не хочет. Конечно, недостатки есть, кто спорит. Процесс идентификации, например, до четырех минут занимает, если у мужчин. А у женщин до семи.

Позади меня сдавленно хрюкнул Толик. Судя по отзвуку, прямо в вазу эпохи Мин.

– Послушай, а как же те системы, что уже существуют? – поинтересовалась Соня. – Ну, эти, которые определяют по отпечатку пальца или по рисунку сетчатки? У нас в фирме такая стоит.

– Устарели они, Сонечка. И ненадежные. Палец можно у кого надо отрезать, глаз можно вынуть, – Сева осторожно потрогал правый глаз. – А вот мы сейчас делаем такую штуку, которую обмануть невозможно. Ментограф. Опознает по ментограмме. Уже почти готов. Осталось с одной хреновенью разобраться, и будешь читать о нас в газетах.

– По ментограмме – это как? – спросил Толик.

– Ну, по излучению мозга.

– А он что, излучает?

– А как же. Излучает в электромагнитном диапазоне, только очень слабо (тут Эдик загадочно улыбнулся, и его длинный нос описал какую-то сложную кривую). Сам прибор похож на ящик с дыркой. Ты в эту дырку

думаешь, а специальный датчик считывает частоты излучения мозга. Как выяснилось, они строго индивидуальны. И запоминает их. Это и есть ментограмма. А когда потребуются тебя опознать, ты снова думаешь в дырку, а он сравнивает твою теперешнюю ментограмму с образцом, хранящимся в памяти. И если совпадет, то ты – это ты.

– А если не совпадет, то я – это не я. Понятно. А о чем надо в эту дырку думать?

– Вот это как раз и есть та самая хренотень. Оказывается, думать надо точно о том же самом и точно так же, как и при записи образца. В том же настроении, с тех же позиций. А у людей же все постоянно меняется. По крайней мере, настроение. И мы пока еще толком не знаем, что с этим делать. Хотя идеи кое-какие есть.

– Здорово! Значит, в кнессете, например, ваша штука не будет работать? У наших депутатов позиция меняется еще чаще, чем настроение. И выражение глаз тоже, в зависимости от того, под следствием он или еще нет.

– В кнессете своя специфика, это верно. Но безвыходных положений не бывает. Помнишь, я говорил, что один покупатель на уринограф все же нашлся.

Толик заржал как кентавр и уронил вазу. Эдик немислимим движением вывинтился из-за стола и подхватил ее у самого пола. У Сони тоже оказалась неплохая реакция: она успела ахнуть. Я выразил Эдику свое восхищение с помощью большого пальца правой руки, одновременно Толику – порицание с помощью среднего пальца левой, вышел из кухни, вернулся в свою комнату, сел к столу и стал думать. Мне было о чем подумать. Хотя бы о том, что Лена произвольно дернулась в сторону падающей вазы, как будто хотела поймать ее, но сдержалась. И все было бы ничего, если бы она не дернулась на полсекунды раньше, чем ваза начала падать.

Если бы такое проделал Эдик, я бы не слишком удивился, но в данном случае мои размышления быстро зашли в тупик. Я не знал, как именно следует думать о таких вещах, оставаясь при этом в границах реального, да и где проходят эти самые границы, я тоже представлял себе весьма приблизительно. Зато очень скоро понял, что, помимо только что случившегося, меня беспокоят еще два обстоятельства: откуда, черт возьми, я помню то, чего вчера не было, и куда, дьявол подери, девалось то, что вчера было? Я вдруг осознал, что понятия не имею, откуда здесь взялась Лена, а мои воспоминания о вчерашнем с ней знакомстве, судя по всему, ложные. Тут я pokrылся холодным потом и стал судорожно вспоминать.

В моей памяти это произошло в три часа дня. Она стояла на углу улиц Каплан и Леонардо да Винчи в центре Тель-Авива, неподалеку от двух с четвертью небоскребов Азриэли (небоскребов, естественно, по местным меркам), последний из которых если и достроят когда-нибудь, то, видимо, уже после Третьего Храма. Маленькая, стройная, светлые волосы до плеч, голубые огромные глаза, голубые джинсики с вышивкой, сверху что-то белое, облегающее, без рукавов. С ней был огромный букет бледно-розовых

гладиолусов. Букет выглядел на редкость одушевленным и самостоятельным: создавалось впечатление, что он с девушкой прогуливается на пару. Держала она его бережно, но цепко, переплетая тонкие пальцы с длинными стеблями. Медленно погружала лицо в ароматное пространство между покачивающимися чашечками, глаза полужакрыты, губы полуоткрыты... Она сама его себе купила, догадался я. Кстати, кто знает, откуда пошел обычай дарить женщинам цветы? Готов спорить, что никто. А у меня на этот счет есть кое-какие интересные идеи.

Я осторожно подошел поближе. У меня с собой была веточка вербы, которую только-только стали продавать в Израиле – буквально в нескольких магазинах, в качестве северной экзотики. Я начал покупать ее под впечатлением Севиного рассказа о том, как в России у него был с одной вербой бурный роман с клятвами и сценами ревности, закончившийся довольно печально: она ушла от него к другому и, по слухам, жаловалась ему на Севину якобы скупость и сексуальную неразборчивость. Тем не менее я часто ношу с собой веточку вербы, с которой, кстати, очень удобно быстренько перепихнуться в укромном месте, если приспичит. Так вот, я вытащил из кармана эту самую вербу и, поглаживая ее пушистой кисточкой щеку, приблизился к девушке и слегка поклонился.

– У вас прекрасный букет, – сказал я галантно. – И замечательный вкус.

– Спасибо. Вам правда нравится? – она подняла на меня глаза и едва заметное порозовела.

– Очень. Давно он у вас? Букет, я имею в виду.

– Уже часа два. Я его купила возле дома. Я не люблю гулять одна, без цветов.

– И где он, ваш дом?

– Там, – она указала в сторону улицы Ибн-Гвириоль. – Я как раз иду туда.

Нечего и говорить, что я увязался ее провожать. По дороге завязался разговор с шутками, намеками, прощупыванием, но я уже понимал, что она – наша. И она, судя по всему, тоже догадывалась, кто я.

Теперь, прокручивая в памяти эту встречу, я припомнил некоторые несообразности в окружающей обстановке: блеклые, как в старых фильмах, цвета, машины все как одна серые, почти нет людей вокруг, а те, что есть, застыли неподвижно, как манекены, одетые к тому же не по сезону тепло, солнце висит прямо над центром «Азриэли», где оно никогда не бывает, да и вся видимая панорама скорее двух-, нежели трехмерная. Интересно, как я этого всего тогда не заметил. Впрочем, когда «тогда»? Если это ложное воспоминание, иллюзия – значит, никакого «тогда» не было. Точнее, было, но совсем другое, а о том, что произошло со мной вчера на самом деле, я не имею ни малейшего представления, кто-то от меня это спрятал. А раз этот кто-то приложил такие усилия (не хотелось бы думать, что подобные вещи удаются кому-то без усилий), следовательно, вчера произошло что-то в высшей степени интересное. И после этого интересного у нас в квартире оказалась эта странная Лена. И все это вместе есть не что иное, как тща-

тельно продуманная комбинация по внедрению в нашу среду... кого? Кому, ради всего святого, потребовалось внедряться к нам таким диким способом? Полиции? ФСБ? Иранским шпионам? А главное, зачем? Полная чушь! И пахивает мистикой.

Тут я вспомнил, что по вопросам, связанным с мистикой, у меня есть к кому обратиться, и немного успокоился. Надо всего лишь пойти на кухню и вызвать Эдика под каким-нибудь предлогом.

10

В кухне было накурено и безлюдно. Телевизор работал, как бизнесмен – исключительно для себя. Шла передача под названием «А вот и мы!» В студии за столом сидела, смущаясь, молодая супружеская пара, репатрировавшаяся из Аргентины, а разбитной ведущий страстно доказывал им, что вся латиноамериканская культура зиждется на еврейской, и даже песня «Бесо ме мучо» в оригинале была написана на идише и называлась «Киш мир ин тухас». Я открыл окно. По квартире пронесся сквознячок. Дверь в Левину комнату приоткрылась с противным скрипом, и оттуда донесся разговор. Я подошел, вежливо постучал и, не дожидаясь приглашения, вошел.

Лева в полосатом халате возлежал на развороченной кровати в позе опытного римского патриция и разглагольствовал, поглаживая еще теплую со сна березовую дубинку. Лена скромно сидела на стуле, руки на коленях – прилежная ученица. Эдик устроился в низком широком кресле в своей любимой позе – костлявые колени едва не выше головы. Он коротко глянул на меня, повел носом в том смысле, что, мол, все в порядке, присаживайся, и снова уставился на Леву.

– ...тотальный оптимизм, как известно – признак дурака, – Лева произносил слова так, что за каждое хотелось подержаться. – Из этого многие делают неправильный вывод, что тотальный пессимизм – удел умных людей. Я лично не вижу достойных причин для перманентной грусти, кроме каких-то личных обстоятельств. Человек должен быть способен как на печаль, так и на радость, и ничего в этом плохого нет... Эдик, хорош дурью маяться! Отвернись, я по утрам не летаю!

Эдик довольно ухмыльнулся, но взгляд отвел.

– Э-э-э... о чем бишь я? – Лева пощелкал пальцами, ловя улетевшую мысль. – Ах, да. Беда в другом: как в печали, так и в радости, мы стремимся изменить окружающий нас мир. Разумеется, к лучшему – а как же еще? И не просто стремимся, а изменяем, каждый в своем понимании. Каждый из нас точно знает, чего в этом мире не хватает и каким он должен быть на самом деле. Вот таким, как сейчас, только без войн и комаров. Вот таким, как сейчас, только чтобы никто не болел и у меня был «мерседес». Вот таким, как сейчас, только чтобы Жанна ушла от Пьера ко мне. И так далее.

– Ты считаешь, что желание улучшить мир, сделать его более совершенным – это ненормально? – тихо спросила Лена.

– Это ужасно! Грех гордыни в его худшем проявлении. Мир, видите ли, несовершенен! А вдруг то, что мы имеем – это вообще единственный вариант? Или не единственный, но оптимальный? Трудно, конечно, поверить, что всего за шесть дней, за которые нам ни дома не построить, ни, тем более, дерева не вырастить, можно соорудить что-то приличное, но раз уж кто-то этот мир соорудил, то наверняка не для того, чтобы мы в нем что-то меняли. Да и нет никаких доказательств того, что мир вообще мог бы быть иным. А что, если совершенный мир физически невозможен? Если это так, то, подойдя к порогу совершенства, он должен либо взорваться, либо провалиться в черную дыру, либо еще каким-нибудь способом перейти из материальной формы в идеальную. Учитывая это, глупо так уж расстраиваться из-за каких-то недоделок, благодаря которым мы как раз и живем на свете.

– Ну, это пока предположение. А вдруг все не так уж и плохо? – благодушно осведомился Эдик.

– В каком смысле?

– В смысле, что совершенный мир все-таки может иметь физическую структуру. Пока ведь обратное не доказано.

Лева почесал спину концом дубинки.

– Допустим. Но даже в таком случае трудно предположить, что человек, являясь несовершенным творением, смог бы существовать в таком мире. И получается, что своим бытием мы обязаны именно ущербности мира. А это означает, что исправлять что-либо в нем опасно: можно ненароком сделать мир настолько хорошим, что нам в нем уже не будет места. Нас, возможно, наградят медалью за ударный труд, но посмертно. Впрочем, мы, хоть и считаем себя венцом творения, вряд ли способны что-то исправить, скорее – напакостить.

– И тем самым отдалить собственное уничтожение?

– И тем самым сделать мир слишком плохим для жизни. Другая сторона той же медали.

– Получается, что и улучшать нельзя и ухудшать нельзя?

– Конечно. Нельзя вообще ничего трогать. Иначе можно выйти за пределы своей компетенции и запустить какой-нибудь процесс, который потом не удастся остановить. Нельзя уподобляться ребенку, забравшемуся по чьему-то недосмотру на пульт управления атомного реактора и нажимающему там всякие кнопки. Вот изменим какую-нибудь мировую константу и получим такое, что и в страшном сне не приснится. Не исключено, кстати, что на эти грабли мы когда-то уже наступали. Кто знает, какова истинная причина Потопа.

– Ну, мировую константу изменить не так-то просто, – заявил Эдик таким тоном, как будто речь шла о некой трудоемкой, но вполне реальной задаче. – А что касается страшных снов, то, по-моему, ты их недооцениваешь.

Вот уж воистину, подумал я.

– Я их еще как дооцениваю, – хмуро сказал Лева. – Поскольку не далее, как позавчера... – он поежился и неодобрительно взглянул на Эдика, а тот

старательно потупился, как второклассник, застигнутый за надуванием презерватива. – В любом случае, я лично за глобальное соблюдение первой заповеди программиста: работает – не трогай.

– Так ведь трогают как раз те, кто считает, что не работает, – не унимался Эдик. – А считают так практически все. «И в печали и в радости» – твои слова?

– Мои, мои. Вот мы и вернулись на круги своя. Поэтому и печали и радости я предпочитаю меланхолию. Уж она-то не способствует излишней активности.

– Так же как и религия. Истинно верующий никогда не усомнится в том, что мир создан в наилучшем виде. И тем более не захочет исправлять его.

– Еще как хотят. А что такое, по-твоему, молитва? Господи, сделай то-то и то-то. И хоть бы кто-нибудь когда-нибудь попросил: «Господи, оставь все как есть!»

– Ну почему же? Один прямо так и попросил: «Остановись, мгновенье! Ты прекрасно».

– Видишь, всего один. Да и то после общения с дьяволом. А остальные только и знают – даруй одно, забери другое, помилуй этих, накажи тех...

– А мать, молящую о выздоровлении больного ребенка, ты тоже осуждаешь? А заложника, захваченного террористами?

– Нет, конечно. Как я могу осуждать тех, кто использует последнюю надежду спастись или спасти своих близких? Подобные молитвы к попыткам исправления мира не имеют никакого отношения. Я имел в виду других – тех, кто просит Господа привести мир в соответствие с его, просителя, вкусами, а не наоборот.

– Ну, это еще довольно осмотрительно с их стороны. Не сами ведь лезут кнопки нажимать, а обращаются к эксперту.

– Бывает, что и сами. Например, режут друг друга – кто во имя Божье, кто во славу Господню.

– Лева, – вдруг спросила Лена, – ты кем работаешь, если не секрет?

– Какой уж тут секрет. Химиком в косметической фирме. Духи всякие, кремы, помады.

– Ну и как же твоя работа укладывается в твою концепцию бездействия? Это что, разве не попытка улучшить мир?

– Попытка, конечно, – улыбнулся Лева, – но слабенькая. В пределах моей компетенции. Надеюсь, меня за нее простят. А от кнопочек я стараюсь держаться подальше. – Он погладил свою березовую дубинку.

– Да, – сказала Лена, – интересно вы тут рассуждаете. И часто у вас такие дискуссии бывают?

– Регулярно, – заверил я. – Особенно, когда наступает очередь господ философов подметать или мыть посуду. Вот тут-то самые дебаты и начинаются.

– Понятно. А хотите знать, как оно на самом деле?

– Что на самом деле?

– То, о чем ты говорил. Как соотносятся человек и мир. И для чего мы на самом деле существуем. Основной вопрос бытия, короче говоря.

– В смысле, твою версию? – снисходительно улыбнулся Лева.

– В смысле, да. Только не версию. И не мою.

Лева недоверчиво взглянул на Лену, потом ухмыльнулся и широко повел рукой, как бы приглашая всех желающих принять участие в шутовской дискуссии. Но Эдик внезапно стал очень серьезным. Казалось, они с Левою поменялись ролями. Лена встала со стула и опустилась на ковер, обняв руками колени. Я только сейчас заметил, что она невероятно пластична. Она будто перетекала из одной позы в другую.

– Дело в том, – начала Лена, сканируя нас поочередно своими прозрачными глазами, – что мир не был сотворен за шесть дней. Он вообще еще не сотворен до конца. За шесть дней был создан лишь прототип мира. Демо-версия. Как и любой опытный образец, его требовалось отладить, исправить ошибки, допущенные при проектировании. Для этого был создан специальный инструмент. Этот инструмент – человек.

– Всего лишь инструмент? – грустно усмехнулся Эдик. – Я что-то подобное предполагал.

– Увы! Не венец творения, не пуп земли и не соль Вселенной, а всего лишь инструмент.

– И что, игра стоила свеч? Устраивать всю эту эволюционную катавасию только из-за того, чтобы создать инструмент?

– Никакой эволюции не было. По крайней мере, в нашем понимании.

– А Дарвин?

– Дарвин ошибался. Как и многие другие великие ученые, чьими теориями мы на сегодняшний день пользуемся.

– Значит, они плохие инструменты?

– Не всегда. Инструмент, конечно, может получиться некачественным. Но из Чарльза Дарвина он как раз вышел отличный. Его задача заключалась в том, чтобы придумать и внедрить в головы теорию происхождения видов путем эволюции. И Дарвин с ней блестяще справился. Человечеству еще рано знать правду, поэтому ему подсунули дарвинизм.

– Значит, те теории, которые Дарвин опровергал, были верными? Почему тогда в свое время не позаботились об их искоренении?

– Нет, они тоже неверны. Правильная теория еще не создана. И, надеюсь, не будет создана. Потому что она чудовищно оскорбительна. Как для отдельного человека, так и для всего вида.

– Да уж! Судя по тому, что мы от тебя услышали, почетного для нас в такой теории мало.

– Это еще не все.

– Есть еще что-то? – насторожился Эдик.

– Есть. К сожалению.

– Расскажешь?

– Расскажу. Хотя особой радости вам эта информация не доставит.

– А какая доставит? Согласно Экклезиасту, степень печали пропорциональна уровню осведомленности.

– Экклезиаст многое понимал и еще больше чувствовал, – вздохнула Лена. – Ладно, поехали дальше. Человек, как мы уже знаем, это инструмент. Как любой инструмент, он обладает только теми качествами, которые требуются ему для выполнения своей работы. Ничего лишнего. Наш разум, которым мы так привыкли кичиться, – это всего лишь инстинкт, у которого заблокированы почти все чувства, кроме самых примитивных, необходимых для выживания и воспроизводства. Вместо них нам дали так называемое логическое мышление, чтобы мы могли рассчитывать, проектировать и выполнять другую черную работу. Наподобие компьютера. У компьютера ведь нет никаких чувств, но это не мешает нам использовать его для расчетов. А кое-кто считает, что даже помогает.

– А наука? – не выдержал Лева. – Ведь этот примитивный, как ты утверждаешь, разум смог изобрести науку!

– А что наука? Наука – это всего лишь один из способов познания мира, причем далеко не самый удобный. Перед тобой кладут здоровенное уравнение и говорят: «Смотри, это движение Земли вокруг Солнца». Ты смотришь, но ни Земли, ни Солнца там не видишь, одни лишь чернила да бумагу. А ведь есть еще интуитивный метод, и он гораздо эффективнее. Но людям практически недоступен. Так, по мелочам. Хотя он-то и есть самый древний, и все религиозные обряды, связанные с молитвами и прочими медитациями, основаны именно на нем. Кстати, механизм действия молитвы до сих пор не разгадан. А вот некоторые животные – те самые, которые произошли от человека (а вы что думали – наоборот?), – обладают чувствами в такой степени, какую мы даже представить себе не можем, и способны постигать мир на интуитивном уровне – то есть напрямую, а не через формулы, как мы.

Этот удар Лева перенес стойко. Или же просто не успел осознать, что является низшей ступенью эволюции по отношению к «некоторым животным». Во всяком случае, он горой стоял за разум:

– А как же музыка, живопись, литература, архитектура? Эти твои животные ни к чему такому неспособны!

– А зачем им все это? Искусство – это суррогат, бледная копия мира, оно нужно лишь тому, кто не в состоянии в полной мере любоваться оригиналом. Что же касается способности людей к художественному творчеству – никак, кстати, не связанной с разумом, – то она дана только немногим из нас и лишь потому, что с ее помощью удастся иногда значительно улучшить функциональные свойства отдельных экземпляров и целых групп. Что-то вроде смазки, чтобы инструменты не ржавели. И никого во Вселенной, кроме нас, наше творчество не интересует.

Лева выглядел озадаченным. Эдик был весь внимание. Я нервно хихикнул, но этого, к счастью, никто не заметил. Лена продолжала ровным голосом:

– Ты во многом прав, Лева. В совершенном мире человеку действитель-

но не найдется места. Хотя и не потому, что он физически неспособен в нем существовать. Просто когда он выполнит свою функцию, надобность в нем отпадет, и его ликвидируют. А в чем ты ошибаешься, так это в том, что человеку в интересах сохранения своего вида лучше не заниматься улучшением мира. Если инструмент – то есть человек – не станет выполнять то, для чего он был создан, его тоже ликвидируют, причем еще раньше, чем в первом случае. Заменят другим.

– Его – в смысле, всех нас?

– А все мы и есть один. Нам просто кажется, что нас много и мы существуем раздельно. На самом деле все люди – одно целое. Как ветви дерева.

– Ну да, конечно! – подхватил я. – Этнические связи, общий предок. Генеалогическое древо. И так далее.

– Именно, – кивнула Лена. – Генеалогическое древо. Только с одной лишь поправкой: древо не как схема, а как материальный объект.

– В смысле? – прищурился Эдик.

– Сейчас объясню. Представьте себе обычное дерево. Вон то, что за окном. Рассечем его мысленно горизонтальной плоскостью где-нибудь на уровне кроны. Срез каждой ветви выглядит примерно как круг или эллипс, в зависимости от того, перпендикулярна она плоскости сечения или пересекает ее под углом. Все эти круги и эллипсы в плоскости кажутся совершенно независимыми друг от друга. А толкнешь один – закачаются и соседние. Объяснить это, оставаясь в плоскости, невозможно. Но достаточно посмотреть вниз – и сразу видно, что ветви соединены между собой: тонкие растут из толстых, толстые из ствола, а тот, в свою очередь, из корня. Движение одной ветки заставляет качаться другие. Стоить только заглянуть в третье измерение – и все становится понятно. Если кто-то подрыл... повредил корни дерева, – ее голос дрогнул, – только взгляд в третье измерение поможет нам объяснить, отчего вдруг все ветки одновременно начали засыхать.

– Так ты хочешь сказать, что человечество тоже?.. – начал Эдик и замолчал.

– Да. Человечество устроено аналогичным образом. Разница лишь в том, что люди – это трехмерные срезы некоего всеобщего генеалогического древа, реально существующего в четырехмерном пространстве и имеющего общий ствол и корень. Мы все растем на одном Дереве. И тот, кто способен заглянуть вглубь, в четвертое измерение, может увидеть разом все его ветви, ствол и корни. А также того, кто их подрывает.

Снова мне почудилась какая-то странная вибрация в ее голосе, но голова шла кругом и удивляться было некогда.

– Не спрашивайте меня, зачем понадобилось создавать инструмент такой структуры. Возможно, чтобы им легче было управлять. Или чтобы его легче было уничтожить, когда придет время. Вместо того чтобы вылавливать нас поодиночке, достаточно обрубить корни. Или заменить... Эдик, что с тобой?

Эдик подался вперед в своем кресле и смотрел на Лену в упор. Лицо его потемнело и стало страшным, глаза сузились, зубы заострились, жилы на лбу напряглись. Таким я его ни разу еще не видел – ни когда на нас по встречной полосе летел мусоровоз с уснувшим водителем, ни когда пьяные рукоблуды из движения «Дрочи без границ» громили нашу квартиру и орали «Бей дровоебов!», круша все вокруг своими мастурбаторами. Его глаза полыхнули золотистым пламенем. В следующее мгновение Лена парировала удар. Их взгляды скрестились, высекая искры. Несколько тысяч миллисекунд длилась эта безмолвная дуэль. Оба противника дрожали от напряжения. Потом Лена начала стремительно меняться. Она как будто стала выше ростом. Выступили скулы, кожа слегка позеленела, удлинился нос, глаза из голубых стали золотыми, зрачки – овальными, как у Эдика, только еще более продолговатыми. Волосы выпрямились и почернели, подбородок скрылся под небольшой эспаньолкой. Я впервые видел перед собой амо.

То ли эта трансформация высвободила дополнительную энергию, то ли повлиял еще какой-то фактор, но тут Лена, наконец, пересилила. Эдик вдруг побледнел, закрыл глаза и медленно, как задетая неловким актером декорация, повалился в свое кресло. Лена погасила взгляд и перевела дух.

Надо было куда-то бежать. Срочно что-то делать. Я судорожно вцепился в стул, на котором сидел и не мог пошевелиться. Лева начал медленно, как сомнамбула, подниматься с выражением крайнего изумления на лице, но амо по имени Лена негромко приказала: «Сиди!» – и он оцепенел. Лена стала делать руками плавные движения, как будто наматывала невидимый трос. Эдик со стоном открыл глаза. Через минуту взгляд его стал наполновину осмысленным.

– Амо... Кауни эц... – прошептал он. – Лоа!..

– Да, – она прекратила пассы. – Лоа. Молодец. Когда ты понял?

– Когда... заговорила о корнях... Что ты... амо... Что Лоа... не узнал...

– Все равно, умница, – Лена уже полностью оправилась, чего нельзя было сказать об остальных. Лева взирал на происходящее с отвисшей челюстью и выпученными глазами, в которых светилась надежда, что вот сейчас это безобразие кончится, Лоа снова станет Леной, и все вернется на круги своя. Та же надежда робко толкнулась и в мое сознание, но я не дал ей ходу, хотя в остальном, видимо, выглядел не лучше Левы. Слова, казалось, с трудом отклеивались от Эдиковых губ:

– Я еще вчера... что-то странное в тебе почувствовал... не мог понять... Ты хорошо маскируешься... Кто тебя научил?

– Йолты, – произнесла Лоа незнакомое слово, которое – откуда-то я понял – на языке амо означало «отец». – Он тебя ждет. Давно ждет. Без тебя не можетйти.

– Кто? Вождь? Амо-Двару-Кауни-Эц?

– Нет, не он. Амо-Двару мне не отец. Он меня только вырастил. Мой настоящий отец – шаман.

– Шаман – твой отец?!

Она кивнула и голосом, идущим, казалось, со стороны, отдельно произнесла:

– Спиной к Элонхи стоя, раздвинуть ноги и наклониться, дабы явить чистоту помыслов своих, стать плотью от плоти Его, водой от воды Его...

– ...землей от земли Его, – устало закончил Эдик. – Так это он тебя ко мне послал?

Лоа кивнула. Эдик положил свою руку на ее.

– А зачем тебе понадобился этот спектакль, Лоа?

– Ты очень изменился. Ты почти уже стал дредом тогда, а сейчас ты все забыл. Ты и язык почти забыл. Я должна была заставить тебя вспомнить.

В коридоре что-то с грохотом упало и послышался крик. Я выскочил из комнаты. Лева, сбросив наваждение, ринулся следом, путаясь в халате и поминая черта. На полу валялись осколки керамического цветочного горшка и сломанный фикус, над которым на корточках застыла Соня в глубоко трагичной позе а-ля ее тезка Мармеладова. Красивые, блестящие, как капли росы, слезы поочередно скатывались по ее щекам. Артур стоял, скособочившись, спиной к наружной двери и матерился сквозь редкие зубы. Одной рукой он держал свой атташе-кейс наподобие щита, а другой вслепую лихорадочно шарил по двери, путаясь в замках и задвижках, которые мы в изобилии установили туда после погрома.

– С-скотина! – всхлипнула Соня, схватила с пола самый крупный осколок и запустила им в Артура. Осколок попал Лева в плечо, и тот от неожиданности икнул.

– В чем дело? – величественно осведомился голый по пояс Гена, выдвигаясь из ванной с наполовину выбритым лицом. Вот тебе и на! А я-то был уверен, что он все еще торчит возле Кирьят-Шмона: там, в Хуршат-Таль, священной друзкой роще, растут такие дубы – впятером не обхватишь.

Артур уже справился с замками и открыл дверь, но решил, видимо, не удирать без объяснений и попытаться сохранить лицо:

– Ну, уронил я этот долбанный фикус! Случайно уронил, клянусь! А эта истеричка...

– Он его ударил ногой! Он его сломал!

– Не ударял я его! На кой он мне сдался, переросток твой вонючий!

– И меня чуть не ударил! – Соня зарыдала, что, на мой взгляд, было уже лишним.

– Да что ты несешь?.. – взвился Артур, но его перебил мощный рык Гены:

– Ударил? Тебя? Вот эта гнида?! Страшилище, в котором мерзко все?!

Надвигался вселенский катаклизм. Гена обожает Соню, относится к ней как старший брат, и объективности в этом плане ждать от него не придется. А употребление цитат из Отелло свидетельствует, как правило, о серьезности его намерений.

– В смысле... чуть не захотел ударить, – пробормотала Соня гораздо менее уверенно, но было уже поздно. Огромный Гена шагнул к Артуру. Тот надменно скривился, поставил атташе-кейс, встал в какую-то замыслова-

тую стойку и приглашающе махнул в воздухе ногой. Гена от ноги уклонился, взял Артура одной рукой за узел галстука и слегка приподнял. Артур немusзыкально захрипел и засучил ногами по полу. Гена небрежно приложил свой кулак, размером с дыню, к тому самому лицу, ради сохранения которого Артур и остался, и вынес несчастную жертву судебной ошибки на лестницу. Через несколько секунд оттуда послышался грохот вперемешку с трехэтажным матом. Случайно этажность мата совпала с расположением нашей квартиры или нет, сказать не могу. Внизу раздался звон разбитого стекла, затем отдаленный истошный вопль: «Да заебись ты в доску, короед! Дупло тебе с зубами!» и голос Гены – я бы даже сказал, глас – дополнительно усиленный лестничным эхо: «Я этого обрезанного пса, схватив за горло, заколол – вот так!», после чего Гена вернулся в квартиру и, запирая дверь, добавил не без юмора:

– Вот ведь бездарь! Шесть лет прозанимался тэквондо, и ни в зуб ногой.

Затем подошел к всхлипывающей Соне, ласково обнял ее за плечи и погладил по волосам, отчего мне вдруг представилось, что она покрыта толстой дубовой корой. Но у меня, к счастью, хватило ума не озвучивать свои фантазии: когда дело касается Сони, чувство юмора у Гены отключается напрочь.

– Бедный Артур, – вздохнула Соня. В логике ей отказать было трудно. Потом поцеловала своего могучего защитника в щеку и пошла за веником. Гена просиял, благосклонно оглядел нас слевой и ушел в ванную добриваться.

– Меня бы кто так опекал, – сказал Лева, потирая плечо. – Вот как Генка Соньку.

– Для этого ты, друг мой, полон не вышел, – отозвался Эдик. – Для мужчины, с чем бы он ни спал, женщина всегда остается женщиной, с чем бы ни спала она.

Этот эпизод, как ни странно, пошел нам на пользу – я имею в виду себя и Леву. Он вернул нас к бытовой реальности, и слава Богу, а то мне уже начало казаться, что я угодил в какую-то компьютерную игру. Хотя на самом деле, если вдуматься, это было больше похоже на сценарий документального фильма ужасов.

В течение всего дня мы демонстрировали недюжинную психологическую устойчивость. Мы никому не рассказали о том, что произошло в Левиной комнате. Мы не только не впали в депрессию, но даже оживились. Мы пытались острить. Обзывали друг друга инструментами, сучками и срезками. Писали записки: «Инструмент Сева, срочно позвони сучку Лева, чтобы купил удобрений, в смысле жратвы! Срез Саша». Толик вовсю увивался за восстановившей маскировку Леной, даже полено свое забросил. Мы слевой уже начали было плести интригу с целью убедить Лену показаться Толику в своем натуральном виде, но природный наш гуманизм взял верх, и мы ограничились тем, что прикрепили на дверь его комнаты акварель «Мальчик, вынимающий занозу из девочки» кисти Севы, где были изображены голые Буратино и Мальвина в нескромных позах. В отместку Толик

два часа ходил за Севой по пятам и замогильным голосом читал стихотворение Артура, выпавшее из его атташе-кейса во время экзекуции:

Предназначение поэта
Не в том, чтоб как все люди жить,
А чтобы против мнений света
Восстать, как прежде, и убыть.

11

Ночью мы с Эдиком сидели у меня в комнате, пили виски и трепались. Двенадцатилетний «Балвени» весьма способствовал процессу общения. Эдик и я уже вторую неделю, не жалея денег, выпендривались друг перед другом односолодовым виски разных марок.

– Я разговаривал с Лоа, – сказал Эдик. – Оказывается, она здесь уже полгода. Ее послал шаман, велел ей найти меня и привезти в Амонаа. Он утверждал, что обо мне говорится в каком-то их пророчестве. Якобы я должен вернуться туда и что-то совершить. А Лоа добралась пешком до ближайшего цивилизованного места – это оказался поселок Хорогочи – и первому встречному рассказала, что месяц блуждала в тайге. Она умеет убеждать, как ты заметил. Ее накормили и приютили. Люди там простые и гостеприимные, лишних вопросов не задают. Потом она добралась до Тынды и там уже начала всерьез адаптироваться. Ты представляешь себе, что должен с собой проделать человек из каменного века, чтобы выжить в цивилизованном обществе? Правда, русский язык она, благодаря мне, все же знала.

– Но это же нелепо!

– Согласен, нелепо – хотя, как видишь, возможно. Для амо, по крайней мере. Они очень быстро учатся. А Лоа, по ее словам, помогал еще и Элонхи. И учиться, и поддерживать маскировку, и еще много всякого.

– Какой Элонхи? То самое дерево в Сибири?

– Ну да. Он действительно может помочь, уж я-то знаю. Тем более дочери шамана. Она научилась бегло читать за две недели. Представляешь? Нашла себе частного учителя, наплела ему с три короба...

– А деньги откуда?

– Шаман ей дал. А где он взял – неизвестно. Потом уже сама стала зарабатывать.

– Чем?

– Она работала гадалкой. Говорит, от клиентов отбою не было.

– Понятно. А ты выяснил, где я с ней на самом деле познакомился?

– Формально ты с ней вообще не знакомился. Она каким-то образом узнала адрес, и все, что ей оставалось сделать – это дожидаться возле дома, пока не появится кто-нибудь из нас и загипнотизировать, вложив ему в голову «воспоминание» о якобы случайном знакомстве несколькими часами раньше. Этим «кем-то» чисто случайно оказался ты.

– М-да, во все это как-то с трудом верится. Ты ведь слышал ее рассуждения. Сколько же она должна была прочитать всего? И сколько всего понять?

– Лоа – очень непростая особа, – Эдик мечтательно улыбнулся. – Еще когда ребенком была, все у нее по струнке ходили. Кроме меня. Между прочим, в мифологии вуду Лоа – это общее название всех духов. А у микронезийцев Маршалловых островов Лоа – это бог-творец, демиург, сотворивший мир с помощью заклинаний. Я не думаю, что это случайное совпадение. А если не случайное, то каким образом шаман – я не сомневаюсь, что имя ей дал он – знал о вуду и о микронезийцах? Впрочем, с тем же успехом можно спросить, откуда в мифологии амо такие совпадение с Торой. Или почему, скажем, некоторые слова языка амо так похожи на арамейские или ивритские. А вовсе не на древнескандинавские, заметь, хотя прообразом их мифического Иггдрасиля явно послужил Элонхи.

– Иггдрасиль? У древних скандинавов? Подожди, я что-то такое читал... Это такой гигантский дуб, на котором все держится?

– Вообще-то, не дуб, а ясень. Хотя на этот счет имеются разные мнения. Но в целом ты прав: это дерево – ось Мироздания. Своими тремя корнями Иггдрасиль соединяет преисподнюю, землю и небо. Кстати, в преисподней – она называется Нифльхейм – сидит дракон Нидхёгг и грызет соответствующий корень. Забавно, правда?

– Забавно, – согласился я. – Значит, Нидхёгг? Тот самый, о котором Лоа говорила?

– Приблизительно. Хотя Нидхёгг – существо мифическое, а тот, о ком говорила Лоа, его прототип. Ты не путай миф с реальностью.

– Я сейчас умру от смеха, – грустно сообщил я. – Реальность, видите ли! То, что вы с Лоа называете реальностью, не каждому Толкиену спяну приснится. Скажи, Эдик, ты действительно веришь в то, что она нам рассказала? В этот сюр о всеобщем человеческом Дереве? О человечестве-инструменте? Это же Сальвадор Дали какой-то пополам с Робертом Шекли! Лично мне это больше всего напоминает твои сны.

– Мне тоже. Понимаешь, с одной стороны, поверить трудно, а с другой... Видишь ли, я в детстве навидался таких вещей, которые, с точки зрения нормального человека, вообще не должны существовать. Если мы не поверим Лоа, а она окажется права, дело может кончиться плохо. Для всех. Так что лучше перебдеть.

– Что именно кончится плохо? И каким образом ты собираешься бдеть?

– Ну, помнишь, Лоа сказала, что если инструмент не будет выполнять свои функции, его ликвидируют?

– Помню. А еще я помню, что если он выполнит их до конца, то станет ненужным. Куда ни кинь...

– Так вот: похоже, что он их не выполняет. Во всяком случае, шаман, по словам Лоа, чувствовал какую-то опасность. Мы – я имею в виду всех людей – делаем что-то не то. Или не так. И нас, в конце концов, уволят. Как вид.

– Подумаешь! – после стакана «Балвени» мне сам черт был не брат. – А

так отправят на пенсию. Как вид. Хрен редьки... А кстати, кто именно нас уволит? – я сделал здоровенный глоток.

– Тот, у кого есть полномочия, естественно.

– А у кого есть полномочия? – мой вопрос показался мне вполне дурацким, но я отпил еще, и это ощущение прошло.

– Откуда я знаю? У кого-то же они должны быть.

– Что ты все о нем: «кто-то» да «кто-то»! Виляешь? – спросил я Эдика строго, поскольку только что понял, до чего же я умный и справедливый человек. – Так и говори – Бог. Тоже мне, открытие века! Так что теперь, снова Потоп? История повторяется?

– Ну почему обязательно Бог? Чуть что – сразу Бог! Стоит перебрать немного – и без Бога никуда. А может быть, дьявол? Или какая-нибудь сверхцивилизация? Давай условимся так: есть некто – Бог, демиург, называй как угодно, – то ли создавший нашу расу для каких-то своих целей, то ли получивший над ней контроль. Перед нами стоит некая задача, за невыполнение которой нам придется отдуваться. Как именно отдуваться – не существенно. Какая тебе разница, Потоп нам устроят или что-нибудь другое? В любом случае мало не покажется. А что действительно важно, так это понять, в чем эта задача заключается и что нам надо делать, чтобы ее выполнить. Если уж в нас это знание по какой-то причине не вложили при изготовлении.

– Что нам надо делать? – я задумался. – Прежде всего, нам надо выпить, – я выпил. – А еще... э-э-э... если я правильно себе представляю... вообще-то, к инструменту должна прилагаться инструкция...

– Логично. Инструкция к человечеству где-то есть, не может не быть. Вопрос – где. Люди всю свою историю ее ищут и до сих пор не пришли к согласию, что считать инструкцией. Одни полагают, что она заключена в законах природы, которые надо изучать, так как основная задача человека – познавать окружающий мир. Другие – что она зашифрована в священных книгах, которые опять-таки надо изучать, так как основная задача человека – познавать Бога. Поскольку для вторых окружающий мир есть проявление Бога, то оба этих утверждения, в сущности, равнозначны. Третьи считают, что познавать надо самих себя. Четвертые вообще не думают о познании, а свою задачу видят в том, чтобы оставить после себя побольше потомства. Пятые – чтобы бороться со стихиями. Шестые – есть, пить и спать. Седьмые – бить восьмых. Перечислять можно до бесконечности. И у каждого есть свои доводы, с которыми поди поспори.

– А вдруг это все в совокупности и есть выполнение задачи? Каждый, так сказать, на своем месте и все, так сказать, в едином порыве?

– Не знаю. Вряд ли. Тогда бы к нам претензий не было. А они есть. И мы не знаем, что именно из того, чем занимается человеческая раса, относится к основной ее деятельности, а что является отходами производства.

– А может, наша задача – это думать? Ведь смотри: во всем, что ты перечислил, без думанья никак. Ну, почти во всем. А что, если совокупность

мыш... мыслительных процессов оказывает на мир какое-то воздействие? Не зря же мы разумны, в конце концов, а? Я тебя спр-р-рашиваю?

Эдик мягким движением усадил меня обратно на стул.

– Разумны, говоришь? А ты помнишь, что Лоа о разуме говорила? То-то же. Я не исключаю, что все гораздо проще, и от нас требуется, например, чтобы все мы, поголовно, до обеда умножали на девять, а после обеда рисовали квадратные облака, стоя при этом на голове. Или вывели на околоземную орбиту двадцать восемь тысяч зеленых помидоров. Или убивали каждого рыжего, усомнившегося в том, что у кошки четыре ноги, а позади у нее длинный хвост. Бесконечное число ответов, и не за что зацепиться. Любая чушь может в действительности оказаться правдой.

– Подожди, подожди... – в мозгу у меня давно уже кружилась разноцветная мозаика, но только теперь пляшущие точки начали складываться в некий контур. – Здесь слишком много степеней свободы. По-моему, ни один из этих твоих соблазнительных вариантов не может быть правильным. Понимаешь, все эти вещи одинаково абсурдны. Должно быть что-то более однозначное.

– Что, например?

Контур приобрел вполне конкретные очертания. Кажется, я даже немного протрезвел.

– Дерево!

– Какое дерево?

– То самое. Наше общее Дерево. На котором мы все растем, по теории Лоа. А что, если наша задача в том, чтобы его поливать? Или опрыскивать от вредителей? Где-то внизу на нем растет наш праотец... Или не растет... – мои мысли слегка разбегались. – У народа должен быть где-то праотец, иначе он растет беспраотцовщиной.

Эдик фыркнул, но лицо его оставалось сосредоточенным.

– Поливать... опрыскивать... Ты хочешь сказать, что задачей инструмента может быть содержание самого себя в рабочем состоянии?

– А может, мы не инструмент вовсе? Может, мир оказался так напичкан разнообразными дармоедами, что тот, кто умеет сам о себе позаботиться, уже заслуживает права на существование? А вдруг наша функция чисто эстетическая – чтобы нами кто-то любовался? Или этическая – чтобы нам кто-то подражал?

– Однако! – восхитился Эдик. – Полубуйтесь на него! Еще и литра не выпил, а скромности на все два.

– А ты можешь доказать, что я неправ? Можешь?

– Нет, – честно признался Эдик. – Не могу. Но я бы не хотел близко познакомиться с тем, для кого мы являемся эстетическим и, в особенности, этическим эталоном.

– Я тоже. А что говорит по этому поводу Лоа?

– Она говорит, что... Черт, я не все могу адекватно перевести. Мы разговаривали на языке амо, а там все эти времена... Как ни странно, она гово-

рила похожие вещи. Мало конкретного, много догадок. И тоже упоминала Потоп, хотя и в условно прошедшем времени. И еще она сказала, что видела того, кем нас собираются заменить. Нашего Сменщика. И больше его видеть не хочет.

– Где видела?

– Этого я, признаться, и сам толком не понял. В каком-то таком месте, которое и не место даже. А потом она сказала, что мы должны ехать туда. И как можно быстрее.

– Куда туда?

– В Амонаа.

– Зачем?

– Затем, что разгадка находится там.

– Откуда она знает?

– От своего отца. А шаман слова зря не скажет.

– И ты собираешься...

– Да. И ты тоже. И остальные.

– А они разве знают?

– Узнают завтра. Я им расскажу.

– Они не поедут.

– Поедут, – спокойно сказал Эдик. – Никуда не денутся.

– Ну, хорошо. А эти... соплеменники твои?

– Кто, амо?

– Ну да, кто же еще. Они как, ничего? Не ударились часом в каннибализм за время твоего отсутствия? А то как построят нас, и – на первое-второе рассчитайся.

– Не бойся, тебя всего лишь засолят. По моей личной протекции.

– А если серьезно? Тебе не кажется, что мы лезем не в свое дело? Вот прихлопнет нас этот твой демиург какой-нибудь молнией – и поделом. А против Божьего гнева не то что тебе или Лоа, а, пожалуй, что и шаману возразить нечего.

– Не бздимо, сэр. И от гнева защита существует.

– Как же, как же. Бронежилет, окропленный святой водой.

– От тебя я, скорее, ожидал святой водки. А вот что, по-твоему, изобрел Франклин?

– Э-э-э... громоотвод?

– Именно. Устройство для отвода Божьего гнева в землю.

– Ну, раз так... – я взял бутылку и наполнил стаканы на три четверти. Разговор у нас получался настолько ни с чем не сообразный, что налить меньше просто рука не поднялась. Кроме того, меня все еще грызли понятные сомнения, которые срочно требовалось растворить.

– Слушай, а почему именно мы должны этим заниматься? Ведь есть же ученые, всякие там экстрасенсы... Брюсы Уиллисы, наконец.

– Я думал, ты уже догадался.

– Клен ты мой опавший! Неужели из-за ориентации?

– Конечно. У плантофилов с растениями связь не только телесная, но и духовная. Друзиды, например, благодаря ей, умели делать поразительные вещи.

– Слушай, Эдик, а мы точно в своем уме? Ведь это просто какой-то «Властелин колец» получается. Идем, значит, спасать человечество? Бред сивой кобылы в лунную ночь!

– А что? Оно, по-твоему, того не стоит?

– Человечество? По-моему, нет. Но черт с ним, дадим ему еще шанс.

Мы чокнулись и выпили. Мне вдруг стало весело. Наверное, оттого, что десятилетнего «Гленморанжа» оставалось еще почти половина. Что же касается пустой бутылки от «Балвени», то я ее давно убрал со стола.

Проснулся я за полдень. Похоже, вчера мы с Эдиком несколько перефилософствовали. Я вылез из кровати, сунул ноги в тапочки и пошел в душ. Лучше всего в такой ситуации вымыть голову с шампунем – сразу ощутишь себя другим человеком. Я сделал поправку на количество выпитого и вымыл голову дважды, после чего действительно почувствовал себя если и не другим, то, во всяком случае, человеком. Это ощущение несколько портили мокрые тапочки: душевой шланг проявил сегодня какую-то особенную увертливость. Сняв тапочки, я установил, что они не мои, а Эдика. Очевидно, он, уходя спать, забыл их в моей комнате. Я вспомнил его вчерашнее предсказание и преисполнился оптимизма: все шло своим чередом.

В квартире никого не было, кроме Толика и Лены. Они сидели в салоне и, мило улыбаясь, вешали друг другу лапшу на уши. Кажется, они делились воспоминаниями об отдыхе на Канарских островах, где, насколько я понимаю, ни тот, ни другая отродясь не бывали. Хотя, что касается Лены, то в ее биографии сам черт ногу сломит. Полена при Толике не было. Мы поздоровались, я отвесил Лене наскоро сочиненный комплимент и получил в ответ ее ослепительную улыбку и ревнивый взгляд Толика.

– Все поехали в лес Бен-Шемен, – сообщила Лена. – Артур с Жоржем тоже туда поехали. И даже Гиви.

– В зад к природе, – нетерпеливо добавил Толик. – И ждут тебя там. Так что поторопись.

– Съем что-нибудь и пойду, – сказал я. – И даже твои талантливые путевые заметки слушать не буду.

– Талант не пропьешь, – туманно отозвался Толик. – К сожалению. Потому что больше нечего.

Я сделал вид, будто не понял намека, и удалился на кухню. Соорудил себе яичницу с помидорами и сыром и кофе, позавтракал, полил на балконе Гивины огурцы, попрощался и вышел на улицу. Погода была идеальной для прогулок по лесу, но в Бен-Шемен я не поехал и звонить никому не стал. Хотя лес этот я люблю и часто там бываю (помню ужас, охвативший меня прошлым летом при известии о лесном пожаре, свирепствующем в том районе. К счастью, с ним удалось сравнительно быстро справиться. Кто-то, не помню кто, рассказывал, что одного сотрудника пожарной службы тогда на-

шли в состоянии крайнего ошеломления: он стоял перед горящим кустом, и вместо того, чтобы его тушить, взирал на него с таким благоговением, как будто ему из этого куста объясняли, куда дальше вести народ Израиля: в Америку или в Канаду). Но сегодня ехать в Бен-Шемен мне не хотелось. Я догадывался, что Эдик там сегодня проводит большую разъяснительную работу среди остальных. Ему предстояло обрисовать ситуацию, причем так, чтобы другие не решили, что он спятил. Ему предстояло убедить их взять отпуска, бросить дела и немедленно лететь всем вместе в Россию, да еще в Восточную Сибирь, хотя он сам толком не знал, чем им там придется заниматься. Честно говоря, я не представлял себе, как он это сделает, и не испытывал желания при этом присутствовать – с меня хватило вчерашнего. Вместо этого я поехал домой в Раанану и засел за компьютер. Завтра мне предстояло выпрашивать на работе отпуск, а для этого надо было, как минимум, доделать программу, с которой я возился уже почти неделю.

На следующее утро в восемь я уже был в офисе, что для меня является громадным достижением. В компьютерной фирме, где я работаю, сотрудники могут приходить, когда хотят, и уходить, когда хотят – при условии, что они работают двадцать четыре часа в сутки. Это, конечно, преувеличение, хотя любой, кто знает, что такое старт-ап, согласится со мной, что оно не слишком большое. В таких условиях получить от босса десятидневный отпуск, хотя бы и за свой счет, представлялось мне делом гораздо более безнадежным, чем вытребовать себе служебный «феррари». На деле, однако, все оказалось намного проще. У меня даже возникло ощущение, что он был к этому внутренне готов, и, следовательно, дело не обошлось без Лоа, а то и без Элонхи, в которого мне до сих пор верилось со скрипом. С другой стороны, это могло получиться и спонтанно, поскольку босс мой бывал порою довольно непредсказуемым. Однажды он попросил меня с еще одним моим коллегой съездить к клиенту и привезти компьютер. Через десять минут после этого босс, выходя из здания, увидел нас, садящихся в машину. Успев напрочь позабыть о своей просьбе, он осведомился, куда это мы собрались.

– В паб, – ответил коллега серьезным, я бы даже сказал, деловитым тоном.

– В какой паб? – возмутился босс. – У нас через час совещание!

– Через час мы вернемся, – так же деловито сказал коллега. Босс растерянно кивнул с видом человека, которому нечего возразить, и мы, не выдержав, расхохотались.

Так или иначе, с завтрашнего дня я мог считать себя на отдыхе. Ни билетов на самолет, ни российских виз у нас не было, но зато у нас был Гиви, с его необъятным кошельком и колоссальными связями. Это вселяло надежды, так как возможности Элонхи в области доставания авиабилетов и виз оставались неясными. Хорошо, что хоть паспорта были у всех, включая Толика. Эдик позвонил мне накануне и кратко изложил результаты совместной прогулки по лесу. Не знаю, что он им там наговорил, но убедить

он сумел всех. Даже Жоржа, у которого свадьба на носу. Даже Гиви, великого бизнесмена, махрового реалиста и сугубого практика. Впрочем, Гиви и сам, возможно, своим непревзойденным деловым чутьем уловил некую грядущую опасность для человечества, а значит, и для своего бизнеса. С Толиком, хоть он в лес и не ездил, все и так было ясно: в течение определенного периода кормить его в Израиле не будут, а будут кормить в России – стало быть, вопросов нет.

По дороге домой я заскочил на улицу Файерберг. У тротуара стоял Гиви серебристый «ягуар». Я запарковал свою «мазду» перед ним. На морде «ягуара» появилось презрительное выражение.

– Ничего, – сказал я ему, – потерпишь. Ближе надо быть к народу. Учись вон у хозяина.

«Ягуар» недобро сверкнул тонированными стеклами, но промолчал. Я поднялся в квартиру. Там царил суматоха. В каждой комнате шли лихорадочные сборы. По всей квартире были раскиданы вещи. В кресле посреди салона, задрав ноги на журнальный столик, вальяжно раскинулся Гиви. Он курил огромную светлую сигару и говорил по-грузински в мобильный телефон. Увидев меня, он подмигнул и показал сигарой на ящик, стоявший рядом на полу. Ящик был уставлен бутылками «Реми Мартен».

– Это с собой, – прикрыв ладонью телефон, кивнул Гиви в сторону коньяка.

Я понимающе закатил глаза. Гиви никогда не унижался до «Дьюти-фри», предпочитая все нужное покупать заранее. Скидки его не интересовали.

Лева в своей комнате заканчивал укладку огромного рюкзака. Эдик помогал Соне застегнуть сумку. Сева с отверткой в руках склонился над своим чемоданом и каким-то хитрым образом укреплял на нем тонкую пластинку с крошечными проводками – волновую защиту от воров, как он объяснил. Лена отсутствовала. Толик сидел на кухне в обнимку со своим поленом, гладил его по торцу и что-то виновато шептал. Я был тут явно лишним, тем более что практически все мои вещи находились у меня дома. Пора было ехать собираться. Вылет завтра в пять утра. Регистрация, соответственно, в два. В общем, ночь – коту под хвост.

12

Вылет самолета компании «Эль-Аль» задержался на сорок минут из-за опоздания Жоржа. Нам это стоило нервов, а Гиви – пятиминутного телефонного разговора на грузинском языке, три минуты из которого, как мне показалось, заняли приветствия. Наконец, примчался запыхавшийся Жорж. Одной рукой он волочил за собой чемодан, другой ловил падающее пенсне и при этом ухитрялся сохранять элегантность. Он церемонно пожал всем руки и произнес приличествующие случаю извинения, а пока его регистрировали, то и дело оборачивался и махал рукой кому-то в толпе.

– Невеста провожает, – пояснил Жорж, не вдаваясь в подробности.

Больше всего на свете мне хотелось спать, поэтому я уснул раньше, чем «боинг» вырулил на взлет. Мне приснилось, что я нахожусь в большом супермаркете, а вокруг тишина и ни души. Низкие стеллажи заставлены абсолютно неизвестными коробками, пакетами и банками. Я наугад снял с полки банку с этикеткой «Зуляпии по-качурски». Там лежали бледные шевелящиеся стручки, залитые сиреневой опалесцирующей жидкостью. Когда я приблизил лицо к стеклу, чтобы получше их разглядеть, они задержались и стали сбиваться в клубок, явно пытаясь от меня спрятаться. Я поспешно вернул банку на полку и осторожно заглянул в один из пакетов, на котором было написано «Штяки домашние». Содержимое его напоминало пельмени, поросшие густым рыжим волосом. Рядом со штяками стояла открытая коробка размером, как из-под корнфлекса, но без всякой этикетки. Я взял ее. Коробка выглядела совершенно пустой, хотя весила подозрительно много. На всякий случай я засунул в нее руку, и тут же за мой палец ухватилось что-то невидимое, но цепкое. Я почувствовал боль, как от ожога, выругался и рефлекторно отдернул руку. Коробка упала на пол, полежала мгновение, потом мелко завибрировала, подползла к полке и с громким щелчком запрыгнула на свое место. Я спрятал руки от греха подальше в карманы и огляделся по сторонам. В проходе между стеллажами стояли тележки, пустые и с продуктами, если то, что лежало на полках, можно назвать продуктами. Самые обычные тележки, только маленькие, словно не на взрослых людей рассчитаны, а на детей лет семи-восьми, и ручки у них были какой-то странной формы. Я пошел вдоль стеллажа и вышел прямым ходом к мясному отделу. На кафельной стене висел плакат с заголовком наверху: «Схема разделки туши». Под заголовком была изображена анфас и в профиль красная человеческая фигура, поделенная линиями на части, отчего она напоминала собранный пазл. Каждая часть была снабжена надписью: «грудинка», «филе», «огузок», «ступня» и так далее. Пальцы руки были сложены в тщательно выписанный кукиш и так и назывались – «кукиш». Внутри прилавка-холодильника были аккуратно разложены на поддонах упомянутые выше куски с ценами на них. Кукиши лежали отдельно и стоили дороже всего. Голов не было.

Пока я все это с ужасом рассматривал, зазвенел звонок, до отвращения похожий на школьный, и магазин вдруг оказался наполненным продавцами и покупателями. При первом же взгляде на них я понял, что здесь мне больше делать нечего, и начал панически соображать, где тут может быть выход. Но тут продавец из мясного отдела уставился на меня – если то, что я принял за его глаза, действительно являлось таковыми. Затем он издал звук, с каким заводится мотоцикл, извлек из-под прилавка огромный топор размером в половину себя и, поигрывая им, двинулся в мою сторону. Настало самое время заорать и проснуться, что я, к счастью, и сделал:

– Эдик, имей совесть!

Эдик сладко посапывал в соседнем со мной кресле и не подумал даже

проснуться от моего крика. А раз он спал, значит, сон был мой собственный, к нему отношения не имеющий! Что-то я раньше не замечал за собой подобной распушенности. Или Эдик научился делиться снами, что было бы для нас просто катастрофой. Леву бы в тот супермаркет, подумал я. Он бы оттуда все вынес, за исключением разве что человечины, да и то потому, что в его кулинарной книге она не упоминается. И слава Богу, что книга у него хотя бы таиландская, а не, скажем, племени яли, что обитает на острове Папуа–Новая Гвинея. Тут уж я с ним в одной квартире точно бы не остался.

Шереметьево-2 встретил нас длинным рядом застекленных дверей, платными багажными тележками и обилием надписей на русском языке, словно где-нибудь в Ашдоде или на Брайтон-Бич. Несколько десятков человек пытались одновременно протиснуться в единственную незапертую дверь, пихая друг друга и громко переругиваясь на разных языках. Примерно так, наверное, происходила выплата аванса на строительстве Вавилонской башни после смешения языков.

Затем мы вышли из аэровокзала под апрельский слепой дождичек. К нам со всех сторон бросились люди с предложениями различного рода услуг. На их лицах было написано, что если кто-то из них еще не продал родную мать, то только потому, что не нашел покупателя. В основном, они осаждали Гиви, безошибочно угадав в нем серьезный финансовый источник. С трудом отбившись от навязчивого сервиса, мы нашли маршрутное такси и спросили водителя, не едет ли он в Домодедово. Тот кивнул и назвал цифру, показавшуюся чрезмерной даже Гиви. Мотивировал он свою цифру тем, что, во-первых, Домодедово к его маршруту не имеет никакого отношения, а во-вторых, из-за нас ему придется отказать законным пассажирам, буде таковые появятся. Всю дорогу он рассказывал жуткие истории о людях, которые, прилетев во Внуково, пожалели денег на такси и так в аэропорту и сгинули. Повествование свое он вел сплошным матом, что позволило нам слегка восстановить силы.

Вообще-то мат всегда считался неотъемлемой частью русского языка, и не более того. Но недавно мне попалась статья, не помню кого, в российском журнале «Языкознание – сила», где автор доказывал, что русский мат на самом деле представляет собой набор особого рода мантр, или заклинаний, способных, при надлежащем использовании, оказывать физическое воздействие на окружающие предметы. Принцип действия мата основан на преобразовании психической энергии того, кто его произносит, в кинетическую. Именно поэтому, утверждал автор, люди интуитивно прибегают к мату при решении проблем, связанных либо с большими физическими нагрузками, вроде переноски мебели, либо чисто механического характера, таких, как заедание ключа в замке или невлезание пуговицы в петлю. Кроме того, мат обладает обезболивающим действием, что хорошо известно каждому, кто когда-либо попадал себе молотком по пальцу или хотя бы при этом присутствовал. Но правильно применять мат умеют очень немногие; большинство, как правило, расходуют свою энергию без всякой пользы для

себя, а то и во вред, так как неуправляемый постматерный эффект может привести к нежелательным последствиям. Так, автор, по его словам, лично наблюдал случай, когда пятикратное использование мантры «ебаный шуруп» привело к тому, что доска раскололась. Зато на окружающих мат оказывает объективно-тонизирующее действие, хотя и маскируемое порой субъективным ощущением дискомфорта, особенно с непривычки. Автор советовал, по возможности, не избегать обильно матерящихся субъектов, как поступает большинство людей, а, наоборот, стараться держаться поближе к ним, чтобы впитать хотя бы часть энергии.

В Домодедовском аэропорту Гиви велел нам сторожить вещи, а сам куда-то исчез и вскоре вернулся с билетами на рейс до Читы. Время до полета мы провели в ближайшем ресторане, где официант настойчиво рекомендовал нам какой-то фирменный огуречный салат, а мы успокаивали Гиви, пока Эдик доходчиво объяснял официанту, что все мы поголовно хищники и разную траву в рот не берем. Полет в Читу выдался на редкость долгий и нудный и вдобавок усугубленный местным сервисом, и если бы не наш «Реми Мартен», я расценил бы эти восемь часов как бесполезно прожитые. Сзади меня сидели Гена с Артуром и всю дорогу громким шепотом и с использованием непарламентских выражений спорили, кто кого позавчера больше обидел. Гиви достал из сумки миниатюрный ноутбук, включил его, вывел на экран какие-то таблицы и углубился в них. При этом он периодически запускал руку в карман своей кожаной куртки, где у него наверняка лежал большой пупырчатый огурец, из тех, что Гиви особенно любит. Эдик сидел, закрыв глаза, в соседнем со мной кресле и едва слышно шептал что-то вроде: «...между корнями и кроной смешать свое семя с семенем Его...». Лева с Севой резались в крестики-нолики на бесконечной доске, фальшивя в два голоса «...как жену чужую, обнимал березку». Лена с Соней шушукались над своими открытыми сумочками, откуда они по очереди доставали какие-то баночки и тюбики и вдохновенно их разглядывали. Жорж в деталях рассказывал Толику историю знакомства со своей будущей супругой. Сон ни к кому не шел, а ко мне в особенности. В Читинском аэропорту Гиви снова оставил нас караулить барахло в зале ожидания и вернулся через полчаса с известием, что пассажирские самолеты в Тынду из Читы не летают. Полюбовавшись на нашу реакцию, он хлопнул подвернувшегося Толика по плечу и велел нам взять вещи и идти за ним. Тут выяснилось, что Жорж куда-то делся. Мы немного подождали, потом Гена с Толиком прочесали наиболее вероятные места его пребывания, но ни в буфете, ни в туалете Жоржа не было. Гиви начал сатанеть. Наконец, доедая на ходу яблоко, появился Жорж. От него разило коньяком, костюм был в каких-то пятнах, узел галстука съехал набок. Наши претензии он вежливо, но решительно отклонил, заявив, что даже в тюрьме разрешают свидания, а он всего лишь звонил невесте из автомата, поскольку в этом захолустье его мобильник не работает, а спутниковый, как у некоторых буржуев – он показал огрызком на Гиви, – ему не по карману.

– Не спит. Говорит, соскучилась, – с довольным видом шепнул он мне и интимно подмигнул. Я, честно говоря, не очень понимаю, как отличить спящую колоду от бодрствующей, но в полчетвертого утра у меня уже не было сил, чтобы достойно испортить ему настроение.

Снаружи ждал микроавтобус. Он довез нас по взлетному полю до небольшого двухмоторного самолета, имевшего не слишком пассажирский вид. Возле кабины маячил человек в кожаной куртке, летном шлеме и сапогах. При виде нашей компании, возглавляемой Гиви, он буркнул что-то похожее на «богатые и волосатые», ожесточенно высморкался и полез в кабину. Гиви велел нам забраться внутрь, где мы с несколько меньшим, чем хотелось бы, удобством разместились на чемоданах и мешках с почтой. Сам Гиви забрался в кабину пилота, что мы приняли как должное. Весь полет нас трясло и болтало, а после «Реми Мартен» отсутствие пергаментных пакетов ощущалось особенно остро. Честно говоря, мне уже слегка надоело болтаться в воздухе, тем более что уровень комфорта с каждым полетом неуклонно снижался.

В Тындинском аэропорту мы затащили наш багаж в длинное приземистое здание, на двери которого желтой краской было написано «Сюда», и расселись по скамейкам в полутемном и тесном зале ожидания. Гиви, как водится, ушел. Чуть поодаль сидел на скамейке лысый небритый мужик в пиджаке на голое тело и оранжевых женских рейтузах. На коленях у него лежала связанная курица. Левой рукой мужик придерживал курицу, а правой прикладывался к бутылки с чем-то мутным, но, как видно, хорошим, поскольку смачно крякал после каждого глотка. На ближайшей ко мне стене жирным красным фломастером была написана загадочная фраза: «Колбасе сыра только вермишель». Чуть ниже красовались два схематичных рисунка на библейскую тематику, а конкретно – фрагментарные изображения Адама и Евы до грехопадения, когда они еще не знали, что некоторые части тела следует прикрывать.

Появился Гиви в сопровождении плотного краснолицего мужчины, похожего на городничего из «Ревизора», если того одеть в сталинский китель и голубые варенные джинсы. Он и вел себя, как городничий в присутствии Хлестакова, – что-то подобострастно объяснял, загибая толстые пальцы. Гиви остановил его небрежным жестом и, достав бумажник, осведомился тоном розничного покупателя:

– Так почему вертолет?

– Сейчас все устроим! – засуетился городничий, открывая перед Гиви обитую дерматином дверь с полуосыпавшейся табличкой «Д рект р». – Прошу в кабинет.

Лысый мужик глотнул из бутылки, крякнул и сипло сказал, обращаясь к курице:

– Вот, извольте лицезреть: Билл Гейтс собственной персоной. Видишь, пахла, как люди живут? Гляди и учись! С тебя ведь, помимо бульона, хер что получишь.

Курица наклонила голову и посмотрела на нас круглым глазом. Дверь кабинета отворилась, оттуда высунулся краснолицый директор и оглушительно заорал:

– Коган! Коган!!! Иди сюда, быстро!!

– Иду! – отозвался низкий женский голос из глубины коридора. Вслед за голосом выплыла дородная женщина в цветастой шали, накинутой на плечи.

– Вот! – с гордостью сказал директор. – Рекомендую. Фира Коган – лучший наш пилот. Наша пилот, – поправился он.

Мы уставились на Фиру Коган так, словно она только что продемонстрировала нам практическую левитацию. Фира скромно потупилась, украдкой разглядывая нас из-под длинных ресниц. Ей было около тридцати. Высокая, полная, миловидное лицо, матовая кожа, пышные черные волосы. Шаль ей очень шла.

Первым пришел в себя Гена.

– Очень приятно! – объявил он от имени всех. Мы закивали, как китайские болванчики, в том смысле, что да, очень приятно. Фира еще раз оглядела нас, решила, что мы не шутим, и подарила каждому из нас лучезарную улыбку и не по-женски стальное рукопожатие. Взгляд директора упал на наш багаж в углу.

– А вот чемоданы в вертолет взять не получится. Не взлетит.

Гиви вздохнул и полез за бумажником.

– Нет, деньги тут не помогут. Вертолету хоть миллион баксов покажи, а толку что. Ми-2 рассчитан на семь пассажиров, а вас и так десять. Не взлетит – и все! – сказал директор с каким-то даже злорадством: дескать, осталось еще хоть что-то на свете, чего вы, толстосумы проклятые, не можете купить. – Так что вещи придется оставить здесь. К сожалению, – опомнившись, добавил он и с означенным сожалением проводил взглядом исчезающий в гивинном кармане бумажник.

Я испытующе посмотрел на Эдика.

– Даже и не думай! – отмахнулся тот. – Я тебе что, джинн из сказки? На вертолет у меня точно сил не хватит. Грохнемся где-нибудь в тайге, и все дела. И вовсе не факт, что я смогу воздействовать на то, внутри чего сам нахожусь.

– А вещи... не пропадут? – нерешительно спросил Сева директора.

– Не извольте беспокоиться! Все будет в полной сохранности. Лично присмотрю. Сейчас отнесем их в диспетчерскую. Она всегда заперта, никто там не бывает, разве что зять иногда ночует. Человек кристальной души. Обстоятельства, знаете ли...

Судя по Севину лицу, такой ответ удовлетворил его лишь частично.

– Ладно, дэлать нечего, – философски заметил Гиви. – Берем только коныак.

– Разбирай чемоданы! – скомандовал Лева, демонстрируя полное равнодушие к обстоятельствам, по которым человеку кристальной души придется ночевать в диспетчерской своего тестя.

– Ни в коем случае!! – закричал директор так, как будто мы собрались его грабить. – Вудрайтис! Шварц! Тейру... как тебя там... оглы!

Три человека возникли, как из-под земли. Они были одеты в одинаковые грязновато-синие комбинезоны и пожожи, словно братья-близнецы.

– Отнесите чемоданы в диспетчерскую и сложите там! – приказал директор.

– Вертикально или горизонтально? – осведомился один из них.

– Опять умничаем, Шварц? – угрожающе спросил директор. Шварц невозмутимо взвалил на спину Левин рюкзак, подхватил мой и Севин чемоданы и не торопясь зашагал по коридору. Его двойники молча разобрали оставшиеся вещи и двинулись следом. Директор проводил интернациональную бригаду строгим взглядом, долженствующим засвидетельствовать его, директора, принципиальность и бдительность, после чего вернул на лицо давешнее услужливое выражение и открыл перед нами дверь с надписью «Служебный выход». Гена согнул руку калачом и галантно предложил ее зарумянившейся Фире со словами: «Среди красивых глупых не бывает»; другой рукой он без видимого усилия поднял с пола увесистую сумку с «Реми Мартен». За Геной тронулись мы, едва волоча ноги от усталости. Директор семенял рядом с Гиви, преданно заглядывал ему в лицо и бормотал что-то о максимальной дальности, потолке, крейсерской скорости и прочих технических характеристиках. Гиви благосклонно кивал.

– Куда летим-то? – деловито спросила Фира, когда мы вышли наружу.

– Я покажу, – сказала Лена. За истекшие сутки она сильно изменилась. Видимо, в такой близости от Амонаа, где она родилась и выросла, ей стало гораздо труднее сохранять маскировку. Она была уже скорее Лоа, чем Лена. Толик больше к ней не лез, а держался поодаль и поглядывал в ее сторону с некоторым страхом. От вопросов он, как и остальные, благоразумно воздерживался.

– Понимаешь, – шепотом объяснил мне Сева, – все это барахло в моем чемодане гроша ломаного не стоит. Пропадет – и хрен с ним. А боюсь я за волновую защиту. Экспериментальная модель на базе нанотехнологии стоит немисливо дорого. Если, не дай Бог, сопрут, я за нее лет пять рассчитываться буду.

– Зачем же ты ее поставил?

– Просили испытать в реальных условиях. А чтоб ее не украли, глаз с чемодана велили не спускать.

Вертолет стоял на отшибе, почти у кромки леса. Он, действительно, выглядел слишком маленьким для того, чтобы мы все в нем поместились. Но мы поместились, хотя комфортом это не назовешь. Кабина пилота отделялась от салона (или как это называется у вертолетов) раздвижной плексигласовой перегородкой. В кабине у ветрового стекла был укреплен пучок стеблей папоротника. Казалось бы, мало ли кто как украшает свое рабочее место, но я в последнее время меньше всего был склонен списывать что-либо на случайности. Я толкнул локтем Эдика и показал ему глазами на папоротник.

– Вижу, – вполголоса сказал он. – Кстати, а где Жорж?

Мы огляделись. Жоржа не было.

– Это тот ваш товарищ, который в костюме? – обернулся к нам директор. – Он попросил разрешения позвонить домой из моего кабинета. Говорит, очень срочно, буквально два слова.

Эдик чертыхнулся с такой силой, что рядом с ним закрутился небольшой смерч и уплыл в сторону леса. От аэровокзала уже кто-то несли к нам, поднимая ногами тучи пыли. На счастье Жоржа, это оказался он. Запыхавшись, он влетел в утробу вертолета с таким виновато-счастливым видом, что ни у кого из нас не поднялся язык высказать ему все, что он, безусловно, заслужил, и без чего его воспитание грозило остаться незавершенным. Фира просунула голову в дверь, оглядела нас и спросила:

– Приходилось когда-нибудь на вертолете летать?

– Приходилось, – гордо ответил Эдик. Остальные скромно промолчали.

– Ну, ничего, – весело сказала Фира. – Долетим с ветерком. Главное – внутри не пачкайте, а то убирать некому.

С этими ободряющими словами она подобрала юбку и ловко залезла в кабину. Директор тоже заглянул, сказал: «Желаю удачи», закрыл снаружи дверь и прощально махнул рукой. Фира нацепила на голову наушники с микрофоном и проворно защелкала переключателями, как ткачиха-многостаночница из производственных фильмов советской эпохи. Взревел двигатель, лопасти дрогнули и начали вращаться, сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее. Ветер от винта погнал пыль по земле. Вертолет качнулся, оторвался от земли и стал набирать высоту. За окном мелькнула в облаке пыли фигура директора и пропала.

Шум в вертолете стоял адский. Фира обернулась, подмигнула нам и вопросительно посмотрела на Лоа. Та показала пальцем куда-то вбок. Фира кивнула и лихо двинула штурвал. Вертолет заложил глубокий вираж, который я долго не забуду, и рванул в указанном направлении. Соня взвизгнула, Гиви уронил свой огурец. Я инстинктивно ухватился за какой-то выступ, обрел равновесие и выглянул в окно. Вверху повисло просторное небо бледно-синей расцветки, какую не каждый художник может себе позволить. Внизу до самого горизонта раскинулась тайга. Под нами проносились сопки, поросшие соснами и лиственницами. Верхушки деревьев едва не царапали днище вертолета. Фира явно не склонна была тратить время на набор лишней высоты.

Мне вдруг пришло в голову, что для людей, которые летят неизвестно куда делать неизвестно что, причем явно не совсем обычное неизвестно что, мы держимся с похвальным самообладанием. Которое, скорее всего, происходит из нежелания разума серьезно воспринимать вещи, до такой степени выходящие за рамки обыденного. Не знаю, как остальные, а я, кажется, так до конца и не поверил тому, что услышал от Лоа и Эдика, и подсознательно отнесся к этому, как к роману, скажем, Стивена Кинга: закручено, конечно, здорово, но в жизни такого, слава Богу, не бывает. Видимо, сработал некий психологический барьер, встроенный в нас природой – или

кем-то еще – для защиты сознания от чрезмерных потрясений. На случай, если доведется столкнуться с чем-то таким, чего, с одной стороны, не может быть, потому что не может быть никогда, а с другой – вот оно, никуда не денешься, и приходится в это поверить, а для этого не помешало бы рехнуться полностью и окончательно.

– Эдик! – крикнул я ему в самое ухо, не слыша самого себя за ревом двигателя. – Как ты им объяснил, зачем мы туда летим?

– Я сказал, что есть уникальный шанс увидеть Амонаа и Элонхи! – проорал в ответ Эдик. – И заодно отсрочить всеобщие кранты.

– А они не решили, что ты окончательно свихнулся? На почве первобытного детства и непосильных литературных трудов?

– Нет, они оказались вполне восприимчивы к моим доводам. Я лишь слегка помог. Незаметно.

– Знаем мы твою помощь! А Лоа найдет это место?

– Конечно. Даже я нашел бы, а у нее связь с Элонхи гораздо сильнее, чем у меня.

Надсаживать глотку больше не хотелось, и я некоторое время вяло размышлял о том, какой исход ждет человечество с большей вероятностью: пенсия за хорошую работу или увольнение за плохую. Склонялся я, пожалуй, больше ко второму варианту, хотя допускал и первый. Оба они, впрочем, показались мне настолько неприглядными, что я нашарил сумку с «Реми Мартен», вытащил бутылку, сделал несколько убедительных глотков и попытался придумать более приятную тему для размышлений. Но вместо этого, как видно, задремал, потому что проснулся от крика Лоа, перекрывшего шум двигателя:

– Вон там! Что это?! – она показывала куда-то рукой. – Эдик, смотри! Неужели мы опоздали?!

Вертолет приземлялся. Колеса коснулись земли, лопасти замедлили вращение и, наконец, застыли. Мы сидели неподвижно. Наверное, надо было сразу выскакивать, рассыпаться цепью и кричать «Ура!» или как там полагается, спасая человечество; но мы просто сидели и молчали. Всего лишь корпус вертолета отделял нас от того, во что не хотелось даже верить – не то что увидеть. И Лоа молчала, нервно теребя эспаньолку, украшавшую ее зеленоватое длинноносое лицо с узкими глазами. У Эдика на лице обозначились углы, зрачки вытянулись. Он плавным хищным движением открыл дверь и бесшумно спрыгнул на землю. Лоа встрепенулась и с каким-то сдавленным писком бросилась за ним. Тут и Гена очнулся, подхватил сумку с коньяком и выскочил следом, а за ним и все мы. И великий пилот Фира тоже вылезла из кабины и так же, как и мы, оцепенела. Гена выронил сумку, внутри нее что-то звякнуло. Соня вскрикнула, пошатнулась и схватила Севу за руку, чтобы не упасть. Гиви, с остановившимся взглядом, судорожно терзал огурец. Артур оттолкнул Толика и, подвывая, начал было забираться обратно в вертолет. Гена небрежным рывком сдернул его обратно. Артур шлепнулся на землю, как лягушка, и замолк.

Легендарная Амонаа выглядела довольно непрезентабельно. По крайней мере, с точки зрения архитектуры. По краю большой поляны негусто росли холмики, покрытые мхом — землянки, сообразил я. Возле них валялись какие-то предметы, кое-где виднелись поленницы дров, сложенные так же, как и в обычной российской деревне. Нежилая середина поляны поросла низким кустарничком, а в центре ее... В центре поляны, в черном земляном круге, росло дерево. Ничего подобного я никогда не видел, даже на фотографиях. Ствол Элонхи заслонял собой изрядный кусок пейзажа, а крона закрывала полнеба. Почти осязаемая тишина повисла над поляной. Казалось, звуков больше не существует в мире, и, когда под моей ногой треснул сучок, я почувствовал это, но не услышал. И тела кругом, десятки тел. Зеленоватая кожа лиц, иссиня-черные волосы. Тела амо. Все они выглядели одинаково неправдоподобно еще и потому, что лежали спинами вверх, уставившись при этом открытыми глазами в небо, будто кто-то одним и тем же движением свернул им шеи. На их лицах застыло одинаковое выражение, и это было выражение не испуга и не страдания, а, наоборот, полнейшего покоя и умиротворения. Над каждым телом на гибком хлысте, вырастающем из середины спины, безмолвно покачивался огромный черно-красный цветок, жадно склонив свою разверстую чашечку размером с волейбольный мяч к запрокинутому лицу. Звуки стали медленно возвращаться; сухой треск сучка достиг моих ушей. Позади меня кого-то вырвало. Меня тоже замутило, но я сдержался. Лоа, жалобно вскрикивая, металась от мертвеца к мертвецу, тормозила, заглядывала в лица, избегая, однако, прикасаться к цветам.

— Эдик! — прошептал бледный, как сметана, Сева. — Что здесь произошло? Кто их убил? Кто им свернул шеи?

— Не знаю, Сева, ничего не знаю... — хрипло ответил Эдик, внимательно разглядывая ближайший труп. — Хотя с шеями как раз все в порядке. Амо умеют поворачивать голову на сто восемьдесят градусов, даже чуть больше. Как совы.

— А цветы эти жуткие!..

— погоди... — прервал его Эдик, вытянув шею и словно прислушиваясь — Кажется, шаман жив... Так. Всем ждать здесь, никуда не отходить! Саша, за мной!

Он сорвался с места, я за ним. Когда я пробежал мимо неподвижного тела с цветком над ним, его чашечка дрогнула и стала слегка разворачиваться в мою сторону. Землянка шамана находилась на ближнем к нам краю поляны. Вход в нее был сделан в виде узкого коридора, спускающегося под уклоном градусов тридцать. Ниже уровня земли из стен коридора выступали тонкие белые корни, сплетающиеся в причудливую сеть. Продравшись через них вслед за Эдиком, я оказался в круглом помещении диаметром метра три с земляным полом и стенами и низким потолком, сло-

женным из жердей, между которыми торчали пучки мха. В потолке было отверстие, сквозь которое проникал слабый свет. У стены стояла кровать в виде прямоугольной рамы, связанной из четырех тонких стволов деревьев, и натянутой на нее облезлой шкурой какого-то животного. На этой кровати лежал на спине старик, укрытый по грудь странной чешуйчатой тканью – скорее даже кожей, едва заметно шевелящейся на его груди. Руки его были сложены поверх одеяла, и от них, равно как и от морщинистого лица с коричневыми веками, веяло невообразимой древностью, словно от египетской мумии, единственное существенное отличие от которой заключалось в том, что он был жив. Голова его была повернута вбок, и неподвижные глаза смотрели на нас. Несмотря на то, что взор старика был, казалось, сфокусирован, он заметил нас в тот самый момент, как мы вошли, точнее, втиснулись внутрь. Увидев нас, шаман вздохнул, как мне показалось, с облегчением, обратил лицо вверх, закрыл глаза и медленно задвигал челюстями, будто жуя что-то. Из угла его рта стекала темная струйка слюны и терлась в длинной бороде, белой до полупрозрачности. У изголовья на полу стояла грубо слепленная глиняная миска с какой-то бурой массой. Рядом лежали несколько странных блестящих сине-зеленых листьев, напоминающих по форме детские ладони. Несколько поленьев и подобие этажерки из жердей, перетянутых полосками коры, довершали интерьер. На одной из полок этажерки лежал какой-то круглый предмет. Вначале я его принял за перевернутую кастрюлю, но, приглядевшись, понял, что это бубен. Никаких цветов в помещении видно не было.

– Все, как тогда, – прошептал Эдик. – Ничего не изменилось. Как будто время в этой комнате не движется.

Он присел на корточки рядом с изголовьем, положил руку на лоб шамана и что-то сказал. Старик еле слышно пробормотал в ответ несколько слов. Эдик спросил еще что-то. Шаман ответил.

– Йолты, – прошептала Лоа за моей спиной. Я и не заметил, как она вошла.

Лоа проскользнула мимо нас к ложу. Старик заговорил быстрее. Я почувствовал, как Эдик и Лоа насторожились. Шаман выговорил напоследок какое-то длинное слово и замолчал, тяжело дыша. Лоа склонилась над ним.

– Хам, – тихо, но отчетливо произнес шаман. – Засранец...

Теперь насторожился и я: уж больно язык амо оказался похожим на русский.

– Хам... гнида... будешь над отцом смеяться... пьяным... Прокляну... Убирать навоз у мамонтов... Шем, дристать всех наверх... Йефет, лево руля... воля твоя...

– Эдик, что это он несет? – обомлев, спросил я. – Он что, бредит? И почему по-русски?

– Может, и бредит, – отозвался Эдик. – Кое-кого, я думаю, очень бы заинтересовал этот бред... Да нет, не бредит он. Не тот он человек, чтобы бредить в такой момент. А по-русски... Видимо, для того чтобы ты тоже понял. Он никогда ничего не делает просто так.

– А что это тогда, если не бред? Откуда он это взял? Вряд ли он читал Танах, как я понимаю?

– Какой, к лешему, Танах, откуда! Кроме того, он вообще читать не умеет. Лоа, твой отец умеет читать?

Лоа помотала головой, не отрывая взгляда от отца.

– Так кто же он, в самом деле?! – возопил я шепотом.

Взгляд Эдика на мгновение застыл.

– Нет, – сказал он после паузы. – Это, пожалуй, уже слишком. Да и море здесь было черт-те сколько миллионов лет назад. Впрочем, с этим стариком никогда ни в чем нельзя быть уверенным. Но давай сейчас об этом не думать. Надо спешить.

– Куда спешить? – я все еще ничего не понимал. – Что он тебе сказал перед тем, как под Ноя закосил?

– Он сказал, что надо идти к Элонхи. Нам всем.

– Но ты ведь говорил, что к нему нельзя приближаться! Мы же погибнем, как твои род... ох, прости, ради Бога!

– Ничего, бывает. Нет, я думаю, ничего плохого с нами не случится. Шаман сказал, Элонхи нас ждет.

– Он что, наш ангел-хранитель, этот твой шаман? Откуда ты знаешь, что у него на уме? А может, этому Элонхи нужны человеческие жертвы!

– Не беспокойся. Я уверен... знаю каким-то образом, что для нас это безопасно.

– А что с амо? От чего они умерли?

– От того, что они ближе к корням.

– Ничего не понимаю. Ты можешь мне объяснить в двух словах, что происходит?

– В двух словах: нам каюк. О чем говорила Лоа, помнишь? Дерево, на котором мы все растем? И если кто-то повредит корни, то нам крышка? Так вот, судя по всему, это и произошло. И первыми жертвами оказались те, кто ближе всех к корням. Амо. Потом дойдет и до остальных.

– Когда – потом?

– Неизвестно. Может, через месяц. А может, через час.

– Но почему именно амо ближе к корням?

– Потому, что они были созданы первыми. Тебе, небось, и не снилось когда-нибудь увидеть первосотворенных? Вот они, настоящие Адамы и Евы. Точнее, прямые их потомки.

– А кто подрыл корни?

– Наверное, тот, кто должен прийти нам на смену.

– Но почему?! Мы что, окончательно потерпели фиаско? Почему нас заменяют кем-то? Или не заменяют? Может, причина другая? Может, просто мир стал совершенным?

– Понятия не имею. Какая тебе разница? – нетерпеливо сказал Эдик. – Нам не причину надо искать, а Дерево спасти, пока наши ветки не засохли. Нам надо к Элонхи – и срочно!

– То есть Элонхи и есть то самое Дерево? – мой вопрос прозвучал как ответ.

– Вот именно. Точнее, не совсем оно, а его проекция на наше пространство. Само Дерево, скорее всего, выглядит совершенно иначе. Пошли!

Мы выбрались наружу. Эдик пронзительно свистнул и помахал рукой остальным, ждущим у вертолета. В другой руке он держал бубен, тот самый. Я окинул взглядом картину, напоминающую поле боя, и вдруг у меня в голове сложился какой-то пазл.

– Постой! – закричал я. – Ты же сам рассказывал нам о мифологии амо. Помнишь – Великое Испытание? А вдруг оно уже состоялось, амо не держали его? Ведь следующее будет только тогда, когда все умрут! Может, они потому и умерли?

– Говорю тебе, не знаю! Все может быть. Вот тебе еще версия: они выдержали Испытание, прыгнули с верхушки Элонхи и теперь блаженствуют «кауни эц». Вполне логичная, кстати, версия. Ведь никто, включая шамана, не знает, как это самое блаженство должно со стороны выглядеть. Может быть, как раз именно так: лежишь себе на животе лицом вверх, и сквозь тебя цветок растет. Тем более что это объясняет, почему Лоа жива. Если Испытание было недавно, она в нем не могла участвовать, поскольку ее здесь больше года не было.

– А шаман почему жив?

– Не берусь объяснять. Он тот еще тип. Пожалуй, самая загадочная на свете личность. Я даже не уверен, амо ли он. Ты обратил внимание, что он не очень-то похож на амо?

– Он и на человека не очень-то похож. Сколько ему, по-твоему, лет?

– Боюсь даже предположить. Люди столько не живут, кроме как в сердцах благодарных потомков. Знаешь, он сказал еще одну интересную вещь: оказывается, в языке амо существует не двадцать семь грамматических форм для будущего времени, как я думал, а двадцать восемь. И эта двадцать восьмая форма описывает момент, когда движение времени закончится. Самую последнюю точку на временной шкале. Между прочим, Лоа этого тоже раньше не знала. Такие дела. А вот и ребята.

Эдик скептически окинул взором приближающийся отряд по спасению человечества. Отряд выглядел бледным и вполне потрясенным, а в глазах у бойцов было столько же вопросов, сколько и страха получить на них ответы. Эдик воздел руку таким движением, как будто хватался за поручень в автобусе.

– Дамы и господа! Сейчас вы все быстренько идете за мной и ни о чем не спрашиваете, потому что ответить мне вам все равно нечего. Понятно? Чудненько! Фира, а вы что тут делаете? Ваше место разве не в вертолете?

– Как хотите, – ответила Фира Коган дрожащим голосом. – Я там одна не останусь!

– Ладно, идемте с нами. Не волнуйтесь, бойцы, прорвемся!

В этот момент зазвонил мобильник. Этот звук настолько не вязался с

окружающей обстановкой, что мы вздрогнули от неожиданности. Гиви су-нул руку в карман, достал трубку и поднес к уху.

– Слушаю, – сказал он. Затем брови его удивленно поднялись, он сказал: «Пожалуйста» – и протянул трубку Жоржу. Тот схватил телефон и заорал в него:

– Да! Да, дорогая, это я! Все в порядке, не беспокойся! Скоро увидимся... Нет, не холодно... Кушаю хорошо... Прости, не могу больше говорить. Люблю! Целую! Пока!

Он смущенно вернул трубку Гиви.

– Прости, я дал твой телефон. Мой здесь не ловит... а она волнуется. У нас в понедельник свадьба, ты же знаешь, я тебе приглашение посылал...

– Все понимаю, – вежливо кивнул Гиви. – Мне разве жалко? Пусть звонит. За спиной Жоржа Сева покрутил пальцем у виска.

Колоссальная вспышка озарила все вокруг. Я вздрогнул и посмотрел вверх. Еще одна ветвистая молния рассекла небо, и тут же от страшного удара грома заложило уши. Мохнатая черная туча нависла над нами, хотя всего несколько минут назад небо было безоблачным. В лицо мне ударила здоровенная капля. За ней вторая и третья. А еще через несколько секунд на нас с неба обрушился настоящий водопад. Мы вымокли мгновенно. Серые струи плотно исчертили пространство, а в нескольких метрах от меня вода, казалось, стояла стеной. Из этой стены внезапно появилась Лоа.

– Сюда! – кричал Эдик, направляясь к центру поляны. Мы тащились за ним, скользя по раскисшей почве. Я с трудом различал его спину впереди себя. Несколько раз я спотыкался обо что-то и падал, все больше и больше становясь похожим на те пироги из глины, которые я, по словам моей мамы, так любил делать в детстве. Остальные, по-моему, выглядели не лучше. Еще хорошо, что ливень частично смывал грязь с лица. Я чуть не налетел на труп амо. Цветок, растущий из него, полностью накрыл его лицо своей чашечкой. В какой-то момент дождь ослаб, и в образовавшемся просвете перед нами показался Элонхи. При виде древесного великана мы застыли как вкопанные.

– Сюда! Быстрее! – кричал Эдик, перешагивая через низкий заборчик, огораживающий площадку вокруг ствола радиусом метров тридцать, абсолютно сухую и без единой травинки.

Ствол Элонхи выглядел так, как будто он был обтянут мягкой серой кожей, из какой шьют дорогие дамские сапоги. Мощные корни, напоминающие слоновьи хоботы, уходили в почву. Нижние ветви, толщиной с автомобиль, отходили от ствола в трех метрах от земли. Плотная масса пятипалых сине-зеленых листьев закрывала все, что было выше. Дерево выглядело поникшим. Даже не выглядело – скорее, оно порождало некую волну сложных ощущений, большую часть которых я не то что расшифровать, а даже описать не сумел бы, но одно я мог сказать наверняка: это был явный и недвусмысленный крик о помощи. Дереву было очень плохо.

– Быстро! – заорал Эдик. – Ближе к Элонхи! Нет, не все сразу! Гиви,

Жорж, Толик и я – с этой стороны. Остальные мужики стоят на месте и не двигаются! Лоа, Соня!.. Черт, еще двух барышень надо!..

Его взгляд упал на Фиру, которая круглыми от изумления глазами смотрела на происходящее.

– А ну, Фира, давайте сюда быстренько! Без вас никак.

– Что быстренько? – не поняла Фира.

– Сейчас мы вместе с вами будем отдаваться Элонхи. Вот этому дереву. Бояться не нужно, все будет хорошо. Вам даже понравится.

– Дереву? Отдаваться? – она растерянно оглянулась на Гену, но тот сделал жест, означающий, что все путем.

– Фира, ну вы же все понимаете! У вас же папоротник в кабине, Фира! Идите сюда!

– При чем тут папоротник! – взвизгнула Фира. – Какое вам дело до моего папоротника?!

– А такое, что мы без вас не можем, поймите, несчастное растение нуждается в нашей любви и в вашей тоже, мы его спасем, а оно нас!.. – заговорил Эдик голосом, каким обычно говорят с испуганными детьми. Глаза его сузились и воткнулись в Фиру. Несколько секунд та беззвучно открывала и закрывала рот, потом внезапно расслабилась и, опустив очи долу, покорно двинулась к Элонхи. Сверкнула молния, ослепив нас на целую вечность, грянул гром, и ливень обрушился с новой силой. К счастью, мы уже находились внутри ограды. Крона Элонхи была совершенно непроницаемой даже для такого дождя.

– Так. Нужна четвертая барышня.

Эдик обернулся, взгляд его скользнул мимо нас и остановился на Артуре.

– Артур! – позвал Эдик. – Арту-ур!

– А я тут при чем? Чуть что, так сразу Артур! – взъелся тот. Ход мысли Эдика ему явно не понравился.

– Артурчик! – ласково сказал Эдик. – Ты же у нас пассивный, так?

– Какой я пассивный! Так, иногда, для разнообразия!.. – заныл Артур, переводя испуганный взгляд с Эдика на Элонхи и обратно.

– Вот и будет тебе разнообразие, да такое, что на всю жизнь. Артур, не в службу, а в дружбу: ты встанешь с женской стороны Элонхи. Без обид! Необходимо, понимаешь? И побыстрее!

– Иди ты в жопу! – истерически завизжал Артур. – Да ты посмотри на него! Это же монстр! Что я, псих, такому подставляться?!

– Артур, у нас нет времени, – вздохнул Эдик и вдруг заорал так, что у меня зазвенело в ушах. – Ты думаешь, это просто дождь, козел?! Это же Потоп начинается!! Вставай к дереву!!!

– Сам вставай! – окончательно взбеленился Артур. – Опустить меня решил, блядь, с помощью корнеплода этого ебаного?!

Гена угрожающе кашлянул и сделал шаг вперед.

– Подожди, Гена, я сам, – остановил его Эдик и вперил в Артура тяжелый взгляд. – Ну, что?

– Хорошо! – быстро сказал Артур. – Я согласен! Но под твою ответственную! И если что-нибудь... если я...

– Заметано! – оборвал его Эдик. – Иди сюда!

Бедняга Артур, подумал я, до чего же сложное чувство я к нему испытываю. Тут и жалость к нелегкой его доле, и негодование на то, что он, подлец, тянет время, и благодарность за то, что он, пусть и не добровольно, взял это на себя, а иначе кому-то из нас пришлось бы, и... в общем, все, кроме зависти.

Избранные – точнее, назначенные – приблизились к стволу. Я видел, как Эдик показывает каждому из них, куда встать. Снова сверкнуло, и ударил гром, да так, что я невольно пригнулся. Окружившие Элонхи люди стали сбрасывать с себя одежду, и тут дерево зашевелилось. Это не было качанием от порывов ветра – я не уверен, что и ураган способен покачать Элонхи, – нет, это было самостоятельное движение. Я не могу сказать, что именно у дерева двигалось – ствол ли, ветви ли, но в этот момент оно производило впечатление живого существа. Во внезапно сгустившемся сумраке едва можно было различить, как припавшие к стволу восемь человек вздрогнули и синхронно задвигались, образуя вместе со стволом нечто единое и пульсирующее. «О, Господи!» – прошептал кто-то сзади меня, кажется, Сева. Голос Гены с чувством произнес: «Когда бы вас она могла губами так угощать, как языком меня...» Не могу сказать, сколько длился этот инородный танец: чувство времени покинуло меня. Наконец, громкий вопль вырвался из глоток облепивших Элонхи людей и одновременно второй, гораздо более громкий звук, напоминающий по тембру голос самой большой органной трубы, раздался откуда-то сверху, из гуши ветвей и листьев. Люди задергались в корчах и в изнеможении отвалились от ствола. Один из упавших тут же поднялся на ноги и принялся торопливо натягивать на себя мокрую одежду. Это был Эдик. Закончив одеваться, он выпрямился, держа в руках бубен. Глаза его блеснули расплавленным золотом. Теперь перед нами был дред. Он поднял левую руку с бубном, совершил кистью правой несколько неуловимых движений, и бубен охнул, ахнул и забормотал высоким тоном, рассыпая невидимые орехи из мешка. Я снова ощутил исходящий от Элонхи сигнал, и сигнал этот, безусловно, свидетельствовал о том, что дереву стало лучше.

– Мужики, следующая четверка! – заорал нам дред, становясь обратно Эдиком. – Давайте сюда, быстрее! Элонхи желает еще! – и, обернувшись к лежавшим: – Девочки по второму разу! Артур! Ты что, не понял? Я сказал: девочки по второму разу!

Листва Элонхи зашумела под порывом ветра, а может, и сама по себе. В моей груди возникла теплая упругая волна, разошлась вверх и вниз и мягко ударила в голову и в пах. Внезапно я почувствовал вожделение, настолько сильное, что опрометью бросился к дереву, путаясь в скидываемой одежде и замечая краем глаза, что остальные невенчанные – Лева, Сева и Гена – делают то же самое. Я прижался к стволу и положил руки на кору.

Больше всего мне хотелось обнять ствол, хотя, ввиду его толщины, это было бы равносильно попытке обнять стену. Кора оказалась теплой и на ощупь напоминала мой любимый кожаный пиджак, купленный в позапрошлом году в Париже на бульваре Сен-Мишель. Вдруг кора зашевелилась и набухла, как будто изнутри ее что-то распирало. Метаморфоза заняла несколько секунд. Кора приняла форму, не оставляющую сомнений, на какой стороне Элонхи я нахожусь, и дерево издало мурлыкающий звук. Меня приглашали к соитию. Я качнулся вперед и прижался к стволу. Древесина – или плоть? – разошлась под моим напором и приняла меня в себя. В следующее же мгновение я целиком растворился в урагане чувств, подобного которому я раньше и представить себе не мог. Наслаждение и боль, радость и отчаянье, любовь и ненависть – все смешалось теснее, чем в доме Облонских. Я перестал быть самим собой, сердце колотилось в виски, колени стучали о зубы, хвост ударял по жабрам, я чувствовал себя одновременно делящейся амебой, роящимся ульем и цветущим кустом, и в какой-то момент это ощущение стало настолько невыносимым, сладостным и безысходным, что лопнула – я почти слышал хлопок – мембрана, закрывавшая отверстие между тем бредом, что всю жизнь поджидает нас на границе сознания, и самим сознанием. Чудовищный оргазм обрушился на меня, смял, раздавил, выкрутил, как белье. И, хоть я этого и не видел, но всеми органами почувствовал, как тот же – тот же! – оргазм сотрясает тела остальных, выгибая их в припадке безумного наслаждения. Господи, за что?! Что я содеял такого, что Ты послал мне эту пытку?! Что я содеял такого, что Ты послал мне это счастье?!

И вдруг все кончилось. Громадная волна, качавшая меня на гребне и одновременно бывшая о дно, схлынула. Едва я успел наполнить воздухом сплюснутые легкие, как откуда-то сверху свесилась гибкая, толстая, похожая на змею лиана, проворно обмоталась вокруг моей груди и мягко, но настойчиво потянула меня вверх. Ноги оторвались от земли, и я повис. Страх не было, как не было и всего остального. Я был пуст, чист и совершенно необходим, как только что купленный ночной горшок. Ствол перед глазами стремительно заскользил вниз, мимо меня пронеслись ветки во-о-от такой толщины и более тонкие, ни за одну из которых я, как ни странно, не зацепился. Снизу послышался удаляющийся крик Эдика: «Сашка, держись! Мои поздравления!..» и совсем уже еле слышная цитата, как нельзя более к месту выхваченная Геной из его любимого «Отелло»: «Я кончил. Сеньор, прошу вас, перейдем к делам».

Через несколько мгновений я осознал себя висящим в переплетении ветвей, надежно поддерживаемым сотнями клейких сине-зеленых листьев-ладошек. Я поднял голову и посмотрел вверх. Между листьями просвечивало серое небо... нет, голубовато-серое... нет, уж голубое... Туча стремительно таяла. Судя по всему, меня втащило практически на вершину Элонхи, откуда, насколько мне помнилось, следовало броситься вниз и обеспечить себе блаженство «кауни эц». Я поглядел вниз. Земли за ветвями не

было видно, но она там была, и бросаться вниз мне совершенно не хотелось. «Об спрыгнуть не может быть и речи», – вспомнилось очень кстати. Не знаю, как там насчет блаженства, но по закону всеобщего притяжения от меня только брызги... хотя, может быть, закон этот полностью соблюдается только в правовом государстве, а Россия пока еще... Это ж надо, какая ерунда в голову лезет, успел я подумать, и в этот момент ладошки Элонхи, так хорошо до этого меня державшие, вдруг мягко разжались, и я с криком полетел вниз. Именно полетел, а не упал. Как в замедленной съемке, перед глазами проплывали ветки, снова ветки, опять ветки, они прощально махали мне своими листьями-ладошками, и еще ветки, потом показался ствол, он утолщался, утолщался и, наконец, уходил в землю, раскорячившись шупальцами корней. Ожидаемого мною удара о землю не последовало, а вместо этого почва у самых корней разверзлась, разъехалась в стороны. Трещина, стремительно раскрываясь, побежала в глубину, понеслась с бешеной скоростью в центр Земли, откуда на меня пахло тысячелетним смрадом, и на миг приоткрылись жуткие глаза, в которых плавал сонный, еще не познавший себя разум. Издав очередной вопль, я успел ухватиться рукой за длинный тонкий корень, росший на краю трещины. Корень оборвался, и я ухнул в бездну...

Я падал в немыслимую даль, зажав в руке подлый корешок, меня трепал во все стороны неизвестно откуда взявшийся ветер, за спиной у меня чавкало и сморкалось, чья-то когтистая трехпалая лапа игриво потрепала меня за подбородок, молния ударила меня в левый глаз и вышла из правого, я утонул и сгорел одновременно, меня мелко нарезало и раскидало по странам и континентам, запах прокисшего навоза и цветущей сирени заполнил мои ноздри, и чей-то гнусавый тенорок перечислял правила переноса в русском языке. Я летел со скоростью тысяча километров в секунду, а может, и миллион, и все же иногда успевал, подобно Алисе в Стране чудес, увидеть то, что проносилось мимо меня. Многое из этого я просто не в состоянии описать, а кое-что было знакомо мне по предыдущим снам. Там был огромный гусь в темных очках с крыльями от «боинга» и крокодильими зубами, замок, штурмуемый существами в оранжевом, мятый и грязный мужской костюм, состоящий из брюк с тремя штанинами и пиджака с пятью рукавами, полосатое небо, завязанное морским узлом, таблица результатов деления всех простых чисел на ноль и многое другое...

– Что-то ты долго падаешь, – сказал ехидный голос внутри меня. – Не надоело еще?

– Надоело, – ответил я. – Еще как надоело! И ты еще тут со своими вопросами.

– А хотел бы перестать падать? – не отставал голос.

– Конечно, хотел бы. А что толку?

– Так возьми да перестань, – посоветовал голос и рыгнул.

– Еще бы знать как.

– Вот мудила! – прошептал голос с какой-то очень знакомой интонацией.

Я обиделся и стал придумывать достойный ответ. Когда таковой, наконец, был полностью готов и отредактирован – «от мудилы слышу», – я вдруг обнаружил, что уже не падаю. В следующее мгновение полностью исчезло все то безобразие, что творилось со мной и вокруг меня, включая и непрошеного советчика. Мои внутренности, разбросанные немислимым вихрем по всем странам света, снова собрались вместе и мирно улеглись в животе. Трещина с грохотом захлопнулась, и я со стоном повалился на взрытую землю у подножия Элонхи – тело отдельно, сознание отдельно, и в этом отдельном сознании я отыскал ма-а-аленький темный уголок и, весь дрожа, забился туда. А там меня уже ждали.

Вот вы и вернулись к корням, сказал тот же голос, и заодно доказали свою состоятельность, теперь у вас есть отсрочка. Чем доказали, спросил я, она же там сидит, внизу, жуть эта, Лоа ведь о ней рассказывала, я как ее увидел, чуть в штаны не наделал, она и подрывает корни, как же мы ее остановим? Все в порядке, сказал голос, раз Потоп прекратился, значит, никто ничего не подрывает, прекратился Потоп – все отныне тип-топ, как говорят в народе, так что о Сменщике можешь пока забыть. Забудешь такое, как же, сказал я, ну хорошо, а что с амо, неужели они действительно умерли, неужели ничего нельзя поправить? Отчего же нельзя, ответил голос, все можно поправить, кроме непоправимого, для этого как раз и существует в языке амо случайное прошедшее время, означающее прошлое, которого могло бы не быть, надо только правильно употребить его. Так употреби, сказал я, ты же можешь это, шаман. Нет, сказал шаман, мое время истекло, теперь придется это делать вам – Эдику, Лоа и тебе. Но я же не умею, сказал я, и при чем тут вообще я? Сумеешь, сказал шаман, ты побывал и на вершине, и у корней, ты теперь даже больше амо, чем Эдик, а не веришь – поверни голову на сто восемьдесят градусов и убедись сам. Но я не знаю языка, сказал я. Выучишь, сказал шаман, Эдик и Лоа тебе помогут. А эти, спросил я, они что, так и будут лежать на поляне с этими жуткими цветами и ждать меня, они же там попросту сгниют. Не волнуйся, сказал шаман, не сгниют, для того и цветы. А пива, спросил я, пива мне хотя бы можно холодного, неужели я на пиво не заработал? На пиво заработал, сказал шаман, на что другое вряд ли, а на пиво – без сомнения, вот проснешься и получишь пива, а пока спи. Я не засну, сказал я, какой уж тут сон. Ничего, сказал шаман, начни считать годовые кольца у Элонхи – и сам не заметишь, как заснешь. Ну, хорошо, сказал я, спать – так спать, только вы тут как без меня справитесь? Вот смеху-то, сказал шаман, да ты, кажется, всерьез решил, что мир спасаешь, ладно, не бери в голову, мы тоже иногда пошутить любим, не обижайся, разыграли тебя, а теперь спи...

Я открыл глаза. Надо мной был знакомый потолок с темным пятном, из центра пятна капала вода. Потолок выглядел таким желанным, как будто я

тысячу лет его не видел и все это время только о нем и мечтал. Судя по всему, я лежал на своей кровати в квартире на улице Файерберг. Голова была такой легкой, что казалось: тронешь – зазвенит, как богемский бокал. И я ничего не помнил. Последним моим воспоминанием был этот странный, если не сказать дикий, диалог с шаманом, каковой диалог, скорее всего, имел место исключительно в моем воспаленном сознании. А потом вообще провал, амнезия. Но ведь как-то же я оттуда выбрался, прилетел обратно в Израиль и так далее. Или меня привезли, что более вероятно. И еще зуд этот непонятный. Уж не заболел ли я часом?

Во всем теле было очень странное ощущение, похожее на легкий зуд, но не на коже, а где-то внутри. Точнее, везде внутри. Все во мне как будто немного чесалось – кости, мышцы, сухожилия, сосуды, нервы, клетки, ДНК. Ничего подобного я никогда не испытывал и потому, признаться, слегка испугался, мысленно перебрал все известные мне болезни и не нашел ничего похожего. Ну, хорошо, подумал я, давай рассуждать логически: если все так плохо, почему я не в больнице, а дома? Почему не видно капельницы, кислородной маски, шприцов и чем там еще пользуются для экстренного лечения? Позаботиться обо мне уж как-нибудь нашлось бы кому, умирать не бросили бы. Видимо, все не так уж и страшно, прямой угрозы для жизни нет, а косвенными нас на арапа не возьмешь. Но откуда тогда этот противный зуд, как будто каждый атом чешется?

И тут меня осенило: да ведь это же не что иное, как мутация! Ведь я же прошел через весь этот кошмар, разве мог я остаться таким, как прежде? Логично предположить, что нет. Я же побывал и в таких измерениях, и в саяках, и на меня на генном или там субгенном, или еще каком-нибудь уровне воздействовали факторы, которые людям, наверное, и не снились, и вот я мутирую или уже мутировал и теперь, наверное, смогу летать и читать мысли, и становиться невидимым, и что там еще полагается делать мутантам... От надвигающихся перспектив у меня по спине побежали мурашки. Ладно, подумал я, там видно будет. А сейчас лучше вообще не двигаться: может, у меня какая-нибудь там стадия закукливания или, наоборот, раскукливания...

Отворилась дверь, и в комнату бодро вошел Эдик, держа в руках две запотевшие бутылки «Хугардена». За ним проскользнула Лоа. Выглядела она точно так же, как и в тот день, когда мы с ней познакомились.

– Любимец богов изволили проснуться? – весело осведомился Эдик. – Кто-то, помнится, заказывал пиво.

– Тише! – зашептал я. – Не сейчас. У меня, кажется, началась мутация. Они изумленно уставились на меня

– Какая еще мутация?

– Обычная... ну, то есть, не знаю, какая. У меня все чешется внутри. Подожди с пивом. Вот домутирую, и тогда...

Он рассмеялся с явным облегчением:

– Какая еще к черту мутация! Начитался всякой ерунды. А я уж испу-

гался, думал – осложнение на мозг. Нет, на самом деле все гораздо обыденней. Ты просто-напросто подцепил в тайге энцефалитного клеща. У тебя был серьезнейший энцефалит. Причем не обычный вирус, а какой-то скоротечный штамм. Развивается буквально за несколько часов. Ты был почти на грани, счастье еще, что Лоа с такими вещами справляется на интуитивном уровне. А твои ощущения – это просто последствия лечения. Побочный эффект. Ей пришлось основательно с тобой повозиться. На редкость подлый вирус оказался. Кстати, тебе не кажется, что слова «подлый» и «подлинный» от одного корня?

– Да иди ты со своими корнями! Когда я заболел?

– В вертолете, на обратном пути. После твоего знакомства с Элонхи и вояжа на его вершину ты был практически без сознания. Что и понятно: потрясение было сильнейшим. Остальные пришли в себя почти сразу и тут же захотели еще. Еле-еле мы с Лоа убедили их, что сеанс окончен, и Элонхи больше ничего от нас не надо. Они стали почти невменяемыми, потребовались все наши силы, чтобы их успокоить. И знаешь, кто бесновался больше всех? Артур! Он орал, что это его истинная любовь, что он отсюда никуда не уйдет, и все остальное в том же духе. Еле его утихомирили и уговорили залезть в вертолет, и остальных тоже. Цветы начали проявлять активность, и нам надо было убираться оттуда как можно скорее.

– А пилот Фира?

– Пилот Фира – умница. Но лучше мы подробности оставим на потом, а сейчас я тебе отвечу буквально на несколько вопросов, хорошо? Просто чтобы ты не лопнул от любопытства и не забрызгал все вокруг.

– Ладно. Так что это все-таки за цветы?

– Я сам не очень-то понимаю. Знаю только, что они каким-то образом растут из того же корня, что и Элонхи, и на этом уровне с ним связаны, хотя и способны к самостоятельным действиям. По-видимому, это какие-то охранные устройства. Точнее сказать не могу.

– А со мной что было?

– Мы тебя погрузили в вертолет, а на обратном пути, вместо того чтобы прийти в себя, ты начал бредить, и температура поднялась аж до сорока двух. Хорошо, у Лоа в сумке оказались листья Элонхи, отец ей дал на прощанье. Прилетели в Тынду, и она сразу сделала тебе отвар. Ну и общую, так сказать, астральную терапию. А когда везли тебя в самолете, ты такое нес всю дорогу, что лучше и не вспоминать. И корень не отдавал.

– Какой корень?

– А вот тот, что у тебя в руке.

Действительно, в левой руке у меня был зажат белый корень толщиной с карандаш и длиной сантиметров тридцать. Я посмотрел на него и спрята под подушку.

– А что шаман? Остался лежать у себя?

– Да, – сказала Лоа и тихо добавила: – Из него тоже вырос цветок.

– То есть... он что, тоже умер? – я боялся на нее взглянуть.

– Нет, не умер. Они все... я не знаю, как сказать... они живы, хотя и по-другому. Не так, как мы. Точнее, не тогда, когда мы. Это такое будущее время... – она умоляюще взглянула на Эдика, – может, ты знаешь, как перевести на русский?

– Это непереводимо, – пояснил Эдик. – Ничего. Вот займемся с Сашкой языком, и он быстро все поймет. А теперь – подъем! Встают мутанты на пуанты. Держи свое пиво, но помни: тебе сегодня еще водку пить предстоит, и не только. Так что знай меру.

– Это в честь чего?

– В честь свадьбы Жоржа. Ты что, забыл?

– Так она же в понедельник!

– А сегодня, по-твоему, что?

– То есть как? Сколько же я дней провалялся?

– Ровно столько, сколько надо для полного выздоровления. Ладно, разговоры оставим на потом, а сейчас собирайся. Твой костюм, рубашки, туфли, носки – все в шкафу. Севка за ними специально в Раанану ездил. И нам уже одеваться пора. Нехорошо опаздывать. А я к тому же еще и свидетель. Пойдем, дриадочка, не будем мешать человеку.

– Постой, Лоа...

Она обернулась.

– Ты теперь... осталась одна? Изо всех амо?

Она слабо улыбнулась:

– У меня есть вы.

– Точно, – подтвердил Эдик. – Мы есть. И еще Толик. Он уже у меня спрашивал, чего это Лоа в моей комнате живет, неужели ей больше нигде? А вчера я видел, как он свое полено на антресоли запихивал.

– По-твоему, это из-за меня? – встревожилась Лоа. – Но ведь я же... он что, не понимает?..

– Да ты не волнуйся, – успокоил ее Эдик. – Он уже не первый раз так делает. Через пару дней он его оттуда достанет и попросит прощения. И полено его, конечно же, простит, потому что, кроме Толика, у него никого нет. Ты еще сцену примирения увидишь, если повезет. Душераздирающая, что твой бразильский сериал. Ну все, мы пошли.

– Постой! Еще один вопрос, последний.

– Ну не релей, а? Знаешь, Лоа, ты тогда иди, не трать время. Видишь, меня тут еще насиловать собираются. Потом увидимся, – и он повернулся ко мне. – Так что за вопрос?

– Скажи, меня действительно разыграли?

– Кто разыграл? Когда?

– Когда я был там... ну, внизу, что ли... шаман сказал, что меня разыграли. Что они пошутить любят. Это что, правда? И кто это – они? Амо?

– А, вот ты о чем. Слушай, какая тебе разница? Ты там был, дело свое сделал. Пережил, между прочим, такое, что не каждый выдержит. Вот скажи сам: похоже это было на розыгрыш?

– По-моему, не очень...

– Вот и мне так кажется. Между прочим, бывают розыгрыши, которые заключаются именно в том, что кому-то говорят, будто его разыгрывают. А шаман... да что шаман? Пожилой человек, ему лет сто назад уже пора было впасть в маразм.

– Ну да, такой впадет, как же. Ты сам говорил, что он слова зря не скажет.

– Ну хорошо, допустим, разыграли. Что, кстати сказать, вовсе не факт. Но – допустим. Так ведь не только тебя, а всех нас, включая Лоа. Из чего следует... что из этого, по-твоему, следует?

– Откуда я знаю?

– Из этого следует все, что угодно. Например, то, что весь наш мир – это один сплошной розыгрыш. Как тебе концепция, а? Такую мы с тобой еще не рассматривали. Представь себе: мир был создан в порядке шутки, чтобы нас посмешить. У Создателя, стало быть, имеется чувство юмора, хотя и довольно специфическое. Такой вариант тебе нравится?

– А тебе?

– Мне нравится. Хотя бы потому, что мы в нем фигурируем отнюдь не как инструмент, а как адресат и ценитель юмора Создателя. Роль, что и говорить, гораздо более престижная. И приятная к тому же. Только что из этого следует?

– Вот заладил: что следует, да что следует! Ты же видишь, я еще в себя толком не пришел.

– Да ну? Судя по твоей настырности, ты уже в полном порядке. Ладно, скажу: из этого следует то, что если мы хотим продолжать существовать, то должны смеяться над этим миром – даже если нам совсем не смешно, даже через силу, даже сквозь слезы. Поскольку в этом и заключается наша главная функция. А если перестанем смеяться, то с миром поступят так, как поступают со старой, надоевшей остротой: сотрут, забудут и придумают новую. Где нас уже не будет. Что ты на это скажешь?

– Что я могу сказать? Бред, сэр. Как говорят англичане, «зе брэйд оф сив кейбл».

– Бред? Возможно, сэр. Но уж очень в этот бред хорошо все укладывается: и то, что тебе сказал шаман, и то, что мы узнали от Лоа, и вообще все. Подумай над этим на досуге. А завтра или послезавтра мы с тобой выберем время, сядем и все как следует обсудим.

– С виски?

– Я же сказал: как следует. А теперь я пойду, а ты смейся, не давай миру скиснуть. Не то, чего доброго, опять придется ехать его спасать.

– Было бы над чем смеяться. Лучше я поищу в твоей мировой шутке долю правды.

– Ты свою долю там поищи, этого за тебя никто не сделает. А главное – смейся. Не найдешь над чем – посмотришь в зеркало.

Он вышел, а я действительно встал и посмотрелся в зеркало, но ничего смешного там не увидел, а увидел щетинистую, как кабаньей бок,

морду, с которой как нельзя лучше гармонировало все остальное. Впрочем, я ведь еще не умывался. А как можно умываться, если я еще пиво не пил?

В общем, через сорок минут я, мытый, бритый и пиво питый, в смокинге, белой рубашке и галстук-бабочке, был готов хоть на прием к королеве Нидерландов, хоть на свадьбу к Жоржу. Последнее весомее, так как все известные мне свадьбы, где Жорж фигурировал в качестве жениха, отличались повышенными требованиями к форме одежды. Кстати, с чего это я вдруг совсем недавно так критически отнесся к его приглашению? В конце концов, семья – это не что иное, как ячейка общества. Какое общество, такая и ячейка.

Я немного повертелся перед зеркалом, попутно удивившись легкости, с какой мне удалось разглядеть собственную спину, потом вышел из комнаты и прислушался. Народ, как всегда, тусовался в кухне. Стараясь ступать неслышно, я двинулся по коридору. Дверь в Эдикину комнату была слегка приоткрыта, и там, внутри, плавно перемещалась стройная фигурка. Я остановился и стал смотреть. На Лоа были узенькие лифчик и трусики. Она подошла к шкафу и открыла дверцу. Вынула оттуда, сняла с плечиков и надела облегающее платье цвета ореховой коры. Застегнула, немисливо изогнувшись, молнию на спине. Потом высыпала из пакета на стол охапку блестящих сине-зеленых пятипалых листьев, отобрала с десяток и стала накладывать их спереди на платье. Клейкие ладошки сами прилипали к ткани. Края их немного топорщились, создавая на ткани иллюзию второго, теневого слоя. Покончив с листьями, Лоа вынула из вазы пучок маленьких зеленых колосков и укрепила на поясе. Повертелась перед зеркалом, оглядела себя со всех сторон, безо всяких усилий поворачивая голову на сто восемьдесят градусов. Одобрительно хмыкнула. Оставался, по-видимому, последний штрих. Она взяла со столика шкатулку, открыла, достала оттуда мохнатую золотистую гусеницу с двумя темно-красными полосками по бокам и посадила на левое плечо. Гусеница осторожно пошевелилась, выгнула спинку, сползла чуть ниже и замерла. Теперь все было в порядке.

Я мысленно извинился перед Лоа за подглядывание и осторожно пошел дальше. В кухне низкий женский голос – я не сразу сообразил, кого он мне напоминает, – пропел со сладким надрывом:

Милый смотрит полово,
есть либидо у него.
Только я с соседом пью –
у него большой ай-кью.

Раздался общий смех, сквозь который прорезался голос Толика:

– А все-таки Артур – герой! Настоящий дубоеб с большой буквы «Б»! Без него и Сашка бы ничего не сделал. Ах Артур, ах сладострастник! Дай

я тебя облобызаю... Ну и что? А ты представь, что я пень. С во-от таким сучком.

– И я облобызаю! И я! – раздались восторженные крики.

В ответ послышался горделиво-скромный голос Артура:

– Ну, что вы, ребята! Ребята, да ладно вам, так на моем месте поступил бы каждый!..

В коридор выскочил Сева, зажимая себе рот ладонью.

– Я сейчас умру! Он уже пятый день так... – простонал Сева и затрясся в беззвучном хохоте, держась за косяк. И вдруг увидел меня. Я прижал указательный палец к губам, показывая ему, чтобы молчал.

– Сашка! – шепотом заорал он. – Блин! Оклемался, наконец! Какого ты хрена тут затаился? Там тебя уже все заждались, героя хотят чествовать.

– Я тебе дам героя! – прошептал я в ответ. – В гробу я видал такой героизм. Да и смокинг весь помнете.

– Боже, какие мы скромные. Ладно, не помнем. Будем благоговеть на расстоянии. Ну что, идем?

– Пошли.

Мы шагнули в кухню навстречу восторженному воплю. Лева, Соня, Толик, Фира – черт возьми, действительно, Фира! – и Артур радостно взвыли и полезли обниматься; к ним, виновато пожав плечами, присоединился Сева. Эдик потряс над своей головой каким-то гремящим и звенящим предметом, в котором я с удивлением признал тот самый бубен. Гена хлопнул меня по плечу с такой силой, что я чуть было не сложился внутрь себя, как башенка из домино, и пророкотал: «Как все-таки удачлив толстогубый!» – каковая цитата показала мне во всех отношениях несколько преувеличенной. Все были разодеты в пух и прах, дамы в вечерних платьях являли собой верх изящества, джентльмены в костюмах поражали элегантностью, и даже Толик щеголял новыми кроссовками. От всех веяло какой-то иррациональной энергией, а в глазах пряталась небольшая дополнительная, сверх сугубо национальной, печаль – очевидно, результат прикосновения к истинному блаженству. В общем и целом, смотреть на них было приятно и поучительно. На столе лежало что-то большое и прямоугольное, упакованное в бордовую с золотом бумагу и перевязанное белой атласной лентой с золотыми буквами на ней «...и Жоржу от друзей в день свадьбы». Начало надписи было скрыто изгибом ленты.

Ко мне протиснулся Толик и протянул вазу эпохи Мин, в которой что-то плескалось.

– Давай! – велел он. – Штрафная. За четыре дня опоздания. Уже практически за пять.

Я принял.

– Неужели «Реми Мартен»?

– Он самый. Последняя из того ящика.

– Да вы, я вижу, времени тут зря не теряете.

Я запрокинул вазу и сделал хороший глоток. То ли возраст напитка сложился с возрастом посуды, то ли еще что-то, но такого коньяка я не пробовал никогда.

– Кстати, а где Гиви? – спросил я.

– Ты что, не знаешь Гиви? – закричали все наперебой. – Он занят! У него бизнес! У него приход! У него расход! Короче, он придет прямо в ресторан.

– А что это мы такое дарим красивое? – я протянул было руку, чтобы отогнуть ленту и прочитать начало надписи, но снаружи мощным септаккордом пропел клаксон. Соня выглянула в окно и радостно воскликнула:

– Приехали!

Толкаясь и мешая друг другу, мы бросились к окну. У подъезда стоял белый «линкольн». Открылась дверь, и на тротуар ступил Жорж в белоснежном костюме и таких же туфлях, цилиндре и перчатках. Он запрокинул сияющее лицо и послал нам воздушный поцелуй. За его спиной в глубине салона угадывался белый край фаты. Мы дружно рывкнули «Ура!» и побежали вниз знакомиться с невестой.



Альбом (2 диска)
с 36 песнями
Булата Окуджавы
на русском и иврите –
в исполнении
Ларисы Герштейн

В Израиле – ₪50
В США и России – \$28
В Европе – €20
(Цены включают доставку по почте)

Справки по телефону: (Иерусалим) **02-5325931**
или по электронной почте: **omegag@bezeqint.net**



писатель, переводчик, журналист, первый русский лауреат Букеровской премии (1992). Живет в России.

СЕДЬМОЕ НЕБО

Электричка почему-то остановилась, не доехав до конечной станции километра полтора. Никаких объявлений по вагонному репродуктору не прозвучало. Бабич поднял взгляд от книги, посмотрел в окно. Ливень, время назад заволокнувший окрестности густой пеленой, окончательно прекратился, из-под туч выпросталось ослепительное солнце. От травы вдоль путей, от черных толевых крыш придорожных гаражей, от куч вываленного перед ними песка поднимался трепетный пар. На сером кирпиче гаражной стены белыми крупными буквами было выведено: «Слава Отцу и Сыну и Святому духу!» Раньше так писали «Слава КПСС», усмехнулся Бабич, но на этом взгляд бы не задержался, как на привычном орнаменте.

Вагон почти опустел, мимо проходил кто-то из задних вагонов. Впереди, должно быть, открыли дверь, можно было выйти, доделать свой путь пешком, если не имелось при себе тяжелого багажа. Но тащиться по лужам, по шпалам, по щебню, портящему подошвы, пока не хотелось. На сиденье возле бедра стояла недопитая бутылка пива, правда, уже тепловатого, на коленях лежал недочитанный детектив. Книжка тоже была так себе, одноразовое чтение для дороги, но все-таки хотелось узнать, наконец, куда исчез этот чемодан с миллионом. Каждый раз, когда сыщику удавалось напасть на след, вместо чемодана он обнаруживал очередной труп, его самого вывезла из-под обстрела на своей машине случайно встреченная женщина. Тут, похоже, начиналась любовная история – скорей всего, чтобы очередной раз отвлечь, предложить ложный ход, прибавить страниц. Бабич уже и так пропускал необязательные подробности, разговоры на языке, взятом напрокат из других детективов. Задержка была даже кстати, можно было дочитать до станции. Он сделал из горлышка еще глоток.

– Уважаемые пассажиры, прошу вашего внимания! – отвлек его от чтения голос. – Международная лотерея «Седьмое небо», уникальные выигрыши, поразительные возможности!..

Этот разносчик уже проходил по вагону в другую сторону, Бабич видел его со спины, слова тогда заглушались стуком колес. Теперь, значит, возвращался обратно. В ношенных джинсах, рубашка навывпуск прикрывала обрюзглый животик. Лицо под белой бейсбольной шапочкой то ли распаренное, то ли красное от свежего загара. Цвета малинового варенья, определил про себя Бабич. Кому он опять предлагает – второй раз в том же вагоне, да еще пустом? Билеты перед собой держал, как карточный веер.

– Каждый выигрыш – необыкновенное приключение, вы себе даже не представляете, всего за тридцать рублей. Проверить можно прямо на месте...

Он еще говорил, но голос уже угасал, наконец, смолк. Прошел еще немного между сиденьями, оглядываясь. У противоположного окна дремал небритый мужичок, свесив на грудь голову, слюна стекала с отвисшей губы. Бабич снова уткнул взгляд в книгу. Разносчик поравнялся с ним, помедлив, сел напротив. Отер шапочкой пот с лица, с открывшейся лысины, с седого загривка. То, что издали казалось загаром, на самом деле было краснотой густых жилок. Узор молодежной, не по возрасту, рубашки был составлен из газетных текстов и невнятных фотографических пятен. Бабич, не поднимая головы, исподлобья глянул на крупные заголовки. Язык был ему незнаком, понятны оказались только два слова: *sex* и *catastrophe*.

– Вы не знаете, какой это язык? – уловил его взгляд лотерейщик. – Я спрашивал, никто не знает. Про что это, интересно?

Бабич молча пожал плечами, перевернул страницу. Похоже, эта женщина встретилась сыщику не так уж случайно, в ее поведении было что-то подозрительное.

– Раньше, конечно, меня самого бы спросили: что у вас тут написано, откуда у вас такая? – продолжал тот, как будто ему ответили. – Не рубашка, я имею в виду, пресса. Да? Теперь свобода слова, читай без цензуры. Понимаешь, не понимаешь – неважно. Достаточно, если разбираешь вот это, – он наклонил подбородок к груди, показал пальцем, – и вот это, да?

Бабич хмыкнул, давая понять, что ему мешают, перевернул страницу назад. Какую это записку вспомнил вдруг сыщик? Пропустил что-то... Ладно, пока можно обойтись, не стоит искать.

– Про секс – это понятно, про катастрофы тоже, – лысый был, видимо, из породы разговорчивых, которым собеседник не обязателен. – Газете надо же завлекать читателя. Настоящих катастроф уже, кажется, не хватает, так все время предсказывают какую-нибудь небывалую. Каждый год то одну, то другую, вы не заметили? Землетрясение не сегодня-завтра, комету вдруг обнаруживают, правда, пока не близко. Выбор большой, не соскучишься. А для чего? Я вам скажу, для чего: чтобы осознавали, как нам по-

стоянно везет. Мы существуем, да? Пока еще существуем. А могли бы не существовать, мало ли что? Всего не предугадать. Это только думают, что все рассчитано наперед. Нет, живем, значит, надо пользоваться удачей. В этом же интерес. Вы не хотите один билетик? – он полез рукой под рубашку, она прикрывала, оказывается, сумку на животе, снова развернул свой веер. – Всего тридцать рублей. Проверка на месте.

А, вот он как повернул, усмехнулся про себя Бабиц. Не забывает свое дело. Билеты были необычно крупные, размером с почтовую карточку. Какое-то новое мошенничество.

– Я в лотерею не играю, – сказал он вслух сухо, не поднимая взгляда от книги.

– Э, вы только думаете, что действительно не играете, – ничуть не смутился тот. Веер он свернул, но в сумку пока не возвращал. – Так многим кажется. А жизнь, если хотите знать, не бывает без лотереи, я пришел к такой мысли. Родился человек в Москве или в какой-нибудь дыре, из которой до конца дней не выбраться – уже разный выигрыш. Вы скажете, почему не выбраться? Это я не могу ответить. Почему я не могу выбраться в Америку? А родился бы там, занимался бы, может, другим делом, не этим. В газете писали, какой-то человек там наловчился выдувать мыльные пузыри необыкновенных размеров, разъезжает по всему свету, зарабатывает большие деньги. На мыльных пузырях, это же только подумать! Которые скоро лопаются. А другие почему-то должны вкалывать в шахте. И это еще хорошо, если в шахте. Недавно показывали, что где-то шахту закрыли, там шахтеры ничего не зарабатывают, так они в какие-то норы залезают ползком, стучат кайлом, как в старое время, представляют? Набирают этот уголь ведерками, кто-то у них покупает, они рады. Надо заработать на хлеб, их можно понять. Почему никуда не переберутся – это другой вопрос. Почему кто-то живет среди снега, где вечная мерзлота, есть же места теплей? Или то же самое нация. Нас же не спрашивают: какую ты хочешь выбрать? Кому-то, может, хотелось бы другую. Нет, кому какая выпала. Разве это не лотерея? Или вы хотите мне возразить?

– Это называется судьба, – не сумел промолчать Бабиц.

– Судьба? Можно сказать и так... Я вам мешаю читать, да? Вижу, вам не терпится узнать, чем там кончится. – Он, наклонясь, заглянул снизу на обложку. – А, – проговорил понимающе, – вы уже, наверно, дочитали до этой женщины.

– А вы что, читали? – неприятно удивился Бабиц.

– Читал, не читал, – махнул тот неопределенно рукой. – На обложке она есть, с пистолетом в руке. Не хочу портить вам удовольствие, дочитаете. Хотя скорей всего будете разочарованы.

– Это почему? – спросил Бабиц. Забыл, в самом деле, эту картинку на обложке, до сих пор с ней ничего не было связано. Та самая женщина – с пистолетом? Или другая? Дал бы этот прилипчивый болтун сосредоточиться на чтении.

– Редко бывает иначе. Детектив хорош, пока его читаешь, чего-то еще можно ждать. Достаточно, чтобы зацепила загадка, одна тянет другую, надо скорей получить ответ. А когда тебе его дают, вспоминаешь с начала, как все было, если, конечно, еще не забыл подробности – одна с другой почему-то не соединяется. Так быть не могло, все вместе было склеено слюнями, и объяснение тоже. Но свой интерес успел получить, это уже кое-что... Вы говорите, судьба, – он оживился, что-то вдруг вспомнив. – Вот, между прочим, я вам расскажу. На стадионе в Москве давно когда-то разыгрывались лотереи с разными выигрышами, чтобы привлечь зрителей. Может, вы по возрасту еще застали, нет? У моего знакомого отец однажды пошел на футбол, так вот, его месту – вы это должны оценить, не ему, а его месту – досталось, представьте себе, пианино. Не «Бехштейн», конечно, и не «Стэнвей», даже не какой-нибудь «Красный Октябрь» – бракованное изделие не знаю какой мебельной фабрики, такое задаром было не жалко отдать, понятно. Зато рекламную акцию устроили, как уже тогда умели, с оркестром. Можно представить, как этот папаша ошалел, когда его провезли на грузовике вместе с пианино по беговой дорожке, доставили инструмент на квартиру. Ну, вы уже понимаете, разве можно было упустить бесплатный подарок? Хотя бесплатно это только называется, пришлось пригласить настройщика, потом педагога. Я его знал, это был такой немец Владимир Адольфович, он почему-то любил рассказывать, как ходил наниматься в оркестр Большого театра, к самому Голованову, и тот ему сказал: вы не музыкант, а сапожник. Почему он это рассказывал с гордостью? Сам Голованов! Неважно. Мальчика потом заставили ходить в музыкальную школу. Он мне говорил, что свой инструмент тогда ненавидел и вообще музыку. Но для родителей это была, может, неосуществленная мечта детства. Пианино пришлось все равно выбросить, покупать другое, немногим, я думаю, лучше. А что делать? И вот теперь он всю жизнь зарабатывает музыкой. Да еще как зарабатывает, в таком ресторане, куда я войти не могу. Это, как вы считаете, лотерея или судьба? Если оказалось, что музыка – его призвание? Может, выигрыши вообще не так случайны, как мы думаем, а?

Он достал из кармана несвежий платок, звучно высморкался, некоторое время приводил нос в порядок. Бабич качнул головой, снова скосил взгляд на книгу. Пролистнул страницу, потом другую... «Алина держала пистолет двумя руками, на лице ее была презрительная улыбка». Надо же, на этом вдруг и открылось. Значит, действительно она? Этот лысый знал или просто догадывался? Замолк бы сейчас хоть ненадолго, подумал Бабич, видит же, что я не откликаюсь.

– Это детективы должны обещать логику, – лотерейщик, словно угадав его мысль, вернулся все-таки к разговору, – в жизни бывает по-другому, я вам сейчас расскажу еще интересней. Знакомый врач работал на «скорой помощи», его вызвали к какой-то старухе. Сердце или, может, что-то еще, подробности не имеют значения. Он был хороший специалист, все сделал на уровне, вытащил, как говорится, старуху с того света. Но у нее оказал-

ся сын из каких-то новых бизнесменов или из новых бандитов. Ну, вы читаете детектив, вам не надо объяснять, что это бывает одно и то же. Он этого доктора увез вместе с матерью к себе на виллу и уже не отпустил. Машину отпустил, а его оставил, чтобы за мамашей присматривал. Почему-то в него поверил. Эти люди, вы же знаете, бывают сентиментальны. Возразить было нельзя, и, если подумать, зачем? Семьи у доктора не было, а что пришлось уволиться со службы, так эти и все будущие потери, я думаю, компенсировались, нам даже не представить, как. Он эту старуху так и проводил до конца, а потом при сыне остался уже как его личный врач. За границу с ним вместе уехал, насмотрелся такой жизни, можно вообразить. Назад, я думаю, уже сам не хотел. Тем более что от него уже и не зависело.

– Н-да, – неопределенно качнул головой Бабиц. – Бывает.

Указательный палец оставался в полузакрытой книжке вместо закладки, но он уже понял, что дочитать здесь не удастся. И почему обязательно дочитывать? – подумал он. Надо было давно выйти. Он потянулся к бутылке – она оказалась пуста. Лотерейщик, словно удовлетворенный ответом, умолк, смотрел теперь куда-то в сторону. Бабиц уже собирался положить книжку в сумку, но вдруг все-таки не удержался, снова открыл ее на предпоследней странице – так в учебнике решают подсмотреть, наконец, ответ.

«– Вас надо поздравить, капитан, – уважительно сказал полковник. – Только женщина могла заставить его раскрыться.

Алина промолчала».

То есть как? – стало сопоставляться в уме Бабица. Значит, эта Алина была из милиции, преступником оказался сам сыщик? Чемоданчик он нашел и присвоил, не устоял перед соблазном, потом сам же устранял конкурентов или свидетелей? Остальное вообще наворочено просто так, лысый был прав...

Он не успел долумать, лотерейщик вдруг тронул его колено. Бабиц поднял взгляд, тот заговорщически показал движением поднятых бровей. От них удалялась по проходу девушка, она тоже, видимо, направлялась в вагон, где была открыта дверь. Белая блузка, светлые брюки, крупная черная надпись на ягодицах CODE перекрывала прозрачные контурные цифры.

– А? – лысый посмотрел торжествуя, как будто сам это придумал. – Неплохая идея? Хочется идти за ней вслед, всматриваться в эту попу, чтобы как-нибудь прочесть код или, может быть, угадать. Да? У вас что, не возникло такого желания?

Девушка была уже в конце вагона, когда в проходе появился багровый от натуги толстяк с двумя тяжелыми баулами в руках. Поставил их на пол, чтобы перехватить удобнее, и поскорей заспешил дальше, чему-то про себя улыбаясь.

– А, теперь понятно, почему она задержалась, – прокомментировал лотерейщик. – Не сразу согласилась на его помощь, нужно было время, чтобы уговорить. Он же ее вряд ли привлекал, с такой комплекцией. Вы мог-

ли бы его опередить, а? Если б не так долго думали. Почему нет? Вас ведь дома никто не ждет?

– Почему вы так решили? – холодно спросил Бабич. В горле вдруг запершило, ужасно захотелось пить.

– Ну, тут большая проницательность не нужна. Вот, все уже вышли, а вы никуда не торопитесь. Вы и этот, который спит. Багажа у вас нет, вас больше тянет читать, чем спешить домой. Нет?

– Вы тоже не выходите, – нечаянное попадание Бабича слегка уязвило.

– Моя работа в дороге, мне все равно возвращаться. Эта же электричка должна пойти назад, рано ли поздно. Другой тут уже не будет. И я не скучаю. Чтение, вы же видите, здесь можно найти не хуже, чем в детективе. Мне нравится разговаривать, смотреть людей. Вот этот, который прошел, он ненамного вас младше, но видно, что предприимчивый. По лицу, по одежде, по всему видно. У него часы на руке, заметили, «Сейко»? Он, кстати, у меня уже купил сегодня билет. Игрок это игрок. А вы в лотерею, говорите, никогда не играли, по вам тоже видно. Зарабатывали всю жизнь честным трудом, да? Сейчас, я бы сказал, на пенсии, но вам все равно хватает, на жизнь не жалуетесь. Хотя как может хватать пенсии? Есть варианты. Дети помогают? Нет? Сдаете московскую квартиру за четыреста долларов в месяц, сами живете на даче. Это больше похоже. Привыкли к тому, что есть, чего нет, того вам не надо. С поезда можно сойти, но если он как раз в этот момент тронется? Тоже обидно.

– Играете в детектива? – буркнул Бабич. Опровергать неточности было бессмысленно.

Он положил, наконец, книгу в наплечную сумку – и неожиданно обнаружил там вторую бутылку. Надо же, забыл. Снизившееся солнце глянуло из противоположного окна, ослепив, как будто набрало вдруг силу, какой не имело в зените. Бабич невольно зажмурился, на время замер, привыкая к розовому сиянию в веках. Оно было приятно, как детское воспоминание. Выпитое, оказывается, успело незаметно расслабить. Совсем ведь уже собрался выйти, но эта бутылка снова напомнила о жажде, сделала ее нестерпимой.

– Да вы не обижайтесь, – сказал лысый. – Не в юности – ближе к старости начинаешь понимать: чтоб ощутить жизнь, надо выбиться из привычного расписания. Вы слышали этот анекдот, как один старый еврей докучал Богу? «Почему мне в жизни так не везет? У других все есть, а у меня ничего? Дай мне выиграть хоть один раз тысячу. Ну, хоть один раз дай, Господи». Наконец, Богу это надоело. Слушай, говорит, купи хоть один билет.

– Слышал я этот анекдот, слышал, – усмехнулся Бабич. Отвернувшись от солнца, он достал из сумки бутылку, отколупнул крышку о металлическую оконную ручку. – Вы не забываете про свой бизнес, я уже понял. А этот толстяк, он при вас проверял свой билет? У него был выигрыш?

– А как же! Замечательный выигрыш, именно диплом «Человек года».

Получит его по почте, очень красивый, с сургучной печатью. На конверте – вот, телефон, почтовый адрес, абонементный ящик. Совершенно официально. Можно будет заказать потом и медаль, даже с объявлением в прессе. Но это, правда, за дополнительную оплату. Диплом тоже хорошо, разве нет? Всего за тридцать рублей. Можно повесить на стенку, в рамочке, чтобы все видели.

Бабоч с наслаждением присосался к бутылке, несколько крупных глотков сразу его освежили и словно развеселили.

– Надо же так придумать, – он отер губы тыльной стороной кисти. – Человек года!

– Я же сказал, уникальная лотерея. Тут все выигрыши не простые, особенные. Людям дается шанс выиграть то, чего они на самом деле, может, хотели, просто еще не знали, что такое возможно. Вот, здесь же, в соседнем вагоне, одной супружеской паре только что выпал участок на Луне.

– На Луне! – все больше веселел Бабоч и отхлебнул из горлышка снова. – Действительно уникально! Я сразу почувствовал, что тут жульничество. Но что такое уникальное!

– Почему вы думаете, жульничество? – ничуть не обиделся лысый. – Фирма официально зарегистрирована во всем мире, вы просто не знали. Собственность будет оформлена по всем правилам. Вы бы посмотрели, как обрадовалась эта пара! Это же теперь самый шик, другие за такое приобретение платят большие деньги. Можно подарить выигрыш любимой женщине, можно оставить собственность наследникам. Летать ведь когда-нибудь начнут, может, уже скоро, будет такой дележ! Надо заранее позаботиться. Участок в самом престижном районе. По соседству участок итальянского премьер-министра, он тоже там приобрел, об этом в газетах писали. Будьте уверены, кто-то захочет перекупить этот выигрыш за настоящие деньги. Я же вам не успел рассказать, есть замечательные выигрыши. Например, главный, он называется «Седьмое небо». В рекламе не все пишут, это должен быть особый сюрприз...

Бабоч засмеялся, голова у него уже слегка кружилась.

– Я, кажется, догадался: вы сами эту лотерею придумали, сами напечатали эти билетки, сами разносите по вагонам.

Тот охотно засмеялся в ответ.

– Теперь и вы почувствовали себя детективом. Тоже версия. Если б я только все мог сам!

– И второй раз по той же дороге уже не поедете, маршрут лучше менять, чтоб не встречаться с теми же покупателями. Нет, я ничего не имею против, наоборот, восхищен... Не хотите? – Бабочу показалось, что лотерейщик следит взглядом за движением бутылки в его руке.

– Слышь, дай мне тоже пивка, – вдруг подал с противоположной скамейки голос дремавший там до сих пор мужичок. Глаза у него раскрылись еще не совсем – мутные щелки среди небритых щек. Лицо вызвало мысль о мятой шерстяной варежке. – Дай пивка, а я тебе песенку спою.

Бабич, жмурясь, поглядел в его сторону. Солнце уже не так слепило. На невымытом окне проявились оспины, оставленные всеми дождями лета.

– Только слова забыл, – сказал мужичок. – Нет, ты пивка-то дай, – спохватился он, увидев, что лысый взял у Бабича протянутую бутылку, – я тебе другую спою.

Лотерейщик сделал глоток, другой и передал мужичку остаток. Компания, однако, подумал Бабич. На лице его все еще держалась расслабленная усмешка.

– Ладно, дайте один, – неожиданно для самого себя махнул он рукой и достал из кошелька полусотенную бумажку. Лотерейщик извлек из живота деньги, отделил сдачу – две мятые десятирублевки, с готовностью развернул свой веер. Бабич помедлил, все еще сам себе усмехаясь: как будто выбирал билет на экзамене. Тронул сначала средний, но потянул первый справа. Поискал, где разорвать.

– Вы хотите открыть сразу? – осторожно спросил лотерейщик.

– А что? Бойтесь, что выигрыша не окажется и я вам скажу, что об этом думаю?

– Э, если бы я этого боялся! Что вы! Но некоторым нравится оттянуть ожидание, поволноваться.

Бабич вынул из конверта сложенный вдвое лист, развернул. В рамочке из красивых вензелей поздравительными синими буквами было написано:

«СЛЕДУЮЩИЙ ВЫИГРЫШ ВАШ».

– Так я и знал, – смех его получился теперь немного возбужденным. – Ничего.

– Это как сказать: ничего, – лотерейщик приподнял брови. – А волнение, ожидание удачи, это чего-то стоит?

Мужичок отер губы рукавом, запел:

Ой, не думал, не гадал,
Ой, куда же я попал...

Бабич махнул ему рукой: не надо. Тот снова приложился к бутылке, хотя извлекать из нее было уже нечего.

– Да хотя бы развлечение, разговор, разве этого мало? – продолжал лотерейщик. – Всего за тридцать рублей, как эта книжка у вас. Которую теперь можно выбросить. А у вас даже написано: «Следующий выигрыш – ваш». Это не во всяком билете. Это дает право взять следующий со скидкой, всего за двадцать рублей.

– Ну, вы даете! – качнул головой Бабич – не без веселого восхищения. Он действительно почувствовал себя захмелевшим. – Вот это хватка! Теперь попробуете вернуть себе двадцать рублей сдачи. А если выигрыша опять не будет?

– Мне кажется, будет.

– Это почему?

– Не знаю, но мне так кажется. Я же говорю, в этой лотерее есть что-то особенное.

Бабич впервые встретился с ним взглядом. Обесцвеченная голубизна вокруг зрачков, краснота в слезящихся уголках. Почему я до сих пор слушаю этого прилипчивого жулика, подумал он, вместо того чтобы выйти, почему делаю то, чего твердо решил не делать?

– Ладно, – сказал вслух. – Давайте еще один.

На этот раз он взял конверт, не глядя, вскрыл, вынул бумажку. Тем же шрифтом, но более крупно, там было написано:

«СУПЕРВЫИГРЫШ. "СЕДЬМОЕ НЕБО"».

– О-о! – восторженно протянул лотерейщик. – Я же говорил! Дайте, пожалуйста, посмотреть, у вас потом будет время. Вот оно! «Вас поздравляет международная компания "Седьмое небо"», – начал он читать вслух: – Да, это действительно повезло. Я про этот выигрыш только слышал. «Новейшие разработки, специальная аппаратура. Особо благоприятный режим». Тут, конечно, реклама, подробности узнаете не здесь. «Автоматическая самонастройка. Предельное сближение потребностей и удовлетворенности... соответствие возможностей и желаний, без ограничений во времени»... Нет, тут шрифт немного мелкий, мне без очков трудно. Надо же, без ограничений во времени! Как это может быть? Но я могу вообразить. Бессрочный грант. Все, можно считать, позади, никаких проблем. Где заработать, чем утолить голод. Не надо искать, напрягаться, вкалывать. Если есть долги, можно не думать, пусть кредиторы кусают локти – вы для них станете недосыгаемы... ха-ха... «Разнообразие в современном ассортименте. Пожелания учитываются в пределах индивидуальной программы», – продолжал он читать. – Не реклама, а целая поэма. «Неприятные ощущения фильтруются». Да. Как выразился, не помню какой, философ: счастье есть отсутствие несчастий. – Лотерейщик передал выигрыш Бабичу. – Мечта, особенно если ты ни с кем не связан. Как раз для вас. Еще раз поздравляю. Теперь вы только напишите по этому адресу, дальше вам все организуют. Что вы молчите? Или вы не рады?... Что с вами?

Бабич встряхнул головой. С ним что-то произошло – как будто он на мгновение незаметно заснул или отключился, был где-то не здесь и теперь вдруг вернулся. Переменилось ли освещение, по-иному ли гулким стало пространство? Прежде он не замечал, что в вагоне так душно, несмотря на открытые окна. Недавнее веселое возбуждение сменилось внезапной усталостью. Не надо было пить вторую бутылку, подумал он. Что я хотел ему ответить? ...забыл...

– Ладно, – сказал он вслух, – спасибо за билетик. Мне надо идти. Счастливого вам оставаться.

Он встал – и неожиданно пошатнулся. Лотерейщик поддержал его за локоть. Баби́ч отстранился: не надо, у меня все в порядке. Нет, это не пиво, подумал он. Что-то с головой. Надо будет проверить давление. Я хотел ему сказать что-то другое.

– Желаю новых удач, – с усилием вспомнил он... Нет, снова было не то.

– И вам того же, – приветливо откликнулся лотерейщик. – Хотя чего вам теперь желать?

Мужичок напротив опять дремал, придерживая рукой пустую бутылку. Баби́ч хотел было потормозить его за плечо, но раздумал. Проснется, когда ему надо. Шаги в пустом вагоне отзывались непонятной тревогой. Его слегка пошатывало, как будто поезд двигался. Протиснулся, держась за стенки, через гармошку перехода. Открытая дверь оказалась в конце следующего вагона. Баби́ч поправил на плече сумку, спустился, держась за поручни, спиной вперед на щебенку между путей.

Платформа виднелась впереди в легком мареве, уменьшенная перспективой. Человек в форме железнодорожника шел в сторону Баби́ча от задних вагонов. Небольшая группа людей обступила там что-то, лежавшее на земле, на одном была милицейская фуражка. Баби́ч дождался, пока железнодорожник поравняется с ним, но спрашивать его ни о чем не стал, сам пошел к хвосту поезда по утопанной, темной от мазута дорожке.

Между путями лежало тело, прикрытое мешковиной. Ее, однако, не хватило, чтобы закрыть его целиком, на уровне живота проступило темное пятно. Белая кость торчала из мяса, обутого в грязный сапог, откинута рука еще сжимала разорванный красочный пакет. Из него высыпалась струйка ярких разноцветных драже, растекалась под листья подорожника, между стеблями лебеды и цикория, просачивалась сквозь щебенку. Голова была как-то неестественно вывернута, оскал полуоткрытого рта казался пугающей, блаженной улыбкой.

– Я эти конфеты в рекламе видел, по телевизору, – сказал кто-то рядом. – Дорогие, небось.

– Ты их только в рекламе видел, а у нас вчера целый ящик скинули, – ответил другой. – Он сынишке своей бабы нес, я знаю. Он всегда им носил. Дорогие! У нас бесплатно.

Баби́ч посмотрел на отвечавшего – ему показалось, что мужичок, только что дремавший в вагоне, все-таки незаметно сошел вместе с ним. Те же мятые шерстистые щеки, те же пьяные щелочки глаз. Слабость поднималась от колен к животу, подступала, как тошнота, к горлу, отзывалась сумятицей в голове.

– Ну, так у вас все просроченное, – сказал первый, не желая признавать чьего-то обидного превосходства.

– Это для вас просроченное, а для нас в самый раз. Желудок же никогда не заболит, если промывать каждый день спиртом. А у нас и с выпивкой нет проблем. Ни с чем нет проблем.

Бабич тупо смотрел на разорванную конфетную обертку, словно пытаясь что-то вспомнить, соединить мысли. Пестрый узор ее состоял из семерок разного размера и цвета. Что-то со мной не в порядке, думал он, такого никогда еще не было.

— Нам все с доставкой привозят, — продолжал гордиться небритый. — На той неделе икра черная была, пожалуйста. О красной не говорю. Еда любая, техника, вещи. У нас и книги есть. Такос обеспечение вам тут не снилось...

Поезд в этот момент тронулся. Удлиненные тени людей заскользили по стенкам вагонов, словно пытаясь их удержать или хотя бы заглянуть, чуть подпрыгивая, в высокие окна. Ускользнул последний вагон, тени, уроненные на землю, растеклись неожиданно далеко, теряясь где-то в зарослях бурьяна по ту сторону путей.

Закатное солнце озаряло открывшийся обширный пустырь, приземистые кирпичные постройки, березовый перелесок поодаль. Напряженная яркость была во всем, в багровом сиянии стен, в черно-зеленых тенях листвы, в белизне тревожно обесцвеченных лиц. Золотом светились стволы тонких берез, светился бурьян, синие цветы еще не закрывшегося цикория, светилась щебенка, желто-бурые пятна мазута на ней темнели, сливаясь с потоками спекшейся крови.

Колени еще мелко дрожали, но тошнота отпустила. Необычайно отчетливы стали очертания, звуки, отдаленные голоса, шуршанье шагов. Бабич медленно шел к видневшейся впереди платформе. Там стояла уже электричка, готовая вот-вот увезти назад торговца лукавыми, недостоверными выигрышами. Он, конечно, не жулик, но он шарлатан, думал Бабич. И не простой шарлатан. Нет, не простой. Странная, звенящая ясность была в голове — не хватало лишь слов для какого-то пугающего, щемящего чувства, в котором соединялось все: остановившийся вдруг поезд, обволакивающая болтовня лотерейщика, внезапная, непонятная слабость, раздавленный бомж, обитатель блаженной свалки, закатное сияние... необычное, новое понимание.

Спасибо, бормотал он, неопределенно усмехаясь чему-то и ощущая, как ему с каждым шагом легче. Седьмое небо... спасибо. Никогда еще этого так не чувствовал. Всего за двадцать рублей. Пусть за пятьдесят. Спасибо, но я еще поживу, с усмешкой бормотал он, механически отрывая клочок за клочком от вынутого из кармана конверта и бросая по одному на рельсы. Нет, еще поживу.



профессор истории Иерусалимского университета, автор книг «Воюющие силы», «Командование в войне», «Защищая Израиль» и «Трансформация войны», оказавших большое влияние на современную военную теорию и принесших ему славу «Клаузевица нашего времени». Живет в Израиле.

ИЗРАИЛЮ НЕ УГРОЖАЕТ ОПАСНОСТЬ СО СТОРОНЫ ИРАНА

– **Что вы думаете о ситуации в Ираке?**

– Полагаю, что дела в Ираке идут в точности так, как я того и ожидал. Это безнадежная война – рано или поздно американским войскам придется оттуда уйти, и тогда Ирак станет вторым Афганистаном: все будут сражаться со всеми, и это превратится в гражданскую войну. Американцы уже проиграли эту войну, они просто не хотят это признать.

– **В нашей прошлой беседе* вы предсказывали, что, в конечном счете, Ирак распадется на три анклава, даже, возможно, на три раздельных государства. Насколько реальной представляется вам эта перспектива сегодня?**

– Я думаю, это то, что неизбежно должно случиться, когда в Ираке начнется полномасштабная гражданская война. Там уже существует практически независимое курдское государство, что же до суннитов и шиитов, то они, я убежден, будут убивать друг друга до бесконечности, пока тоже не станут двумя сепаратными государствами.

– **И вы не усматриваете никакой угрозы вмешательства Ирана, подчинения иракских шиитов иранскому влиянию? Некоторые аналитики утверждают, что Иран имеет большие имперские амбиции.**

– Влияние Ирана на иракских шиитов несомненно, но я не думаю, что иракские шииты захотят променять свою независимость на подчинение Ирану. В конце концов, иранцы – это персы, а иракцы – арабы. Что же до иранских руководителей, то они вряд ли окажутся настолько глупы, чтобы попытаться повторить то, на что американцы замахнулись и потерпели фиаско.

* См.: NB. № 7.

– Мне представляется, что сейчас существуют две полярные точки зрения на ситуацию в Иране. Так, аналитик «Шпенглер» (видимо, псевдоним) из лондонской газеты «Asian Times», систематически отслеживающий положение дел в Иране, полагает, что иранская ситуация в сфере демографии ужасна (50% населения страны составляет молодежь до 15–16 лет, а работы для нее нет и не предвидится), и это толкает Иран на путь войны с надеждой поглотить южный Ирак, Кувейт, эмираты Персидского залива и восточную (нефтяную) часть Саудии, а также создать шиитско-суннитский пояс с Сирией, «Хизбаллой» и ХАМАСом как своими сателлитами. С другой стороны, есть оптимисты, которые указывают, что Иран уже приостановил рост населения и встал на путь модернизации, так что через несколько лет он войдет в клуб вполне цивилизованных стран, а посему не представляет никакой опасности Западу. К какому лагерю принадлежите вы?

– Я думаю, что единственные, кто должен бояться, кто должен чувствовать себя в опасности, – это сами иранцы. Если бы я был иранцем, я бы работал как сумасшедший, чтобы заполучить атомную бомбу, потому что я бы видел, что меня со всех сторон окружают американские войска. А где бы ни появлялись американские войска, там один шаг и до американских атомных бомб. К тому же нынешняя военная доктрина США не только разрешает, но даже и рекомендует в определенных ситуациях наносить ядерные удары по странам, не располагающим атомным оружием. Поэтому, будь я иранцем и сознавая я, что моей стране угрожают атомными бомбами, я приложил бы все усилия, чтобы тоже обзавестись ими.

– Понятно. То есть вы отстаиваете свою, ранее уже высказанную точку зрения: в ядерный век атомное оружие является оружием взаимного сдерживания, которое препятствует вооруженным конфликтам между ядерными странами. Но разве иранское атомное оружие не будет угрозой для Израиля?

– Нет. Израилю не угрожает опасность со стороны Ирана. Разговоры об этой опасности порождены не реальным положением дел, а определенными израильскими интересами. Я думаю, что Израиль обладает всем необходимым, чтобы защитить себя от иранской атомной атаки, чтобы предотвратить ее. Я полагаю, что так называемая иранская угроза в данный момент нерелевантна, и Израиль вообще не должен заниматься ею. Руководство Израиля говорит о ней потому, что это помогает ему. Ведь всякий раз, когда оно заявляет, что Израилю угрожает какая-либо очередная опасность, кто-нибудь спешит ему на помощь с очередными поставками оружия. Вот что на самом деле означают все эти разговоры об иранской угрозе. Это давняя история. Как только Израиль заявляет, что кто-то ему угрожает, он немедленно просит о новых поставках оружия и получает его. Реальная опасность со стороны Ирана угрожает не Израилю, а государствам Персидского залива – Кувейту, эмиратам и т. д. и т. п.

– То есть вы считаете, что Иран реально угрожает этим странам?

– Я не думаю, что, если завтра у Ирана окажется атомное оружие, он тут же нападет на страны Персидского залива. Но то, что он начнет оказывать давление на эти страны, сомнений нет. В результате такого давления эти страны станут более податливыми для иранского ядерного шантажа. В этом плане – да, угроза существует.

– **Российский аналитик Пионтковский считает, что до начала новой мировой войны осталось всего несколько месяцев. Если Путин не остановит Иран, то уже в октябре этого года такая война может разразиться*. Что вы думаете о таком сценарии?**

– Знаете, приятная сторона наличия атомного оружия состоит в том, что если оно не используется, то вам нечего беспокоиться, а если оно используется, то вам тоже нечего беспокоиться. Ну, положим, мистер Пионтковский прав – тогда вы, и я, и этот иранский парень Ахмадинежад, все мы встретимся на том свете, в раю или в аду, как уж нам положено. Но я уверен, что все это чепуха. Никакого Армагеддона в октябре 2006 года не будет. Прежде всего, обратитѐ внимание – совсем недавно израильские службы безопасности заявили, что иранская атомная бомба будет готова

* Путин, Ахмадинежад, Ольмерт. Три всадника Апокалипсиса – глобальной катастрофы 2006 года. Два из них, пламенные борцы с «однополярным миром», сознательно ведут мир к катастрофе, не просчитывая всех ее долгосрочных последствий для себя и своих народов. Третий – классический герой греческой трагедии, все видящий, но обреченный принять роковое решение.

Продажа Москвой Ирану зенитных комплексов «Тор М-1» запустила спусковой механизм неизбежной цепи событий на Ближнем Востоке. Когда осенью 2006 года российские ракеты будут развернуты вокруг иранских ядерных объектов, превентивный удар станет для израильской авиации заведомо невыполнимой операцией. Израиль будет вынужден вверить свою безопасность и само свое существование другой державе – США, у которых еще останется возможность уничтожить иранский ядерный потенциал.

Вся история и вся философия безопасности Израиля убеждают в том, что он никогда на это не пойдет. Особенно после известных заявлений бесноватого иранского президента. Следовательно, удар будет нанесен до осени. Если у кого-то еще были сомнения в этом прогнозе, то, я полагаю, их окончательно развеяло интервью исполняющего обязанности премьер-министра Израиля Эхуда Ольмерта «Эху Москвы» 19 марта.

Собственно, Ольмерт обращался к одному радиослушателю. И вы знаете этого радиослушателя. В переводе с дипломатического он сказал следующее: Иран никогда не будет обладать ядерным оружием. Израиль ему этого не позволит. Ваше, господин Путин, решение о продаже Ирану зенитных ракет очень плохое. Оно резко обостряет кризис и сужает окно возможностей для его дипломатического разрешения. Но вы мудрый государственный деятель мирового масштаба, и вы можете заморозить сделку.

Больше Ольмерт ничего Путину говорить не будет. Он ему уже все передал с Венедиктовым. Израиль будет теперь полагаться только на собственные силы, хотя прекрасно отдает себе отчет во всех негативных политических и военных последствиях ядерной кастрации Ирана – новая волна террористов-смертников, удары ракет, заботливо поставленных нашим сирийским геополитическим союзникам, и т. д.

через три года. Это было преподнесено как ужасная угроза, но люди с хорошей памятью помнят, что эти же три года, якобы отделяющие Иран от создания атомной бомбы, а мир – от ядерной войны, постоянно фигурируют с 1992 года! А, кроме того, повторю: если кому не стоит беспокоиться из-за ядерного арсенала Ирана, так это Израилю. Разумеется, израильские руководители не могут сказать это открыто, потому что, если они признаются в этом, то не получают нового оружия из-за рубежа. Всего несколько месяцев назад мы получили от немцев две новые подводные лодки – только благодаря «иранской угрозе». И всякий раз, когда кто-то на Западе говорит о том, что кто-то угрожает Израилю, мы должны быть им благодарны. Эта игра продолжается уже давно – по меньшей мере, сорок лет. Так что мы – последние, кому стоит волноваться из-за Ирана. Страны Залива – вот кто должен волноваться. И американцы. Потому что, что бы ни произошло в Иране – а я думаю, что знаю, что там должно произойти, – американцам придется держать свои вооруженные силы и базы в Заливе. Но не для того, чтобы предотвратить иранскую ядерную атаку – я не думаю, что иранские руководители настолько безумны, чтобы развязать войну, – а для того, чтобы предотвратить иранский ядерный шантаж, который может нарушить поставки ближневосточной нефти.

– И все же: почему вы так уверены, что Иран не решится атаковать Израиль? Что может ему помешать?

На днях я спросил об этом на семинаре в Гудзоновском институте у генерал-лейтенанта Моше Яалона, начальника Генштаба Армии обороны Израиля в 2001–2005 годах. «Мы готовы к этим ударам, мы их выдержим», – ответил он.

Ответ Ирана и исламистов не ограничится, впрочем, только Израилем. Наверняка будут уничтожены саудовские нефтяные платформы, блокирован Ормузский пролив. Экспорт нефти с Ближнего Востока прекратится. Чекистско-нефтяное окружение Путина уже радостно потирает руки в предвкушении этого сценария. 200 долларов за баррель? 300? 400? Просчитать, что будет дальше, у них просто не хватает ума.

Неумолимо приближает израильский удар и призывающий к окончательному решению еврейского вопроса иранский юдофоб номер один. В его безумии, как это часто бывает, есть своя логика. В чем-то он намного рациональнее «умеренных аятолл». Те надеются, затягивая время и обманывая всех и самих себя, дотянуть до атомной бомбы. Ахмадинежад же прекрасно понимает, что никакой бомбы не будет. Не позволят. Удар Израиля для него гораздо важнее любой бомбы. Во-первых, он резко укрепит его политические позиции внутри Ирана. А во-вторых, иранский президент свято верит в приход двенадцатого «скрытого» имама и считает своим долгом мусульманина способствовать этому приходу, провоцируя по мере своих возможностей катастрофические события на Ближнем Востоке.

Ахмадинежад не захочет ничего изменить. Ольмерт не сможет. Остается один человек. Он может заморозить ракетную сделку, остановить тикающий часовой механизм, дать больше времени всем – европейским дипломатам, иранским муллам, израильским военным. Но может и соблазниться как президент «великой энергетической державы» ценой в несколько сот баксов за баррель нефти (А. Пионтковский. Последняя развилка Путина // Грани.ру).

– Потому что никто не нападает на страну, чьи ракеты, оснащенные ядерными боеголовками (а есть основания полагать, что даже и кое-чем помощнее), нацелены на вашу столицу. И еще потому, что мы недавно получили две новые подлодки от немцев, пригодные для оснащения их ракетными установками. Разумеется, я не иранец, я не знаю, что они в действительности будут делать, но я знаю, чего они делать не будут – разве что найдется какой-то безумец, чего тоже, конечно, нельзя исключать. Но что касается аятолл и даже этого их президента, то они никогда, обратите внимание, не угрожали своими будущими атомными бомбами Израилю. Все, что они говорили, сводилось к тому, что Израиль не имеет права на существование на Ближнем Востоке, а это не совсем одно и то же. Это, конечно, не самые приятные заявления, но это и не угроза ядерного уничтожения Израиля.

– Иными словами, мы снова возвращаемся к тезису, сформулированному в вашей знаменитой книге «Трансформация войны»: в век ядерного оружия, которым неизбежно будут стремиться обзавестись все страны, равновесие страха приведет к тому, что война столь же неизбежно приобретет новый характер – партизанских боевых действий, герильи, террора. Тогда возникает вопрос: не захочет ли Иран использовать обретенные им новые возможности для организации такой войны против Израиля? Ведь теперь он может создать некий единый антиизраильский шиитско-суннитский фронт, включающий, кроме него самого, также шиитов Южного Ирака, Сирию, ливанскую «Хизбаллу» и палестинский ХАМАС, не так ли? Предвидите ли вы возникновение нового антиизраильского фронта от Тегерана до Газы?

– Нет. Я думаю, вероятность возникновения такого фронта сильно преувеличена, и одна из причин этого преувеличения, по-моему, состоит в том, что мы хотим таким образом объяснить, почему мы не сумели до сих пор решить наш конфликт с палестинцами. Мы, по существу, оправдываемся в этом провале, утверждая, что все наши противники с арабской стороны получают помощь от Ирана. Я полагаю, что иранское влияние на происходящие вокруг нас события сильно преувеличено. И это также способ оставаться в мире с самими собой. Вместо того чтобы посмотреть на себя в зеркало и честно сказать себе: мы не можем справиться с палестинской проблемой, а потому ищем всевозможные оправдания своего провала. А, кроме того, посмотрите на факты. На границе с Ливаном вот уже шесть лет все спокойно. Каждые несколько месяцев происходит обмен какими-то залпами (и я даже не вполне уверен, что «Хизбалла» всегда стреляет первой), и это все.

– Но посмотрите и вы: мы ушли из Ливана, ушли из Газы и, вместо спокойствия, получили ежедневный обстрел ракетами «касам».

– Позвольте вам напомнить, что «касамы» падали на нашу территорию и до того, как мы оставили Газу. Это была одна из причин, почему мы ее оставили.

– Но сейчас стала куда более реальной угроза, что много более мощ-

ные ракеты, полученные палестинцами у того же Ирана, смогут достичь даже Тель-Авива... Вы сами утверждаете, что в войнах нового типа слабый порой сильнее сильного, а мы сейчас имеем дело как раз с таким «слабым» противником, который очень силен именно в такой войне – партизанской и террористической. С нашим уходом из Газы он получил новые возможности для этого, не так ли?

– Нет, я так не думаю. Я совсем так не думаю. С моей точки зрения, «касамы» не так уж важны.

– **Но для жителей тех населенных пунктов, на которые они нацелены, они вполне достаточно важны!**

– Позвольте вам еще раз напомнить, что пока что никто еще не пострадал от этих «касамов». Разумеется, я предпочел бы, чтобы «касамов» вообще не было, но они пока не представляют такой уж серьезной угрозы. А если что-нибудь действительно серьезное произойдет, то у нас есть возможность ответить еще более серьезно, и я уверен, что так оно и будет. Но пока этого, к счастью, нет. И потому я убежден, что наш уход из Газы был большим успехом, хотя, конечно, было бы лучше, если бы не было «касамов». Но давайте все же смотреть на вещи объективно – «касамы» не так опасны, как террористы-самоубийцы и другие формы террора. А эти другие формы террора, куда более серьезные, вот уже шесть месяцев не применяются против нас. Ни один террорист не проник в Израиль из Газы.

– **Но мы каждый день получаем несколько десятков предупреждений о попытках совершить террористические акты!**

– Однако не из Газы. Это всё – с Западного берега.

– **Вы их разделяете – Газу и Западный берег? Разве это не одно государство, не одна власть, не один народ, который выбрал себе новое правительство? Вы говорите так, будто Газа – это одно государство, а Западный берег – другое.**

– Вы знаете, я предпочел бы, чтобы так оно и было. Для Израиля было бы куда лучше, если бы в Газе существовало одно палестинское государство, а на Западном берегу другое.

– **Это какая-то новая идея. Можете вы ее развить?**

– Видите ли, на мой взгляд, главным камнем преткновения в нашем конфликте с палестинцами является не земля, а право на возвращение палестинских беженцев. На месте палестинцев я бы ни за что не отказался от этого права. Никогда. Как я могу отдать Израилю землю, если на нее имеют право миллионы палестинцев, живущих в изгнании?! Этот вопрос крайне трудно обсуждать с единым палестинским правительством, которое заявляет, что оно представляет весь палестинский народ, включая беженцев, и интересы всего этого народа. Его гораздо легче было бы решить, имея дело с двумя палестинскими правительствами, ни одно из которых не могло бы сказать, что оно представляет весь палестинский народ. Каждое из таких правительств могло бы отказаться от каких-то требований под тем предлогом, что эти требования будет (или должно) защищать другое пале-

стинское правительство. Иными словами, Израилю было бы легче торговаться. Поэтому я бы поддержал такое разделение. Более того, я думаю, что рано или поздно оно произойдет – вне зависимости от того, поддерживаю я эту идею или нет.

– А как вы относитесь к политической линии нового израильского правительства?

– Позвольте мне сформулировать мое отношение таким образом. Евреи считались умным народом, но им потребовалось целых сорок лет – срок скитаний с Моисеем в пустыне, – чтобы понять, наконец, что делает с ними эта оккупация. Я очень доволен, что мы ушли из Газы, даже если летят «касамы», и я думаю, что мы должны уйти с Западного берега. Чем больше арабов останется по другую сторону стены, тем лучше. Я бы даже поддержал Либермана. Я думаю, что его идея обмена территориями и населением, в принципе, не так уж плоха.

– Но реальна ли она?

– Знаете, сильнее всего выступают против нее даже не политики, а израильские арабы. И это понятно – при всех своих жалобах они живут куда лучше, чем их братья на Западном берегу. Но эта идея может оказаться реальной. Сегодня она еще не выглядит практичной, но она вполне может стать таковой. Я бы, во всяком случае, не исключал такую возможность.

– А как же мировое общественное мнение? Оно настроено даже против строительства нашей стены безопасности, что уж говорить об обмене территориями?..

– Знаете, я не думаю, что мы должны обращать особое внимание на то, что говорит так называемое мировое общественное мнение о строительстве нашей стены. Страна, у которой есть двести или четыреста ядерных боеголовок, может пережить, если западные газеты назовут «позором» те или иные ее действия в защиту своего существования.

– То есть можно пренебречь даже мнением вашингтонских политиков?

– Я думаю, американцы не будут возражать против таких действий. Соединенные Штаты вообще не могут сейчас особенно ввязываться во все наши проблемы. У них на носу выборы в конгресс. Еще через два года – выборы президента, если, конечно, Буша еще до этого не выгонят с помощью импичмента. Америка – это такая страна, где каждые два года происходят какие-то выборы. Эта страна сильна только в промежутках между выборами. А сейчас, из-за войны в Ираке, она не сильна даже в этом промежутке. Это уже не тот полновластный хозяин положения, каким она была когда-то.

– Как же это изменило всю ситуацию на мировой политической арене? Не кажется ли вам, что именно это ослабление Америки привело к наблюдаемому сейчас ужесточению политики России? Что за роль хочет играть путинская Россия в этих новых условиях, когда она поддерживает Иран и ХАМАС?

– Сказать по чести, я не совсем понимаю, какую именно роль хочет иг-

рать Кремль. Разумеется, его не очень беспокоит ядерный арсенал Ирана. Я думаю, что вся его политика сейчас сводится к тому, чтобы доставить Америке как можно больше проблем, однако не провоцируя ее при этом на удар по Ирану. Иными словами, они выполняют акробатический этюд хождения по тонкому канату.

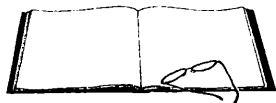
– **Допустим. Но зачем им это?**

– Видите ли, Россия – это, в известном смысле, азиатская держава, а Америка сейчас нависает над Азией. Это неприемлемая ситуация для азиатской страны, которая считает себя великой державой. Вот Россия и пытается создать максимум трудностей для американской политики.

– **Но не ведет ли это к резкому ухудшению всей международной ситуации? Как, по-вашему, за последние полгода эта ситуация – по крайней мере, для Израиля – ухудшилась или улучшилась?**

– Вас может удивить, но, на мой взгляд, для нас она стала лучше. Впервые за почти сорок лет в Израиле наконец-то появилось четкое большинство, понимающее, что мы не можем удерживать территории. Что же касается окружающих Израиль стран, то и тут ситуация явно улучшилась. Мы имеем спокойную ливанскую границу. На сирийском направлении все остается неизменным уже много лет. С Иорданией у нас очень хорошие отношения. Распад Ирака неизбежен, как я уже говорил, но нас это практически не касается – там скоро начнется затяжная гражданская война, после чего эта страна распадется на три анклава, так что они будут по горло заняты своими делами. Даже если Ирак станет источником опасности, то не для нас – возможно, для стран Залива, возможно, для Иордании, но не для нас. Так что я не вижу, чтобы в окружающем регионе произошли какие-нибудь изменения к худшему. Главные изменения, которые важны для нашего будущего, произошли в нашей собственной стране, и это изменения к лучшему. Мы впервые имеем – в народе, в кнессете, в правительстве – большинство, выступающее за отказ от оккупированных территорий, то есть за то, к чему Моше Даян призывал уже четверть века тому назад. Поэтому в данный момент я вижу основания для сдержанного оптимизма.

Вел интервью Рафаил Нудельман



журналист, публицист, редактор, телепродюсер, участник Ливанской кампании, автор более 200 публикаций на русском, иврите, английском и французском языках. Живет в США.

МОИ ДРУЗЬЯ В ТЕГЕРАНЕ

Сказал рабби Гамлиэль: За три вещи люблю я персов. Они скромны в еде, скромны в отпращивании нужды и скромны, когда возлягут с женщиной.

Иерусалимский Талмуд. Трактат Берахот, 8b

Мой друг – влиятельный человек в Тегеране. Его звать Мухаммед Али, но мы всегда звали его сокращенно – Мамали, с ударением на последнем слоге. Так принято у персов, и он сам себя так зовет. Мамали работает... я не хочу знать, где он сейчас работает. Я познакомился с ним в Париже, когда мы все еще нигде не работали, а лишь учились и с надеждой смотрели в будущее. Мамали учился на авиаинженера и приходил к нам довольно часто. Он принадлежал к влиятельному персидскому роду, и хомейнистская революция расколола его семью. Мы подружились и поддерживаем связь по сей день, особенно сегодня, когда интернет соединяет людей, живущих в разных мирах. И мы неторопливо, как принято у нас на Востоке, ведем с ним обстоятельный диалог.

– Скажи мне, Мамали, атомная бомба нужна Ирану?

– Бомба? Нам нужна ядерная энергия. Это не только насущная необходимость, не только гарантия сохранения нашего порядка и образа жизни, но и вопрос национальной гордости. Так было до революции, так это и сей-

час... Давай оставим политику, ведь это самое неудачное, что может быть взято для понимания истинной сути любого общества.

Политика редко проникает в наши письма. Мы оба знаем слишком многих людей, толкующих о странах и обществах, которых они не понимают. И многих, которые, как дети, играют в политику в странах, особенности которых далеки от их понимания.

Меир Джавендафар, уроженец Ирана, руководит консалтинговым центром в Лондоне и Тель-Авиве. Он тоже считает, что ядерные амбиции были уже у иранского шаха. Американцы продали Ирану первый ядерный реактор. Шах стремился сделать Иран региональной державой, самой сильной от Средиземного моря до Индийского океана, обеспечить гегемонию в регионе. Идеология нынешней исламской республики в этом вопросе ничем не отличается от идеологии режима шаха. Иранские аятоллы такие же националисты, как и генералы шаха. Американская администрация уверена, что ядерное оружие в руках тегеранского режима мешает демократизации Ближнего Востока. Руководители Исламской республики Иран полагают точно так же, считая ядерное оружие гарантией сохранения своего политического режима.

Безр-Шева, 1992

Признаться, я и сам приложил руку к созданию ажиотажа вокруг иранской ядерной программы. В 1992 году мне неожиданно предложили выпустить информационный бюллетень на русском языке. Тогдашний мэр Безр-Шевы Ежи Рагер хотел «настоящую местную газету», и мы ее сделали. Однако платить за это мэрия не спешила, зато комиссаров слала постоянно. В конце концов, мне все это надоело. Я послал комиссаров куда подальше, а сам остался с тремя журналистами.

Поначалу сам я ничего не писал, рассчитывая на их профессионализм, однако газета получалась тусклая. Пришлось самому сесть за компьютер. Я жил здесь много лет, знал всех и вся, однако пробиться к источникам свежей информации и попасть в круг ивритоязычных журналистов даже мне было непросто.

В те дни российское телевидение то и дело открывало секреты недавно рухнувшего Советского Союза. Я впервые услышал названия секретных ядерных спецгородков: Арзамас-16, Челябинск-65, Красноярск-26, Свердловск-44, Ангарск... Узнавал я и про крах советской науки, про безработных ученых, готовых продать свои знания кому угодно.

В Израиль к тому времени съехалось около миллиона эмигрантов, сорванных с насиженных мест. Приходилось слышать разные жизненные истории, часто любопытные и драматические. Муниципалитеты на юге страны уволили всех дворников-арабов. На их место приняли русскоязыч-

ных, как правило, людей с высшим образованием – врачей, музыкантов, учителей, инженеров и ученых. Образ «русского» профессора-дворника стал нарицательным и обыгрывался в прессе и на эстраде.

Услышанные истории сложились вместе, и у меня вызрел сюжет. Устав работая дворником и отчаявшись устроиться по специальности, бывший советский ученый-атомщик принимает приглашение из Ирана и отправляется туда – через Вену – делать «бомбу для аятоллы». С этой историей я пошел к известному в городе общественнику Марку Мойзесу, кормившему местную ивритскую журналистскую братию историями из эмигрантской жизни. Расчет оказался точным. Мойзес заслуженно слыл человеком общительным и тут же поторопился разнести мою историю по знакомым журналистам. Мне стали звонить, но я не спешил что-либо подтверждать, а тем более публиковать у себя в газете.

История о русском дворнике-атомщике зажгла воображение русскоязычных газетчиков. Несколько недель из издания в издание кочевали, обрастая подробностями, истории о «предателе из Беэр-Шевы», «изменившем родине». Русскоязычные газеты публиковали статьи и комментарии без всякой проверки или ссылки на источник. В конце концов, я тоже опубликовал у себя коротенькую заметку «Бомба для аятоллы», где, ссылаясь на «материалы газет», рассказал свою фантастическую историю.

Ивритские журналисты вели себя более профессионально. Один за другим, они приходили ко мне и просили отдать или даже продать им «скуп» или, по крайней мере, дать наводку на источник. Естественно, что я под разными предлогами отказывался. Месяца через два мне позвонил некий Эли из канцелярии главы правительства. Он попросил о встрече и даже выразил желание приехать ко мне в офис. Канцелярия главы правительства Израиля курирует различные спецслужбы, и в те дни со мной иногда встречались их сотрудники, чтоб собрать информацию о тех или иных эмигрантах, которых я мог бы знать по своей жизни в СССР. Как и другие посетители такого рода, Эли вручил визитную карточку, явно только что изготовленную печатным автоматом на автовокзале. Оказалось, что его интересует «бомба для аятоллы». Я сразу же признался, что речь идет о газетной утке, и рассказал, как история кругами расходилась по стране. Эли все внимательно записал, сфотографировал заметку из моей газеты. Когда я закончил, он пристально уставился мне в глаза и произнес: «Все это замечательно. А теперь расскажи, как ты на самом деле узнал об этой истории?» И я мгновенно сообразил, что попал в яблочко и моя творческая интуиция позволила угадать действительно имевшее место быть событие.

Тегеран, 1979

Мы приземлились в Тегеране перед закатом. Огромный город, название которого на фарси означает конец пути, лежал как на тарелке, окруженный горами. Возвращаясь из Сингапура, я нашел какой-то сверхдешевый чар-

терный рейс, включавший четыре дня ожидания в Тегеране. В Иране вовсю шла революция. Однако я не интересовался новостями, потому что не верил, что самое новое – всегда самое важное. Революция была для меня внове, и я не знал, что и в наше время жизнь стран и народов способна резко измениться.

Незадолго до революции в Иране пышно отмечалось трехтысячелетие персидского государства. По телевизору показывали празднования и впечатляющий военный парад. Шах Мухаммед Реза Пехлеви приветствовал с трибуны вереницу древних колесниц, дефилирующую конницу, грузовики с баллистическими ракетами... Казалось, такую мощь невозможно поколебать.

Тогда, в Тегеране, мне и в голову не приходило, что конец шахского режима так близок. В аэропорту было шумно. Иностранцы покидали страну. В воздухе витало нервное напряжение. В разноликой толпе я сразу определил небольшую группу израильтян. Наших трудно с кем-то спутать. Израильтяне сидели на чемоданах, узлах и пакетах. Я еще раздумывал, подойти или нет, как вдруг узнал Осю Фильчука, вместе с которым когда-то учился в средней спецшколе с преподаванием предметов на французском языке. Я уже раньше встречал его в Израиле и знал, что он работает инженером в крупной строительной компании «Солель Боне», которая возводит какой-то объект неподалеку от Исфагана.

Я обрадовался знакомому, а израильтяне сразу приняли меня как своего. Они-то мне и рассказали, что их срочно отозвали домой. Выяснилось, что мы улетаем вместе, одним самолетом. Нас разместили в большой комнате с рядом коек. Служащая израильского консульства настаивала нас быть осторожными, не поддаваться на провокации, никуда не выходить. По ее словам, опасность подстерегала нас всюду. Мы выслушали инструктаж и ватагой отправились в город.



– Скажи, Мамали, ты был абсолютно нерелигиозный. Все наши друзья – тоже агностики. Ни Бог, ни ислам не играли никакой роли в нашей жизни. Почему же иранская революция приняла религиозную форму?

– Бог, действительно, вездесущ и присутствует во всей нашей культуре. Вся ткань иранской жизни пронизана Богом, и мотив Аллаха – бесконечно повторяющийся мотив. Мы – нация индивидуалистов, даже анархистов. И это зачастую сильнее стремления к сотрудничеству. И еще – иранец хитер и подозрителен. Он подозревает, что и все другие коварны и хитроумны. И еще одно. Мы мстительны, мы готовы отдалиться мести, и мы получаем от этого удовлетворение. Ты помнишь, как часто менялось у меня настроение, как часто дружеские откровения перерастали в шумный спор, а то и в ссору. Вспышки насилия у нас всегда внезапны...



Израильтяне за границей отличаются любопытством, зачастую бесцеремонным. И все же мы не заметили тогда, что Тегеран сотрясают многотысячные демонстрации, что не полиция, а революционные дружины контролируют улицу.

Мы отправились на базар, который жил своей независимой от политики жизнью. Повсюду царило странное приподнято-праздничное настроение. Люди были доброжелательны и оптимистичны. Жрицы любви – веселы и благосклонны. Даже докучливый восточный сервис стал на время каким-то ненавязчивым. Улица всегда встречает время больших перемен с оптимизмом. Мои израильские попутчики много говорили о гостеприимстве, доброте и щедрости в чем-то смешных и провинциальных иранцев. Никто не ожидал плохого.

Дурбан (Южно-Африканская Республика), 2000

– Скажи, Мамали, ведь испокон веков Иран отличался терпимостью. Еще со времен державы Кира религиозная и этническая толерантность всегда была фирменной маркой персидского государства. Терпимость – традиционно одна из наиболее общих и базисных черт иранского характера. Так откуда взялся фанатизм?

– Вероятно, любая революция порождает фанатизм. Без него революция вряд ли возможна. Революция видоизменила, но не уничтожила нашу веселость, наш неизбывный юмор. Мы – древний народ, познавший столетия сумятицы и трагедии. Один из наших ответов пред лицом смерти – потеха, юмор, смех. Фанатизм проходит, а толерантность остается. Смотри, Иран не знал антисемитизма, не знал религиозных преследований...

Хорошо, что в Иране принято так думать о себе. Хотя трудно было не обращать внимания на массовые казни бахайцев, признанных еретиками, на преследования огнепоклонников и людей, сменивших религию. Вероятно, в Иране мало кто об этом задумывался. В любой революции хотят верить, что лес рубят, щепки летят... Да и насчет антисемитизма...

В 2000 году после успешной общественной кампании против расизма в системе израильского образования нас пригласили наблюдателями на антирасистскую конференцию ООН в Дурбане. «Нас» – это группу школьников «Русские пантеры против расизма в израильских школах» и меня. Мы не обвиняли все общество в расизме, не валили в одну кучу любое проявление этнической неприязни. Однако нежелание государства признать проблему этнической ненависти к русскоязычным эмигрантам, равнодушие властей к страданиям детей нельзя было назвать иначе. Неожиданно мы получили помощь от израильских мидовцев. Они помогли нам пробиться на радио, дать интервью, участвовать в дискуссиях и «круглых столах». Вероятно, наша критика казалась им конструктивной, а наша позиция в чем-то украшала Израиль, придавала ему многомер-

ность. Сразу после конференции израильские дипломаты объявили ее итоги успешными. Но позже израильские ведомства и еврейские организации почему-то решили сменить тон и стали называть ее «антисемитским сборищем».

Во время конференции нас пригласили участвовать в «круглом столе» по проблемам взаимопонимания. В последний момент мы узнали, что среди участников «круглого стола» есть иранцы. Обычно они отказывались контактировать с израильянами, да и мы не особо к этому стремились. Однако на сей раз они были тут, и нам отступать было некуда. Высокая африканка-продюсер испуганно попросила участников дискуссии проявлять взаимную терпимость. Иранский представитель, красивый бородатый парень в темном пиджаке, глядя на нас пустыми глазами, медленно цедил: «Жители вашей страны: мусульмане, христиане и... прочие». Даже выговорить слово «еврей» или «Израиль» ему было невозможно, а говорить про «маленького шайтана, прислужника большого американского шайтана» было неуместно.



Мы улетали из Тегерана на рассвете. Солнце золотило панели опустевшего утром терминала аэропорта Мехрабад. Позже я узнал, что мы улетаем одним из последних рейсов израильской авиакомпании «Эль-Аль», и остается совсем немного времени, когда миллионная толпа устроит здесь восторженную встречу лидера Ирана аятолле Рухолла аль-Мусави аль-Хомейни – моему соседу по Парижу.

Париж, 1975

Скромные доходы не позволяли нам жить в центре Парижа, и мы поселились в пригороде. Каждый день добирались до города поездом. Через две остановки от нас, в Нопл Ле Шато, жил аятолла Хомейни. Личность Хомейни тогда вызывала много толков. У него не было ни партии, ни сильной организации. Он всего лишь сидел в своем кабинете и выносил религиозные постановления – *фатвы*. Поклонники Хомейни рассказывали о его необычайной скромности, доброте, литературном вкусе (еще в юности Хомейни написал диссертацию о суфийской поэзии). Критики высмеивали его замкнутость («он в Париже даже в Оперу ни разу не сходил»), ксенофобию и пуританизм (он приказывает завешивать окна, чтобы ненароком не взглянуть на французенок; «он велел снять унитаз и установить нужник, над которым надо сидеть на корточках, и не пользуется туалетной бумагой»). Как раз последнее, вероятно, правда. В Персии, Турции, на Кавказе люди предпочитают подмывание и пользуются специальным сосудом с ручкой и изящно изогнутым носиком. Персы называют его *афтабы* (что на фарси попросту означает «сосуд для воды»). Афтабы являются непремен-

ным атрибутом иранских домов, контор и разных учреждений. Под них специально сделаны краны и раковины для стока воды. Вероятно, именно такую сантехнику и установили в доме аятоллы. Иностранцы, не знающие, в чем дело, часто покупают афтабы в качестве сувенира, украшают ими дома, подают в них воду или кофе, над чем иранцы потешаются от души. Вероятно, и мы бы потешались, увидя, что кто-то подает суп в ночном горшке. Свой обычай персы почитают гигиеничным и искренне презируют пользующихся туалетной бумагой европейцев и американцев как людей грязных и неприличных, а то и вовсе видя в этом еще одно подтверждение ущербности *гяуров*.

Вот насчет ксенофобии и нелюбви к Франции, то, думаю, это неправда. Уже придя к власти, Хомейни много раз находил повод, чтобы выразить благодарность Франции, приютившей его в тяжелое время и давшей возможность подготовить свою революцию.

Мою парижскую подругу звали Гюстманэ. На каком-то из языков Иранского нагорья имя это значит то ли «довольно девочек», то ли «хватит дочек». У ее отца, богатого курда, женатого на тегеранской армянке, было 12 дочерей. Густа (как я ее называл) была самой младшей. Она училась в Париже на юриста. После первой случайной встречи мы поняли, что хотим жить вместе, и не откладывали нашего решения ни на один день.

В середине 70-х Париж бурлил. Там уже налицо были все проблемы, всколыхнувшие Францию через 30 лет, но французы еще могли себе позволить не замечать их. В Париже тех дней хорошо помнили события студенческой революции 1968-го. На слуху были итальянские «Красные бригады», террористы немецкой группы Баадер–Майнхоф и палестинцы. Жившие на Монмартре наши французские друзья опасались получать письма из Израиля, так как их почтальон был арабом. Иранцы мечтали о революции в своей стране.

У нас дома часто собирались парни и девушки разных, по большей части ближневосточных, национальностей – персы, армяне, арабы, израильтяне, курды и айсоры. Некоторые девушки носили платок-хиджаб, другие презрительно называли его *шалика*, что на магрибском арабском значит «половая тряпка». Сторонники революции были не только среди традиционалистов. Слова «исламизм» еще никто не знал. Спорили о будущем, о революции. Тут были роялисты и революционеры, персидские националисты и сепаратисты, светские и религиозные.

В глазах наших знакомых мы с Густой были очень необычной парой, нарушающей все и всяческие рамки и условности. Мы не принадлежали ни к одной из дискутирующих партий и были рады всем. Поэтому наша просторная однокомнатная квартира-студия была для всех нейтральной территорией.

Я немного понимал их языки, однако воздерживался от участия в ожесточенных дискуссиях. Все громко спорили на своих певучих наречиях, пили чай и кофе, курили... Сейчас в Америке и признаться-то вслух боязно,

чего только тогда не курили... Мы на практике осуществляли модные тогда идеи сексуальной революции и много занимались любовью. Про СПИД тогда еще слыхом не слыхивали, что современным молодым людям представить невозможно. Казалось, что так будет всегда...

– Мамали, а откуда у вас взялся пуританизм? Ведь зная тебя, многих из вас, нельзя было себе представить это.

– Ты имеешь в виду религиозный пуританский образ жизни? Знаешь, мы тоже любим о себе думать, как о чувственном, сластолюбивом народе, обожающем всяческие, порой самые изощренные плотские удовольствия. Наша манера разговаривать, наша поэзия, которая наше все... Мы ставим поэзию сразу за Богом, а часто и перед ним... Наш фольклор, наши традиции – все свидетельствует о любви к земному. Массовые экзекуции проституток после революции – это не могло не вызвать в сострадательной и снисходительной душе рядового иранца ничего, кроме ужаса.

Наша парижская идиллия закончилась довольно быстро. Как-то придя вечером домой, я застал у нас полицию. Кто-то из наших гостей оказался замешанным в покушении на турецкого военного атташе. Я до сих пор не знаю, кто устроил покушение – то ли армяне, то ли курды, а может быть, что совершенно невероятно и тем более возможно, и те, и другие. Пожилой полицейский недобро покачивал головой, рассматривая мой израильский паспорт. Густа срочно уехала домой. Через полгода в префектуре мне вежливо объяснили, что французское государство против меня лично ничего не имеет, но вид на жительство продлен не будет. Мне настоятельно рекомендовали покинуть Францию в течение 48 часов.

Вена, 1997

Густу я нашел лишь через 20 лет. Случайно мелькнуло ее лицо в какой-то сводке новостей. Я попросил друзей разыскать ее, и еще через три года мы встретились в маленьком венском кафе. Черный хиджаб делал ее таинственной и недоступной и потому еще более привлекательной.

– Никто не понимает, что у нас происходит, – говорила Густа. – Во времена шаха консервативные родители не пускали девушек в университеты, боялись светского влияния. После революции университеты создали отделения только для женщин, и тысячи, тысячи женщин ринулись учиться. Сегодня в Иране десятки тысяч молодых женщин – врачей, адвокатов, инженеров, учителей, служащих... Для них не хватает работы, как и для многих мужчин, однако это новый класс, который постепенно, но неуклонно ме-

няет всю ткань иранской жизни. Есть еще много процессов, которые не видны снаружи не только из-за расстояния, но и из-за предрассудков. Иностранец может прожить среди нас сотни лет и все равно по-настоящему нас не понять.

Будь то шахская власть или исламская республика, а, по старинной иранской пословице, приказ падишаха останавливается в воротах деревни. Иранская деревня продолжает жить своей неизменной в веках жизнью. Ни шах или аятолла, президент или комиссар не имеют здесь значения.

– На Западе нам представляют современную иранскую молодежь как ищущую развлечений, смотрящую в сторону Запада. Помнишь, Густа, мы говорили, что транзистор и мопед изменят жизнь. Транзистор принесет в деревню новые звуки, новые мелодии, а мопед увезет молодежь прочь, в города, к новой жизни, к западным стандартам.

– Помню. Однако приемник принес звуки молитв и проповедей, а мопед повез людей на паломничество, в мечети.



– Сегодня Иран покрылся густой сетью мечетей, мавзолеев и святынь, – написал мне Мамали. – Люди часто отправляются в паломничество. Суть шиитского паломничества такова, что должна бы исключить фанатизм. Мы любим плоть, но мы также любим дух. Для западного человека – это противоречие, но для иранца – нормально. Сейчас для паломничества значительно больше возможностей, чем раньше. Святыни есть везде – от маленьких мечетей в забытых маленьких деревушках до внушительных комплексов в священных городах. И ни одна из этих мечетей не названа в честь политика или военного. Только в честь святых и поэтов. И, в конце концов, именно это, а не свист пуль привлекает внимание и вызывает благоговение иранцев.

Иерусалим, 2004

«Ни один официальный израильский представитель не скажет, что мы не способны разбомбить иранские ядерные объекты, – писал Йоси Мельман, один из наиболее информированных израильских обозревателей военной и разведывательной проблематики, в большом обзоре, посвященном израильским аспектам иранской ядерной угрозы. – Еще меньше тех, кто считает, что Иран и вовсе не представляет для Израиля насущной опасности. И уж совсем мало тех, кто открыто скажет, что Израиль не способен нанести серьезный ущерб иранским ядерным объектам» (Киссинджер очень обеспокоен // Гаарец. 28.06.2005).

И все же такой представитель нашелся – бригадный генерал Рилик (Израэль) Шафир, имя которого называли среди кандидатов на должность командующего ВВС Армии обороны Израиля. Перед уходом в отставку Шафир командовал крупнейшей в Израиле авиабазой Тель-Монд. Если бы в

Израиле было принято выдавать ордена за боевую доблесть, то, вероятно, Шафир мог бы увешать ими всю грудь.

«Я не думаю, что Израиллю стоит особо волноваться по поводу попыток Ирана заполучить ядерное оружие, – сказал Шафир на деловой встрече в Иерусалиме. – Но, разумеется, наша оборона должна принять в расчет этот фактор». Встреча была посвящена маркетингу его компании DM4, занимающейся обеспечением контроля над кризисными ситуациями и защитой жизненно важных объектов. Компания сумела наладить хорошие связи с клиентами в Израиле, Украине и странах Африки. Однако крупнейший рынок для экспертизы Шафира находится в США. Шафир не скрывает своих взглядов. Он повторил их на нескольких форумах и в интервью: «Иранцы стараются заполучить ядерное оружие, как это делали до них индийцы, пакистанцы или Саддам Хусейн. Я не считаю, что Иран представляет для Израиля опасность, хотя я признаю, что я в меньшинстве и есть противоположные мнения, которые тоже заслуживают внимания». Шафир считает, что воинственные заявления Ирана, как и заявления о готовности Израиля отразить иранскую угрозу будут продолжаться. Однако это не имеет отношения конкретно к Ирану, с ядерной бомбой или без нее. «Мы живем на Ближнем Востоке. Здесь не любят слабых и деликатных. Здесь принято делать много шума, чтобы показать свою мощь... Однако не следует особо волноваться по поводу Ирана. У них достаточно проблем с соседями, а еще Россия и Китай, и американцы на их границах... Я не думаю, что иранцы имеют намерение атаковать Израиль».

В течение многих лет израильские военные и политики недвусмысленно заявляли, что не намерены терпеть ядерное вооружение Ирана и грозились принять меры, чтобы положить конец иранскому ядерному проекту. Тон израильских официальных лиц резко изменился, когда в игру вступил американский вице-президент Дик Чейни. В январе 2005 года Чейни заявил: «Разумеется, что Израиль может решить ударить первым». Поначалу многие комментаторы полагали, что Чейни предостерегает Израиль против проявления излишней активности. Однако в самом Израиле поняли, что «единственный истинный союзник», как называют здесь США, грозит Тегерану наказанием израильскими руками. В интервью MSNBC Чейни был предельно конкретен. Если дипломатические усилия не дадут результата и Иран не остановит своей ядерной программы, то израильтяне «без того, чтобы их попросили... и если они убедятся, что у Ирана есть существенная ядерная мощь, учитывая еще, что декларируемая цель иранской политики – уничтожение Израиля... Разумеется, израильтяне способны ударить первыми и предоставить остальному миру заниматься дипломатическим хаосом».

В политических и военных кругах Израиля заявление Чейни вызвало переполох, тем более что там хорошо помнили, как однажды он уже грозил врагу от имени Израиля. За два месяца до начала войны против Ирака в 1991 году, в бытность министром обороны в кабинете Буша-старшего, Чейни точно так же использовал интервью CNN, которое противник мо-

жет услышать и записать без всяких проблем. Он заявил тогда, что если Саддам Хусейн применит химическое оружие, то Израиль ответит ядерным ударом. Заявление было беспрецедентным, поскольку обычно официальные американские лица вообще стараются обойти деликатный вопрос о наличии у Израиля ядерного оружия. И дело было не только в том, что впервые военный министр США открыто и прямо сказал об израильском ядерном оружии, но он еще заявил, что с этим фактом противнику необходимо считаться.

На сей раз – в 2005 году – Чейни умолчал об израильской ядерной опции – вероятно, потому, чтобы в очередной раз не возбуждать ненужных вопросов: почему Израилю можно иметь ядерное оружие, а Ирану нет? Однако официальный Иерусалим хорошо понял намек. Как по команде, угрозы принять меры в одностороннем порядке прекратились. Официальные израильские представители заговорили о том, что ядерное оружие в руках Ирана – угроза всему миру и необходимо принять коллективные меры безопасности.

Рилик Шафир говорил, что у Израиля реально нет возможности нанести существенный ущерб иранской ядерной программе. «Если спросить любого военного, готов ли он к выполнению задания по отражению угрозы, то естественно, что тот ответит положительно, – говорил Шафир, – что еще можно от него ждать? Если спросят командующего швейцарской армии, готов ли он к выполнению боевых задач, поставленных правительством, тот тоже ответит положительно. А потом всегда можно сказать, что его неправильно поняли».

Для операции по ликвидации иранских подземных ядерных объектов Израилю необходимы бомбардировщики дальнего радиуса действия типа В-1 или В-2, оснащенные «умными» бомбами, пробивающими бункеры. У Израиля такого вооружения нет. В начале июля 2005 года «Лос-Анджелес таймс» впервые сообщила о спрятанном глубоко под землей ядерном объекте в Натназе (на юге Ирана, неподалеку от Исфагана), где размещены центрифуги. Объект защищен восьмиметровым бетонным покрытием.

В нашумевшей статье в «Ньюйоркере» (The Iran Plans // New-Yorker 10.04.2006) лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Хирш, автор множества сенсационных и вместе с тем неизменно правдивых и документированных журналистских расследований, сообщает, что американцы планируют применить против Ирана тактические термоядерные землепробивающие бомбы с нейронным зарядом В61-11.

Публикацию Хирша взялись опровергать и президент США Буш, назвавший эту статью «дикой спекуляцией», и президент Ирана Ахмадинежад, усмотревший в ней «средство психологической войны». Политикам можно верить лишь с осторожностью. В мае 2002 года накануне вторжения в Ирак американский президент тоже заявлял, что у него «на столе нет планов вторжения», да и иранского президента многие подозревают в слишком цветистом восточном красноречии. Однако ценность и сенсационность

материала Хирша не в предсказаниях, а в изложении реальных планов, которые, несомненно, разработаны американскими военными и экспертами. Но решать, что делать, и отдавать окончательные приказы будут как раз сами критики Хирша – Буш и Ахмадинежад.

Шафир говорил, что иранцы усвоили уроки израильской бомбежки иракского реактора Озирак в 1981 году и хорошо подготовились – спрятали свои ядерные объекты глубоко под землю и слои бетона и рассредоточили их в восточной части страны, подальше от Израиля. Израильские ВВС могут нанести ущерб ядерным объектам Ирана, но не уничтожить их полностью.

До Ливанской кампании 1981 года израильская авиация систематически бомбила базы боевых палестинских формирований в Южном Ливане. Я попал в Ливан на второй день после вторжения израильских вооруженных сил в 1981 году. Мы сразу убедились, что бомбардировки не достигали поставленной цели. От бомб и ракет страдало, в основном, гражданское население лагерей палестинских беженцев, а укрытые подземные бункеры и огромные склады вооружения остались нетронутыми.

Рилик Шафир участвовал в бомбардировке иракского ядерного реактора Озирак. В одном интервью он рассказал, что бомбежка Озирака была сравнительно простой задачей. «Надо было отбомбиться с высоты двух километров на очень хорошо видимый объект», – рассказал Шафир. Интересно, что бомбардировка иракского ядерного реактора, торжественно провозглашенная как ликвидация ядерной программы Саддама Хусейна, скорее всего, не достигла поставленных задач. После войны в Персидском заливе в 1991 году американцы обнаружили, что реализация ядерной программы продолжалась и была заморожена Саддамом лишь после поражения в войне 1991 года. Автор книги «Иракский атомный мираж: Воспоминания и заблуждения» Имад Каддури (Iraq's Nuclear Mirage: Memoirs and Delusions by Imad Khadduri. Hushion House Publishing, 2003. 224 p.), работавший в системе иракской военной ядерной программы с 1981 года и эмигрировавший из Ирака в начале 90-х, пишет, что до 1981 года они считали, что ядерная программа не будет использована в военных целях. Но израильская бомбардировка всех так разозлила, что после нее сразу приступили к военной программе. Кстати, перед вторжением в Ирак Каддури дал показания, где отрицал наличие ядерного оружия у Саддама Хусейна.

Радиолог и ядерный физик, профессор Гарвардского университета Ричард Вильсон посетил Озирак в 1982 году. Вильсон не отрицает, что Саддам Хусейн явно хотел обзавестись атомной бомбой, но не согласен, что израильская бомбардировка ликвидировала иракский ядерный проект. По его словам, Озирак работал под надзором МАГАТЭ, и о создании ядерного оружия там не помышляли. Сразу после бомбардировки в июне 1981 года Саддам Хусейн освободил из-под домашнего ареста доктора Джафара Дхия Джафара и поручил ему возглавить тайный проект создания атомной бомбы. Вероятно, израильская бомбардировка не остановила, а наоборот – запустила иракский ядерный проект, считает Вильсон. Более того, ни гор-

дые своим достижением израильтяне, ни ЦРУ не смогли отследить того, что действительно происходило с иракской ядерной программой.

Окдейл, Лонг-Айленд, 2006

На пасхальный седер в синагоге в уютном пригороде Нью-Йорка собралось в этом году рекордное количество народу. Рядом со мной за столиком разместились отставной американский полковник Мэл Маккензи с женой. 26 лет он провел в арабских странах: участвовал в спецоперациях, служил в Иордании и Египте, обучал личную охрану саудовских королей, которую почему-то называет «белой гвардией». Последней войной полковника Маккензи была война в Персидском заливе, в 1991 году. В шуме обычных разговоров о местной политике, автомобилях и детях я спросил полковника: «Будем воевать в Иране, не так ли?»

– Разумеется. Нам нужна нефть. И в ближайшие 10 лет мы должны контролировать Ближний Восток, чтобы отапливать наши дома, ездить на машинах и жить так, как мы привыкли. Если бы на выборах победил Гор, он тоже послал бы войска на Ближний Восток. И потом... они же первыми начали, еще когда захватили наше посольство.

– Слушай, Мамали, а зачем вы заелись с американцами?

– Вообще-то, это они с нами. Им всегда нужен «плохой парень», нужно страшилище-бугимен под кроватью – русские, Фидель Кастро, Каддафи, Хомейни, Милошевич, Жак Ширак, Хуго Чавес, Бин-Ладен. ...Однако ты прав, можно было разговаривать до того момента, когда революционные гвардейцы *пасдаран* захватили американское посольство в Тегеране. На Западе этого не поняли. Там слишком короткая память. В Иране все помнят долго и все понимают, зачем что делается. Для иранцев был памятен урок свержения Моссадыка, который стал национальным символом нашей мечты о том, чем Иран мог бы стать, не будь вмешательства американцев, богатой и свободной страной. И мы все были готовы не допустить заговора против нашей революции.



В 1952 году к власти в Иране пришло демократическое умеренно националистическое правительство Мухаммеда Моссадыка, получившее, действительно, массовую поддержку иранцев. Моссадык добивался ограничения шахской власти, улучшения благосостояния населения, земельной реформы и национализации нефтяных ресурсов страны. Иранской нефтью тогда распоряжалась «Бритиш петролеум». Британцы забирали себе 85% доходов, Моссадык хотел поровну – 50 на 50. Зная склонность Черчилля к заговорам и переворотам, он выслал из страны британских дипломатов и советников. И тогда Черчилль обратился к США. Американцы до того не

вмешивались в политику других стран за пределами Западного полушария. На Ближнем Востоке они пользовались уважением и доверием. В Иране были американские учителя, врачи, инженеры, и многие верили, что они действительно бескорыстно помогают Ирану и не имеют империалистических аппетитов.

Верный старым принципам невмешательства, президент Гарри Трумэн колебался – Ближний Восток был тогда сферой влияния европейцев. Зато несменяемый глава спецслужб Алан Даллас сразу ухватился за идею Черчилля. У него на примете давно был Кэрмит Рузвельт – внук президента Теодора Рузвельта, «тихий американец» – цезрушник, специализировавшийся на тайных операциях в разных странах. Пользуясь своими связями, Рузвельт сумел организовать в 1953 году переворот в Иране и свергнуть законно избранное правительство Моссадыка. Вернувшийся в страну шах как-то сказал Рузвельту: «Своим тронном я обязан Богу, моим людям и вам».

Неудачи нынешней кампании за демократизацию на Ближнем Востоке во многом являются следствием враждебного отношения США к светским умеренным националистам. С ними трудней ладить, чем с диктаторскими режимами, декларирующими проамериканские сантименты. Диктатуры при активной американской помощи уничтожили на Ближнем Востоке все ростки демократии. Общественная активность сосредоточилась вокруг мечети. Нет ничего удивительного, что когда пробил час коррумпированных диктаторских режимов в Иране, Ираке или Палестине, то единственной политической силой, способной заполнить вакуум, оказались радикальные клерикалы.

Иерусалим, 2006

Военные аналитики, с которыми мне удалось побеседовать, согласны в одном: «В данный момент военная акция против Ирана нежелательна, но она – возможна, если на это решатся политики, которые и определяют ее масштабы». Мне говорили, что не верят тем, кто утверждает, что «президент Буш не сделает этого». Они скорее озабочены вопросом, что из всего этого выйдет. Иранскую реакцию на военную акцию все оценивают одинаково: Иран попытается перерезать пути поставки нефти и задействует террористические организации, которые у него на содержании. («"Хизбалла" – самая эффективная террористическая сеть, вытеснившая израильтян из Ливана, – пишет Хирш, – в нынешней "войне с террором" сохраняла нейтралитет».) Третье, что могут сделать иранцы, – это еще больше накалить обстановку в Ираке, особенно в южных шиитских провинциях, где до сих пор население сохраняет спокойствие. Эксперт по вопросам контртерроризма Ричард Кларк (в статье, написанной вместе с Стивеном Саймоном и опубликованной в «Нью-Йорк таймс»: *Bombs That Would Backfire by Richard Clarke and Steven Simon // The New York Times, 16.04.2006*) подводит итог: «Не так важно, как ответят иранцы. Американские военные пла-

нировщики постоянно должны думать о следующем шаге, о том, как им достичь так называемого стратегического эскалационного превосходства так, чтобы другая сторона боялась, что ее ответ может стать смертоносным для сохранения режима». Однако никто из моих собеседников даже не брался ответить на вопрос, которым задаются также Кларк и Саймон: что даст Соединенным Штатам бомбардировка Ирана?

События развиваются стремительно, а политические лидеры США, Израиля и Ирана, если в чем-то и похожи, так это в своей непредсказуемости. Делать какие-то прогнозы мои собеседники не готовы из-за опасения угодить пальцем в небо. Даже последние публикации о планах США атаковать Иран не говорят ни о чем. Всякое деяние состоит из возможности и намерения. Военные возможности у США есть, и американские военные, несомненно, подготовили планы полномасштабного вторжения в Иран. Ведь естественно, что планы на все возможные случаи имеются в любых военных штабах. Даже наличие намерения атаковать или проведение маневров (военные игры по сценарию «вторжение в Иран» проводились еще в 2004 году на военной базе Порт Белвуар – в Вирджинии), разыгрывающих те или иные элементы вторжения, еще не означают, что решение принято.

Делать какие-либо прогнозы невозможно и по другой причине. Никто на Западе не знает точно ни ядерного потенциала Ирана, ни действительных его намерений. После того как выяснилась несостоятельность – а то и заведомая фальсификация фактов – американских заявлений об иракском оружии массового уничтожения, рисковать репутацией не хотят ни эксперты, ни политики. Бывший правительственный эксперт по борьбе с распространением ядерного оружия, а ныне декан Школы иностранной службы при Университете Джорджауна в Вашингтоне Роберт Галуччи готов бы поддержать американскую военную акцию против Ирана. «Однако если вы решаетесь на это, – говорит Галуччи, – и оказываетесь неспособным представить доказательства существования секретной ядерной программы, то у вас появятся большие проблемы».

Выступая перед кнессетом в декабре 2005 года, руководитель Мосада Меир Даган заявил, что Ирану нужен всего год-два, чтобы начать обогащение урана. Дальше, по его мнению, создание атомного оружия лишь дело техники. Даган ошибся, и уже 15-го апреля 2006 года иранский президент Махмуд Ахмадинежад объявил, что Иран начал обогащение урана. Однако заявление президента Ирана не рассеяло неопределенности.

Израильские официальные лица в течение многих лет заявляют, что у Ирана две ядерные программы: первая – явная, мирная и подконтрольная МАГАТЭ, и вторая – секретная, осуществляемая под контролем Революционной исламской гвардии. Однако израильтяне так и не представили никаких доказательств в подтверждение этих утверждений. Заместитель государственного секретаря в первом кабинете Буша-младшего Ричард Эрмтейдж сказал Сеймуру Хиршу: «Я думаю, что Иран имеет секретную программу создания ядерного оружия. Я верю в это, но я не знаю этого».

Неопределенности добавляет и то, что на Западе хорошо известны разногласия в самой иранской верхушке по вопросу обретения ядерного потенциала. И даже те, кто твердо уверен в наличии у Ирана программы ядерного вооружения и готов на далеко идущие меры, чтобы воспрепятствовать ее реализации, должны четко определить, насколько актуальна иранская угроза. Директор отдела нераспространения ядерного оружия при Фонде Карнеги «За международный мир» Джозеф Сириционе сказал Хиршу: «Что мы знаем? Какая опасность перед нами? На самом деле вопрос в том, насколько актуальна опасность». Большинство американских экспертов согласны, что Иран может обзавестись ядерным оружием через 8–10 лет.

Недавно директор московского Института политических исследований Сергей Марков заявил, что первый удар Ирану нанесет не США, а Израиль, поскольку после октября, когда в Иране будут развернуты российские зенитные комплексы, атаковать иранские ядерные объекты будет очень сложно. Но Марков вряд ли учитывает возможность американской полномасштабной военной операции против Ирана с использованием спецназа для диверсионной деятельности. Хирш пишет, что речь идет о 400 объектах, большинство которых напрямую не связаны с ядерной программой – военные аэродромы, базы подводных лодок, пусковые шахты баллистических ракет, заводы по производству химического оружия и т. п. Однако Марков верно учитывает политические нравы израильтян, привыкших действовать первыми и стремящихся не допустить создания в регионе военного паритета. И вовсе не только из-за соображений стратегической угрозы.

В одном из интервью Узи Арад – бывший руководитель исследовательского отдела Мосада, а позже политический советник бывшего главы правительства Израиля Биньямина Нетаниягу – сказал: «Разумеется, надо рассматривать ядерную угрозу со стороны Ирана очень серьезно. Кроме стратегического вызова Израилю, ядерное вооружение Ирана приведет к ужесточению позиции палестинцев и арабов и затруднит достижение соглашений с ними». Такую точку зрения разделяет большинство израильских специалистов. Бывший заместитель министра обороны в правительстве Эхуда Барака Эфраим Снэ тоже уверен, что ядерное оружие в руках иранцев превратится в средство шантажа и затруднит достижение мира.

В Израиле не сомневаются, что обладание ядерным оружием усилит чувство безопасности режима в Тегеране, усилит возможность влиять на события в Персидском заливе. Американцы опасаются, что Иран постарается захватить контроль на Ормузском проливом, через который идет снабжение Западного мира ближневосточной нефтью. Более того, и Иерусалим, и Вашингтон уверены, что ядерное вооружение Ирана запустит цепную реакцию в регионе и вовлечет в гонку ядерного вооружения другие страны – Египет, Алжир и Саудовскую Аравию.

Впрочем, Йоси Мельман пишет, что в израильском оборонном истеблишменте есть и диссиденты, считающие, что ядерное вооружение Ирана – это «хорошо для евреев», поскольку создаст равновесие страха и, в конце

концов, утихомирят взаимные опасения в регионе. Однако Эфраим Снэ в рецензии на книгу Эфраима Кама «Между террором и атомом: Смысл иранской угрозы» (Издательство Министерства обороны Израиля и Исследовательского центра Яффо, 2003 г.) пишет, что не может быть истинного равновесия между Израилем и Ираном, поскольку нет равновесия в стратегической глубине территории, в населении, ни в системе принятия решений. Последствия иранского удара по Израилю могут оказаться значительно более катастрофическими, чем последствия израильского удара по Ирану.

Израиль, 2009: Назавтра после ядерного удара?

Израиль неизменно заявляет, что не будет первым, кто применит атомное оружие на Ближнем Востоке. На самом деле ядерное оружие в руках тегеранского режима заставит Израиль полностью пересмотреть свою оборонную доктрину, в большой мере основанную на ядерном превосходстве и возможности устрашения потенциального противника. Военная наука вообще не богата на теории ядерной войны. Для страны, не намеренной наносить превентивный удар, кроме «равновесия страха» есть только возможность «ответного удара». Помимо оснащенных ядерными боеголовками ракет подземного базирования, другой способ обеспечения сохранности ядерного потенциала – размещение его на подводных лодках. Израильцы недавно приобрели немецкую подводную лодку «Дельфин». Однако, по мнению экспертов, для выполнения боевых задач в условиях ядерной войны израильтянам нужны девять подлодок, на что у Израиля денег нет.

Большинство населения Израиля поддерживает официальную «политику молчания» относительно израильской «ядерной темы». Открытую общественную дискуссию по любым проблемам, связанным с ядерной политикой Израиля, невозможно себе представить. «Атомный шпион» Мордехай Вануну, передавший на Запад информацию о ядерном реакторе в Димоне, подвергается в Израиле всеобщему порицанию. Хотя, в общем, он был хорошим парнем. Я помню его по Негевскому университету имени Бен-Гуриона в Беэр-Шеве, где он был председателем товарищеского студенческого суда. На такую должность мы выбирали лишь тех, кто пользовался уважением и доверием. Доходит до курьезов. Живущий в США и работающий в Массачусетском технологическом институте израильский историк Авнер Козн написал в 1993 году статью об истории ядерного проекта в Израиле. Козн не пользовался никакими секретными источниками и не открыл ничего нового. Его интересовали моральные и философские аспекты ядерного вооружения. Однако как патриот и сознательный гражданин, он отправил свою статью в израильскую военную цензуру. Цензор запретил публикацию статьи, отказавшись, несмотря на множество запросов, указать, что именно в материалах историка может причинить вред интересам Израиля. Лишь суд заставил МАЛМАБ – ведомство, занимающееся внутренней безопасностью в Министерстве обороны Израиля, –

разрешить Коэну опубликовать в книге (Israel and the Bomb by Avner Cohen. New York: Columbia University Press, 1999. 470 p.) то, что уже давно циркулирует в иностранных источниках. Если бы Авнер Коэн не обратился за разрешением в цензуру, то, надо полагать, его исследование вышло бы без всяких проблем.

Во время посещения Израиля был тайно арестован и осужден давно живший в Манхэттене бывший командир отдела исследований и разработки боевых средств, 75-летний отставной генерал Йоав Иаков – за то, что он упомянул какие-то подробности своего собственного изобретения то ли в пишущихся воспоминаниях, то ли в фантастической повести. Примерно в то же время военные власти неожиданно произвели обыск и изъятие личных писем в квартире вдовы бывшего израильского главы правительства Леви Эшкола. Все это в попытке не допустить публикации сведений о том, что во время Шестидневной войны правительство якобы распорядилось привести атомные средства в состояние боевой готовности. Согласно израильским законам о сроках давности секретной информации и Закону о свободе информации, все это давно подлежит обнародованию.

На Бродвее уже несколько лет с успехом идет пьеса «Балкон Голды», где Голда Меир, сидя на балконе, вспоминает свою жизнь и готовится отдать приказ об оснащении самолетов атомными бомбами для нанесения удара по Каиру. Пьеса основана на давно опубликованных на Западе сообщениях (см.: «Вид с балкона» упомянутого выше Авнера Коэна – A view from the balcony by Avner Cohen: An article from: Bulletin of the Atomic Scientists March 1, 2004) о том, что в критические дни войны Судного дня в октябре 1973 года правительство Израиля якобы отдало приказ привести в боевую готовность свой ядерный арсенал. Моя знакомая, работающая для израильского агентства в Нью-Йорке, шутила, что могут всех «повязать», если пьесу повезут на гастроли в Израиль. В каждой шутке содержится доля правды.

Хотя в 2005 году в Израиле вышел роман Шабтая Шовала «Я – избран» (Тель-Авив: Маарив, 2005). Действие в романе происходит в 2009 году, и израильский премьер получает агентурное сообщение о том, что иранские ядерные боеголовки обрушатся на Израиль через 48 часов.

Так что же произойдет после первого ядерного удара? Каков может оказаться результат ядерной войны в нашем регионе? Не для большой и сложной международной политики, а для простого человека. Не удивительно, что в Израиле почти невозможно получить официальную информацию о планах защиты населения в случае ядерного удара, о прогнозах и разработке мер сведения к минимуму последствий ядерного удара, нанесенного противником по территории Израиля. Эти вопросы почти не обсуждаются. Единственный доступный, имеющийся в обращении отчет был составлен в 1982 году после бомбардировки иракского ядерного реактора. Составители отчета полагают, что, в зависимости от погодных условий, технических характеристик пускового устройства, места взрыва и других показателей,

потери составят от ста до трехсот тысяч человек. Вывод таков: Израиль вполне может пережить ядерный удар.

Читая такие оценки, я невольно вспомнил старый учебный фильм, виденный мной во время недолгих занятий на военной кафедре в СССР. Полувзвод одетых с иголочки солдат в противогазах бодро маршировал на фоне промышленного пейзажа. Жизнерадостным голосом диктор сообщил, что противник нанес удар тактическим ядерным оружием. Солдатики организованно рассыпались по местности, попрятались и переждали сильный ветер, а затем все как один скоренько поднялись и, не запачкав униформы, построились по двое и так же бодро в ногу продолжали маршировать в сторону эпицентра взрыва.

Большинство специалистов считает выводы отчета необоснованными, а то и смехотворными. Даже если принять его результаты, то у Израиля попросту нет медицинских, финансовых, технических и кадровых ресурсов, чтобы справиться с проблемой, уже не говоря о неизбежном упадке духа населения. Некоторые в Израиле считают, что наличие, накопление и модернизация ядерного оружия является лишь разбазариванием средств. Однако большинство полагает, что «опция Самсона», как назвал свою книгу о ядерном потенциале Израиля и о возможностях ответа на атаку оружием массового поражения упомянутый выше Сеймур Хирш (The Samson Option. By Seymour M. Hersh. New York: Random House, 1991), необходима, чтобы показать всем потенциальным противникам, как дорого обойдется ядерный удар по Израилю. Согласно Библии, попавший в плен ослепленный и лишенный силы Самсон-назорей обрушил на себя и на своих мучителей крышу храма в Газе со словами: «Умри душа с филистимлянами!» (Кн. Судей 16:30). «Логика, подвигнувшая отцов-основателей Израиля принять решение о создании ядерного потенциала для устранения возможных противников, – пишет Йоси Мельман, – актуальна сегодня, как никогда».

- Слушай, Мамали, ты бы сбросил на нас атомную бомбу?
 - А ты на нас?
-



историк, автор и соавтор 8 монографий и десятков статей по истории России, СССР и Германии. Живет в Германии.

«НАРОДНОЕ ГОСУДАРСТВО» ГИТЛЕРА

Среди немецких историков, изучающих самый мрачный и позорный период истории своей страны – 12 лет нацистской диктатуры, – Гётц Али занимает особое место. Его работы привлекают внимание не только специалистов, но и широкой публики. Так произошло и с нынешней – на нее откликнулись едва ли не все сколько-нибудь заметные органы немецкой печати. По общему мнению, книга Али «Народное государство Гитлера. Грабеж, расовая война и национальный социализм»* – это, бесспорно, новая попытка истолкования исторического феномена, известного как Третий рейх.

Али задался простым и вполне естественным вопросом: в чем причина многолетних успехов Гитлера, поддержки его огромным числом немцев? Как могло столь очевидно мошенническое и преступное предприятие, как национал-социализм, добиться столь высокой, сегодня едва ли объяснимой степени общественной поддержки?

Конечно, насаждаемая и разжигаемая сверху ненависть против «неполноценных», инородцев, евреев, цыган и пр. была существенной предпосылкой для такой поддержки. Однако в предшествующие десятилетия немцы были не более отягощены ею, чем другие европейцы, их национализм был не более расистским. Утверждение о раннем развитии в Германии особого, специфичного для нее «истребительного антисемитизма» и ненависти к чужакам, по мнению Али, лишено оснований.

Ответ автора состоит в понимании нацистского режима как «услужли-

* Götz Aly, Hitlers Volkstaat. Raub, Rassenkrieg und nationaler Sozialismus. Frankfurt am Main, 2005.

вой (по отношению к подавляющему большинству немцев. – С. М.) диктатуры». Гитлер, гауляйтеры, значительная часть министров, статс-секретарей и пр. действовали как классические политики-популисты, постоянно озбоченные настроением управляемых. Они ежедневно задавались вопросом, как добиться их удовлетворенности, улучшить их самочувствие. Каждый день они заново покупали их одобрение или, по меньшей мере, нейтралитет.

Программа «национального социализма» была не только пропагандистским лозунгом, во многом ее реализовывали на практике. Вот говорящий сам за себя перечень мер социальной политики, осуществленных до войны: оплаченный отпуск для рабочих и служащих; удвоение числа нерабочих дней; развитие массового туризма, в том числе для рабочих; создание первой модели дешевого «народного» авто; поощрение рождаемости – выплата пособий за счет холостяков и бездетных пар; начатки развитой затем в ФРГ системы пенсионного обеспечения; введение прогрессивного налогообложения. К ним следует добавить защиту крестьян от неблагоприятных последствий капризов погоды и колебаний цен на мировом рынке; защиту должников от принудительного взыскания долга путем описи и продажи имущества (должников по квартплате – от выселения). Понятно, что все это способствовало популярности режима.

Во время войны нацистское руководство, учитывая уроки войны 1914–1918 гг., прежде всего озаботилось продовольственным снабжением населения, организовав его так, чтобы простыми людьми оно ощущалось как справедливое. Повышенные нормы выдачи продовольствия были положены тем, кто был занят на особенно тяжелых работах или нуждался в помощи в связи с состоянием здоровья. Это имело следствием рост симпатий к режиму, что отмечалось даже его противниками.

Во-вторых, и тоже учитывая уроки прошлого, власти старались не допустить безудержной инфляции и краха немецкой валюты. В-третьих, обеспечили семьи солдат деньгами (они получали 85% чистого заработка кормильца до призыва, в то время как семьи британских и американских солдат – менее 50%). Военнослужащие слали родным посылки из оккупированных стран, отпускники везли домой набитые продуктами и вещами мешки, чемоданы, сумки весом в десятки килограммов. С учетом жалования и довольствия военнослужущих подавляющее большинство немцев жило во время войны лучше, чем до нее. Это «военно-социалистически подслащенное благосостояние» позволяло поддерживать дух масс, побуждая их вытеснять из сознания преступную подоплеку такой политики.

Средства осуществления этой программы вскрывают ключевые цифры, резюмирующие сложные и трудоемкие подсчеты, произведенные автором: по меньшей мере, две трети реальных немецких доходов во время войны поступали из иностранных (оккупированные и вассальные страны) и «расово чуждых» (евреи, иностранные принудлабочие) источников; оставшаяся треть делилась между социальными слоями немецкого общества

крайне неравномерно – 1/3 его (наиболее зажиточные) вносили 2/3 налогов, в то время как 2/3 (широкие массы) – лишь 1/3.

В годы войны большинство (на 1943 г. – 70%) немцев – рабочие, мелкие служащие, мелкие чиновники – не платили прямых военных налогов; крестьяне имели существенные налоговые льготы; пенсии в 1941 г. были повышены (это особенно ощутили малоимущие пенсионеры). Все предложения финансовых специалистов об увеличении налогообложения отвергались руководством рейха «по политическим соображениям».

Оборотной стороной этой политики было повышенное налогообложение буржуазии: 75% внутринемецких военных налогов платили предприятия и получатели высоких доходов. По оценкам, исходящим из деловых кругов, в 1943 г. от 80 до 90% доходов предпринимателей изымалось государством. Даже если эти данные завышены, они отражают налогово-политическую тенденцию нацистского государства.

Та же забота о «благе народа» характеризовала и «генеральный поселенческий план Ост», вырабатывавшийся с 1939 по 1942 г. В своей окончательной форме он предусматривал вытеснение из европейской части СССР «в сторону Сибири» до 50 млн славян, место которых должны были занять немецкие колонисты. Гитлер мечтал переселить туда из Тюрингии и Рудных гор «наши бедные рабочие семьи, чтобы дать им большее пространство». «Немецкий рабочий фронт» предусматривал ликвидировать таким путем «по меньшей мере, 700 тыс. мелких, убогих сельских хозяйств». В 1942 г. немецкие дети играли «в вооруженных крестьян на черноземных пространствах», невесты солдат мечтали о сотнях тысяч «рыцарских имений» на Украине. И даже Генрих Бёльль писал родителям в конце 1943 г.: «...Я часто думаю о возможности колониального существования здесь, на Востоке, после выигранной войны». Все это, подчеркивает Али, планировалось не ради прибылей юнкеров и монополистов, а как «конкретная утопия для каждого» немца.

Расовая теория нацистов справедливо расценивается как идейная подготовка и обоснование ненависти к «недочеловекам» и массовых убийств. Но для миллионов немцев она была привлекательна другой своей стороной – обещанием общенемецкого равенства. Нацизм, показывает Али, действительно, обеспечил немцам большее социальное равенство и большие возможности социальной мобильности, нежели имевшиеся в кайзеровском рейхе и Веймарской республике.

Нацистская идеология, подчеркивая различия вне нации, смягчала классовые различия внутри нее. Это ощущалось в организациях «гитлерюгенда», Союза немецких девушек, при прохождении имперской трудовой службы, в организациях партии и, хотя более медленно, даже в вермахте.

Война ускорила демонтаж социальных перегородок. Большие потери командного состава заставили с октября 1942 г. открыть путь к офицерским должностям людям без законченного школьного образования. И это было встречено с восторгом широкими слоями населения. Согласно нюрнберг-

ским законам 1935 г., новые браки между «арийцами» и евреями были запрещены, зато впервые в истории Германии офицер мог жениться на дочери рабочего, если не существовало, конечно, расовых противопоказаний.

Итак, резюмирует Али, посредством грабительской расовой войны неслыханных масштабов нацизм обеспечил немцам невиданную ранее степень благосостояния, социального равенства и вертикальной социальной мобильности. Вот почему режим чудовищных массовых преступлений был в то же время режимом, пользовавшимся огромной популярностью. Отсутствие сколько-нибудь эффективного внутреннего сопротивления, равно как и последующего чувства вины Али объясняет этой исторической констелляцией.

Новизна такой трактовки состоит именно в раскрытии органической связи «народного» («социального») государства с преступлениями – в противоположность господствующему подходу, отрывающему чудовищные преступления нацизма от тех акций режима, которые сделали его столь привлекательным для огромного большинства (до 95%) немцев.

Центральной темой книги, как уже говорилось, является нацистская политика финансирования войны. С нескрываемым сарказмом Али отмечает, что в многотомном, стоившем миллионы евро и «бесплодном» труде «Немецкий рейх и вторая мировая война», подготовленном Военно-историческим институтом бундесвера, этой проблеме уделено минимальное внимание (как, впрочем, и в относящемся к последним годам существования ГДР исследовательском проекте «Европа под знаком свастики»). Представитель первого из этих коллективов заявил Али: «Для нас, обычных историков, эти финансовые дела слишком сложны... мы не можем это исследовать».

В pendant к этому разговору приводится другой, имевший место в федеральном военном архиве во Фрайбурге. Когда Али заказал там поисковую картотеку (крайне несовершенную) к фонду «Интендантское управление Главнокомандования вермахта», сотрудник архива сказал ему: «Господин Али, Вы, конечно, хорошо разбираетесь в этих делах, но здесь, мне кажется, Вы ошиблись, эти документы обычно никто не заказывает». То немногое, что сохранилось из архива управления, было описано в обзоре фонда неправильно и не подготовлено для использования.

Не уstraшившись этих трудностей, Али столкнулся и с другими. Выяснилось, что множество документов о чрезвычайном военном бюджете Третьего рейха, где подробно фиксировались доходы, полученные из оккупированных стран, были впоследствии (уже после войны) сознательно уничтожены. Это относится прежде всего к актам, касающимся использования еврейского и «вражеского» имущества, с помощью которых могла быть детально расшифрована невероятно выросшая за годы войны статья бюджета «Общие административные доходы». Уничтожение их происходило как в ФРГ, так и в ГДР. Общим мотивом была заинтересованность в исчезновении документов, из которых без труда могли быть выведены реституционные требования. «И тут, и там это делалось в интересах всех немцев».

Сохранившиеся документы из архивов Германии и других стран (тех, что пустили автора туда – ибо некоторые отказали в допуске или просто не ответили на запросы) легли в основу исследования Али.

Бюджетная политика Гитлера, как показывает Али, с самого начала была авантюрной, ориентированной на ожидаемые будущие доходы (поэтому с 1935 г. он запретил обнародование госбюджета). Перевооружение Германии, позволившее ликвидировать безработицу и повысить покупательную способность масс, осуществлялось за счет гигантских кредитов, приведших к быстрому росту внутреннего государственного долга. Бюджеты сводились с огромным дефицитом, и к концу 1937 г. Германия стояла на пороге банкротства. Выход был найден во внешней экспансии (аншлюс Австрии, захват Судетской области, а затем и остальной Чехословакии) и экспроприации имущества евреев (путем наложенного на них после Хрустальной ночи «штрафа» в размере 1 млрд рейхсмарок, а затем «ариизации» еврейской собственности).

Финансирование войны было организовано нацистским руководством при деятельной помощи менеджеров государственных и частных финансов как огромное мошенничество. Чтобы не лопнуть, оно должно было каждый раз покрываться выгодным победоносным миром. Этот мир должен был обеспечить удовлетворение «подвешенного» потребительского спроса внутри страны и погашение военных долгов. Чем дольше шла война и чем больше средств она сжирала, тем больше должна была быть добыча и, следовательно, тем бесчеловечнее обращение с покоренными народами.

Непрекращающаяся болтовня о народе без пространства, о колониях, об экспансии на Восток, об «ариизации» и пр., в конечном счете, преследовала одну лишь цель – достижение не заработанного собственным трудом общего для немцев благосостояния и притом в кратчайшие сроки. Ибо, как показывает Али, разглагольствуя о том, что они закладывают фундамент «тысячелетнего рейха», нацистские главари на самом деле сплошь и рядом не знали, чем на следующий день покроют свои счета.

После быстро и легко одержанных побед финансовые и продовольственные проблемы вставали заново. Как бы велики ни были добыча и завоеванные территории, результат всегда оказывался ниже ожиданий. Поэтому Гитлер не мог остановиться, удовлетвориться эксплуатацией уже завоеванного. Политика «непокрытого чека», подлежащих оплате в короткий срок государственных казначейских обязательств, нависающего внутреннего долга – иначе говоря, финансовое хозяйство, функционирующее по принципу мошеннического «снежного кома», – все это делало нацистскую верхушку объективно неспособной к миру. Экспансия должна была продолжаться, прекращение ее привело бы к банкротству и концу режима.

Нацисты выжимали из оккупированных стран колоссальные контрибуции, разрушая этим их национальные валюты, высасывали миллионами тонн продовольствие для прокорма оккупационных войск и отправки в Германию. Их лозунгом было: если во время войны кто-то должен голо-

дать, пусть голодают другие; если инфляция неизбежна, пусть от нее страдает в первую очередь население покоренных стран.

Как уже отмечалось, немецкие военнослужащие отправляли в рейх миллионы вещевых и продуктовых посылок. Чтобы масштабы этого грабежа остались тайной, статистика отправок, которая велась почтовым ведомством вермахта, в конце войны была уничтожена. Али обратился поэтому через газету «Ди цайт» к пожилым читателям и читательницам с просьбой описать содержимое этих посылок. Результат: женщины ностальгически вспоминали об отличных продуктах и промтоварах, которые они получали от находившихся в армии отцов, мужей, братьев; мужчины же – все без исключений – утверждали, что никогда не отправляли посылок.

Помимо индивидуального грабежа процветал коллективный. Родственники, друзья, знакомые, коллеги объединялись для сбора т. н. «билетов имперской кредитной кассы», а также всякого барахла – старья, брака, дешевки – для обмена на барахолках. В особенности Украина превратилась в «блошинный рынок рейха», где весь этот хлам сбывался в обмен на качественное продовольствие и ценные вещи. По словам немецкого наблюдателя, все это напоминало «торговлю» с негритянскими племенами и «обмен» стеклянных бус на слоновую кость. На Украине, писали домой немцы, деньги валяются на улице, в одну ночь можно стать богачом. Чиновников оккупационной администрации прозвали в рейхе «восточными гиенами».

Тотальное разграбление оккупированных стран имело для их населения тяжелейшие последствия. По подсчетам Али, изъятие продовольствия на оккупированных советских территориях означало «голодную катастрофу для десятков миллионов людей» («полное лишение питательной базы для 21,2 млн человек»). Как заявил Геринг 16 сентября 1941 г., «в принципе на оккупированных территориях соответствующим питанием должны быть обеспечены лишь те, кто работает на нас». Как уже ранее показал другой немецкий историк Кристиан Герлах, трудности, возникшие с обеспечением немцам привычно высокого уровня питания, были одной из причин, ускоривших уничтожение европейских евреев. Этим же объясняется во многом умерщвление голодом и холодом миллионов советских военнопленных.

Материальное стимулирование хорошего настроения немцев за счет других было важнейшей целью нацистского режима. Государство в целом превратилось в колоссальную машину для грабежа, а отдельные граждане – в извлекателей выгод и «пассивно подкупленных». В распоряжении простых людей оказались вещи, о самом существовании которых они за пару лет до того не подозревали. И это было лишь предвкушением того, какой станет жизнь после войны, какие блага она сулит. Обратной стороной была нечистая совесть и ощущение, что после всего происшедшего есть лишь одна альтернатива – победить или погибнуть.

С редкой для обычных историков компетентностью Али прослеживает финансово-экономический механизм нацистского грабежа. Прежде всего,

он вскрывает механику валютных манипуляций финансистов рейха, в частности, роль пресловутых «билетов имперской кредитной кассы», которыми оккупационные власти расплачивались с местным населением (в основном в Западной Европе) за реквизируемые товары. Вливаясь в денежное обращение этих стран, немецкие бумажки ослабляли их валюты – естественно, к выгоде Германии. Жалование немецких военнослужащих и гражданских лиц в оккупированных странах выплачивалось поначалу именно в «билетах имперской кредитной кассы», а затем в местных дензнаках, курс которых по отношению к марке был произвольно занижен (в Западной Европе – на четверть или треть реальной стоимости, а по отношению к рублю – в четыре раза). Это также резко увеличивало покупательную способность оккупантов.

Али указывает и на очень существенное различие. Если в оккупированных странах Западной, Северной и Южной Европы вермахт (за исключением хаотических недель отступления в самой последней фазе войны) расплачивался за реквизиции и закупки «билетами имперской кредитной кассы» или местной валютой, вследствие чего масштабы их ограбления можно хотя бы приблизительно вычислить по величине израсходованных денежных сумм, то на оккупированных территориях Советского Союза порядок был иным: дензнаки задействовались лишь частично, а значительная часть присвоенного оформлялась т. н. «квитанциями» или не оформлялась вообще.

Большое место в книге занимает анализ финансово-экономических последствий ограбления евреев в оккупированных и зависимых от немцев странах. Продажа отнятой у них собственности позволяла выбрасывать на рынки капитала, недвижимости, вещевые рынки и в розничную торговлю дополнительное количество благ и таким путем частично удовлетворять повсеместно резко увеличившийся спрос на товары повседневного обихода и ценные вещи. Конечно, причиненные войной и немецким ограблением Европы дыры в снабжении населения не могли быть закрыты полностью, но на какое-то время, в каких-то местах – существенно уменьшены.

На первый взгляд финансовые средства, влившиеся в военную кассу рейха в результате экспроприации имущества европейских евреев (15–20 млрд рейхсмарок, или 5% военных расходов Германии), были не столь велики. Однако, поскольку указанные расходы на 50% финансировались за счет кредитов, добавочный доход расширял рамки кредитования на равную сумму, и эффект, таким образом, удваивался. А самое главное – эти вливания позволяли справляться с пиковыми нагрузками военного бюджета в кризисные моменты, когда требовалась мобилизация всех сил и ресурсов. Они позволяли руководству щадить подавляющее большинство немецких налогоплательщиков и при этом хорошо платить военнослужащим, финансировать закупки оружия и военное строительство. Все это способствовало поддержанию внутренней стабильности в Германии, а также готовности к коллаборационизму в оккупированных странах.

На последнее обстоятельство Али обратил внимание едва ли не первым. Доходы от продажи экспроприированного еврейского имущества улучшали финансовое состояние оккупированных и зависимых стран, позволяли поддерживать их национальные валюты, резко ослабленные немецким грабежом, сокращая потребность в эмиссии денег. А сама продажа позволяла сократить возникший вследствие товарного дефицита резкий перевес покупательной способности, связать какую-то часть ее. Инфляция, конечно, имела место, но не переходила в галопирующую; национальные дензнаки сохраняли функцию платежного средства. Иной вариант, подчеркивает Али, сразу затруднил бы или сделал невозможной плановую эксплуатацию оккупированных стран, равно как и сотрудничество их населения с немцами.

На вопрос, куда девалось имущество ограбленных, депортированных и умерщвленных, Али дает четкий ответ: их золото, драгоценности, часы, украшения, их одежда, предметы обихода, оборудование их мастерских и лавок, их валюта и ценные бумаги, их дома и хозяйственные постройки – все это продано местному населению (основные ценности оказались в руках биржевиков и коммерсантов). Ну, а денежный эквивалент различными, большей частью обходными, путями поступал в немецкие военные кассы. Полученными таким путем национальными дензнаками других стран оккупанты оплачивали местные товары и услуги, приобретаемые для нужд их войск и гражданского населения рейха, выплачивали жалованье своим солдатам.

Понятно, что экспроприация имущества граждан других государств в пользу Германии не должна была документироваться, все относящиеся к ней вопросы обсуждались, как правило, устно, в узком кругу. Германская сторона уделяла особое внимание тому, чтобы представить соответствующие мероприятия как внутреннее дело оккупированных (тем более – формально независимых) стран. Чиновники оккупационных администраций тщательно замечали следы, ведущие к источнику средств, переводя их с одного счета на другой, и вовлекали в эту практику финансовые ведомства и национальные банки зависимых и покоренных стран, превратив их, по выражению Али, в «укрывателей краденого».

Выручка от продажи еврейской собственности стекалась в сборный резервуар госбюджетов этих стран, а затем, в очищенной от следов ее происхождения форме, присваивалась немцами. В оккупированных странах это присвоение было стопроцентным, в странах союзных и вассальных, где оно оформлялось как вклад последних в «совместные военные усилия», достигало 40 и более процентов.

Тем не менее гешефт был выгоден и для властей покоренных стран. Да, немцы требовали для оплаты оккупационных расходов огромные, разорительные суммы. Но при этом предлагали совместно грабить третьего и сделать так, чтобы он затем исчез. В какой-то мере это уменьшало возлагаемое на покоренные страны бремя. «Такая увязка, – подчеркивает Али, – как

правило, опускается даже в новейшей литературе по "ариизации", равно как и в очень подробных подчас отчетах национальных комиссий историков относительно экспроприации имущества евреев».

Еще одним способом эксплуатации и ограбления других народов в пользу немцев был рабский труд миллионов иностранных рабочих в Германии (часть вербовалась туда добровольно, однако большинство составляли насильственно пригнанные). Не говоря уже о том, что труд этих людей оплачивался хуже равноценного труда немцев (рабочим из Польши и СССР – самым дискриминируемым – за равный с немцами труд предприятия платили на 15–40% меньше), их облагали более высоким подоходным налогом плюс особым налогом в размере 15% от заработка. Евреи, цыгане и «остарбайтеры» платили в итоге в три раза больше, нежели работающие рядом с ними немцы. Именно поэтому, а также за счет вольнонаемных польских рабочих поступления от подоходного налога в казну рейха во второй половине войны увеличились вдвое. То, что оставалось иностранным рабочим после вычета налогов, социальных взносов и стоимости содержания в «трудовом лагере», принудительно отправлялось на их «сберегательные счета». Деньги оттуда можно было снять лишь по возвращении на родину, т. е. после окончания «победоносной» войны. Берлинское бюро Центрального хозяйственного банка Украины, куда предприятия переводили эти «сбережения», было, как отмечает Али, одним из псевдонимов кассы германского рейха.

Таким образом, использование иностранной рабочей силы позволяло почти полностью изымать ее заработки в пользу рейха. Это стабилизировало его финансы, щадило немецкого налогоплательщика и избавляло дефицитный потребительский рынок от давления покупательной способности. Если бы вместо этих людей задействовали, скажем, немок или увеличили продолжительность работы тыловиков-мужчин, в денежный оборот влились бы многие миллиарды марок, для которых не было покрытия. Это дестабилизировало бы марку и породило недовольство населения.

В связи с использованием иностранной рабочей силы Али отмечает еще два обстоятельства. Во-первых, реально эта рабочая сила оплачивалась странами ее происхождения. Из тарифной ставки, уплачиваемой немецкой фирмой, имперская касса, помимо всех налогов, сборов, социальных отчислений, помимо пресловутых «сбережений», получала и ту часть, которая перечислялась страной происхождения работника на содержание его семьи. Деньги эти брались из бюджета соответствующей страны, и в случае союзных стран, а также Бельгии заносились на клиринговые счета. Однако возможность погашения задолженности, как показывает Али, никогда не воспринималась всерьез, а по отношению к оккупированным странам не рассматривалась даже формально. Во-вторых, в отношении угоняемых на принудработы советских граждан применялась следующая практика: все их движимое имущество реализовывалось местными хозяйственными подразделениями вермахта, а выручка от продажи, вместе со всей имевшейся

у них наличностью, заносилась на т. н. «сберегательные счета» в имперской кредитной кассе. Деньги оттуда могли быть получены вкладчиком только по возвращении на родину (т. е. опять-таки по окончании победоносной для Германии войны).

Таково вкратце основное содержание книги Али. В тесной связи с ним находится сюжет, также трактуемый по-новому – о взаимоотношениях нацистского руководства и традиционных элит (юристов, дипломатов, генштабистов, особенно экономистов и финансистов) при проведении в жизнь описанной политики.

Али детально прослеживает роль, которую руководство и ведущие специалисты финансово-хозяйственных ведомств – минфина, рейхсбанка, имперской кредитной кассы, интендантского управления вермахта – играли в добывании денег для ведения войны и подкармливания немцев.

Известно, что в 1942 г. президент рейхсбанка Функ и рейхсфюрер СС Гиммлер договорились о том, что золото (включая выломанные из челюстей золотые зубы), драгоценности и наличность убитых в лагерях смерти поступают на хранение в рейхсбанк, который начисляет их денежный эквивалент на особый счет, зашифрованный кодовым именем «Макс Хайлигер». Менее ценные мелкие предметы (часы, перочинные ножи, авторучки, портмоне и пр.) продавались через маркитантские лавки фронтовикам, хорошую одежду и обувь могли приобрести переселенцы из числа «фольксдойче». Но выручка от продаж во всех случаях шла государству – со счета «Макс Хайлигер» она переводилась затем на соответствующую позицию («Отдельный план XVII») военного бюджета. Как подчеркивает Али, министр финансов Шверин фон Крозиг лично следил за ходом этих операций.

В некоторых случаях инициатива однозначно принадлежала специалистам. Именно чиновники минфина и рейхсбанка изобрели практику множества счетов, позволявшую, переводя награбленные деньги с одного счета на другой и смешивая их с деньгами иного происхождения, запутать и скрыть их источник. Система «имперских кредитных билетов» – тоже их ноу-хау. Никаких указаний сверху не потребовалось, чтобы ввести в действие порядок, в соответствии с которым денежные переводы иностранных рабочих их семьям за границей выплачивались не в рейхсмарках, а в валютах соответствующих стран. Это же относится к экспертам минпрода, устанавливавшим, какие группы населения должны снабжаться по резко пониженным нормам (прежде всего евреи, затем советские военнопленные, затем душевнобольные и т. д.). Достаточно было принципа, провозглашенного Гитлером: хорошо то, что полезно для немцев, о методах он не требовал отчета.

Финансисты и снабженцы вермахта играли активнейшую роль в осуществлении геноцида. Как профессионалы они были заинтересованы в максимально высоких контрибуциях – чтобы финансовые дефициты по возможности реже и меньше отражались на стратегических планах и моральном

состоянии войск. Поэтому во многих местах они сами организовывали разграбление еврейского имущества (в Бельгии, Салониках, на Родосе, в Тунисе и пр.), в других вынуждали местные власти делать это (в Сербии, Франции, Италии). Для последующей депортации ограбленных в лагеря уничтожения вермахт, как правило, предоставлял транспорт. Делалось это, как подчеркивает Али, не просто потому, что военные ненавидели евреев, или в силу специфически немецкого рабского повиновения властям, вытеснившего остатки совести, а из-за реального материального интереса.

Между политическим руководством и чиновниками-специалистами возникали иногда различия взглядов по вопросу о том, как быстро и какими методами Европа должна быть ограблена. Первое, как правило, ориентировалось на краткосрочный, вторые – на среднесрочный эффект: они хотели еще какое-то время подоить корову и дать ей принести теленка, прежде чем отправить на бойню. Нацистские же главы мыслили в категориях политического выживания. Их лейтмотив – любой ценой добиться в кратчайший срок (пара недель или пара месяцев) соответствующей цели, чтобы удержаться на плаву.

Эти противоречия, порожденные ими трения и стычки (картина насквозь авторитарного вождистского государства, по мнению Али, неверна), в конечном счете, шли на пользу системе. Сохраняющаяся возможность выявлять различия, ставить вопрос об оптимальном пути помогали добиваться высокой эффективности. Без тонкой корректирующей доводки, компетентной выверки подчас безрассудно рискованных импровизированных акций нацистского руководства, без этого «убийственного сплава политического волюнтаризма и функциональной рациональности» чудовищные преступления не могли бы осуществиться. Взаимодействие политиков, экспертов и большинства населения – вот что лежало, по Али, в основе свершившегося.

И здесь мы возвращаемся к основному, наиболее болезненному выводу Али: «Система была создана для общей выгоды немцев. Каждый принадлежавший к "расе господ" – а это были не только какие-то нацистские функционеры, но 95% немцев – в конечном счете имел какую-то долю в награбленном – в виде денег в кошельке или импортированных, закупленных в оккупированных, союзных или нейтральных странах и оплаченных награбленными деньгами продуктах на тарелке. Жертвы бомбежек носили одежду убитых евреев и отсыпались в их кроватях, благодаря Бога за то, что выжили, а партию и государство – за оперативную помощь. Холокост, – заключает Али, – останется непонятым, если не анализируется как самое последовательное в современной истории массовое убийство с целью грабежа».

Такой ответ на вопрос о причинах происшедшего решительно расходится с принятыми из «национально-педагогических» соображений объяснениями, возлагающими ответственность на отдельные лица или группы – безумного, якобы харизматичного диктатора и его окружение или на бан-

киров, руководителей концернов, генералов и т. д. В ГДР, ФРГ, Австрии, констатирует Али, применялись различные стратегии самозащиты, но с одной и той же целью – обеспечить большинству населения спокойную жизнь и чистую совесть.

Али понимает, конечно, сколь ответственен сделанный им вывод: «Когда я говорю о "немцах", это понятие тоже относится к числу коллективистских обобщений... И все же, при всем его несовершенстве, оно кажется мне несравненно более точным, чем сильно суженное "нацисты". Ибо Гитлеру снова и снова удавалось расширить базу общественного согласия с его режимом далеко за пределы круга членов и избирателей его партии. Конечно, были немцы и немки, которые оказывали сопротивление, страдали и гибли в борьбе; немецкие евреи тоже были немцами, сознавали себя в качестве таковых, зачастую не без гордости. И все же выгоды из ариизации извлекали именно немцы (включая австрийцев), понимая под этим словом 95% населения. Тот, кто заявляет, что это были лишь отъявленные наци, уходит от реальной исторической проблемы».

Перефразируя слова известного философа Макса Хоркхаймера: «Молчащий о капитализме не должен рассуждать о фашизме», – Али завершает книгу собственной максимой: «Тот, кто не желает говорить о выгодах миллионов простых немцев, пусть молчит о национал-социализме и Холокосте».

Несколько слов о реакции на книгу научного сообщества. Патриарх немецкой историографии Ганс Моммзен вместе с большинством других рецензентов оценили ее положительно. Из видных историков лишь Ганс-Ульрих Велер занял иную позицию: по его мнению, Али впал в «узколобий, анахроничный материализм». Оксфордский историк-экономист Адам Туз заявил, что автор ошибся в расчетах, вследствие чего вклад немцев в оплату военных расходов оказался заниженным. В пересчете на душу населения они платили в 1944 г. больше налогов, чем, например, англичане, а если учесть рост государственного долга, то их финансовое бремя было еще тяжелее. Али, однако, возразил: подушный расчет не учитывает главного – того, что большая часть немцев практически не платила прямых налогов. Путем налогообложения богатых и перечисленных форм грабежа «чужаков» военные расходы покрывались, действительно, лишь наполовину, вторую же составляли кредиты, и в конечном счете немцы расплатились по ним девальвацией марки, обесценением банковских вкладов, страховых сбережений и пр. Но, во-первых, такой исход не входил в планы нацистского руководства, а во-вторых, людей тогда, как и сегодня, интересовало то, что изымают из их карманов, а не рост государственного долга.

Некоторые рецензенты упрекали Али в том, что он «смакует» картины вывоза немецкими солдатами-отпускниками всего, что плохо лежало в оккупированных странах; это мешочничество, утверждали они, не имело для Германии важного финансово-экономического значения. В ответ Али привел цифры: применительно к Франции, например, стоимость таких закупок составляла 3/4 возложенных на нее оккупационных расходов.

Но суть не только и не столько в экономической стороне: поощряя грабеж, нацистское руководство создавало впечатление «отеческой заботы о людях», давало им ощущение «маленького счастья посреди большой войны». Коррумпирующий эффект посылочно-мешочной эпидемии Али демонстрирует письмами домой... солдата Генриха Бёлля. Поначалу в них звучат критические нотки по отношению к поведению товарищей, но постепенно эпидемия захватывает и его («дьявол, – вздыхает он в письме, – это действительно дьявол, и он сидит во всех»). «Под благосклонным покровительством "крестных отцов" Геринга и Гитлера, констатирует Али, солдат Бёлль целеустремленно и вдохновенно покупает и переправляет в Кёльн» родителям и жене масло, яйца, шоколад, кофе, лук, полпоросенка, мыло, косметику, дамские чулки, туфли, безрукавку и т. д., просит прислать ему для закупок все имеющиеся дома свободные деньги. «Католическая, чуждая нацизму политически семья Бёллей была довольна... Так возникала лояльность миллионов людей, в случае Бёллей – безусловно, пассивная. Но для способности к политическому функционированию режиму больше и не требовалось».

Значит ли сказанное, что мы согласны с Али буквально во всем? Нет. Нам представляется, что он все же недооценил роль пропаганды и террора в поддержании нацистского режима. О первой он упоминает однажды и мимоходом, как об известном, само собой разумеющемся и отнюдь не решающем факторе, второй же квалифицирует как проводимый «пунктиром на периферии [немецкого] общества». Этот последний тезис иллюстрирует цифра – на конец 1936 г., когда первая волна политических репрессий схлынула, многие противники режима эмигрировали, и он очевидным образом консолидировался, численность узников концлагерей составляла 4761 человек (включая алкоголиков, наркоманов и профессиональных преступников) на 60 с лишним миллионов населения.

Да, масштабы террора против собственного народа были, конечно, несравнимы со сталинскими. Однако из 300 тысяч членов КПГ, которых та имела на 1932 г., половина провела то или иное время в заключении, а 20 тысяч заплатили за свою деятельность жизнью.

И совсем неправ Али, когда для доказательства другого тезиса – «подавляющее большинство [немцев] не нуждалось ни в каком надзоре» – приводит сопоставление: в ГДР для контроля над 17 миллионами граждан было задействовано 190 тысяч штатных и столько же внештатных агентов («Штази»), а гестапо в 1937 г. насчитывало лишь 7 тысяч сотрудников, включая секретарш и хозяйственников, СД – и того меньше. Здесь не учтен главный факт: в Третьем рейхе действовала всепроникающая система официальной слежки за населением. Домовые и квартальные надзиратели докладывали о поведении жильцов, их высказываниях, посетителях и пр. местному партийному руководству, низовыми функционерами которого являлись. Те же функции на производстве выполняли служащие Немецкого трудового фронта (нацистский эрзац распущенных профсоюзов). Общее число надзиравших по должности составляло не менее 2 миллионов.

Но главный тезис – «об удовлетворенном режимом среднем арийце... который позволял совершаться всем преступлениям и пользовался их плодами» – обоснован в книге достаточно солидно. Но следует упомянуть о той причудливой смеси из предчувствия катастрофы, надежды на чудо, страха перед возмездием победителей и перед террором властей, глухого недовольства, чувства бессилия и упрямого желания продержаться, которая характеризовала настроения пресловутого «среднего немца».

Впрочем, упреки такого рода Али отводит, заявляя: «Моя книга не претендует на всеобъемлющее объяснение национал-социалистического периода истории».

В заключение – о реакции на книгу рядового читателя. Германия переживает сейчас нелегкие времена. Затянувшийся экономический застой, астрономические расходы на интеграцию бывшей ГДР повлекли за собой истощение ресурсов, накопленных за годы экономического процветания. Беспрецедентная для послевоенной Германии массовая безработица, страх перед завтрашним днем, эрозия и демонтаж системы социальных гарантий – все это ведет к снижению уровня и качества жизни и, конечно, воспринимается болезненно. И в это самое время Али напоминает соотечественникам, что 95% немцев извлекли некогда личную выгоду из гитлеровского режима. И в телевизионном интервью бросает: «Если бы все это (награбленное у иностранцев и инородцев. – *С. М.*) нужно было возместить – с положенными за истекшее время (с 1944–1945 гг.) процентами, – наши зарплаты и пенсии пришлось бы сократить вдвое».

Может это понравиться немцам?



историк, профессор Бостонского университета. Живет в США.

НАЧАЛО СОВРЕМЕННОГО ТЕРРОРИЗМА: ОЧЕРК ОБЫЧАЕВ И ПРАВОВ*

Россия – колыбель современного терроризма

Тот, кто изучает историю, должен уметь считать.

Жорж Лефевр

Все распадается, ничто сдержать не в силах
Анархию, что пожирает мир.

Эти строки У. Б. Йетса написаны про Ирландию, но приложимы в полной мере к России начала XX века.

Практика политических убийств началась не в России. Мы можем проследить их историю от XI–XII столетий, когда знаменитые ассасины, отвлечение исмаилитской секты шиитского направления ислама, впервые обратились к систематическим убийствам в качестве политического оружия. Они терроризировали своих противников из числа лидеров ислама и крестоносцев, подав пример прочим убийцам в последующие века во всех частях света. Каждый эпизод их кровавой истории становился сенсацией, потому что они направляли удар против заранее выбранных руководителей, глав государств, выдающихся политических деятелей. Даже во время разгула анархистских убийств XIX в. в Европе и США жертвы каждого покушения исчислялись единицами. Между 1851 и 1900 гг., когда, по словам

* Главы из книги «На службе у смерти».

историка Франклина Л. Форда, «активность террористов в Европе была высока», всего нападениям подверглись около 40 европейских деятелей.

Начиная с 1870-х, фокус террора переместился в Россию, где в 35 покушениях, произошедших до конца века, погибло около 100 человек. Но, несмотря на большую, чем где бы то ни было, частоту терактов, они не отличались по существу от единичных убийств, предпринимавшихся во всем остальном мире. Только в начале XX в. появился современный терроризм и выявились его характеристические черты. В отличие от покушений, имевших целью наказание конкретных отдельных лиц, политические убийства сделались систематическими и массовыми.

Здесь я позволю себе остановиться и задать вопрос читателю: сколько, по-вашему, человек пострадало от терактов в России за десять лет, с 1900 до 1910 г.?

Оценка одного моего коллеги-историка была 150. Он основывался на своем знакомстве с деятельностью «Народной воли», первой террористической организации нового времени. Партия «Народная воля» действовала в России в конце 1870 – начале 1880-х гг. Ее члены совершали покушения на видных деятелей правительства, чтобы разбудить «спящий русский народ» для революции. Идея их заключалась в том, чтобы использовать убийство видных представителей власти в качестве «пропаганды делом», направленной против самодержавия.

Эта попытка не привела к успеху, хотя «Народная воля» смогла записать в свой актив внушительные успехи. Революционеры лишили жизни нескольких весьма высокопоставленных сановников и полицейских чинов и сумели посеять страх в высших официальных кругах. Но как бы успешна ни была деятельность народовольцев, она не смогла нарушить нормальное течение жизни в стране, за исключением 1 марта 1881 г., когда завершилась долгая охота на «коронованную дичь» – был убит единственный в истории России либеральный правитель, реформатор на троне царь Александр II.

И все-таки было бы ошибкой оценивать число жертв террора в XX веке по аналогии с «достижениями» «Народной воли». Революционеры 1900-х, сменившие на политической сцене своих предшественников, качественно отличались от них. В прошлое ушли дни, когда террористы тратили время на выбор жертвы из числа высокопоставленных администраторов, ответственных – по крайней мере, в глазах радикалов – за жестокую, репрессивную, карательную политику.

В новом столетии терроризм, по словам историка Нормана Наймарка, стал «так заразителен, что вопросы морали, заботившие предыдущие поколения, перестали кого-нибудь волновать». После 1905 г. террористическая деятельность «достигла гигантских масштабов». Разразилась подлинная эпидемия, несопоставимая с уровнем политического насилия в предыдущем веке, которое оказалось не более чем скромной прелюдией к размаху современного терроризма.

Поэтому оценка в 150 жертв террора за первое десятилетие XX века совершенно несостоятельна. Собеседники с более развитым воображением называют цифры от 300 до 500. Наибольшая из полученных мною цифр была 1000, но и она даже не приближается к реальности.

Согласно распространенному мнению, в 1905 г. произошло около 50 терактов, а в следующем году – раза в полтора больше. Однако за один год, с октября 1905 по сентябрь 1906, на территории Российской империи были убиты и ранены 3611 правительственных чиновников. К концу 1907 г. счет дошел почти до четырех с половиной тысяч. Кроме того, за 1905–1907 гг. от рук террористов погибли 2180 частных лиц, 2530 получили ранения, что нас подводит к общему количеству в более чем 9000 пострадавших за рассматриваемый период.

Массовый террор, невиданный до тех пор нигде в мире, совпал с революционными событиями 1905–1907 гг. Политическая буря была одновременно символом и симптомом глубокого общественно-культурного кризиса в стране, связанного со слишком быстрой сменой уклада жизни. Гнев, разгоравшийся в душах людей, принял форму вооруженного мятежа и превратил Россию в кипящий котел революции. Неудачная война с Японией в 1904–1905 гг. привела к международному унижению державы и вызвала открытый протест общественности.

«Если история чему-нибудь и учит относительно причин революции, – пишет Ханна Арендт, – то в первую очередь тому, что всякой революции предшествует ослабление политической системы». Верный симптом ослабления – неуклонное размывание авторитета властей, вызываемое «неспособностью правительства функционировать эффективно, из чего происходит сомнение подданных в его легитимности».

К 1905 г. правительство Николая II столкнулось с множеством проблем. В деревне крестьяне убивали помещиков, жгли их усадьбы, захватывали землю. В городах жизнь измученных непосильным трудом, обнищавших рабочих свелась к беспрестанным забастовкам и локаутам. На окраинах бунтовали инородцы, никогда не питавшие любви к русским. В армии брожение – матросы и солдаты расправлялись со своими командирами. Студенты и даже школьники требовали отмены государственного контроля над образованием. Профессиональные революционеры спешно создавали политические партии как оружие борьбы за уничтожение всей системы власти. Либеральная интеллигенция звала к революции.

В нарастающем хаосе российских событий террор стал катализатором и ближайшим следствием общего кризиса. Он принял небывалые размеры, отчасти в результате сложных социально-экономических процессов, являвшихся, в свою очередь, частью революционной перестройки. При этом политические покушения и убийства играли первую роль в подрыве царского режима и всей традиционной культуры, создавая атмосферу «кровавой анархии», или попросту «гигантского содома».

Политическое насилие достигло максимума в 1907 г., однако расхожее

мнение о том, что в 1908 г. террор в России резко пошел на убыль и за весь 1908 г. произошло всего три теракта, ни на чем не основано. В действительности, террор продолжал бушевать на территории страны, медленно оправлявшейся от революционной встряски. С начала января 1908 г. до середины мая 1910 г. официально зарегистрированы 19 957 терактов и революционных экспроприаций, в которых погибло представителей властей – 732, частных лиц – 3051, а ранены были 1022 и 2829 человек, соответственно. Всего в 1908–1910 гг. от рук террористов пострадало 7634 человека.

Для получения надежной статистики я сравнивала цифры, доступные из официальных правительственных документов (включая отчеты службы тайной полиции – Охранного отделения), с цифрами, с гордостью приводимыми революционерами в их собственных публикациях. Полиция на местах то преуменьшала размах террора, чтобы показать начальству, что она держит ситуацию под контролем, то преувеличивала, чтобы продемонстрировать, что она не зря получает жалованье. Для радикалов статистика жертв говорила об их революционных достижениях. Ввиду очевидной необъективности обеих сторон, я постоянно привлекала дополнительные данные из независимых и, как правило, надежных научных и официальных источников.

Журналисты пролили немало чернил, описывая дерзкие предприятия террористов до 1905 г., когда, по словам либерального публициста, убийства «залили кровью всю страну». Затем газеты потеряли интерес к политическим покушениям, которые перестали быть сенсацией. Теракты случались изо дня в день, зачастую по несколько в день. Вскоре они стали интересовать людей меньше, чем дорожные происшествия. В 1907 г. от террора гибли и получали ранения в среднем 18 человек в день. Газеты не помещали подробные отчеты с места события. Взамен многие местные газеты завели постоянную рубрику, как правило, озаглавленную «Революционные выступления». В ней печатались длинные перечни политических покушений и грабежей – так называемых экспроприаций, или попросту «эксов»: вооруженных налетов, добыча от которых теоретически шла на революционные нужды.

Не приходится сомневаться, что в газетную хронику не попадали все сведения, касавшиеся террора, но сочетание трех основных типов источников – правительственных, революционных и прессы – позволяет отделить статистику собственно террора от крестьянских восстаний, армейских мятежей и других видов революционной активности масс. Чтобы не смешивать теракты с другими разновидностями насилия, я выбрала средний путь: поверить на слово тем, кто брал на себя ответственность за политические убийства.

По самым скромным подсчетам, на 1905–1910 гг. приходится свыше 16 000 жертв террора. Правда, теракты происходили и до 1905 г., и не прекратились между 1910 и 1917 гг. Так или иначе, за последние 17 лет суще-

ствования Российской империи в 23 тысячах террористических актов пострадало свыше 17 тысяч человек.

Вплоть до 1980-х в этих цифрах можно было черпать утешение: уровень террора 1905–1907 гг. оставался непревзойденным, по крайней мере, количественно. Сегодня мы не можем закрывать глаза на то, что терроризм набирает силу. Сегодняшняя статистика также указывает на обратное соотношение между числом происшествий и жертв: меньшее количество терактов уносит больше жизней, прежде всего, потому что террористы научились использовать современную технологию и применять опыт, накопленный за последние сто лет. Трагедия 11 сентября стоит здесь особняком, но и простой захват самолета или здания театра ставит перед лицом гибели сотни людей. В начале XX в. террористы еще не располагали возможностями для уничтожения десятков или сотен людей одним, тщательно спланированным ударом. По большей части они совсем или почти совсем не уделяли времени подготовке, компенсируя частые провалы огромным количеством терактов.

Россия превратилась в арену кровавой бойни. «Бомбы швыряли по поводу и без повода», – вспоминает бывший полицейский. Их обнаруживали в почтовых бандеролях, в карманах пальто, в корзинах с фруктами, в алтарях. «Все, что могло быть взорвано, взлетало на воздух – распивочные, казармы, памятники и церкви».

Маленькие бомбочки ласково окрестили «апельсинами». Слово прижилось и перешло в анекдоты и популярные куплеты и стишки, вроде следующего:

Боязливы люди стали,
Вкусный плод у них в опале:
Повстречаюсь с нашим братом –
Он питает страх к гранатам,
С полицейским встречусь чином –
Он дрожит пред апельсином.

Сперва революционеры ввозили контрабандой взрывчатку из-за границы, но позже пришли к выводу, что проще изготавливать бомбы на дому. Из полицейских источников известно, что производство бомб приобрело огромные масштабы, а техника в этой области достигла таких успехов, что любой ребенок мог сделать взрывное устройство из пустой консервной банки и аптечных препаратов, о чем лучше всего говорят выдержки из дневника пятнадцатилетнего школьника Василия Князева. Открыв его, мы найдем аккуратно переписанный рецепт сливочных карамелек; на следующей странице – не менее аккуратно записанную инструкцию по изготовлению бомбы в домашних условиях: взять столько-то нитроглицерина, добавить гвоздей и болтов... Бессчетное количество раз подобные дилетантские устройства вели к авариям, увечьям и гибели, но в ту эпоху и про судьбу го-

ворили, употребляя террористский жаргон: «Счастье подобно бомбе, которая подбрасывается сегодня под одного, завтра под другого»¹.

Число убийств на окраинах империи умножилось многократно – на Кавказе, в Прибалтике, в Польше. С начала 1907 г. в одном Закавказье министерство внутренних дел зафиксировало 3060 терактов. Правда, нельзя забывать, что на Кавказе террор включал традиционные для этого региона формы вражды и разбоя – умыкание невест, похищение детей ради выкупа и, разумеется, древнейшие обычаи кровной мести.

В Баку приезжие революционеры сталкивались с укоренившейся издревле культурой насилия. Оружие было у всех, нож или пистолет пускали в ход по любому поводу. Ношение оружия было настолько в порядке вещей, что когда у дверей почты для предотвращения ограблений выставили охранника, он обращался к каждому заходящему с просьбой оставить оружие при входе. Здоровенные кинжалы и револьверы были свалены кучей на полу, и каждый забирал свое, выходя.

Бездумное использование принципа политкорректности не ведет к лучшему пониманию вещей. Оно размывает различия культур, в том числе по отношению к насилию. Убийство было на Кавказе обычной реакцией на обиду и оскорбление, кровавое соперничество есть органическая часть местной традиции, и никогда не затихающие вооруженные конфликты низводят периодическую резню до уровня рутины. Цена жизни там, по западным представлениям, была ничтожно низка, так же как, например, сегодня на Западном берегу Иордана, где население считает кровопролитие нормальным образом жизни. Мы ничего не добьемся, навязывая наши стереотипы восприятия при оценке воздействия терроризма на общество там, где насильственная смерть всем привычна.

Однако неправильно полностью относить политическое насилие на счет «национального характера», предполагая, что дикие кавказцы занимались террором в силу природной склонности. В 1905-м они убивали представителей русской администрации, как делают это и сейчас в Чечне и других областях Северного Кавказа, но не совершили ни одного теракта, когда в 1940-х Сталин выселял их из родных мест. Терроризм бессилен против тоталитарного режима, ему благоприятствуют более мягкие режимы – например, дряхлеющей автократии или дестабилизированной демократии. Он расцветает в обществе, раздираемом внутренними противоречиями и борьбой непримиримых интересов.

В отличие от неукротимых и свирепых кавказцев, у жителей Латвии, Литвы и Эстонии не было практического опыта борьбы с имперскими порядками. Невзирая на это, по данным архива генерал-губернатора, в Прибалтике за 1905–1906 гг. отмечено 1700 покушений и 3076 вооруженных нападений. К этим цифрам следует относиться с осторожностью, так как при общем хаосе местные власти не всегда умели отличить политическое наси-

¹ Забияка. 1906. № 3.

лие от обычной уголовщины. И все-таки, при самом осторожном подходе, количественная оценка террора в западных областях говорит сама за себя: за тот же период в Польше террористы убили 790 жандармских, военных и полицейских чинов, ранили 864. Не считая жертв среди мирного населения.

Эксы вносили свой вклад в кровопролитие и причиняли колоссальный экономический ущерб. В XIX в. ограбления с политической подоплекой случались очень редко, потому что почти все революционеры отвергали эту тактику с нескрываемым отвращением. К 1905 г. радикальные течения социалистов и остальные экстремистские группы включили захват государственной и частной собственности в свой арсенал средств борьбы против господствующего строя. Они пришли к убеждению, что не только имеют право, но, по существу, и должны жить за счет врага, т. е. правительства и «буржуазных эксплуататоров»: промышленников, купцов, землевладельцев и торгового люда. Путем конфискации денег и товаров экспроприаторы стремились обеспечить себе финансовую независимость для профессионального занятия революцией, а также для закупки оружия и взрывчатки. Целые организации жили грабежом. Они расценивали налеты как превосходное средство для устрашения классового врага и дестабилизации строя, определяя эксы как экономический терроризм.

14 октября 1906 г. был проведен один из самых удачных эксов. Вооруженные браунингами террористы атаковали тщательно охраняемый дилижанс, перевозивший 600 тыс. руб. из Санкт-Петербургской таможни в министерство финансов и Центральный банк. Для большей внезапности террористы совершили нападение в полдень, в людном центре столицы. Несколько боевиков обстреляли охрану и забросали ее ручными гранатами, другие перебросили мешки с деньгами в стоявшую наготове карету, где сидела дама в вуали. Карета умчалась под прикрытием беглого огня их товарищей. Двое боевиков погибли, четверо были схвачены на месте, их судили военно-полевым судом вместе с другими арестованными по тому же делу и восьмерых повесили. Похищено было около 400 тыс. руб. – громадное состояние, если принять в расчет покупательную способность русской валюты, когда человек мог прожить на рубль в день.

Немногие могли рассчитывать на такую добычу, но экспроприации происходили ежедневно: «в столицах, в провинциальных и уездных центрах, в деревнях, на дорогах, на поездах и пароходах», – писал впоследствии либеральный журналист. Излюбленным объектом нападений были государственные винокуренные заводы, но радикалы не брезговали ни почтовыми отделениями, ни больницами, ни церквями. В октябре 1906 г. произошло 362 экса. За один день 30 октября Департамент полиции получил 15 сообщений об эксах из разных финансовых учреждений. Согласно подсчету министерства финансов, с начала 1905 по середину 1906 г. революционный грабеж обошелся имперским банкам в один миллион рублей.



На рубеже веков русская культура во всем ее многогранном развитии сосредоточилась на одной главной теме – необходимости догнать европейскую цивилизацию, ушедшую от традиционалистского коллективизма и перешедшую к индивидуализму как доминирующей общественной норме. Иными словами, страна быстро «модернизировалась», с гордостью ставя на первый план непризнаваемые дотоле возможности и ответственность отдельной личности. Не скованный более сельской или религиозной общиной, русский человек впервые в истории осознавал себя как *Я*, а не частицей *Мы*. Его главные усилия и, может быть, сокровенная цель жизни состояли в адаптировании к индивидуализму в жизни путем развития и реализации *Я*.

Утонченность индивидуума как главная черта жизни стала отличительной особенностью русского Серебряного века, периода бурных культурных процессов, интеллектуальных метаний и эстетического поиска. Праздничная обстановка утонченности, интеллектуального бунта, духовных исканий привели к созданию шедевров в современной музыке, живописи, философии, теологии – работах удивительного внутреннего напряжения и отваги. Они свидетельствовали о готовности их творцов встать на неизведанный путь индивидуальной зрелости в противовес соблазну отказа от *Я*. Но это были пути для избранных, наделенных достаточно стойким эго, чтобы поддерживать и развивать себя в борьбе с превратностями индивидуализации. То был золотой фонд всей нации, силы, делавшие возможной ее яркое, напряженное бытие.

Поистине, просматривается ирония судьбы в том, что терроризм, главной характеристикой которого является массовое убийство без разбора, явился в России именно на повороте от коллективизма к индивидуализму, и если новооткрытый потенциал личности усиливал жизнестойкость нации, то террористы подрывали ее, отбрасывая свободу личности ради осуществления массовых убийств, ставших концентрированным выражением всего, с чем несовместима культура.

Пройдя стадию маргинальности, терроризм сделался наиболее бесчеловечной формой антикультуры. Взяв на вооружение смерть, он стал врагом личности, составлявшей самую суть нарождавшегося обновления России. В полном соответствии с вложенным в него изначально нигилистическим отрицанием всего, террор наносил смертельные удары по основам жизнеспособности страны.

С тех пор и поныне современный террор, где бы он ни проявлялся, никогда не ограничивался политическими аспектами, и его нельзя рассматривать просто как крайнюю реакцию на пагубные социально-экономические обстоятельства. Грозная сила, накопленная за много десятилетий разрушительная энергия неизменно направлялись и направляются против существования, против жизни во всем ее торжествующем многообразии.

*Уничтожение жизни есть **raison d'être** массового террора.*

Теория и практика. К чему сводилась идеология русских террористов? Насколько она определяла их тактику?

Объясните, почему нельзя лгать?
Почему нельзя воровать? Что значит
«нечестно»? Почему лгать бесчестно?
Что такое «мораль»? Все это условности.

Монолог революционера²

На пике кризиса 1905 года в антиправительственном лагере преобладал – количественно и по проявляемой активности – определенный радикальный типаж, отмеченный современниками как «новый тип» и «новое поколение». По словам видного либерального публициста Петра Струве, произошло «освобождение революционной психики от всяких нравственных сдержек», и экстремисты выступили как «органический сплав революционера с разбойником». Внимательные наблюдатели распознали первые признаки этой тенденции уже среди радикалов XIX века, описанных Достоевским в «Бесах».

Из тех, тогда еще редких и патологических персонажей, особенно прославился Сергей Нечаев, который спланировал убийство ложно обвиненного в доносительстве товарища, чтобы укрепить свой авторитет как руководителя партии «Народная расправа» и связать ее членов совместно пролитой кровью. Нечаев приобрел также известность в качестве автора «Катехизиса революционера», написанного совместно с духовным отцом русского анархизма Михаилом Бакуниным. Катехизис содержал 26 руководящих принципов, определяющих кодекс поведения профессионального революционера.

Во имя революции истинный революционер отказывается от собственности, от всех общественных и семейных связей, а по мере необходимости и от жизни. Он всегда готов без жалости убивать: у революционера не может быть сочувствия ни к чему и ни к кому в этом обреченном на уничтожение мире. Поэтому он денно и нощно лелеет одну мысль, одну цель – «наискорейшее и наивернейшее разрушение этого поганого» мира: «Он для него – враг беспощадный, и если он продолжает жить в нем, то только для того, чтобы его вернее разрушить». Вся его жизнь посвящена единственной цели, ради которой революционер отрекается от всех условностей, от всех этических и моральных ценностей: «У него нет ни своих интересов, ни дел, ни чувств, ни привязанностей, ни собственности, ни даже имени». Его жизнь – инструмент для совершения революции, и только ради этого он существует.

Отталкиваясь от «Катехизиса», терроризм принимал «все более специфически современную форму по мере того, как в революционные заговоры шло новое поколение русских радикалов», – заключает Стивен Дж. Маркс в книге «Россия – колыбель нового мира». Я бы сказала проще: Нечаев когда-то был изгоем в революционной общине – в XX в. то, что было прежде

² Г. Нестроев. Из дневника максималиста. Париж, 1910.

уродством, сделалось нормой. У истоков российского терроризма стоял прототип пророчески угаданного Достоевским циничного Петра Верховенского. Даже радикалы иногда признавали, что нечаевщина проникла в революционный организм, приведя к вырождению революционного духа.

Из «Катехизиса» Нечаева и Бакунина, §25, 26: «Сближаясь с народом, мы соединимся с лихим разбойничьим миром, этим истинным и единственным революционером в России. Сплотить этот мир в одну всеокрушающую силу – вот вся наша организация».

Эта зараза и «страшная болезнь», как называли тогда стирание граней между революционером и уголовником, была в большой степени инициирована и проявилась одновременно с демократизацией революционных рядов. За пятьдесят лет – с 1860 до 1910 г. – число террористов выросло колоссально: в 1860-х их было не больше сотни, к концу 1870-х «Народная воля» насчитывала порядка 500 членов, в 1907 г. открыто объявившая себя террористической партия эсеров имела 45 тысяч членов. В соответственной пропорции росло также количество тех, кто симпатизировал террористам. Их было около тысячи в 1860-е, 4–5 тысяч во время «Народной воли» и свыше трехсот тысяч сочувственно относившихся к эсерам. В отличие от XIX в., когда подпольные кружки составлялись, как правило, из образованной публики, в основном мужчин из высших сословий, во время кризиса 1905–1907 гг. коллективный портрет революционного движения уже рисовался, по Наймарку, «таким же пестрым, как вся социальная структура царской России». В антиправительственных актах насилия принимало участие множество инородцев; другой группой, выбитой из привычного уклада в начале века, был промышленный пролетариат, из которого вышла большая часть активных боевиков 1905 года.

Ускоренная урбанизация особенно тяжело отразилась на молодых, как правило, бессемейных парнях из крестьянских семей. Они мигрировали из деревни в поисках работы и оседали в быстро растущих городах. Жившие в нищете, пьянстве и болезнях, в трущобах, сопровождавших начало индустриализации, многие неквалифицированные рабочие делались легкой добычей радикальной пропаганды. Наймарк отметил, что 70% эсеровских терактов совершены рабочими. Активность выходцев из рабочего класса в других террористических группировках могла быть и выше.

Экстремисты из рабочей среды не могли сравниться с предшественниками по интеллектуальному уровню и идеологической подготовленности. Они редко имели законченное школьное образование. Большей частью это были полуграмотные парни и девушки, «зеленые юнцы, абсолютные младенцы в политическом смысле», как жаловались их старшие товарищи. Некоторые вообще не умели читать. Новобранцы из евреев говорили на идише и еле читали по-русски по складам.

Можно ли было от них требовать проникновения в тонкости революционных доктрин, даже если бы к ним в руки попали теоретические труды? Многие анархисты из черты еврейской оседлости не знали ни одного сло-

ва по-русски. Симона Тер-Петросяна, более известного под кличкой «кавказский разбойник Камо», исключили из школы в четырнадцать лет, но и до этого он вряд ли был усерден в учении, судя по тому, что выучил основы русской грамматики и четыре арифметических действия лишь после Октябрьской революции, когда с сожалением оставил главное поле деятельности – крупномасштабные экссы.

Часто террористы и на родном языке не умели связно выразить мысль. Они с огромным трудом объясняли свое чрезвычайно туманное представление о революции и совершенно не понимали разницу между партийными программами.

В отличие от времен «Народной воли», когда террор был делом компактных ячеек, составленных из теоретически подкованных революционеров, воспоминания и стенографические отчеты о судебных заседаниях по делам экстремистов 1900-х гг. показывают, насколько новое поколение было беспомощно в вопросах политики.

Их практическая деятельность никак не зависела от сложных аспектов социалистического учения. Вместо ответа на вопрос, для чего они приняли тот или иной акт насилия, они пользовались случаем для пропаганды революционных взглядов, произнося пламенные речи с филиппиками против угнетения. Их цель – покончить с эксплуатацией трудящихся, поэтому они от имени своей партии убили притеснителя. Беда в том, что они не знали, как называется их партия, и ничтоже сумняшеся устрашали суд грозными – неважно, что бессмысленными – названиями, причисляя себя к выдуманнным организациям вроде «социал-революционные анархисты-коммунисты».

Одна такая случайно сколоченная банда экспроприаторов вломилась в деревне Хутора в дом местного попа и завладела добычей в размере 25 руб. Эти объявили о своей принадлежности к «Партии революционеров».

Нередко радикалы говорили о своей террористической деятельности на безграмотном уличном жаргоне, состоящем из площадной брани и расхожих штампов. Они по поводу и без повода призывали «отомстить гадам», а их боевой клич и последнее слово на суде звучали как «Да здравствует революция! К черту все остальное!»

Невероятно низкий мыслительный уровень был характерен для всех революционеров, к какой бы партии они ни принадлежали. В среднем эсеров и марксистов отличало более развитое политическое сознание, чем анархистов и прочих, но даже те, кто умел составить общий взгляд на предметы, чаще всего полагали, что теоретические дебаты – это вздор и предлог дляклонения от битвы.

Рассмотрение списков Боевой организации ПСР (эсеров) говорит, что не идеология их объединяла. Федор Назаров высказывал взгляды убежденного анархиста; Абрам Гоц объявил себя последователем Иммануила Канта; Иван Каляев, убивший великого князя Сергея, слагал стихи во славу Всемоущего Господа; руководитель БО Борис Савинков был абсолютно

равнодушен к социалистической догматике, а равно и к «народному делу»: по свидетельству его товарищей, он присоединился к революционерам из авантюрных побуждений «в поисках острых ощущений».

Террористы нового типа испытывали к партийным конференциям, собраниям, съездам нескрываемое презрение и, по их собственным словам, «верили только в террор». Они «не переносили обсуждений» и, будучи готовыми проливать кровь и умирать за революцию, презрительно отворачивались от теоретических рассуждений. Многие не могли даже называться социалистами, потому что не понимали, что такое классовая теория.

Григорий Фролов показал, что присоединился к Боевой организации ПСР «чтоб выяснить, что же это за партия». Террорист-эсер Н. Д. Шишмарев, убивший начальника Тобольского каторжного централа, считал, что его неосведомленность о партийной программе идет на пользу общему делу: кто слишком много умствует, тот попусту растрчивает душевный жар, объяснял он. Подобно анархистам, для которых боец за свободу в первую очередь определялся «горячей кровью», большинство эсеров сходились в том, что во время революции «боевое настроение и готовность к битве» важнее любых теорий. «Я за всю жизнь не прочел ни одной книги, но сердцем я анархист», – гордо повторяли они. Иных, правда, политическая безграмотность удручала: «Мы не понимаем теорию и неспособны к ведению партийной работы, мы только и годимся, что добывать деньги экспроприациями...»

Камо и его кавказской банде, состоявшей из разбойников с большой дороги, неизменно улыбалась удача. Его приспешники вообще не имели никакой идеологии, но он сумел их подчинить дисциплине и воодушевить революционным порывом. Они провели множество экспроприаций, из которых самым знаменитым стал так называемый «тифлисский экс». 12 июня 1907 г. они взорвали несколько бомб на центральной площади грузинской столицы и атаковали два дилижанса с грузом банкнот, монет и валюты, принадлежавших Тифлисскому государственному банку. С десятков прохожих остались лежать, мертвые или раненые, на мостовой; Камо с товарищами бежали, отстреливаясь из пистолетов и унося 250 тыс. руб. Деньги предназначались для Большевицкого Центра за рубежом (БЦ) – полупотайной группы сторонников Ленина в контролируемом меньшевиками центральном комитете РСДРП. БЦ, инициатор наиболее удачных эксов, подвергался за это постоянной критике со стороны не столь беспринципных, но от этого не менее завистливых меньшевиков, требовавших войти в долю. Не умея заставить большевиков делиться, они утешались сочинением эпиграмм против «мошенников» – Ленина и К^о:

«Вы любите ли экс?» – БЦ спросили раз.

«Люблю, – ответил он, – в нем прибыль есть для нас».

Огромная прибыль от эксов позволяла большевикам «содержать многочисленные боевые дружины, рассылать повсюду курьеров, выпускать жур-

налы, распространять памфлеты, основывать пробольшевистские комитеты — все с одной целью: добиваться большего числа мандатов на съездах», — пишет маститый исследователь большевизма Борис Суварин. «Средств у нас, конечно, не было, — пояснял видный большевик Мартын Лядов, — зато была хорошая боевая дружина в Зауралье». Один удачный экс обеспечивал большевистскому руководству проведение целой избирательной кампании.

«За жаркими дебатами о несовместимости материализма с эмпириокритицизмом стояли материи совершенно иного свойства: деньги», — подтверждает знаток большевистских махинаций Борис Николаевский: идеологические раздоры в верхушке РСДРП прикрывали вопрос о том, кому контролировать партийную кассу. Иллюстрацией отношений внутри партии может послужить следующая история: Литвинов, один из ближайших соратников Ленина после 1905 г., отправляет в партийную штаб-квартиру двух грузинских боевиков с требованием выдать 400 тыс. рублей, которые меньшевики вознамерились потратить на свои нужды, и предупреждает при этом, что если деньги не окажутся у большевиков, то его грузины «вышибут мозги» кое-кому из членов ЦК. Большевики, у которых было большинство, разъяренные тем, что Троцкий впоследствии назовет большевистскими методами «внутрипартийных экспроприаций», грозили исключить «грабителей, фальшивомонетчиков и воров» из рядов партии. Но, как отмечает один из бывших социал-демократов, поскольку меньшевики явно ничего не имели против экспроприаций как таковых и только злились на большевистское распределение доходов, пришлось бы исключить весь центральный комитет партии.

Экспроприации вносили разлад в ряды социал-демократов — большевиков, меньшевиков, бундовцев. Теоретически партия осуждала экспроприации вместе со всеми террористическими поползновениями, несовместимыми, как утверждали партийные генералы, с марксистским канонам. Взятый на вооружение «горсткой героев», террор «не свалит самодержавие», одолеть которое может только массовое рабочее движение. Террор непрактичен и потому вреден для народного дела, подчеркивалось в социал-демократических публикациях.

Однако теория расходилась с практикой. Хотя и гораздо реже, чем эсеры и анархисты, социал-демократы время от времени тоже обращались к террору. Вопреки декларативным заявлениям о «ненаучности» террора, не было фракции РСДРП, не замешанной в политических убийствах и постоянных конфискациях государственного имущества и частной собственности. Рядовые исполнители пренебрегали партийной идеологией, главным образом потому, что стремились к конкретным делам и абсолютно не интересовались «пустыми теориями» и вообще «социал-демократической чепухой».

27 января 1906 г. большевистская боевая группа атаковала чайную «Тверь», принадлежавшую монархистскому «Союзу русского народа». Там собирались рабочие с корабельных верфей. В трактире было человек тридцать, когда внутри взорвались три бомбы. Рабочие пытались бежать, но поджидавшие снаружи большевики открыли огонь из револьверов с близ-

кого расстояния. Два человека были убиты, около двадцати ранены. Нападавшие скрылись.

Подобные эпизоды случались по всей стране. К 1907 г. марксисты ничем не отличались от любых других экстремистов: вышедшая из-под контроля молодежь склонялась к анархизму и принимала активное участие в убийствах полицейских, городских и жандармов. Ее, по признанию руководства, «заразили террористические настроения», все рвались в дело, к насилию ради насилия. Иногда их боевой пыл напрямую использовался для добывания денег, и только заботились о приличиях, требуя, чтобы они «на бумаге» вышли из партии, которая не должна быть скомпрометирована бесконечными эксками. «Меньшевики съедят нас живьем, если Камо и его люди будут формально числиться в партии», – сказал Ленин однажды Сталину, отвечавшему тогда за большевистские налеты на Кавказе.

Но и меньшевики, наиболее умеренная фракция социал-демократов, придававшая теории наибольшее значение из них всех, по временам демонстрировала разительное сходство с анархистами, в свой черед прибегая к экскам. Они и расправлялись с противниками на Кавказе гораздо чаще, чем в других регионах. С особым рвением они этим занимались в Грузии, где именно благодаря усилиям меньшевиков жизнь стала кровавым кошмаром. «Месть, месть, месть – горело в сердцах товарищей. Социал-демократы, в принципе отвергающие террор, теперь обращаются к нему, как к единственному средству борьбы»³.

Эсдеки нападали на правительственных чиновников, военнослужащих, богатых заводчиков, фабричных управляющих, аристократов, купцов. Они терроризировали полицейских и «били их, как уток». Для закавказских меньшевиков партийные инвективы против террора были пустым звуком.

В сферу влияния «Бунда» входили еврейские местечки в черте оседлости. В Бобруйске, Гомеле, Вильне и других центрах еврейской городской жизни бундовцы втянулись в революционный террор, хотя им было нелегко конкурировать с ежедневными подвигами, свершавшимися под черным знаменем анархизма. С другой стороны, в Одессе боевые действия шли у «Бунда» успешнее, чем у эсеров, их главных соперников в славной борьбе. Поскольку рядовые бундовцы практически ни имели ни малейшего понятия о марксизме, марксистский отказ от террора не являлся для них препятствием даже теоретически.

Латышские члены РСДРП и кое-кто из независимых социал-демократов Литвы внесли свой вклад в разгул анархизма в Прибалтике. Как большинство их русских, кавказских и еврейских товарищей, они вербовали сторонников в низших общественных слоях. Горячие и бездумные, новые члены боевых отрядов вовсе не интересовались тонкостями классовой теории и не намеревались терпеливо разрешать противоречия. Револьвер в карман –

³ С. Маглакелидзе, А. Иовидзе. Революция 1905–1907 гг. в Грузии. Тбилиси, 1956.

и в бой; занятые стрельбой, безграмотные террористы нового призыва не подозревали, что в чем-нибудь противоречат марксизму.

Тем легче им было объединиться в единый террористический фронт, составленный из участников самых разных кружков, озабоченных лишь тем, чтобы наносить удары по классовому врагу. Их лидеры в Париже, Женеве и других центрах революционной эмиграции настаивали на строгом разделении по идеологическому признаку, потому что, как пишет историк Феликс Лурье, каждый вождь готовил свою личную революцию и ожесточенно сражался с соперниками из других антиправительственных организаций. Рядовые же активисты в России, наоборот, считали идеологические различия не имеющими отношения к каждодневной работе. Такая идеологическая гибкость, или, точнее, индифферентность, способствовала слиянию всех разномастных террористов в один экстремистский блок.

«Все сочувствующие политическому террору должны чувствовать себя членами одной семьи», – настаивал один из самых ранних пропагандистов современного терроризма в России Владимир Бурцев, не входивший ни в одну партию. Покуда главная задача – это свержение существующего строя, говорил он, все радикалы должны быть братьями по духу, невзирая на нескончаемые конфликты, интриги и ссоры между вождями, рвущимися к контролю над людьми и финансами. «Почему мы не можем работать вместе? – вызывал руководитель Боевой организации эсеров Борис Савинков к главе максималистов Михаилу Соколову, бывшему персоной нон грата в глазах эсеровских лидеров. – Что касается меня, то я не вижу препятствий к этому. Мне все равно – максималист вы, анархист или социалист-революционер. Мы оба террористы. В интересах террора – соединение Боевой организации с вашей».

Вдали от столиц эсеры кооперировались с максималистами, анархистами, социал-демократами. Готовя покушения и экспроприации, они сходились в смешанные отряды – временные, для совершения данного теракта, или постоянные. Социал-демократы разного толка с готовностью объединялись не только друг с другом, но и с политическими противниками РСДРП, которых руководство клеймило разбойниками. Порой революционеры образовывали значительные дружины, например, максималисты вместе с эсдеками под предводительством Александра Лбова. Его постоянные покушения на «реакционеров» из числа заводчиков и торговцев вкупе с бесконечными эксками вызывали повсеместную панику и заработали ему прозвище Гроза Урала.

И максималисты, и анархисты принимали любую помощь со стороны, не чинясь. Они сотрудничали и между собой, и с кем угодно, кто соглашался с их уверенностью в плодотворности насилия ради насилия: «где недостаточно устранить одно лицо, там нужно устранить десятки, а где недостаточно десятков, нужно уничтожить сотнями»⁴.

12 августа 1906 г. трое максималистов – двое переодетых жандармами,

⁴ Г. Нестроев. Из дневника максималиста. С. 112.

один в штатском – ворвались в дом премьер-министра Столыпина в Санкт-Петербурге на Аптекарском острове. Охрана пыталась их остановить, но они с криком «Да здравствует свобода, да здравствует анархия!» взорвали себя шестнадцатифунтовыми бомбами. По описанию свидетелей, «дом был окутан дымом, фасад обрушился. Вокруг валялись обломки балкона и крыши, под обломками, у разбитой кареты, корчились раненные лошади. Отовсюду раздавались стоны, везде были куски человеческого мяса и лужи крови». Динамит, от которого пострадали около 60 человек, был произведен в бомбовой лаборатории социал-демократов, руководимой Леонидом Красиным, главным техническим специалистом большевиков по части террора. Сотрудничая с большевистскими боевиками в столице, эсеры не раз имели случай оценить уровень красинской квалификации.

Взаимоотношения между террористами не всегда бывали такими безоблачными. Случалось, их ссоры выливались в словесные перепалки и угрозы. Иногда между разными группировками возникали драки, иногда они похищали друг у друга деньги, оружие. Когда не удавалось полюбовно договориться, пускали в ход оружие как наиболее внятный их сердцу аргумент. Но в целом это происходило редко и почти не нарушало сотрудничество.

Принадлежность к той или иной фракции варьировалась с калейдоскопической быстротой по мере того, как экстремисты, отколовшиеся от эсеров или эсдеков, образовывали все более мелкие и автономные группки, искавшие независимости от руководства центра. Отбрасывая последние элементарные нормы поведения, эти «радикалы из радикалов» переставали выполнять приказы партийных лидеров и подчинялись только выбранным на месте вожакам. Боевики отличались храбростью, дерзостью в деле, но также полнейшей безответственностью и не знали, что такое дисциплина.

Экстремисты-отщепенцы «дискредитируют партию разбоем», протестовало плетущееся в хвосте событий руководство и исключало заблудших членов из РСДРП. В ответ исключенные обретали новых товарищей среди анархистов или в мелких террористических группах, не имевших ни определенной идеологии, ни программы, а уже раз влившись в эти полууголовные банды, могли отдаться насилию, не сдерживаемому никакими формальными идейными рамками.

И не имело никакого значения, что экстремисты этого сорта страдали от острой нехватки самоидентификации, вроде некоторых литовских *социал-демократов*, гордо называвших себя *анархистами*. Простейший выход из этих «интеллигентских пустяков» – игнорировать их. Камо, «разбойник-идеалист», который преклонялся перед Лениным, но ничего не знал про общество и классы, нашел наиболее оригинальное решение для проблемы программных расхождений в революционном лагере. Однажды он присутствовал во время жарких дебатов по аграрному вопросу, быстро начал скучать и, наконец, вышел из себя: «Зачем ты с ним споришь? – спросил он своего приятеля-большевика. – Давай, я его зарежу!» И показал на остолевшего меньшевика.



30 мая 1972 г. Козо Окамото и еще два члена японской «Красной армии» расстреляли из автоматов и забросали гранатами пассажиров в израильском аэропорту Бен-Гурион. 16 из 26 погибших оказались пуэрто-риканскими паломниками. Еще 78 человек были ранены. Объявленной целью террористов было свержение правительства и отмена монархии в Японии, а в более отдаленной перспективе – начало мировой революции. Операция была проведена по плану «Народного фронта освобождения Палестины».

Стивен Маркс описывает, как «Россия – колыбель нового мира» выращивала в XX в. сонмы террористических организаций. Как и тогда, сегодняшние террористы пренебрегают идеологией и убеждениями и объединяются в единый фронт, едва речь заходит о совместных выступлениях против таких общих врагов, как капиталистический Запад или сионистский Израиль. «Мы будем верны России, оборотись она хоть в самого дьявола», – постановили предводители исламских фундаменталистов в Сирии в начале 1950-х. В конце 1970-х члены фракции «Красной армии» (выходцы из группы Баадер–Майнхоф) в палестинских тренировочных лагерях обучали разношерстных террористов методам ведения бактериологической войны. Нет в мире ни одной национальной террористической группировки, которая не получала бы извне помощь от собратьев по ремеслу.

Во всем мире террористы выказывают полное безразличие к теоретическим построениям и полную готовность либо отказаться от декларированного мировоззрения, либо приспособить его к практическим нуждам. Члены баскской ЭТА не мучаются бессонницей из-за бросающейся в глаза несовместимости национал-сепаратистской программы и приверженности к интернациональному марксизму. Другие организации, например ООП, утратили свою левизну после развала СССР, когда прогрессивная демагогия об освобождении трудящихся перестала оплачиваться горами оружия и морем денег.

Хотя руководящее звено исламских экстремистских групп в большинстве выходцы из среднего класса, сам радикальный транснациональный ислам, оторванный от мест, где возник, притягивает к себе люмпен-пролетариев, молодых безработных из экономически отсталых частей Европы и США. Иначе говоря, ряды террористов пополняются за счет маргиналов мусульманского мира, чья вера и самое знакомство с исламом вторичны по сравнению с их фанатичной этногенной ненавистью, аналогичной классовой ненависти русских экстремистов из рабочего класса. Всегда готовые ринуться в бой, чтобы «экспроприировать экспроприаторов», они с легкостью поверили бы, что «Капитал» – это фамилия какого-то немца.

Для оправдания террористических актов к услугам боевиков набор лозунгов, включающий любовь к Аллаху, преданность народу, месть и желание умереть шахидом (мучеником). Без конца повторяемые клише спускаются вождями рядовому составу и механически заучиваются наизусть – подобно российским террористам, которые твердили, как заклинания, революционные постулаты. *Механическим боевизмом* назвал анархист Иуда Гроссман

процесс, втянувшись в который, человек, уже сделавшись террористом, начинает действовать автоматически, не созная, ради чего сеет смерть.

Идеологические убеждения не играют роли в практической деятельности экстремистов. Единственное, в чем он нуждается для объяснения своего поведения, – это накрепко вызубренная аксиома. С течением времени у него окончательно рвется нить, связывающая его поступки с внутренними побуждениями, чувствами – с его сущностным Я. Современный террорист полностью соответствует заповеди Нечаева: революционер должен не *жить*, а *быть орудием разрушения*.

Готовность самоотверженно служить Смерти есть единственный критерий, сводящий воедино убийц из разных концов мира, относящих себя к разным, подчас враждебным друг другу идейным конфессиям, единственное, что толкает их к взаимной помощи и поддержке.

Замаскированное самоубийство. Что такое террорист-смертник?

Умрем, братцы! Ах, как славно умрем!

Кн. Е. Оболенский в день 14 декабря 1825 г.

Молодая женщина, двадцати одного года от роду, подходит к полицейскому управлению. Тринадцать фунтов нитроглицерина и детонатор привязаны к ее телу. Ее обезвреживают раньше, чем она взорвет здание и погибнет вместе со всеми, кто в нем находится.

Это произошло не в Ливане, где террористы из «Хизбаллы» начали использовать людей в качестве живых бомб в 1980-х, из чего родилось распространенное, но ошибочное мнение, что им принадлежит пальма первенства. И не в Дженине, «столице самоубийц», откуда вышли 25% всех террористов-смертников, взорвавших себя на территории Израиля и погубивших сотни людей. Не принадлежала она и к «Тамильским тиграм», известным среди террористических организаций приверженностью к использованию живых бомб (более 200 терактов, отсчитывая с конца 1980-х). Евстолия Рогозинникова – так ее звали – готовилась 15 октября 1907 г. взорвать Петербургское тюремное управление.

«Убийство и самоубийство, сексуальные извращения, опиум, алкоголь – все это Серебряный век привнес в обыденное течение русской жизни», – пишет Уильям Брюс Линкольн. Отмена всех норм и правил вела к тому, что принято называть «психосоциальным разочарованием», сопровождаемым депрессивным состоянием обесмысливания и ирреальности бытия, которые Р. Д. Ланг отнес к необходимым условиям отчуждения Я от самого себя. Писатель Леонид Андреев «заглянул в бездну, где клубятся отчаяние и горе» и, по словам Кайдена, «ничего не увидел, кроме хаоса, безумия, смерти». Историк Сьюзен К. Морисси в «Предвестниках революции» описывает ситуацию, когда человек, «в смятении столкнувшись с разединением слов и понятий, идеалов и реальности», воспринимает жизнь как дешевый бала-

ган: «Целый мир видится мне каким-то маскарадом. Повсюду движутся живые фигуры, иногда очень симпатичные (друзья, семья), но все, без исключения все, – только маски, которые отвратительно говорят чужими голосами, отвратительно жестикулируют чужими руками, отвратительно прикрываются чужими душами, в то время как рты у всех набиты прекрасными словами о правоте, добре и правде, красоте и справедливости... И, видя это, сознавая это однообразие, хочется бежать и бежать... Только в этом спасение... Весь мир кружится в нескончаемом пошлом маскараде».

Не находя способа вырваться из этого бесцельного мира, многие задавались вопросом, «достойно ли владеть столь страшную жизнь, все время сознавая свое бессилие, – или уж одним разом покончить со всем». И многие, особенно молодые, отвечали, что незачем тянуть лямку псевдосуществования.

Количество самоубийств возросло после 1905 г. катастрофически, дойдя до 370 на миллион населения, самый высокий уровень в Европе. Врачи и журналисты забили тревогу: в Петербурге разразилась настоящая эпидемия, количество самоубийств выросло с 1906 по 1911 г. втрое. В нижних классах главной причиной самоубийств оставалась нищета, но объяснение эпидемических масштабов добровольной смерти не сводится к одним только экономическим причинам, потому что многие случаи никак нельзя было связать с бедностью. «Нищета смысла», по Морисси, часто не имеет ничего общего с обычной нищетой. Большинство тех, кто решил уйти из жизни, не предъявляли счет социально-экономической обстановке, а попросту клеймили и обвиняли «жизнь, не стоящую того, чтобы жить». Господствующее настроение 1905 года придало самоубийству новое, социальное звучание, отличное от тех редких случаев, когда человек кончает с собой из-за страданий и личных драм.

Дюркгейм подчеркивает, что рассмотрение социальных причин для суицида требует привязки к распаду традиционного окружения, к процессам исторической дислокации. Эпидемический рост насилия, обращенного на самого субъекта, вписался в общий контекст Серебряного века и отражает его важнейшие черты. В обстановке торжествующего декаданса смерть стала модной.

Завороженные симбиозом творческого экстаза и деструктивной энергии, эстеты начала века искали и находили в смерти *поэзию*. Не исключено, как пишет Хазани, что эстетизация, «связавшая смерть со славой», помогала преодолеть страх перед смертью. С другой стороны, однако, те, кто имел предрасположенность к метафизике, заигрывали с мистическими темными силами и маниакально сосредотачивались на толкованиях концепции небытия. Влекомые духом Серебряного века, революционные экстремисты были так же подвержены «суицидальному зову», как их аполитичные современники. У них тенденция к самоубийству усиливалась невозможностью примириться с жизнью даже после отчаянной попытки растворить себя в революционной среде.

Саморазрушение в революционном заговоре обязывает отбросить любую нормальность, что может оказаться под силу только тем, чья эмоциональная структура удачно встраивается в исковерканный мирок террористи-

ческой ячейки. Это «жизнь травленого волка» с сознанием, «что не только нынче или завтра, но каждую секунду он должен быть готов погибнуть, – пишет бывший революционер Лев Тихомиров. – Единственная возможность жить при таком сознании – это не думать о множестве вещей, о которых, однако, нужно думать, если хочешь остаться человеком развитым. Привязанность сколько-нибудь серьезная и какого бы то ни было рода есть в этом состоянии истинное несчастье. Изучение какого бы то ни было вопроса, общественного явления и т. п. немыслимо. План действия, мало-мальски сложный, мало-мальски обширный, не смеет прийти даже в голову. Всех поголовно (исключая 5–10 единомышленников) нужно обманывать с утра до ночи, от всех скрываться, во всяком человеке подозревать врага», – заключает он.

Трудно себе вообразить, какие страдания испытывает уязвимое, бесхребетное, раздробленное сознание, искавшее выхода и нашедшее подпольную жизнь со всеми ее «неизбежными ограничениями, где искусственно поддерживается одна внешняя видимость порядка» (Милтон Мейеров). Террорист живет в абсолютной дисгармонии с тем миром, которому рассчитывал, подчинив, навязать свою волю. Его ослабляет страх. пытки, которым он подвергает сам себя, отталкивают его еще дальше от социума и окончательно подрывают силу и стойкость.

Убежище, которое выбитый из колеи человек ищет в подпольном братстве, желая одолеть ужас перед смертью, оказывается ненадежным, ибо подпольную ячейку сковывает страх быть уничтоженной. Многих экстремистов, оказавшихся в более тягостной ситуации, чем та, от которой они бежали, тщетная попытка найти спасение окончательно добивала, и пусть жизнь коллективом в «новой коммуне» снимала поначалу стресс индивидуализации, уродливое подпольное существование подтачивало запасы жизненных сил. Запутавшись полностью, радикалы рассматривали смерть как единственную возможность избавиться от невыносимого страха смерти, не видя в том парадокса.

Вслух они свое желание умереть обосновывали революционной риторикой.

«Пусть они убьют меня; нет слов для описания моего горя, если я останусь жива... Моя смерть имеет колоссальное значение для революции и станет блестящим пропагандистским актом», – писала из тюрьмы девятнадцатилетняя Мария Спиридонова, застрелившая тамбовского губернского советника Гаврилу Луженковского «за жестокое обращение с крестьянами». Спиридонова не могла, да и не пыталась скрыться с места теракта – полная решимости умереть и слиться с притягательным, имевшим успех в обществе образом святой революционерки-мученицы. Вспыльчивая и истеричная, она оставалась эмоционально недоразвитой еще спустя десять лет, когда руководила партией левых эсеров, обнаруживая, по словам историка Оливера Редки, интеллектуальный уровень школьницы старших классов⁵. Позднее в

⁵ 6 июля 1918 г. при известии, что большевики начали разгром левых эсеров, она приехала в Большой театр без охраны, позже объяснив в «Открытом письме»: «Чтобы был у вас кто-нибудь,

частном письме она призналась, что казаки могли ее изнасиловать, «но не сделали этого» – и продолжала смаковать рассказы из левой и либеральной прессы о сексуальных домогательствах, которые претерпела. Она и пальцем не шевельнула, чтобы опровергнуть жуткие басни, тешившие ее больное самолюбие и одновременно чернившие царский режим.

Нередко для террористов страх перед жизнью вне революционного коллектива играл роль катализатора самоубийства. Они часто кончали с собой, только бы не попасть в руки полиции и не проходить через следствие, суд, тюремное заключение. Самоубийств во время ареста не счесть: какой-то анархист взорвал себя ручной гранатой, другой взял динамитную палочку в рот и разнес себя в клочья, эсер Евгений Кудрявцев, по кличке Адмирал, застрелился сразу после того как убил санкт-петербургского градоначальника фон дер Лауница. «А если неудача? – спросил накануне покушения Иван Каляев руководителя БО ПСР Савинкова. – Знаешь что? По-моему, тогда по-японски... харакири». В письме к товарищам Каляев писал, что «против всех моих забот», он не погиб 4 февраля при взрыве, убившем великого князя Сергея Александровича. «Я счастлив вашим приговором», – сказал он судьям, приговорившим его к повешению.

Тюремное заключение и каторга были для революционеров столь страшны, что множество их ломались, оканчивали свои дни в сумасшедших домах, кончали с собой. Нет счета воспоминаниям о тюремных самоубийствах, и всюду подчеркивается желание террориста умереть: то женщина удавливает себя собственной косой, то другая сжигает себя заживо в камере. Лишь иногда им удавалось придать своей ожоженной смерти политическое значение. Егор Сазонов, «предпочитавший плену самоубийство», не погиб на месте при покушении на Плеве, но все-таки покончил с жизнью впоследствии и обеспечил себе бессмертие, приняв яд в знак протеста против наказаний, применявшихся в каторжной тюрьме.

Существование вне революционной деятельности виделось страшным своей бесцельностью. Некий революционер, у которого в тюрьме обнаружилась сердечная болезнь, не позволявшая ему отныне быть ни революционером, ни террористом, понял, что жить «не во имя дела» не может, и оборвал свои дни, не находя замену революционной борьбе. Две попытки самоубийства, предпринятые в тюрьме Камо, были не единственными: он также пытался покончить с собой, когда «сидел без дела». Примечательно, что одна из попыток произошла после Октябрьской революции, вогнавшей борца за свободу в глубокую депрессию. Подобным же образом рутинная, бездеятельность, необходимость жить вне террористического окружения приводили к самоубийству в эмиграции – например, Рахиль Лурье, покончившую с собой в возрасте 24 лет.

На высокопарном языке фанатиков террористы, как правило, объясняли

на ком сорвать злобу. Расправившись со мною, вы потом приобрели бы необходимое хладнокровие. Случайность, что вышло не так, как я предлагала».

желание умереть необходимостью искупить пролитую кровь врагов. *«Я должна умереть»*, – говорила Савинкову динамитчица Дора Бриллиант, умоляя доверить ей исполнение теракта. «Ну, слава Богу: вот и конец... Меня огорчает одно – почему не мне первое место⁶», – сказал Каляев перед покушением на Плеве, подразумевая нежелательную возможность уцелеть в теракте.

По мнению О. Редки и других исследователей политического мартиролога, стремление увенчать убийство собственной смертью свидетельствует о «наличии моральных движений души высочайшего уровня». Но первая строка в шкале предпочтений, отданная террористами самоубийству, сводит этические прочтения почти на нет, и то, что слишком многие радикалы, как минимум, раз покушались на свою жизнь, лишает их квазилогические доводы всякой ценности. Накануне покушения на Дубасова Борис Вноровский написал родителям: «Сколько раз в юности мне приходило в голову лишить себя жизни, и всякий раз я отбрасывал эту мысль, зная, какое горе вызвал бы мой поступок. Я оставался в живых и жил для вас». Вступив в Боевую организацию, Вноровский выдал себе мандат на добровольную смерть.

Желание умереть часто принимало форму культа смерти или культа террора, отправляемого членами террористических организаций. Вскоре после создания в 1902 г. Боевой организации, как отмечает Эми Найт, она преобразилась в секту, чьи члены «изобрели собственную систему ценностей, собственный элитарный кастовый дух» в убеждении, что только они достойны нести крест русской революции. Они совершали террористические акты и поклонялись террору как святыне. Мария Беневская, фанатичная христианка, никогда не расставалась с Евангелиями и вместе с единомышленниками видела в боевых заданиях торжественный ритуал. Сазонов верил, что террористы продолжают дело Христа, бывшего в его глазах предтечей политического преступника. «Требования Христа ясные. Кто их исполняет? Мы, социалисты, хотим исполнить их, хотим, чтобы царство Христово наступило на земле, – писал он из тюрьмы. – Когда я слышал, как мой учитель говорил: "Возьми свой крест и иди за мной", не мог я отказаться от своего креста».

В соответствии с сектантской ментальностью, террористы начинали себя вести, словно осененные псевдовеличием, удивляя и раздражая даже товарищей по партии. Этот тип поведения мог продолжаться только при полной изоляции от всего внешнего по отношению к их микроскопической подпольной общине, в которой товарищество приобретало особенное значение как единственная разновидность социального контакта. «Мир не существовал для меня вообще», – писала совсем молодая девушка, террористка Мария Школьник. «Священный террор» олицетворял и освящал революцию для Доры Бриллиант, порвавшей все связи не только с традиционной средой, но и с остальной партией. «Ее дни проходили в молчании, в молчаливом и сосредоточенном переживании той внутренней муки, которой она была полна. Она редко смеялась, и даже при смехе глаза ее оставались стро-

⁶ Не первому метать бомбу.

гими и печальными. Террор для нее олицетворял революцию, весь мир был замкнут в боевой организации» («Воспоминания» Савинкова). Жизнь по выдуманному закону, насквозь пронизывая смертельные игры террористов, высасывала по каплям силу и убивала ощущение реальности.

Но даже и в периоды активной террористической деятельности радикалы окольными путями убивали себя, медленно подрывая физическое и умственное здоровье. Савинков «снял напряжение, увеличивая дозу алкоголя и опиума. Когда опиум терял эффективность, он вкалывал себе морфий», – пишет его биограф Ричард Спенс. Один из его подчиненных по Боевой организации, Алексей Покотилов, нервный, неуправляемый юнец, вечно находился в состоянии возбуждения – может быть, из-за терзавшей его мучительной экземы. Савинков описывает его нервную походку, мелкие капли крови, выступающие на лбу при волнении, лихорадочно расширенные зрачки. Он знал, что Покотилов подвержен запоям, и накануне покушения старался не спускать с него глаз. «Для меня вся революция – в терроре», – говорил Покотилов и не оставлял постоянных игр со смертью, не упуская ни одного случая ввязаться в столкновение с полицией, настаивая, чтобы ему и только ему принадлежала честь разнести на куски приговоренную «цель». 31 марта 1904 г. сильнейший взрыв потряс до основания гостиницу «Северная» в Санкт-Петербурге. Номер, где помещалась бомбовая лаборатория, и соседние номера были полностью разрушены. Полиция опознала искалеченный труп Покотилова по миниатюрным кистям рук. Его вечно дрожащие пальцы, по-видимому, послужили причиной взрыва при изготвлении бомбы, который, наконец, оборвал его дни.

В книге «Анархисты» Ломброзо назвал русских радикалов «косвенными самоубийцами», которые не имели достаточно смелости, чтобы напрямую покончить с собой. «Вывод Ломброзо слишком поспешен, – комментирует М. Хазани. – "Косвенные самоубийцы" не боятся смерти, скорее, они поклоняются ей, при этом ставя условие, чтобы она была идейно вдохновлена». Этим можно объяснить слезы Доры Бриллиант при известии о полном прекращении террора эсерами в свете Октябрьского манифеста 1905 г. Решение руководства партии лишило ее вождя для значимого самоуничтожения. Эсерке Зинаиде Коноплянниковой повезло больше. Смертный приговор, вынесенный ей за убийство генерала Мина, был для нее пропуском в бессмертие. Она, как пишет свидетель, «шла на смерть так, как идут на праздник».

7 февраля 1908 г. полиция окружила Всеволода Лебединцева (Марио Кальвино), члена Северного летучего боевого отряда эсеров, когда он уже шел на убийство министра юстиции Щегловитова. За мгновение до ареста он крикнул: «Осторожно! Я весь обложен динамитом. Если я взорвусь, то вся улица будет разрушена». Его и его товарищей отвели в тюрьму и семейных из них приговорили к смерти. «Как эти люди умирали... Ни вздоха, ни сожаления, никаких просьб, никаких признаков слабости... С улыбкой на устах они шли на казнь», – писал прокурор, присутствовавший при казни.

«Суицидальная тенденция входила в ментальность террориста, т. к. террористический акт был зачастую смертельной миссией», – замечает Найт,

а современный психолог прибавляет, что когда русские анархисты взрывали на себе динамитные заряды в полицейских управлениях, они тем самым избирали политическое покушение как способ самоубийства. Недаром еще в 1901 г. революционеры в открытую признавали, что если предложить молодому человеку роль террориста-смертника во имя благородной цели, то многие юноши и девушки с радостью предпочтут героический подвиг заурядному самоубийству. «Я моей жизнью по горло сыт», – так говорил один боевик. Другой, вполне беспартийный, обратился к эсеровскому руководству с тем, что он все равно умирает от туберкулеза, поэтому готов от имени ПСР убить председателя Совета министров графа Витте. Политическое убийство сообщило бы его смерти немеркнувшее сияние.

Политическое кредо двадцатичетырехлетнего анархиста-индивидуалиста Дмитрия Богрова было: «Я сам себе партия». Он презирал любую мораль, как общепринятую, так и революционную, и, нуждаясь в деньгах для азартных игр, стал в 1907 г. секретным агентом киевского Охранного отделения. К 1911 г. анархисты окончательно убедились в его связях с полицией и предложили ему, как принято было тогда, выбор: или совершить теракт против высокопоставленного лица, или умереть позорной смертью предателя. Он мог еще, конечно, сбежать, но «меланхолический, скучающий и одинокий» Богров, «до времени состарившийся, циничный и вялый», рассматривавший жизнь как «процесс поедания бесчисленных котлет»⁷, предпочел «косвенное самоубийство» в форме революционного мученичества. 1 сентября 1911 г., в антракте представления оперы Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане», он смертельно ранил двумя пулями премьер-министра П. А. Столыпина. Стрелял он почти в упор и не имел никакого шанса ускользнуть из переполненного Киевского оперного театра.

Перед терактом Богров встретился с видным эсером Егором Лазаревым, проинформировал о своих планах и попросил, чтобы ПСР взяла на себя ответственность за убийство. «Отчетливо ли вы сознаете, что, делая это предложение, вы осуждаете себя на смерть?» – спросил Лазарев. Богров ответил: «Если бы я этого не осознавал, я не обратился бы к вам. Я хочу обеспечить за собой уверенность, что после моей смерти останутся люди и целая партия, которые правильно истолкуют мое поведение, объяснив его общественными, а не личными мотивами». Наверное, ни один другой террорист не формулировал более лаконично стремление к символическому бессмертию.

Притягательная сила терроризма как замаскированного самоубийства была особенно велика для юношества, что подтверждается выводами, полученными М. Хазани об усугублении поведенческого кризиса, связанного с взрослением молодого человека, во времена исторических дислокаций. Партийные лидеры, пишет знаменитая революционерка Вера Фигнер, создали в России «культ динамита и револьвера», надели на террориста нимб, и в результате убийство и эшафот приобрели «магнетическое обаяние» для

⁷ Из его речи на суде.

молодежи. Влияние экстремистской этики было настолько всепроникающим, что стандартный бунт подростка против родительской и – шире – любой «власти» часто принимал форму политического протеста. Доступность героического самопожертвования открывала молодым людям новое русло для решения обычных возрастных проблем. Юношеский беззаботный авантюризм плюс неистощимый запас энергии толкали их к опасным предприятиям, скопированным со взрослых образцов. Подростки, как взрослые, с восторгом говорили о смерти, и тут же переходили к обычной у ребенка вере в собственное бессмертие. Другие, наоборот, выказывали подлинную готовность к гибели, но чаще просто «гибели в деле», чем «во имя революции». Об этом пишет максималист Нестроев, неоднократно сталкивавшийся с подростками, искавшими способа «доказать себя». Не совершеннолетние террористы утверждали, что истинная красота жизни открылась им в «смерти ради смерти», и чаще кончали с собой, чем соглашались на арест и тюремное заключение.

Шестнадцатилетний Лейбиш Рапопорт, взбешенный недружелюбием матери по отношению к его подружке, похитил у родителей небольшую сумму денег и бежал из дома в Екатеринослав. Сперва он хотел покончить с собой, но передумал и предпринял политический демарш в виде угрожающего письма:

«Мамаша! Имейте в виду, что я теперь в боевой организации революционных террористов и по решению комитета должен ездить в разные города России для устройства терактов. Но я готов остаться здесь ради удовольствия прострелить голову такой старой ведьме, как вы. Я донесу о вас на собрания комитета и вполне уверен, что мои товарищи не пожалеют пулю для вашего убийства».

Желая продемонстрировать, что в его гибели виновата мать, мальчик взял на себя ответственность за недавнее покушение на генерал-губернатора Желтоновского. Он думал, его казнят через два-три дня после ареста, вместо чего Лейбиш провел под следствием много месяцев и находился под пристальным наблюдением психиатров, прежде чем военный суд приговорил его к 12 годам тюрьмы, из которых он отсидел только три – благодаря неустанным стараниям матери доказать невиновность сына.



Террорист-смертник не просто готов к смерти, отмечает израильский эксперт Ариэль Мерани; он ее жаждет. Агрессия, принимающая форму самоуничтожения, имеет универсальный характер, не ограниченный ни географией, ни национальной культурой. Вопреки внешним различиям, пишет Хазани, тамильская девушка, убившая Раджива Ганди, в принципе мало отличается, к примеру, от Шарлотты Корде – француженки, которая убила Марата, нимало не сомневаясь, что ее ждет гильотина. Использование самоубийц для совершения террористических актов, конечно, появилось впервые не в исламе, в чем нас усердно убеждают исламские фундамента-

листы. Это побочный продукт сломанной жизни, а не производная от конкретной идеологии или системы верований, их функция – рационализировать саморазрушительную тенденцию в человеке.

И Лифтон, и Хазани указывают, что слом общей системы ценностей и значений часто приводит к социальной дезориентации и отчуждению, которые, в свою очередь, провоцируют появление влечения к смерти у склонных к саморазрушению личностей, страдающих от пустоты, апатии, разочарования, безнадежности и отсутствия смысла жизни. Большую роль играет и параноидальный комплекс преследования, столь искусно использованный российскими экстремистами для оправдания агрессивной реакции в качестве самозащиты. Так же и японской секте Аум-Синрикё служила опорой «осадная ментальность» ее членов и страх, что внешние силы намереваются разгромить их группу.

Из многочисленных воспоминаний революционеров мы узнаём, что их авторы всегда относили себя к «стану погибающих». Считая себя гонимыми, российские экстремисты постоянно проявляли воинственность. Они вели себя одновременно как жертва и как агрессор, жестоко преследуя врага именно вследствие ощущения себя жертвой и проецируя это ощущение вовне, все сваливая на «козла отпущения» – демонизированный образ врага революции. Их личность превращалась в поле битвы между двумя враждебными составляющими разделенного сознания, того, что Хазани называет дублетом «агрессор–жертва», сочетанием, где каждый стремится уничтожить другого. Если ему удавалось обратить свою депрессию вовне, экстремист убивал «эксплуататоров и угнетателей», нет – оставался наедине со своим больным *Я* и делал то же, обращаясь к обыденному самоубийству.

Где бы ни произошел в мире теракт с использованием смертника, нас поражает легкость, с которой исполнитель отдает свою жизнь. Непостижимо, чтобы живая, настоящая жизнь, от которой через одно мгновение останутся кровавые куски мяса, не взбунтовалась против подступающего конца, хотя бы даже на биологическом уровне. Но в тот момент, когда террорист физически уходит из жизни, он уже наполовину мертв, он потерпел поражение в конфликте с самим собой. «Какая-то безмятежная радость, часто соединяющаяся с нездешней ясной улыбкой, так часто нисходящая на самоубийц» не переставала изумлять, по словам Хазани, израильских солдат и американских морских пехотинцев в Ливане. Вот что нам необходимо понять: террорист как личность испытывает такое моральное опустошение, что с трудом может выносить пытку существования. Выжженные дотла «внутренней гражданской войной», они уже не живут, они мертвы при жизни, призраки, притворяющиеся людьми. Акт самоубийства для них – всего лишь последняя точка, формальное подтверждение наступившей смерти. Они счастливы, умирая: ведь «тяжко мертвецу среди людей живым и страстным притворяться» (А. Блок).

Перевод с английского – А. З. Колотов



историк, старший научный сотрудник
Гуверовского института. Живет в США.

УНИКАЛЕН ЛИ АНТИСЕМИТИЗМ?

**Что общего у евреев с армянами, ибо¹ и марвари²?
Исторически сходные закономерности
развития их экономической и социальной роли –
и закономерности гонений**

Ужасы Катастрофы, казалось бы, должны были навсегда покончить с антисемитизмом, став его осуждением; однако эта древняя и ядовитая поросль ненависти вновь возрождается в Европе уже в наше время. В какой мере это объясняется ростом мусульманского населения европейских стран – вопрос, ответить на который не так уж просто.

На протяжении столетий многочисленные объяснения антисемитских идей и действий (в том числе погромов и массовых изгнаний) во многом сводились к особенностям взаимоотношений христиан и евреев (в Европе) или евреев и мусульман (на Ближнем Востоке). Тем не менее многие такие

¹ Негритянское христианское племя, составляющее один из штатов Нигерии. В июне 1960 г. в столице страны произошло столкновение; мусульмане обвинили в этом ибо. В последующие пять месяцев ибо, жившие на севере, подверглись истреблению. Уцелевшие ибо бежали с севера и запада на восток. Восточные провинции были блокированы правительством. 30 мая 1967 г. ибо провозгласили независимость восточной части Нигерии, получившей название Биафра. В июле 1967 г. началась гражданская война, в ходе которой мусульмане за два с половиной года уничтожили почти половину народа ибо (от 1 до 2 млн).

² Торгово-ростовщическая община из древнейшей касты простолюдинов (вайшьи) происхождением из раджпутского княжества Марвар (Индия), заполонивших в середине XIX века города и поселки всей Южной Азии. В современной Индии представители марвари возглавляют ряд крупных компаний.

действия, подкреплённые такими же идеями и во многих случаях сопровождаемые теми же словечками и выражениями, совершались в отношении и других групп, которым не были присущи черты, якобы объясняющие антисемитизм христиан и мусульман. Эти другие группы – армяне Османской империи, нигерийское племя иббо, марвари в Бирме, этнические китайцы (хуацяо) в странах Юго-Восточной Азии и ливанцы во многих странах – не имели с евреями ни общей религии, ни общего языка и даже не принадлежали к одной расе. Роднили их экономические и социальные роли.

На определённом этапе своей истории все эти группы представляли собой «меньшинства посредников» – т. е. людей, по роду занятий оказывающих посредниками между производителями и потребителями, будь то мелкая торговля или ростовщичество. Представители этого меньшинства часто начинали как разносчики, корабейники, бродячие торговцы с кулем за спиной или тележкой. С этого начинались даже такие крупные фирмы, как «Мейсис», «Блумингдейлс» и «Леви Стросс», основанные евреями³, и «Хаггар» и «Фара»⁴ – ливанцами.

Это занятие – бродячий торговец – было широко распространено среди евреев Восточной Европы, эмигрировавших в XIX в. в Америку. Следующим шагом часто становилось владение мелкой лавочкой. Сходные закономерности занятий мелкой розничной торговлей были свойственны ливанцам в Бразилии и китайцам-хуацяо в Юго-Восточной Азии, а в равной степени и другим «меньшинствам посредников» в самых разных странах мира. На первых порах владельцы этих лавочек жили там же, где торговали, – в крошечных помещениях, где днём толклись покупатели. Так, на ночь ливанские лавочники в Сьерра-Леоне просто устраивались на прилавках своих заведений. В Индии при переписи населения марвари часто не попадали в опросные листы переписчиков – поскольку они фактически жили в своих лавчонках на торговых улицах, даже не появляясь в жилых кварталах. В Америке еврейские лавочники часто обитали в закутках за торговым помещением или в лучшем случае над ним (именно так жила семья, в которой вырос Милтон Фридман⁵).

Примечательной чертой таких групп является не то процветание, которое в конечном итоге вознаграждает их представителей, а ужасающая бедность, из которой они поднялись к своему благосостоянию многолетним трудом – часто на протяжении нескольких поколений. Так, в наше время малоимущие американцы, живущие на пособие, просто благоденствуют в

³ Как отмечает Л. Поляков, «чаще всего под залог отдавали предметы одежды. Невыкупленные предметы, отданные под залог, подлежали продаже. Если это были предметы одежды, то предварительно их обновляли. В этом заключается причина специализации евреев в штопке и шитье, что, безусловно, способствовало сохраняющейся вплоть до настоящего времени концентрации евреев в сферах, связанных с производством одежды».

⁴ Крупные американские компании по производству и торговле одеждой.

⁵ Нобелевский лауреат по экономике 1990 г.

сравнении с евреями-иммигрантами нью-йоркского Нижнего Ист-сайда⁶. Например, проведенное в 1908 г. обследование показало, что примерно у половины живущих там семей одна комната приходится на 3–4 человека, у 25% семей – на пять и более человек и менее чем у 25% – на двух человек. В тот же период китайские иммигранты, прибывавшие в страны Юго-Восточной Азии, обычно отличались такой же бедностью на грани нищеты. Согласно фундаментальному научному труду Виктора Пурселла «Китайцы в Юго-Восточной Азии»⁷, «иммигранты-китайцы, прибывавшие в Индонезию, обычно привозили с собой лишь тючок с одеждой, циновку и подушку». Примерно так же обстояло дело у ливанских иммигрантов в колониальной Сьерра-Леоне и впоследствии – у корейских иммигрантов и вьетнамских беженцев в Соединённых Штатах.

Эти и прочие общие черты, роднящие «меньшинства посредников» в разных странах мира, породили интересный феномен – китайцев-хуацяо стали называть евреями Юго-Восточной Азии, народность ибо – евреями Нигерии, парсов – евреями Индии, а ливанцев – евреями Западной Африки.

Но были у них и другие прозвища – зловещие и леденящие душу. Их награждали эпитетом «паразиты» – поскольку они, будучи мелкими торговцами и ростовщиками, не производили ничего материального, а были лишь посредниками между производителями товаров и их потребителями. Другое прозвище – «кровопийцы», выражающее представление о посредниках как о тех, кто не вносит свой вклад в благосостояние общества или нации, а просто ухитряется урвать свой кусок от богатства других и за их счёт. Подобное обвинение выдвигалось против бесчисленных «меньшинств посредников», от деревень Индии до негритянских гетто Соединённых Штатов.

Сколько раз этим меньшинствам приходилось бежать, спасая свою жизнь от разъярённой толпы, сколько раз власти подвергали их массовым изгнаниям! Однако изгнание этих «паразитов» и «эксплуататоров» для оставшегося населения оборачивалось не процветанием, а экономическим упадком, если не катастрофой – что и случилось с экономикой Уганды, которая просто рухнула после изгнания индусов и пакистанцев в 70-х годах XX века. Сходные последствия наблюдались на всём протяжении европейской истории после каждого изгнания евреев, а в азиатских странах – после избавления от подобных «меньшинств посредников».

«Клановый» – ещё один эпитет, которым награждают «меньшинства посредников» в разных странах, от парсов в Индии до евреев в Соединённых Штатах. Клановость в какой-то мере неизбежна, когда подобное меньшинство ассоциируется с определённой территорией – именно той, в которой сосредоточена её розничная торговля или ссудные заведения. Когда лавки, ссудные кассы и ломбарды такого меньшинства сосредоточены в районе, основное, титульное население которого принадлежит к другой группе,

⁶ Юго-восточный район Манхэттена.

⁷ *The Chinese in Southeast Asia. By Victor Purcell. Second Edition. Oxford, London, 1965.*

основой и источником средств к жизни меньшинства становится именно их культурное отличие от такого большинства. Так, крестьяне стран Юго-Восточной Азии, не отличающиеся бережливостью (или просто от недостатка денег), обращались за ссудами и кредитом к посредникам – китайцам-хуацяо – только потому, что именно они были бережливы. Для семьи хуацяо позволить своим детям слиться с культурой коренного населения и перенять их ценности и типы поведения означало бы разорение, экономическое самоубийство. Это же справедливо в отношении и других «меньшинств посредников» в разных странах мира.

Экономическая необходимость культурного обособления означает не только социальное отчуждение, но и чувства возмущения и обиды в окружающем социуме – чувства, которые умелый демагог может с лёгкостью взвинтить до политической враждебности или прямого насилия. Это случалось бесчисленное количество раз и повсеместно – озверевшие толпы с яростью набрасывались на марвари в Бирме, убивали ибо в Северной Нигерии, терзали армян в Османской империи, громили ливанские лавки в Сьерра-Леоне, уничтожали китайцев-хуацяо в Сайгоне, Джакарте и Куала-Лумпуре, а уж евреев громили и убивали во многих странах Европы и средних веков, и нового времени.

Масштабы смертельной вражды против «меньшинств посредников» несравнимы с масштабами насилия против иных меньшинств – таких, как, например, покорённые племена или бывшие рабы. Число китайцев, ставших жертвами разъярённой толпы в 1782 г. в Сайгоне, или евреев – в 1096 г. в Центральной Европе или в 1648 г. на Украине (не говоря уже об армянах, истреблённых в Османской империи в 90-х годах XIX в. и во время Первой мировой войны), многократно превосходит число негров, подвергнутых линчеванию за всю историю Соединённых Штатов. Только нацисты превысили скорбный счёт уничтоженных в геноциде армян – Катастрофа европейского еврейства, став апогеем преследований евреев, в то же время оказалась кульминационной точкой долгой истории безудержного и яростного насилия, направленного против «меньшинств посредников» в самых разных странах.

Чем же объясняется столь убийственная вражда против именно этого меньшинства? Чем объяснить насилие в отношении групп, которые сами по себе к насилию совершенно не склонны?

Ответ отчасти заложен в роли «меньшинств посредников» как таковой. Долгое время мелкая торговля и ссудно-залоговая деятельность считались экономически ущербными, не способствующими росту «реального», «ощутимого» благосостояния общества, – даже если промышленявшие ими люди не принадлежали к обособленной группе. Более того, и в средневековой Европе, и в исламских странах взимание ссудного процента считалось грехом⁸; в об-

⁸ Здесь автор не совсем прав. Начиная с XIV в. канонический запрет ссужать деньги под проценты постепенно размывался под давлением экономических потребностей, и уже в начале XVI в. папа Лев X, а затем Тридентский собор (1545–1563) одобрили принцип взимания процентов (*Примеч. пер.*).

ществах азиатских и африканских стран хотя и не существовали религиозные запреты на это занятие, но оно считалось, по меньшей мере, предосудительным. В часто цитируемой статье одного британского экономиста, оказавшегося в лагере военнопленных в Германии во Вторую мировую войну, отмечается, что среди заключённых самопроизвольно возникали такие «посредники», к которым солдагерники относились с презрением, хотя занимались этим вовсе не выходя из определённой этнической группы, а самые разные личности – от католического священника до сикха.

На протяжении почти всей истории человечества большинство населения занималось тяжким сельскохозяйственным трудом, и зарождение промышленности означало для них лишь смену декораций – на фабрике приходилось трудиться не менее тяжело, чем на земле. Как тут не вознегодовать на «белоручек», зарабатывающих на жизнь значительно меньшими усилиями – просто продавая то, что произвели другие, и получая больше денег, чем они давали взаимы. А если такими людьми оказывались представители «меньшинств посредников», вступал в действие ещё и фактор этнических различий – и вот налицо всё, что нужно как для подспудной ненависти окружающих, так и для демагогии, подогревающей её до точки кипения.

Возможно, не менее важным оказывается ещё один фактор – неизбежная угроза самосознанию (эгосознанию) других людей, порождаемая этими меньшинствами, которые из нищеты возносятся выше материального уровня окружающих. А что же прикажете этим окружающим думать? Конечно, истории о бедняках, выбившихся в люди, кого-то вчуже и вдохновляют, но те, кто живёт бок о бок с «меньшинством посредников», видит их появление – практически нищих, сдва владеющих местным языком, но с течением времени становящихся зажиточнее своих соседей, – реагирует вполне определённым образом: либо «как же получилось, что эти пришельцы нас так уделали?», либо «наверняка они добились всего незаконным путём!» Стоит отметить, что последнее объяснение обычно наготове у демагогов и его с охотой воспринимают те, кто им внемлет, ещё более разжигая в себе ненависть к чужакам.

Когда людям приходится выбирать – либо презирать себя за собственную косность и отсталость, либо ненавидеть других за их успехи, они редко выбирают первое.

Проведенные в Соединённых Штатах исследования показывают, что лишь трудолюбие, скромный образ жизни и бережливость корейских иммигрантов позволяют им через некоторое время после прибытия в страну открыть лавочку в чёрном гетто, а работа в ней с раннего утра и до поздней ночи даёт средства к более чем скромному существованию. Но, несмотря на эти очевидные результаты трудолюбия и бережливости, среди чернокожего населения господствует уверенность в том, что успех корейских и других иммигрантов из Азии объясняется некими особыми государственными поблажками, недоступными неграм. Разумеется! А какое иное объяснение не нанесёт болезненный удар по самолюбию этих обитателей гетто? Сотруд-

ник учреждения, распределяющего субсидии малым предприятиям, сам, кстати говоря, негр, рассказывает, как местное чернокожее население заливало его жалобами на то, что это учреждение отдаёт предпочтение начинающим азиатским бизнесменам в ущерб чернокожим. «И, – говорит он, – несмотря на очевидную нелепость подобных претензий, мне так и не удалось поколебать их уверенность. Поверить в обратное было выше их сил».

Роль ущемлённого самолюбия – скорее, сомнения – в возникновении вражды к «меньшинствам посредников» проявляется и иными путями. Ненавидящему и убить-то мало – жертву следует ещё унижить и лишить всего человеческого. С женщин срывали одежду, обнажая их прилюдно, – так поступали погромщики с армянками в Османской империи и нацисты – с еврейками в нацистских лагерях смерти. Трудно вообразить садистские унижения, которым в подобных обстоятельствах не подвергались бы в равной степени и мужчины, и женщины. Когда в 90-х годах XX века в надежде восстановить экономику Уганды кто-то предложил вернуть в страну азиатских иммигрантов, высланных 20 годами ранее, в ответном хоре негодования особо выделялась группа, угрожающая тем, кто отважится вернуться, убийством, причём «наиболее издевательским образом». Просто убийство, видимо, окажется недостаточным, чтобы залечить раны, нанесённые самолюбию тех, кого эти преуспевшие иммигранты оставили так далеко позади.

Показательно, что враждебное отношение к представителям тех или иных меньшинств, бросающим своё традиционное занятие, с которого они начинали, как правило, не утихает. Это неудивительно – ведь те же трудолюбие, скромный и рачительный образ жизни и дальновидность, без которых стало бы немыслимым выживание «меньшинств посредников», часто ведут к выдающимся успехам в образовании, профессиональной деятельности и в управлении крупными коммерческими предприятиями.

Даже малообразованные или необразованные представители таких меньшинств часто понимают, насколько важно дать образование своим детям. Поэтому как только китайские иммигранты, прибывавшие в страны Юго-Восточной Азии в XIX веке, начинали процветать в своих лавчонках и прочих занятиях, они тут же приступали к финансированию китайских школ. Так, например, в Малайзии последующие поколения китайского меньшинства поставляли абсолютное большинство студентов Малазийского университета – до тех пор, пока правительство не ввело квоты, ограничившие их численность. В 60-х годах прошлого века китайские студенты составляли подавляющее большинство среди получивших дипломы в технических областях – 404 китайца и всего 4 малайзийца. Такое сосредоточение выпускников колледжей и университетов в наиболее сложных и, соответственно, обеспечивающих высокие доходы специальностях стало общей закономерностью среди выходцев из «меньшинств посредников» – будь то хуацяо в Малайзии, ливанцы в Бразилии или евреи во многих странах мира.

В любой стране среди ливанских иммигрантов первой волны было мно-

го неграмотных, а высокообразованных – считанные единицы. Ливанцы, однако, – как и китайцы, евреи, армяне и другие – вышли из среды, где образованность очень ценилась даже теми, кому не довелось учиться. Впрочем, образование и не играло ведущей роли в становлении общины. Как правило, лишь прочно встав на ноги в предпринимательстве, «меньшинство посредников» позволяло себе освободить детей от работы и отправить в школу и ещё через какое-то время оказывалось в состоянии дать детям высшее образование.

В школах и высших учебных заведениях дети «меньшинств посредников» – армян в Османской империи, китайцев в Юго-Восточной Азии, евреев в США, – как правило, преуспевали. Но даже евреи, при всём их благоговении перед учёностью, выдвинулись в Америке вовсе не за счёт образованности. Согласно проведенному в 1951 году опросу студентов Нью-йоркского городского колледжа, основную массу которых составляли евреи, лишь 17% их отцов, родившихся до 1911 года, закончили восемь классов.

Вспомним корейских иммигрантов или вьетнамских беженцев, открывающих мелкую лавочку в одном из чёрных гетто Америки. Несмотря на бедность, отсутствие беглого английского и хороших манер, растущее год от года благосостояние этих мелких предпринимателей становится своего рода вызовом обитателям гетто. Ведь дети этих иммигрантов, рождённые уже в Америке, скорее всего, получают образование в колледжах (возможно даже, что в самых престижных), в то время как уделом детей большинства местного населения становятся иные перспективы – низкооплачиваемая работа, безработица, а для многих и тюрьма. Вдобавок следует отметить, что в таких районах атмосферу неприязни и возмущения «несправедливости» имущественными различиями создают именно те, кто задаёт тон как в местном гетто, так и в обществе в целом. Это и приводит к образованию благоприятной среды для взглядов и действий, называемых антисемитизмом (когда они направлены против евреев), которые весьма сходны с взглядами и действиями, направленными против других «меньшинств посредников» – в разное время и в разных странах мира, но столь же неизбежно.

Послесловие

Предложенная вниманию читателей статья – сокращённое (и, увы, неизбежно обеднённое) извлечение из капитального труда Т. Соуэлла «Миграции и культуры»⁹ – части трилогии, в которую вошли также не менее значимые книги «Завоевания и культуры»¹⁰ (1998) и «Раса и культура»¹¹ (1994).

По меткому выражению Ульриха Филлипса, «не мы живём в прошлом,

⁹ *Migrations and Cultures: A World View. By Thomas Sowell.* New York: Basic Books, 1980.

¹⁰ *Conquests and Cultures: An International History.* Ibidem.

¹¹ *Race and Culture: A World View.* Ibidem.

а прошлое живёт в нас». В своей трилогии Томас Суоэлл анатомирует и реконструирует это прошлое, анализируя генезис массового восприятия социопсихологических и культурных реалий и их воплощение в общественных институтах и политическом мышлении сегодняшнего общества. Особое внимание он уделяет мигрантам как носителям «контрастных» культур в чужеродном (и часто – враждебном) окружении титульного этноса, обнаруживая сходные закономерности в совершенно разных эпохах и уголках мира. И в этом смысле еврейская диаспора – наиболее наглядный и выразительный пример противостояния, в котором сталкиваются сформированные веками системы ценностей, – важный компонент культуры. Антисемитизм и стал продуктом таких столкновений.

Суоэлла часто упрекают (и столь же часто – незаслуженно) в пренебрежении ролью религии в формировании отношений между меньшинствами и их окружением. Действительно, когда речь заходит об антисемитизме, первые же ассоциации – погромы, изгнания, массовое уничтожение – неизбежно связывают его с титульной конфессией, будь то христианство или ислам. И лишь немногие дают себе труд ознакомиться с историческими фактами, неоспоримо утверждающими, что роль церкви в преследовании евреев (например, в европейском средневековье) далеко не так проста и очевидна, как это представляется обыденному сознанию.

Так, например, в рассуждениях об историко-религиозных корнях антисемитизма стал общим местом довод о том, что евреи стали заниматься ссудным делом только потому, что христианам и мусульманам религия якобы запрещала ростовщичество. Рамки послесловия не позволяют привести должное количество аргументов против этого утверждения, поэтому ограничусь лишь ссылкой на его прекрасное историко-экономическое и теологическое освещение¹² (и в особенности главы о еврейских ростовщиках, якобы вызывавших всеобщую ненависть христиан и первыми принимавших на себя удары гонений на евреев в средневековой Европе).

Любую слабо развитую экономику (а именно такой и была экономика средних веков) можно сразу распознать по неизменному симптому – постоянная и болезненная нехватка как средств производства, так и наличных денег. В этих условиях единственное лекарство от стагнации – займы и ссуды. И даже такой мощнейший институт, как римско-католическая церковь, не мог остановить экономическое развитие: ведь если бы запрет на ссудно-залоговую деятельность соблюдался буквально, это сделало бы невозможным любой кредит и, следовательно, любую торговлю в сколь-нибудь значительных размерах. Поэтому церковь предпочла компромисс, в результате которого, например, в Италии, уже в XIV в. ссудная касса становится государственным учреждением.

Как отмечает Л. Поляков, «с точки зрения христианской теологии пред-

¹² Леон Поляков. История антисемитизма (*Leon Poliakov. Histoire de l'antisemitisme. L'age de la foi.*) / Под ред. проф. В. Порхомовского. «Gesharim» Lechaim Publications, Jerusalem, 1997.

почтительней, чтобы этим занимались евреи; с еврейской точки зрения связанный с этим позор значительно меньше». И далее: «...папская канцелярия предоставляла еврейским заимодавцам официально оформленные концессии, которые служили им одновременно рекламой и защитой. Еврейские ростовщики Лотарингии также могли этим пользоваться. Разумеется, за это они должны были платить соответствующие сборы. По мере того как папы, чья казна раньше пополнялась всем христианским миром, должны были ограничиваться теми доходами, которые они могли получать в своем собственном государстве, а также продажей должностей и т. п., роль этих сборов становилась все более существенной» (ор. cit.).

Отчасти поэтому для Соуэлла вопрос о религии как факторе антисемитизма относится к ряду второстепенных – даже в сравнении с тем, что занятие ссудами и залогами обеспечивало более высокую ликвидность накопленного капитала (в сравнении с недвижимостью или торговым предприятием) в случае преследований или немилости очередного властителя, вынуждающих перебраться в другую местность. Он выделяет прежде всего наиболее существенные признаки явления, достоверные и исторически, и статистически, а уж затем квалифицирует его, не сводя всю сложность вопроса только к экономике или массовой психологии.

Среди современных мыслителей вряд ли можно отыскать человека, который столь незаслуженно мало известен русскоязычному читателю. Публикуя перевод этой статьи, я попытался хоть в малой степени восполнить этот пробел – в надежде на последующие публикации на русском языке трудов этого выдающегося учёного.

Перевод, примечания и послесловие Игоря Веслера



кандидат филологических наук, историк философии и культуры, автор книги «Введение в философию подмены» и ряда статей по культурологии и литературоведению. Составитель и редактор альманаха «Вторая Навигация». Живет в Германии.

В ПОИСКАХ ИМЕНИ И ЛИЦА. ФЕНОМЕНОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОГО ЛАНДШАФТА

Как в России существует исконная и непреходящая традиция пенять на «тлетворное влияние Запада», так и на Западе нередко можно услышать сеговращения на дурное американское влияние, приведшее в последние десятилетия к коммерциализации человеческих отношений в Европе. Тезис на первый взгляд бесспорный. Вопрос только в том, что еще в XIX веке о коммерциализации европейца можно было прочесть не только у почвенника Достоевского («Зимние заметки о летних впечатлениях»), но и у западника Герцена, не без горечи признававшего, что «в Европе правит купец». Да и в самой Европе беспощадный обличитель господствующего нигилизма Фридрих Ницше искренне сокрушался: «Современное общество заражено американизмом, есть что-то дикое в этой алчности к золоту, которая характеризует современных американцев и все в большей степени заражает современную Европу».

Так что если проблема европейцев в том, что они подпали под дурное влияние, то возникла она, похоже, даже не вчера. Однако склонен предполагать, что американцев – в недавнем прошлом выходцев из Европы – можно упрекнуть разве что в том, что они с лихвой возвращают когда-то полученное наследство. Сегодня они лишь возглавляют мировые гонки по коммерциализации существования, продолжая не ими начатую эволюцию человека от «животного социального», согласно Аристотелю, к «животному экономическому».

Это, конечно, не означает, что в прошедшие времена человека совершенно не заботило его материальное положение, просто до определенного

исторического момента стремление извлечь максимальную материальную прибыль и вкусить все возможные жизненные блага не являлось основным общественным идеалом, абсолютной и непререкаемой ценностью. И даже такая неоспоримая для каждого трезвомыслящего человека максима, что «лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным», в эпоху Фомы Кемпийского и подражаний Христу выглядела довольно спорной. «Презирай земные богатства, дабы ты мог приобрести небесные», – учил паству Бернар Клервосский. Не говоря уже о евангельском: «легче верблюду пройти через игольное ушко, чем богатому войти в Царствие Небесное».

Заглянув в более отдаленные эпохи можно убедиться, что и тогда у людей культивировались и почитались иные жизненные идеалы¹. Нельзя сказать, чтобы меньше было жестокости и страданий, грязи и крови, но в господствующих слоях общества задавался более высокий нравственный вектор, чем прагматическая устремленность к материальной пользе, понятой как конечный смысл существования.

Смену ценностных ориентиров наступавшей буржуазной эпохи красноречиво описывал Константин Леонтьев: «Не ужасно ли было бы думать, что Моисей всходил на Синай, что эллины строили свои изящные Акрополи, римляне вели Пунические войны, что гениальный красавец Александр в пернатом каком-нибудь шлеме переходил Граник и бился под Арабеллами, что апостолы проповедовали, мученики страдали, поэты пели, живописцы писали и рыцари бились на турнирах для того только, чтобы французский или немецкий или русский буржуа в комической своей одежде благодушеествовал бы "индивидуально" и "коллективно" на развалинах этого прошлого величия?.. Стойно было бы за человечество, если бы этот подлый идеал всеобщей пользы, мелочного труда и позорной прозы восторжествовал бы навеки»².

Но ведь эстетические оценки – вопрос всегда целиком субъективный: кому нравится осетрина в белом вине, а другой предпочтет щи из кислой капусты. И сегодня найдется немало людей, которых куда более восхищает дизайн последней модели сошедшего с конвейера «мерседеса», чем пернатый шлем великого полководца, и которые охотно предпочтут блестящему рыцарскому турниру хороший футбольный матч или веселое эстрадное шоу. Не создает ли каждая эпоха свои представления о прекрасном, и не на свой ли манер решает вопрос о том, что такое хорошо и что такое плохо. «Вкус – дело вкуса», – любят повторять поклонники безвкусицы, что, впрочем, не отменяет существа затронутой проблемы.

Проблема же состоит в том, существует ли «ценностей незыблемая скала», или принцип относительности безраздельно царит в мире человеческих идеалов и ценностей.

¹ Стоит вспомнить: от племенного обычая *патлач* – разорительного жеста гостеприимства, описанного Й. Хейзингой, до древнегреческого понимания *arete* (добродетели) и республиканского почитания суровых гражданских добродетелей в духе Катона в Риме.

² Леонтьев К. Собр. соч.: В 9 т. М., 1912–1914. Т. 5. С. 426.

Каждое время по-своему отвечает на этот вопрос, и создается впечатление, что история человечества совершает бесконечные маятниковые движения между двумя крайними точками, двумя радикальными способами разделиться с истиной. Эпохи безоговорочной абсолютизации истины, избияния во имя ее торжества инакомыслящих, а также всех, осмелившихся усомниться в ее неоспоримой правоте, сменяются эпохами, подвергающими тотальной релятивизации сам принцип истины, провозглашающими относительность любых оценок и ценностей единственной и окончательной Истиной.

На этих качелях истории беспрерывно раскачивается человек от времен фанатичной веры до времен безоглядного цинизма, туда и обратно: от мифифицированных истин, мирно почивших в догме, до карамазовского «всё позволено».

Однако данная проблема затрагивает не только окружающую человека действительность, но и самого человека, его онтологический статус. Существуют два взаимоисключающих воззрения на суть человеческой природы, каждое из которых, тем не менее, имеет свои резоны. Одни полагают, что нет ничего принципиально нового под луной и человеческая природа в основе своей неизменна. Другие уверены, что мир бесконечно меняется и человек радикально изменяется вместе с ним. Для подтверждения первой точки зрения достаточно обратиться к многовековой письменной традиции, свидетельствующей о том, что человек испокон времен постоянно кружит над одними и теми же вековыми проблемами бытия: смысла жизни, загадки мироустройства, тайны смерти, ценности дружбы, превратностей любви, поисками Истины³. И точно так же на протяжении веков душу человека терзают одни и те же темные бесы: страха, сладострастия, ненависти, зависти, ревности, властолюбия, тщеславия – и об этом повествуют многочисленные литературные опыты, оставленные нам ушедшими поколениями.

Как в высоких, так и в низменных своих проявлениях человек обнаруживает завидное постоянство натуры. А значит, можно говорить о единой человеческой природе, остающейся неизменной при сменах культур и социальных формаций.

Свои аргументы имеют и сторонники противоположного взгляда на проблему. Нет той самой «ценностей незыблемой скалы», на которую уповал Осип Эмилевич Мандельштам. «Разве способны мы воспринимать и чувствовать трагедии Эсхила и Софокла так, как их чувствовали и воспринимали современники?» – спрашивал Освальд Шпенглер. Не является ли

³ Об этом повествуют древнеегипетские «Песни арфиста» и «Разговор разочарованного со своей душой», об этом «Вавилонская теодицея» и устремления бесстрашного Гильгамеша, об этом размышления Когилета и вопрошания юного Ничикета из Катхи-упанишады. Да и вообще все, что гордо именуется вершинами человеческой культуры, – от духовных поисков принца Гаутамы и мудрых парадоксов Лао-Цзы до трагических бездн, открывающихся в творчестве Шекспира и Достоевского.

наше прочтение древних текстов всего лишь искусственной реконструкцией, невольно подгоняемой под стереотипы современного мировосприятия и не имеющей ничего общего с писаниями великих греков? Не выстраивает ли каждая культура свою собственную систему ценностей – эстетических, этических, религиозных, доступных лишь ее исконным носителям? А потому и не может быть единых критериев для их объективной оценки.

Каждый культурный космос рождает свою ценностную иерархию: египетскую, китайскую, индийскую, европейскую – в пространствах которой возможна встреча с эллином или иудеем, но отнюдь не с человеком-вообще, человеком-на-все-времена. Как склонен был считать, к примеру, Джон Локк, полагавший, что достаточно обнаружить, что думают современные ему французы и англичане, чтобы знать, что в свое время думали греки и римляне, поскольку «человек всегда и повсюду одинаков».

По сути, вопрос заключается в том, существуют ли универсальные свойства человеческой природы, позволяющие говорить о человеческой истории как о едином процессе, или таковых нет, и человек текуч, как река, и то, что проецируется нашим разумом как линия исторического бытия человечества, на деле всего лишь беспорядочно разбросанные во времени и пространстве пунктиры?

Оспаривать то, что жизнь – это процесс непрерывного изменения и становления, особенно в нашу эпоху безумного калейдоскопа сменяющих друг друга событий, занятие довольно бесперспективное. Однако при всем «лица необщем выраженьи» предшествующих культурных эпох остается в них нечто неистребимо общее, неразрывно объединяющее, а именно – *лицо*.

При всем различии ценностей и традиций, некогда существовавшие и ныне существующие культуры имеют несомненную общность. И эта общность культур – *культура*. От примитивной наскальной живописи до сверхсложных композиций современного искусства, культура едина как выражение духовного модуса человеческого существования, стремления и способности людей переживать и творить мир в многообразии символических форм. Воля к творчеству как к реализации духовного модуса, заложенного в человеческой природе, остается неизменной сущностью вида *Homo sapiens* на всем протяжении истории. Волю к творчеству следует понимать в самом широком смысле, как волю к осуществлению культуры, о чем писал Николай Бердяев; сюда входит не только искусство, но и религия, мораль, наука, социум – словом, все то, что составляет человеческую историю.

В этом смысле, вероятно, и следует понимать определение, данное Мерабом Мамардашвили: «Человек – это длительное усилие». Человек не сводим только к своей актуальной данности, поскольку пребывает в непрерывном становлении, реализуя многообразие заложенных в нем потенций. Он всегда в пути, со всеми падениями и подъемами, ему сопутствующими. Он одновременно субъект и объект творческого усилия и, подобно Протею, принимая тысячи обликов, претерпевая бесконечную череду изменений, остается верен самому себе, в то же время постоянно от себя ускользая.

Именно таким образом происходит процесс цивилизации, «проходящий через целый ряд поколений и *меняющий личностные структуры людей, не изменяя при этом их природу*»⁴ (курсив мой. – М. Б.), – считал немецкий историк культуры Норберт Элиас. И здесь возникает невольный вопрос: как соотносятся меняющиеся в ходе цивилизации личностные структуры людей с их неизменной человеческой природой? Какие свойства этой природы оказываются востребованными нашим постиндустриальным обществом и какие личностные структуры оно создает, культивирует и тиражирует как достойный подражания образец? И, наконец, не является ли проблема коммерциализации человеческих отношений только одним из следствий, частным случаем куда более глобального процесса современных трансформаций личностной структуры под воздействием цивилизационных изменений?

Г. С. Померанц предостерегает от ядов, которые, по его мнению, неизбежно вырабатывает каждая цивилизация в ходе своего развития, и от смертельной концентрации которых, в конце концов, погибает. Имеем ли мы дело с симптомами подобной болезни, или это всего лишь естественный этап в ходе развития, очередная смена стадий в историко-культурном становлении общества?

Чтобы оценить произошедшие сдвиги, следует, прежде всего, определить критерий, по которому мы собираемся судить – к лучшему или к худшему изменился в процессе цивилизации тот человеческий тип, который определяет и, в свою очередь, сам определяется современным постиндустриальным ландшафтом.

Если сравнивать сегодняшнюю Европу с эпохой средневековья, то среди прочих отличий можно отметить сглаживание жестких сословных перегородок. Социум стал более однородным, но и более стратифицированным. Несомненно, и поныне сохраняются существенные различия, отделяющие политическую и денежную элиту от простых среднестатистических граждан. Однако эти различия несопоставимы с теми, что отделяли знатного вельможу от, предположим, представителя цеховой корпорации.

Общество усреднилось и демократизировалось. Но выравнивание и в коллективе, и в обществе обычно происходит по нижнему уровню. Что-то оказалось невозвратно утерянным, бесследно исчезнувшим. Не об этой ли дорогой его сердцу потере сокрушается в уже приведенном нами отрывке Константин Леонтьев?

То, что в итоге оказалось нами утерянным, можно было бы определить как аристократизм человеческого духа в качестве вектора высших проявлений человеческой природы, ведь не об отживших же аксессуарах рыцарского гардероба вздыхал известный русский мыслитель. Скорее, его печалило, если переформулировать афоризм Лихтенберга, то, что на смену величии человеческого духа приходит величие человеческого нюха. Вовремя

⁴ Элиас Н. О процессе цивилизации. М.–СПб.: Универ. книга, 2001. Т. 1. С. 41.

уловить веяния времени, выгодно использовать сложившиеся обстоятельства и извлечь из всего этого максимальную практическую пользу – вот залог социального успеха и секрет жизненного преуспеяния, основных ценностей наступившей эпохи. На страницах журнала «Форбс» пишется сегодня «Теогония» нашего времени.

Возможно, что в результате сложившихся перемен жизнь для многих оказалась комфортнее и безопаснее, чем раньше, но зато и безмерно пошлее. Пошлость стала воздухом, которым мы дышим. Секрет пошлости – в незатейливой аберрации на тотальное снижение любых проявлений человеческой сущности. Вроде бы в наличии остается все то же, но только куда более мелкой монетой: чувства, мысли, вкусы, склонности, поступки. Та же fuga Ре-минор, но только в качестве пикантной заправки к последующей музыкальной попсе, Мона Лиза, но на обертке туалетного мыла и т. д.

Принцип калокагатии⁵, столь ценимый античной философией, ныне претерпел существенную девальвацию. Вместо Красоты, раскрывающей идею возвышенного и призванной облагораживать души, торжествует культ красоты в его массовом глянцево-рекламном выражении, призванный возбуждать душевный зуд незамедлительного обладания этим одушевленным или неодушевленным, но равно вожделенным объектом.

Добро услужливо уступает место добродушию, чувству, возникающему у человека обычно на сытый желудок и предполагающему определенную склонность к благотворительности, конечно, в разумных пределах.

А упоминание об Истине считается неприличным в кругах, близких к интеллектуальным, из-за ее сомнительной в наши дни репутации.

Один из искушеннейших диагностов XIX века Алексис де Токвиль писал: «Я стремлюсь увидеть новые обличья, под которыми может появиться в мире деспотизм. Первое, что поражает наблюдателя, – это неисчислимое множество людей, равных и одинаковых, неустанно стремящихся к мелким суетным удовольствиям, которыми они перенасыщают свою жизнь. Каждый из них, живя отдельно от других, чужд судьбе всех остальных, человечество в целом представляют для него его дети и личные друзья. Что же до его сограждан, он рядом с ними, но он их не видит, он касается их, но их не ощущает, он существует лишь в себе и для себя одного, и пусть у него и существует родство, страну он, можно сказать, утратил.

Над этой расой людей стоит огромная и покровительствующая власть, взятая исключительно для того, чтобы обезопасить их благоденствие и надзирать за их судьбой. Эта власть абсолютная, подробная, регулярная, осмортрительная и благожелательная. Она была бы похожа на авторитет родителей, если бы, как у родителей, ее целью было бы подготовить людей к

⁵ Калокагатия (греч. *καλοκαγατία* от *καλος* *кай* *агатос*, букв. «красивый и добрый»). В античной философии, в частности у Платона, понималась как гармония между внешним и внутренним в человеке, как единство красоты и добра. Добро, в свою очередь, – результат познания истины.

взрослости, но она, напротив, стремится держать их в вечном детстве; ее вполне устраивает, что люди наслаждаются жизнью, лишь бы они не думали ни о чем, кроме этого наслаждения»⁶.

Эти невеселые наблюдения Токвиля как бы перекликаются с откровениями Великого инквизитора у Достоевского о «миллионах счастливых младенцев», о «рае всеобщего муравейника» как о принципе единственно разумного мироустройства для «слабого человека», более всего страшась личной свободы и нуждающегося лишь в отеческой опеке властей.

Тут-то невольно и задумаешься над вопросом: а не является ли неизбежной платой за невиданный научно-технический прогресс общества и неотъемлемые завоевания современной западной демократии катастрофическое понижение ресурсов человеческого в человеке, вырождение его духовной природы, деградация присущей ему воли к творчеству, воли к культуре и, как основы всего этого, – воли к жизни? «Не взрыв, но всхлип» – такой финал человеческой истории предчувствовал Томас Элиот.

Так прав ли был Норберт Элиас в своем утверждении, что процесс цивилизации изменяет только личностную структуру людей, не меняя при этом их природы? Или же сама природа людей в зависимости от типа складывающихся личностей может быть подвержена трансформациям?

Уникальность нашей ситуации состоит в том, что в течение всей обозримой истории человек еще ни разу не попадал в горнило столь тотальной перековки сознания, такой вязкой зависимости от созданной им самим среды обитания, не знал таких изощренных искушений многочисленными техническими благами цивилизации, как сегодня. Иными словами, его природа еще не подвергалась подобным испытаниям, да к тому же в масштабах столь глобального эксперимента.

Сложность исследуемой проблемы, помимо анализа этой весьма непростой задачи, заключается еще и в том, что само понятие «человеческая природа» крайне туманно и вряд ли поддается сколь-либо удовлетворительной формализации. Поэтому оговоримся, что мы будем подразумевать здесь, прежде всего, духовную составляющую этой природы, т. е. человеческую открытость к вопрошанию Абсолюта и рождающуюся из нее способность к креативности, волю к осуществлению культуры.

В дальнейшем попробуем проследить, какие тенденции развития личностной структуры индивидуума продуцирует современное общество и какое воздействие эти тенденции способны или же не способны оказывать на нашу природу. Естественно, что речь может идти только о некоторых из наличествующих и представляющих интерес для рассмотрения тенденций.

К ним следует отнести: революционные перемены в феноменологии быта, метафизику современного индивидуализма, опыт нового номадического сознания, психологию гедонизма и коммерциализацию человеческих отношений, не исключая и пространство культуры. Явления, безусловно,

⁶ *De Tocqueville A. 1945. Vol. 2. S. 336.*

связанные и взаимообусловленные в действительности, но выделяемые в своей отдельности лишь в целях удобства анализа.

Даже за последние десятилетия в быте людей произошли существенные изменения, он претерпел кардинальное обновление. Результаты воздействия этих изменений на человеческую психику еще предстоит осмыслить, но уже сейчас можно предположить, что такие факторы нашего повседневного существования, как всевозможные средства видеотехники, а затем и интернет, обусловившие тотальное проникновение в повседневную жизнь виртуальной реальности, не могли определенным образом не скорректировать наше сознание. Для одних это расширило сферу достижений культуры, для других – горизонты их сновидений.

Возросли возможности новых коммуникаций, которые должны были бы способствовать обретению более тесной общности между людьми, но на деле эти новые способы связи зачастую лишают нас тепла непосредственных человеческих контактов. Общение потеряло необходимую атмосферу интимности и напоминает скорее тюремное свидание под неизменным наблюдением механического посредника – телефонного или электронного аппарата.

Если вторжение технических приборов способно оказывать влияние в ходе научного наблюдения даже на процессы, протекающие в микромире, то что уж говорить о более сложных процессах человеческого бытия. Один из современных философов как-то отметил, что не только мы смотрим в телевизор, но и телевизор, в свою очередь, вглядывается в нас.

Согласно Канту, мы все живем в мире явлений, мире, спроектированном априорными свойствами нашего сознания, неизбежно конструирующими непроницаемую для нас на самом деле реальность в доступных категориях времени, пространства и каузальных связей. Технические достижения позволяют сегодня удвоить этот, по сути, непознаваемый мир, втиснуть еще одну матрешку в уже имеющуюся.

Структура жестко иерархизированного вертикального двоемирия – град земной под градом небесным, – присущая средневековому сознанию, в итоге оказалась замещенной горизонтальным виртуализированным двоемирием сознания современного. Для человека средневековья Бог являлся точкой центрирования и основой иерархического единства Вселенной. Благодаря этому его жизнь получала сверхличностный смысл, сопряженный в неразрывное единство со смыслом всего мироздания.

Для человека современной цивилизации такая точка центрирования, стягивающая в единый узел смысл его существования и существование мира, оказалась безнадежно потерянной. Мировоззрение, основанное на принципах жизненного прагматизма, по самой своей сути (у каждого имеется свой собственный прагматический интерес, чаще всего не совпадающий или даже противоречащий интересу другого) не способно творить единый универсум. Индивид с необходимостью сам для себя становится такой точкой отсчета мироздания и тем самым оказывается наглухо заму-

рованным в собственном индивидуальном пространстве, приватном космосе. Он – вечный Робинзон бесконечных коммуникационных линий.

В постоянно усложняющемся мире возрастает количество разнообразных технических новшеств и всевозможных бытовых услуг, сервис становится все более удобным и ненавязчивым. В цивилизованных странах уменьшается экономическая зависимость членов семьи друг от друга. И мужчины, и женщины в современном западном обществе способны вполне успешно выживать в одиночку, не налагая на себя обременительной тяжести брачных уз и тщательно оберегая свое жизненное пространство от «недопустимого скандала» – вторжения в него Другого⁷. С одной стороны, западный человек болезненно переживает свое экзистенциальное одиночество, ощущает временами чувство вселенской заброшенности, с другой – готов отчаянно защищать свою территорию от проникновения Другого.

«Было бы здоровье и хорошо оплачиваемая работа, все остальное приложится», – любит повторять здравомыслящий современник. В этой расхожей фразе заключена квинтэссенция его практической мудрости и накопленного житейского опыта. Однако, как не без оснований считал все тот же Константин Леонтьев: «Индивидуализм губит индивидуальность людей, областей и наций»⁸. Жизнь, лишенная трансцендентного проекта, волей-неволей ограничивается существованием здесь-и-теперь и потому старается сделать это существование как можно более приятным и комфортным. В этом законном желании на помощь индивидууму приходит грандиозная по своим масштабам современная индустрия зрелищ и развлечений. В плену ее сладких грез время бежит незаметно, она не напрягает, не требует духовных усилий, не берedit душевных ран и отвлекает от постылых повседневных забот. Она словно пряный пикантный соус, приправа к пресноватым будням.

Наша накатанная техника скольжения по жизни до поры до времени является патентованным средством защиты от ее подспудного трагизма. Но рано или поздно защита рушится, подступают неизбежные болезни и смерть – час неотвратимой расплаты по необеспеченным высшим смыслом жизни приватным счетам. В какой-то момент существование дает трещину, и скольжение оканчивается. Человек застывает над бездной и с жуткой отчетливостью осознает, что опереться ему не на что ни в самом себе, ни в ставшем вдруг чужим и враждебным мире. Все очарования тешивших сердце миражей блекнут, радости гедонизма безнадежно тускнеют, и человек остается один на один с вопиющей бессмыслицей собственных страданий.

«Здесь-и-теперь», которое составляло его единственное богатство, все, на чем он как будто бы прочно стоял, внезапно начинает ускользать, слов-

⁷ Существование Другого – это недопустимый скандал. Другой отбирает у меня мое жизненное пространство (Жан-Поль Сартр).

⁸ Леонтьев К. Восток, Россия и Славянство. М.: Республика, 1996. С. 108.

но точка опоры из-под ног повешенного. И душевная пустота оказывается последней платой житейского прагматизма за недолгий наркотический сон.

Но если ты мгновенным озабочен –
Твой жребий страшен и твой дом непрочен!⁹

В человеке есть экзистенциальная устремленность за горизонт смерти, осознание конечности его физического существования стимулирует в нем прорыв к Бесконечному. В реализации такого прорыва как способа преодоления конечности собственного бытия находит выражение его творческая сущность, его высшая духовная природа. Та или иная эпоха лишь предоставляют более или менее благоприятные условия для осуществления этого прорыва, но без такого прорыва человеческая жизнь теряет измерение глубины, и никакие блага на поверхностном уровне существования не способны эту потерю компенсировать. Ибо достижение этой глубины и является высшим смыслом человеческого бытийствования, его неотчуждаемым онтологическим статусом.

Наше время, по всей видимости, относится к наименее благоприятным историческим периодам, способствующим раскрытию в человеке его духовной глубины, его экзистенциальной сущности.

Личностная структура, формируемая современной западной цивилизацией, менее всего способна апеллировать к высшим уровням человеческого сознания. Она активно использует возможности интеллекта, но духовная сфера остается ею фактически невостребованной. Сегодня идеалом жизненного успеха в общественном сознании представляется карьера звезды шоу-бизнеса, спортивной знаменитости, высокооплачиваемого киноактера или преуспевающего бизнесмена. Область духовных интересов перемещается на периферию общественной жизни, становится способом проведения досуга, хобби для чудаков или предметом эзотерических штудий для маргиналов.

«Ничего нет более укорененного, чем кочевник», – отмечал Эммануэль Левинас¹⁰. Консервативный уклад жизни, укорененность в бытии, простота нравов и сопряженность собственного существования с естественным природным ритмом: в этом варварском существовании, при всей его жестокости и дикости, была несомненная органичность, сила стихийности, вкус живой, хотя и беспощадной жизни. В незапамятные времена древние кочевники путешествовали со всем своим скарбом, сопровождаемые семейством, в окружении многочисленных соплеменников. В итоге многолетних странствий кочевники, в конце концов, или переходили к оседлому образу жизни и затем растворялись среди местного населения, или же вольные скотоводы, промышлявшие набегами и грабежами, вдруг превращались в грозную во-

⁹ *Мандельштам О.* Паденье – неизменный спутник страха... // Соч.: В 2 т. М.: Худож. лит. 1990. Т. 1. С. 80.

¹⁰ *Левинас Э.* Время и Другой. СПб., 1998. С. 54.

енную силу и под предводительством аттил и чингисханов наводили ужас на цивилизованные народы, становясь для них настоящей чумой, «бичами божьими», видимо, только затем, чтобы так же внезапно исчезнуть со страниц истории или остаться как этнографическая достопримечательность.

В поисках то ли экономической выгоды, то ли средств к существованию нынешний житель Америки, как, впрочем, и обитатель Европы, вынуждены беспрестанно колесить по свету, меняя города и страны, влекомые бодрящими душу мечтами о надежном заработке и карьере.

В отличие от своих давних предшественников, современный номад путешествует, как правило, не отягощенный тяжелой поклажей. В одиночестве или с семьей он переезжает на новое место, быстро приспосабливается к новой среде, обзаводится новой квартирой, мебелью и новыми знакомствами. Все его добро умещается в чековой книжке, банковский счет свидетельствует либо о его респектабельности, либо о еще несбывшихся упованиях. Дом для него – только очередное пристанище, привал в пути. Дружеские отношения, складывающиеся обычно на протяжении долгих лет постоянного общения, – непозволительная роскошь. С него довольно и дружелюбия, объект которого при необходимости всегда легко заменим. «Все о'кей» или «нет проблем» – его неизменный пароль и отзыв на все вызовы жизни, которую не стоит усложнять и драматизировать. Чудеса технической мысли делают его более мобильным, более независимым от стеснительных пут постоянного жилья. Автомобиль, телефон, видео, факс, телевизор, компьютер – пользование этими дарами цивилизации, незаменимыми для работы и отдыха, вовсе не требуют при этом наличия стен и крыши над головой. Скорость передвижения и портативность необходимых технических средств – вот главные союзники номадического стиля существования, который с готовностью обслуживает современная гипериндустрия. «Все свое ношу с собой и поэтому всегда налегке», – шутят кочевники с кейсами. Патриархальный уклад жизни с неспешным ритмом общих семейных трапез в окружении старых вещей, сохраняющих родовую память о почивших отцах и дедах, альбомы с выцветшими от времени фотографиями, чьи страницы пропитаны ароматом прошлого и еще удерживают в памяти зримую связь поколений, – все это обречено кануть в небытие.

Современный номад проносится по жизни, не оставляя за собой следа во времени. Он живет здесь-и-сегодня, вне прошлого и без будущего. Он – одна из элементарных частиц в атомизированном мире человеческого распада.

Нельзя сказать, что он не ценит вещей. Он любовно и бережно относится к своей машине, к своему компьютеру. Он тщательно выбирает марку своего мобильного. Он высоко ставит их функциональные качества. Но, в отличие от людей прошлых поколений, для которых вещи, перешедшие от отца к сыну и от сына доставшиеся внуку, несут неизгладимый отпечаток личности, вещей, словно вобравших в себя индивидуальность их прошлых владельцев и в силу этого как бы ставших одушевленными, для номадического сознания вещи остаются стандартно-безличными. И когда завтра на рынке по-

явятся их более совершенные аналоги, он без сожаления выбросит вчера еще любимую, но ставшую уже ненужной игрушку, чтобы приобрести новую. На смену миру, где вещи были очеловечены, приходит мир, в котором человек овеществлен. Прежнее кочевье-в-бытии уступило место нынешнему кочевью-мимо-бытия, и ни о какой укорененности уже не может быть и речи.

Слово *идиотес* в Древней Греции обозначало частное лицо, не обремененное общественными полномочиями. Ничего обидного в этом слове не было, речь шла о людях, ведущих сугубо частный образ жизни и не вовлеченных в политику.

Сегодня ситуация другая. Политика пронизывает буквально все сферы существования и посредством масс-медиа активно вторгается в наш быт спортом, рекламой, бесчисленными сериалами и, конечно, новостями и аналитическими программами. Мы не греки, и слово *идиот* у нас давно уже стало ругательным. Естественно, что при этом изменилось его значение. Теперь оно вполне может относиться и к людям, которые склонны заниматься политикой, и зачастую употребляется именно в этом контексте.

В наше время политика, ставшая значимой компонентой массовой культуры, успешно играет на нижних регистрах человеческой души: ненависти, зависти, национальной спеси и постоянно дремлющей в тайниках сознания тяги к агрессии. Политика сакрализует оставленное ей в наследство религией пространство истории, творя свои идеологические мифы и политические легенды и консолидируя в этих точках псевдосакрального напряжения витальную энергию масс.

Политика разрушает историческое время, прорастая в нем изнутри и сохраняя нетронутой его форму, но наполняя эту форму собственным содержанием. Она намеренно искажает масштабы происходящего. Под воздействием ее пропагандистской машины события ничтожного порядка зачастую гипертрофируются в события мирового значения, события же мирового значения при необходимости ставятся по важности в один ряд с прогнозом погоды; реальные факты подтасовываются в умелых руках карточного фокусника, так что понятия правды и лжи теряют всякий смысл, будучи использованными в контексте политической целесообразности. В результате вместо целостного исторического полотна получается дежурный пазл политической мозаики, складываемый каждый раз заново, в зависимости от смены политических установок.

Разнообразные новости политической жизни постоянно захлестывают горизонт человеческого бытия и спешат стать доминантами индивидуального сознания. Это рабство у политики современный человек с гордостью именует своей взвешенной гражданской позицией. Он и не осознает, что им цинично манипулировали, используя его природную склонность к коммюнитарности¹¹, его внутреннюю заангажированность судьбами мира. Зато здесь он способен, наконец, совершить прорыв из своего одиночества в эфемер-

¹¹ От *La commune* – коммуна (франц.).

ную общность политических однодумцев. Он взбирается на идейные баррикады и готов вступить в смертельную схватку с мировой несправедливостью во имя вящего торжества то ли коммунизма, то ли национализма, то ли толерантности. Рабство у политики дарит ему драгоценную иллюзию бескорыстного служения идеалам, не нарушая при этом привычного прагматизма его повседневных целей. По сути, он ничем не рискует, поскольку всегда остается в чисто умозрительной сфере. Свободу же высказывать мнения, которые он привык считать собственными, никто у него и не пытался отобрать.

Так политика, являясь хоть и важной, но всего лишь составной частью исторического процесса, начинает подменять собой целое, претендуя на то, чтобы представлять самую историю. В результате ее сверхконцентрации в современных средствах массовой информации происходит неизбежное выхолащивание исторического сознания сознанием политизированным.

Параллельно с процессом постоянного усложнения ноосферы идут процессы упрощения человеческого сознания. Вопрос здесь не только в убогих формах проводимой масс-медиа вивисекции. Как отмечают встревоженные филологи, во всех европейских языках в последние годы происходят сходные явления. Там, где раньше человек без труда находил с десяток ярких эпитетов, позволявших передать тончайшие оттенки своих переживаний, теперь он с легкостью обходится несколькими общеупотребительными клише или же выражает свои эмоции с помощью междометий. Кто-то именует это экономией языковых средств, кто-то — стремительным обнищанием языка общения. Во всяком случае, вспоминается один из тезисов «Логико-философского трактата» Людвиг Витгенштейна: «Границы моего языка означают границы моего мира».

Овладев сверхсложными технологиями, научившись создавать образцы искусства, безупречные по технике исполнения и в то же время низкопробные по своему качеству, современный человек активно декларирует свою приверженность ценностям культуры, воспринимая при этом культуру не как качество жизни, а как количество предоставляемых ею к его услугам материальных и духовных благ.

На Западе принято рассматривать культуру лишь как часть цивилизации. Но культура, в силу самой своей природы, не может являться частью, ибо предстает всегда как целое. Если говорить о связи, существующей между культурой и цивилизацией, то культура — это, скорее всего, форма самосознания цивилизации. И современная культура — только бесстрастное свидетельство ее содержания.

Пожалуй, одна из наиболее характерных черт нашей эпохи — это безудержная экспансия массовой культуры. Специфической особенностью этой культуры является то, что художественные достоинства произведения, обычно имеющие определяющее значение при его оценке, либо отходят на второй план, либо вовсе не принимаются в расчет. Основными приоритетами становятся развлекательная функция и коммерческий успех.

У массовой культуры есть излюбленные литературные жанры: детек-

тив, фэнтези, женский роман, имеются и свои предпочтения в музыке, живописи, кинематографе. Однако массовая культура не определяется тем или иным жанром – она всеядна и вездесуща. В ее богатом меню представлено большое разнообразие стилей, жанров, поэтик. Но все эти как примитивно простые, так и нарочито изысканные блюда состряпаны не из натуральных продуктов, а из грубых эрзацев.

Внутри массовой культуры происходит дифференциация уровней, выстраивается нечто наподобие иерархии, образуются свои доморощенные элиты. Так, поклонники творчества А. обычно склонны смотреть несколько сверху вниз на любителей Д. или М., а знатоки и тонкие ценители псевдоинтеллектуальных кунштюков, воспаривши душой к непреходящим шедеврам П. или К., откровенно поплевают и на одних, и на других.

Ну что же в этом принципиально нового, подивится просвещенный современник – картина стара как мир. Известно ведь, что и во времена Пушкина капризная публика зачастую предпочитала его поэзии стишки Бенедиктова, а в конце XIX века самым популярным русским писателем, которым зачитывалась интеллигенция, были не Толстой и Достоевский, а Петр Дмитриевич Боборыкин. Хорошенько поройтесь в библиотечной пыли – и увидите, каким только хламом не увлекались наши почтенные предки.

Спору нет, всегда существовали как чтение, так и чтиво. Но сегодня проблема не сводится лишь к качественным различиям тех или иных артефактов культуры, речь идет о другом. И потому, прежде чем продолжить нашу тему, не худо было бы задаться вопросом: существовала ли массовая культура всегда, или же своим чудесным появлением она обязана исключительно нашему времени? Попробуем разобраться.

Историческая ретроспектива вроде бы подтверждает правильность первого предположения. Ну, конечно же, были толпы народа, наводнявшие императорский Рим и требовавшие от власти обещанных «хлеба и зрелищ». Были полные горечи и желчи строки русских поэтов и золотого, и серебряного века, клеймившие толпу, чернь и вкладывавшие в это понятие не социальный, а духовный смысл. Был шекспировский Гамлет, язвительно комментировавший эстетические предпочтения бедняги Полония: «...ему надо плясовую песенку или непристойный рассказ, иначе он спит...»

Примеров можно привести множество, суть не в этом. Безусловно, что издавна возникали как высокие, так и низкие образцы искусства, и существовало разделение на культуру просвещенных верхов и невежественных низов. Хотя, к слову сказать, в известные времена вкусы «просвещенных» верхов не слишком отличались от вкусов темных низов.

Однако пока все эти рассуждения доказывают только то, что и так не требует доказательств, а именно тот факт, что культура, как и самая жизнь, основывается на принципе качественных отличий, которые и лежат в фундаменте бытия. Хаос вполне способен оказаться творящим и продуктивным, как доказывал Илья Пригожин, но только наличие иерархических структур и тех же качественных отличий претворяют хаос в космос.

Тут-то и возникает основная трудность: как отыскать универсальный эстетический критерий для оценки этих бесконечных качественных отличий и для определения их места в иерархии духовных ценностей? Нет почти более зыбкой для самостояния нашего современника.

Как подсказывает исторический опыт, нет ничего изменчивее, чем наше представление о прекрасном. Достаточно беглой прогулки по музею истории изобразительных искусств, чтобы в том убедиться. Да что там исторический опыт, когда и в наш век не только у разных народов, но и у разных поколений одного того же народа свои взгляды на то, что именно считать прекрасным.

Видимо, правы философы, когда утверждают, что ценности не имеют объективного обоснования. И все-таки они, эти ценности, каким-то образом существуют, несмотря на отсутствие таких обоснований. Великие достижения человеческого духа шествуют через века, все так же продолжая вызывать восхищение. По-прежнему, как и тысячи лет назад, человек внутренне замирает от красоты морского пейзажа. Можно долго спорить о достоинствах того или иного объекта, находить его совершенным или заурядным. Главное же заключается в том, что человек наделен чувством прекрасного, которое разные люди способны испытывать с разной степенью интенсивности, но которое по природе своей является универсальным, то есть присущим всему роду человеческому. На протяжении тысячелетий человек постоянно переживал и раз от разу стремился как можно более полно выразить это чувство в художественных образах. Не случайно Николай Бердяев полагал, что «красота в мире есть творческий акт, а не объективная реальность»¹². В отличие от красоты созерцание красоты требует от людей полной концентрации, нового, особого поворота души, для того чтобы суметь ее заново открыть и постигнуть.

В царстве красоты не может быть доказательств. Мы вступаем на территорию, где понятийное мышление так же бессильно нам помочь, как сачок энтомолога бессильно поймать солнечный зайчик. Тут область иррационального, область тайны. Здесь, как и в религиозном опыте, *доказательств* не существует – есть только *свидетельства*. Свидетельства глубоко интимной встречи и оставленного в нас этой встречей следа. Объективное здесь можно постичь только на предельной глубине собственной субъективности, но нет и гарантии от возможных подмен. Вопрос духовной подлинности подобных встреч решается каждым на свой страх и риск. Эту меру риска всегда брало на себя творческое меньшинство.

В разные эпохи у всех народов существовала духовная элита. Небольшой слой людей, обладающих более развитыми рецепторами эстетического, более тонким духовным слухом. Они задавали обществу культурную планку и выполняли работу «настройщиков», подтягивая ослабшие струны, стараясь добиться нужной чистоты звучания. В обществе мог господствовать полный диссонанс, но оставалась возможность с ним справиться до тех

¹² Бердяев Н. Истина и откровение. СПб.: Изд. Русского Христ. гуманит. ин-та, 1996. С. 75.

пор, пока существовал камертон, способный вернуть нужный настрой. Таким камертоном, мерой гармонии и была для общества его духовная элита.

В современном западном мире, построенном на принципах прагматической пользы и коммерческого успеха, духовная элита оказалась маргинальным образованием. Она давно утратила прежний авторитет и уже даже не пытается претендовать на общественный статус. Она не только не оказывает сколь-либо существенного влияния на происходящие в мире события, но и по части имеющихся у нее прав значительно уступает таким продвинутым группам населения, как секс-меньшинства и общество феминисток.

В условиях произошедшей маргинализации и ускоряющегося процесса деградации культурных элит в обществе исчезают духовные ориентиры, а вместе с ними эстетические и моральные критерии восприятия и оценки действительности. В сфере культурных ценностей победил демократический плюрализм. Это явление, провозглашенное «восстанием масс», описывал Ортега-и-Гассет: «Характерным для нынешнего момента является то, что посредственность имеет нахальство повсюду утверждать и всем навязывать свое право на посредственность. Как говорят американцы, неприлично отличаться от других. Масса считает со своего пути все, что не похоже на нее, она вытаптывает всякую индивидуальность, убивает все благородное, избранное и выдающееся»¹³.

В результате произошедших изменений современная культура предстает уже не как система качественных отличий, а, в соответствии с определением Маршалла Маклюэна, как чисто количественный результат, как «сумма сенситивных предпочтений»¹⁴. Это, в свою очередь, наводит на размышления: имеем ли мы здесь, собственно говоря, дело все еще с культурой или же, прибегая к терминологии Бодриера, с ее симулякр. Но это – отдельная тема, выходящая за рамки нашего рассмотрения.

После краткого экскурса в феноменологию современного ландшафта время вернуться к ранее прозвучавшему вопросу о характере соотношений личностной структуры и природы человека, живущего в постиндустриальном обществе.

Современная цивилизация предоставляет невиданные доселе технические возможности для развития человеческой личности. Благодаря новым технологиям миллионы людей получили свободный и простой доступ к сокровищам мировой культуры. Лавина информации о предпоследних и последних достижениях научной, философской, художественной мысли теперь в полном распоряжении любого индивидуума. Условия труда и быта в развитых странах позволяют значительной части населения посвящать куда больше времени досугу, чем это получалось у их менее удачливых в этом отношении предков. Революция в области транспортных средств дает возможность предпринимать любые путешествия на самые немислимые

¹³ *Ортега-и-Гассет Х.* Дегуманизация искусства. М.: Радуга, 1991. С. 47.

¹⁴ *MacLuhan M.* The Gutenberg Galaxy. Toronto, 1962.

расстояния за самые короткие сроки. Совершенствуются механизмы социальной защиты населения, в отличие от прошлых эпох проявляется забота об инвалидах и оказывается поддержка нетрудоспособным. Мировое сообщество незамедлительно приходит на выручку, отправляя гуманитарную помощь жертвам стихийных бедствий. Не утихают жаркие схватки с властью многочисленных общественных организаций в благородной борьбе за соблюдение прав личности. Вроде бы имеются все основания для исторического оптимизма и возрождения утраченной святой веры в неизбежную победу исторического прогресса. Беда только в том, что в пылу битвы за неотъемлемые права личности мало кто успевает осознать тот факт, что сама личность, во имя которой эти сражения ведутся, катастрофически исчезает. И проблема дегуманизации современного искусства, о которой уже столько было написано, лишь объективное отражение процесса дегуманизации самого человека. В то же время надо признать, что хотя наш современник не представляет собой ни образец куртуазности, ни воплощение возрожденческого идеала *Virtus*¹⁵, он еще сохраняет не слишком выразительное, но все же индивидуальное лицо – условие того, что, по мысли Романо Гвардини, оставляет ему надежду «быть окликнутым Богом».

Сегодня человечество на пороге как новых фантастических перспектив, так и новых серьезных угроз. И если при всех трансформациях личностной структуры человеческая природа, похоже, пока устояла, невзирая на тяжелую анемию духа, то кто может поручиться, что в недалеком будущем под воздействием геной инженерии или использования электронных средств в биотехнологиях не возникнет, наконец, новый антропологический тип. Не «бог из машины», которым дурачили публику наивные греки, а «человек-машина», превзошедший самые смелые умозаключения недооцененного в свое время Жюльена Ламетри.

Так что, похоже, коммерциализация человеческих отношений, с которой мы начали наш разговор, лишь одна из сторон более глубоких и глобальных процессов.

«Ну и что во всем этом нового? – вздохнет уставший от перечня негативов читатель. – Инвентаризация постоянно пополняющейся коллекции язв современной цивилизации давно стала хорошим тоном у культурологов. Кто только в продолжение века не упражнялся в этом занятии... Во-первых, вопреки всему сказанному, мудрено не признать, что средний европеец живет сегодня куда в более благоприятных условиях, чем когда-либо ранее. Во-вторых, подход к обсуждаемым проблемам чересчур европоцентричен. Не стоит забывать, что в ходе стремительно наступающей глобализации в исторический процесс все активнее вовлекаются и другие культурные миры. Если даже предположить, что закат западной культуры неминуем, то вовсе не исключено, что знамя дальнейшего развития человечества из ее слабеющих рук подхватят многочисленные выходцы из Индии или Китая.

¹⁵ *Virtus* – доблесть (лат.).

Уже сейчас они успешно конкурируют с европейцами как на рынке труда, так и в производственной сфере, и неотвратно несут свои национальные обычаи и культурные традиции дряхлеющему Западу».

Что ж, начнем с последнего довода. Нетрудно заметить, что неудержимая экспансия модернизации и сопутствующей ей вестернизации стран Азии, а также неумолимый диктат современных экономических отношений бесповоротно втягивает новые регионы в воронку индустриальных и постиндустриальных изменений. С новыми технологиями приходит и новый стиль жизни – вертикальные гонки по небоскреbam всемирного муравейника. И хотя перемены начались сравнительно недавно, они происходят настолько быстро, что не исключено, что в самое непродолжительное время в результате успешной интеграции в наш «новый прекрасный мир» из культурных традиций Востока сохранятся разве особенности той или иной национальной кухни. Ритм современного существования губителен для рафинированной восточной культуры созерцания, он враждебен накопленному там в течение тысячелетий духовному опыту и сложившемуся под его влиянием укладу жизни. И поэтому, наряду с нивелирующими личность тенденциями развития нашего сверхмеханизированного общества, в итоге это грозит уничтожить все имеющиеся различия, кроме, вероятно, расовых.

О передаче эстафеты от одной культуры к другой речь не идет. Мы все участники совместного забега. Массовая культура постиндустриального общества не знает ни территориальных, ни национальных границ. Она исключительно агрессивна и распространяется по планете со скоростью вирусного заболевания, форма протекания которого – тотальная унификация человеческой индивидуальности.

Что же касается более комфортных условий проживания среднего европейца по сравнению с недавним историческим прошлым, то, если и признать этот факт как бесспорный, остаются определенные сомнения в его абсолютной и самодостаточной ценности, обеспечивающей полноту человеческого бытия.

Конечно, безопасность и удобство существования – вещи далеко не лишние, однако уровень жизни сам по себе еще не гарантирует ее качества: интенсивности и глубины наших чувств, мыслей, переживаний – словом, всего того, что и делает ее яркой и наполненной. И счастливый обладатель сказочных сокровищ подчас ощущает себя не халифом из «Тысячи и одной ночи», а многострадальным Иовом. Насколько безгранична его возможность *иметь*, настолько бессильна его способность *быть*.

Как жизнь отдельного человека, так и история человечества состоят из непрерывной череды новых приобретений и невосполнимых потерь. Но всегда актуальным остается проклятый фаустовский вопрос: какую цену мы готовы платить за исполнение своих заветных желаний?



кандидат физико-математических наук, прозаик, публицист и литературный критик. Член российского отделения ПЕН-клуба, зам. гл. редактора журнала «Нева». Живет в России.

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРОШЛЫЙ СВЕТ*

Перечитывая Эренбурга

Гении – самые пристрастные и субъективные люди на земле, но именно их приговоры чаще всего становятся окончательными. «Циник не может быть поэтом», – если бы эти слова Марины Цветаевой относились исключительно к сущности поэзии, их вполне стоило бы высечь на мраморе, ибо поэзия предполагает взгляд на жизнь, как на нечто высокое, и, сколько бы поэт ни бичевал ее, сколько бы ни выворачивал ее язы и мерзости, он остается поэтом лишь до тех пор, пока каким-то образом дает понять, что его горечь и отвращение порождены обидой за поруганный идеал. Однако цветаевский афоризм относился к вполне конкретному литератору Илье Эренбургу, который до конца своих дней желал считать себя поэтом и мог в этой своей мечте утешиться не только серьезными отзывами Брюсова и Волошина, но и чеканной телеграммой Анны Ахматовой: «Строгого мыслителя, зоркого бытописателя, всегда поэта поздравляет сегодняшним днем его современница Анна Ахматова».

Приблизительно в это же самое время вступившего в восьмой десяток «циника» распекал Никита Сергеевич Хрущев за то, что Эренбург полушутя предлагал распространить борьбу за мир на сферу культуры. Мы стоим на классовых позициях в искусстве и решительно выступаем против мирного сосуществования социалистической и буржуазной идеологий, а искусство относится к сфере идеологии, строго напоминал партийный вождь, возможно, не догадываясь, что главный советский плюралист мог бы похвастаться куда более давними и высокими партийными знакомствами, нежели он сам.



* Предисловие к книге И. Эренбурга «Люди, годы, жизнь», которая выйдет в июле этого года в Москве (Изд-во «Вагриус»).

Дерзкий московский гимназист Эренбург и в самом деле упоминался в жандармском рапорте в одном ряду с такими будущими большевистскими тузами, как Бухарин и Сокольников, но, после положенных отсидок и высылки унеся ноги в канонический Париж, где он позволил себе вступить в препирательства с самим Лениным, социал-демократический Павел внешне преобразился в декадентского Савла:

В одежде гордого сеньора
На сцену выхода я ждал,
Но по ошибке режиссера
На пять столетий опоздал.

Прямо-таки сам Александр Александрович Блок, правда, разбавленный в пропорции один эдак к двадцати:

Девушки печальные о Вашем царстве пели,
Замирая медленно в далеких алтарях...

Я помню, давно уже я уловил,
Что Вы среди нас неживая...

Сегодня я видел, как Ваши тяжелые слезы
Слетали и долго блестели на черных шелках...

И тем не менее, все сопутствующие поиски, блуждания, метания от религиозности и эстетства к неопримитивизму были все-таки странноваты для начинающего циника... Хотя кто их, циников, знает.

Сияли ризы неземные.
Стоял я в церкви, дик и груб.
Слова безумные и злые
Срывались с неутешных губ.

Заставляя плакать и навеки онеметь грустного белого ангела с изнемогающим челом.

Затем оплакивание ушедшего детства без малого в двадцать один год:

Детство, одуванчик нежный,
Перед жизнью шумной и мятежной
Ты осыпалось и отцвело.
Ты прошло!

Здесь уже не хватает лишь сознательной установки, чтобы почестся

первым обернутом. В этом отношении и стихи о любви иной раз представляют собою истинные шедевры:

Ты пуглива, словно зайчик, –
Чей-то шорох услышала...
Ты не бойся!
В стеганое одеяло
С головой укройся!

Или:

Ты любила утром приходиться ко мне
И волосики любила на спине.
И над оспинкой родимое пятно –
Ведь тебе же нравилось оно.

Для начинающего циника наивность тоже малоправдоподобная. Таковы же и его размышления о собственном еврействе:

Евреи, с вами жить не в силах,
Чуждаясь, ненавида вас,
В скитаньях долгих и унылых
Я прихожу к вам всякий раз.
Во мне рождает изумленье
И ваша стойкость, и терпенье,
И необычная судьба,
Судьба скитальца и раба.
Отравлен я еврейской кровью
И где-то в сумрачной глуши
Моей блуждающей души
Я к вам таю любовь сыновью,
И в час уныний, в час скорбей
Я чувствую, что я еврей!

Эренбург сделался интересным поэтом лишь тогда, когда (в направлении поисков, похоже, опередив самого Маяковского) дал волю не сентиментальности, а отвращению:

Тошнит от жира и от пота,
От сотни мутных сальных глаз,
И как нечистая работа
Проходит этот душный час.
А нищие кричат до драки
Из-за окурков меж плевков
И, как паршивые собаки,
Блуждают возле кабаков,

Трясутся перед каждой лавкой,
И запах мяса их гнетет...
Париж, обжора, ешь и чавкай,
Набей получше свой живот
И раствори в вонючей Сене
Наследье полдня – блуд и лень,
Остатки грязных испражнений
И все, что ты вобрал за день.

Он и собой уже не умилялся:

Я пью и пью, в моем стакане
Уж не абсент, а мутный гной.

И если чем-то рисовался, то разве что подчеркнутым нежеланием заботиться о своем внешнем виде. «С болезненным, плохо выбритым лицом, с большими, нависшими, неуловимо косящими глазами, отяжелевшими семитическими губами, с очень длинными и прямыми волосами, свисающими несуразными космами, в широкополой фетровой шляпе, стоящей торчком, как средневековый колпак, сгорбленный, с плечами и ногами, свернутыми внутрь, в синей куртке, посыпанной пылью, перхотью и табачным пеплом», – таким увидел Эренбурга-монпарнасца Максимилиан Волошин в 1916 году.

В войне Эренбург-корреспондент тоже не желал видеть ничего красивого, поэтического, но – без этого невозможно и писать стихи о ней, ибо в поэзии ужас и отвращение непременно должны перемешиваться с восторгом – без этого просто нет поэзии. Поэтому его нашумевшие «Стихи о канунах» остались значительным явлением в истории литературы, но в собственно поэзии не остались. «Сознательно избегая трафаретной красоты, И. Эренбург впадает в противоположную крайность, и его стихи не звучны, не напевны» (В. Брюсов). «В них меньше, чем надо, литературы, в них больше исповеди, чем можно принять от поэта» (М. Волошин).

Смелый эксперимент, по-видимому, показал, что поэзия без «красивости» и «литературы» невозможна, поэзия и брюзгливость несовместимы.

Однако первые же известия о «бархатной» весенней революции пробудили боевой дух бывшего подпольщика: Эренбург устремляется в Россию и проживает вместе с нею все ее окаянные дни, уже в ноябре семнадцатого сложив первую «Молитву о России»:

Господи, пьяна, обнажена,
Вот твоя великая страна!
Захотела с тоски повеселиться,
Загуляла, упала, в грязи и лежит.
Говорят – *(не жилища)*.

.....

О России
Миром Господу помолимся.

«Молитвы» быстро сложились в целый сборник, полурасхваленный за искренность, полуобруганный за истерику и прозаизмы, но вызвавший острые столкновения мнений и не забытый даже через восемь лет как «один из самых ярких памятников контрреволюции нашей эпохи» (С. Родов). Хотя сегодня многие фрагменты этого памятника вполне могли бы использоваться коммунистической пропагандой, оплакивающей конец Советского Союза:

С севера, с юга народы кричали:
«Рвите ее! Она мертва!»
И тащили лохмотья с смердящего трупа.
Кто? Украинцы, татары, латгалцы.
Кто еще? Это под снегом ухает,
Вырывая свой клоч, мордва.

Наконец, после обычных в то героическое время приключений Эренбург (с советским паспортом в кармане) снова оказался за границей и, высланный из Франции, в бельгийском местечке Ля-Панн в течение одного летнего месяца 1921 года написал свой первый и лучший роман «Необычайные похождения Хулио Хуренито и его учеников». Роман был очень хорош как первое достижение в прозе и просто изумителен как обещание на будущее: Эренбург наконец-то нащупал главный свой талант – талант скепсиса, талант глумления над лицемерием и тупостью всех национальных и политических лагерей. Себя он тоже не пощадил – герой-рассказчик по имени Илья Эренбург, конечно, тоже не более чем карикатура, но... Но и не менее чем. Не всякий бы отважился живописать своего тезку и однофамильца, не гнушающегося и должностью кассира в публичном доме, таковыми, скажем, красками:

«Мне не свойственно мыслить возвышенно. С детства я горблюсь, на небо гляжу лишь, когда слышу треск самолета или когда колеблюсь – надеть ли мне дождевик. В остальное время я гляжу под ноги, то есть на грязный, обшмыганный снег, на лужи, окурки, плевки». Угодив в немецкий лагерь (речь, напоминая, идет о Первой мировой войне), «я... скулил и всячески проклинал культуру, писал все, что писать русскому писателю при подобных обстоятельствах полагается: "Россия – Мессия, бес – воскрес, Русь – молюсь, смердящий – слаще"». Реальный Илья Эренбург устремился в Россию делать историю, а его персонаж Илья Эренбург в дни октябрьского переворота сидел в каморке, жевал холодную котлету и цитировал Тютчева: «Счастлив, кто посетил сей мир...» «Проклятые глаза – косые, слепые или дальнзоркие, во всяком случае, нехорошие. Зачем видеть тридцать три правды, если от этого не можешь схватить, зажать в кулак одну, пусть куцую, но свою, родную?»

Похоже, патетическую часть своей личности Эренбург передал демоническому Учителю и Провокатору, а скептическую – Илье Эренбургу, «автору посредственных стихов, исписавшемуся журналисту, трусу, отступнику, мелкому ханже, пакостнику с идейными задумчивыми глазами». Менее циничный писатель наверняка поступил бы обратным образом. И самолично воспел бы индустриальное будущее, когда «Парфенон будет казаться жалкой детской игрушкой в столовых исполинских штатов. Пред мускулами водокачки застыдятся дряблые руки готических соборов. Простой уличный писсуар в величье бетона, в девственной чистоте стекла превзойдет пирамиду Хеопса». Но Эренбург-персонаж убежден, что если из двух слов «да» и «нет» потребуется оставить только одно, дело еврея держаться за «нет».

Это лучше всего удавалось и Эренбургу-художнику: «культурных» пошляков и лицемеров в своих первых романах он изображает с такой проникновенной ненавистью и даже некоторой живописной роскошью, что становится ясно – при всей своей международной известности и звании советского классика свой главный талант Эренбург зарыл-таки в землю. Он мог бы сделаться советским Свифтом, но эпоха требовала не издеваться над своими глупостями и мерзостями, а воспевать себя, к чему Эренбург был наименее приспособлен природой своего отнюдь не бытописательского дарования. Его героями были не индивиды, но идеи, мечты, типы, народы, социальные группы. Он, если угодно, был певец обобщений, что настрого воспрещалось в эру идеологически выдержанного неопередвижности.

Нет, Эренбургу и даже его однофамильцу был все-таки не чужд и пафос: «Только обросшие жиром сердца не поймут трогательного величия народа, прокричавшего в дождливую осеннюю ночь о приспевшем рае, с низведенными на землю звездами и потом занесенного метелью, умолкшего, героически жующего последнюю горсть зернышек, но не идущего к костру, у которого успел согреться не один апостол».

А в 1922 году в книжке «А все-таки она вертится!» (издательство «Геликон», Москва–Берлин) Эренбург в совершенно футуристическом и едва ли даже не фашистском духе воспел «конструкцию», волю и душевное здоровье, граничащее с кретинизмом («свежая струя идиотизма, влитая в головы читателей Бергсона и Шестова»).

НОВОЕ ИСКУССТВО ПЕРЕСТАЕТ БЫТЬ ИСКУССТВОМ.

«Кончены башни из слоновой кости. Вместо Парнаса – завод, вместо Ипокрены – литр "Пиколо" или кружка пива. Художник живет в месте с простыми смертными, их страстями и буднями».

«Стремление к организации, к ясности, к единому синтезу. Примитивизм, при-

страстие к молодому, раннему, к целине. Общее против индивидуального. Закон против прихоти».

Новый дух — это дух

КОНСТРУКЦИИ.

Святая троица нового искусства —

ТРУД. ЯСНОСТЬ.

ОРГАНИЗАЦИЯ.

Современный человек любит не геммы или сонеты Петрарки, а ЗДОРОВЬЕ и ВЕСЕЛЬЕ. Прежнее искусство не организовывало жизнь, а украшало ее, довольствуясь ролью наркотика. Новый стиль создается лишь массовым производством. Наш конструктивный век не допускает торжества декоративной фантазии, потому что современная женщина, прежде всего РАБОТНИЦА, равно как и мужчина. Наставники современного писателя — детективщики, сценаристы, репортеры.

Смерть капиталистического либерализма кладет конец анархии и разброду и в искусстве тоже. Владыкой мира будет ТРУД.



По-видимому, рядом не нашлось своего Войновича, который поинтересовался бы: мерин тоже работает — почему же он не сделался человеком? Впрочем, мир и сегодня не понимает, что человека создал не труд, но воображение, то самое, которое двадцатый век стремился вытеснить *действием*...

Сам же Эренбург в том же «Геликоне» (и почти сразу же в Харькове и в Москве) в 1923 году издал фантазмагорию «Трест Д. Е.» об уничтожении растленной Европы еще одним гениальным циником. Правда, из-за стилистической и пластической обедненности автор представал здесь не столько наследником Свифта или, тем более, Анатоля Франса, сколько предтечей Виктора Пелевина, — он не зря учился у сценаристов и репортеров.

Но зато уже в ближайшие годы в очерке о Веймаре он горько сетует на то, что «у нас не стало вдохновения». О «правых» и говорить нечего, но и «левые» — вот они: «вычисляют, думают, изготавливают декларации, отлучают еретиков, покрывают стены и сердца диаграммами, уравнениями, схемами, — и все это, чтобы дойти до псевдоконструктивного стула, до покрашенных одной краской досок, до пуговиц». И даже молодой «конструктивист», глядя на чудесный город, меланхолически вопрошает: «А мы вот, оставим ли мы после себя такой Веймар?» Или только этот виадук, мосты, вокзалы, фабрику Цейса, красоту, вдоволь сухую и эгоистичную, современного Фауста с его стандартизированной, а следовательно, и удешевленной душой...

Базаровское «да» миру-конвейеру ненадолго удержалось в душе главного советского еврея. О футуристических восторгах он весьма глумливо отзывался уже в эссе 1925 года «Романтизм наших дней»: несколько молодых людей, увидев американский автомобиль, стали от восторга прыгать, вопить и плевать, подобно дикарям, пляшущим вокруг потерянного рассеянным миссионером клистира. Но по-настоящему культ пользы и гигие-

ны расцвел среди голода и нищеты революционной разрухи: «Вместо традиционных муз поэтов стали посещать по ночам соблазнительные машины и даже сахарные головы... Мы мечтали о пустой по существу цивилизации, как мечтают пленники Уолл-стрита о девственных лесах». В голодной и раздетой Москве бритые спортсмены воспевали динамо и добротный драп, а в индустриальном Берлине растрепанные экспрессионисты вопили о рощах Индии, о любви зулусов и о человеческой душе.

Человеческая душа сложнее любого рационального идеала, ее невозможно насытить никакой фабричной продукцией, явственно давал понять «Романтизм наших дней». Особенно душу еврейскую, тут же добавил в «Романтизм» – «Ложку дегтя» несостоявшийся Свифт: «Я буду говорить сейчас о дегте, то есть о приливе еврейской крови в мировую литературу».

«Критицизм не программа. Это состояние. Народ, фабрикующий истины вот уже третье тысячелетие, всяческие истины – религиозные, социальные, философские... этот народ отнюдь не склонен верить в спасительность своих фабрикантов».

«Мир был поделен. На долю евреев досталась жажда. Лучшие виноделы, поставляющие человечеству романтиков, безумцев и юродивых, они сами не особенно-то ценят столь расхваливаемые ими лозы. Они предпочитают сухие губы и ясную голову.

При виде ребяческого фанатизма, начального благоговения еще не приглядевшихся к жизни племен усмешка кривит еврейские губы. Что касается глаз, то эгегические глаза, классические глаза иудея, съеденные трахомой и фантазией, поднимаются к жидкой лазури. Так рождается "романтическая ирония". Это не школа и не мировоззрение. Это самозащита, это вставные когти. Настоящих когтей давно нет, евреи давно стерли их, блуждая по всем шоссе мира».

«Всем известно, что евреи, несмотря на тщедушие, любят много ходить, даже бегать. Происходит это не от стремления к какой-либо цели, а от глубокой уверенности, что цели вовсе нет. Хороший моцион – и только. Как больные сыпняком, они хотят умереть на ходу. В конечном счете знаменитая легенда о Вечном жиде создана не христианской фантазией, а еврейскими икрами».



Все двадцатые Эренбург, подобно Вечному жиду, пропутешествовал по Европе, издавая сразу на многих языках книги превосходных очерков о королях автомобилей, спичек и грез (Голливуд), неизменно скептической интонацией давая понять, что пекутся все они о суете – что было бы совершенно справедливо, если бы тому же скептическому кодексу подлежали тоже не вполне одетые короли страны Советов. Но там, в стране восходящего солнца Беломорканала, тревогу и брезгливость вызывает все больше «мелкособственническая накипь», изображенная в манере крепкой очеркистики. Правда, и большевики постоянно выглядят схематичными, хотя и

честными болванами, слабо, тем не менее, воплощающими ЗДОРОВЬЕ и ВЕСЕЛЬЕ...

Тем не менее книги Эренбурга неизменно оказывались в центре внимания «мировой общественности», немедленно переводились на европейские языки.

Будни великих строек Эренбург впервые по-настоящему воспел лишь в «Дне втором», вышедшем в Париже в год прихода Гитлера к власти и практически сразу же в «Худлите». Повесть тоже была немедленно переведена на все основные европейские языки и тоже оказалась в центре критической бучи, хотя в художественном отношении и она стояла на уровне хорошего очерка – лирические же сцены лишь едва подавали признаки жизни (только сам библейский образ второго дня творения обладал определенной изысканностью). Но советскую критику интересовало другое: как он посмел писать о неразберихе и «трудностях». Эренбург, уже вполне освоивший приемы советской демагогии, отбрехивался в манере, вполне достойной тех шавок, о которых с большим опережением когда-то высказался лорд Байрон: им велят лаять, а они норовят укусить.

«Гражданская совесть», терпеливо разъяснял Эренбург, не позволила бы ему описывать эти трудности, если бы Кузнецк был только планом, но когда создан не только Кузнецк, но и люди, которые его построили... Правда, в переплавку сгодился не весь человеческий материал – сложный мятувшийся интеллигент Володя Сафонов покончил с собой. И не последнюю роль в его гибели сыграла культура, этот наркотик, на котором, как бы выразились сегодня, он «сторчался» (сам Володя употребляет слово «спился»). Вероятно, по той же причине окружающий его триумф воли представлялся ему торжеством примитивности, душевного младенчества.

Критика упрекала Эренбурга и в том, что он не дал колеблющемуся интеллектуалу равно сложного, но не знающего сомнений оппонента, однако не сделал он этого, скорее всего, только потому, что негде было взять: неколебимость всегда обеспечивается эмоциональной обедненностью. Имитация которой и самому Эренбургу досталась с огромным трудом.

Он и в тридцатые годы беспрерывно колесил по Европе, подобно все тому же Вечному жиду, но пафос его очерковой публицистики и публицистической прозы становился все более простым и отчетливым: фашизм наступал и наступал, и Эренбург становился все менее и менее требовательным к тем, кто теоретически способен был его остановить. Как всякий эстет, сформировавшийся в благополучное время, когда о простом выживании задумываться не приходится, он долгое время ощущал главным врагом пошляка и ханжу, склонного «между двумя свинствами декламировать Шелли или Верлена». Но когда на историческую сцену вышли искренние убийцы, при слове «культура» не только хватающиеся за пистолет, но и стреляющие без всяких раздумий, Эренбург понял, что время капризов и парадоксов миновало, и принялся верой и правдой служить тому, что представлялось ему наименьшим злом. Однако это не объясняет, почему он уцелел в 37-м, –

верой и правдой служили многие. Конечно, он был очень полезен в качестве интеллигентного представителя варварской Совдепии, но такие соображения Сталина не останавливали. Рулетка, скорее всего. И все-таки ужасно хотелось бы узнать, что и на каких весах прикидывал Сталин, в 1942 году присуждая свою премию «Падению Парижа», роману, который и сейчас читается с большим интересом, а многие персонажи так даже и рельефны. Кроме положительных, разумеется.

После 22-го июня голос Эренбурга звучит как колокол на башне вечевой. В ненависти и омерзении к захватчикам он едва ли не превосходит самого Симонова – не в накале, но в глобализации. «Так убей фашиста», – писал Симонов, но Эренбург выражался гораздо более неполиткорректно: «Убей немца». «Мы поняли: немцы не люди. Отныне слово "немец" для нас самое страшное проклятие. Отныне слово "немец" разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного немца, твой день пропал».

«Сколько раз увидишь его, столько раз его и убей», – призывал Симонов, но Эренбург в интимной лирике говорит не об индивиде – о стране:

Будь ты проклята, страна разбоя,
Чтоб погасло солнце над тобою,
Чтоб с твоих полей ушли колосья,
Чтобы крот и тот тебя забросил.
Чтоб сгорела ты и чтоб ослепла,
Чтоб ты ползала на куче пепла...

Нет, надо перевести дыхание – если в Эренбурге и жил циник, то с первых же дней войны он был поглощен ветхозаветным пророком: утонченный релятивист наконец-то ухватил свою единственную, родную правду.

«Если дорог тебе твой дом» – таков был зачин знаменитого симоновского стихотворения, но Эренбург постоянно напоминал солдатам, что сражаются они не только за свой дом, но и за все человечество, за всю европейскую культуру: «Защищая родное село – Русский Брод, Успенку или Тарасовку, воины Красной Армии одновременно защищают "мыслящий тростник", гений Пушкина, Шекспира, Гете, Гюго, Сервантеса, Данте, пламя Прометея, путь Галилея и Коперника, Ньютона и Дарвина, многообразие, глубину, полноту человека». И этот космополитизм, возвышавший читателя в его собственных глазах, сделал «сомнительного» Эренбурга любимцем и фронта, и тыла, в том числе и немецкого: в одной партизанской бригаде был издан специальный приказ, запрещавший пускать на самокрутки газеты со статьями Эренбурга. Он получал тысячи писем от фронтовиков и скрупулезнейшим образом отвечал на каждое.

Хотя он и написал однажды: «Мы ненавидим немцев не только за то, что они убивают беззащитных людей. Мы ненавидим немцев и за то, что

мы должны их убивать», – но, несмотря на все подобные оговорки, фашистской пропаганде не так уж трудно было сделать из Эренбурга еврейско-комиссарское чудовище (даже полузабытый «Трест Д. Е.» был объявлен практической программой лично Эренбурга), специально отмеченное даже в одном из приказов самого фюрера, поэтому со стороны товарища Сталина было довольно-таки неглупым ходом ради дополнительного ослабления полуразрушенной немецкой обороны в апреле сорок пятого публично одернуть Эренбурга в «Правде» устами тогдашнего начальника агитпропа Г. Ф. Александрова: «Товарищ Эренбург упрощает».

Утешением товарищу Эренбургу послужил резко возросший поток писем с фронта и трофейное охотничье ружье, когда-то поднесенное льежскими оружейниками консулу Бонапарту.

После войны – «борьба за мир», заграничные поездки, выступления, статьи, неизменно «отмеченные высокой культурой», насколько это было возможно, умные и даже во многом справедливые, если забыть, что разоружаться предлагалось лишь одной стороне. Однако и литературную работоспособность он сохранил фантастическую – уже в 1947 году «был удостоен» Сталинской премии его толстенный соцреалистический роман «Буря», в котором если что-то и было хорошее, то напоминание, что и за железным занавесом живут какие ни есть, но все-таки люди, а не те уроды с плаката «Поджигатель бомбой машет и грозит отчизне нашей – с нами он не справится, бомбою подавится!» Тысяча девятьсот пятьдесят второй год – год расстрела Еврейского антифашистского комитета – принес Эренбургу еще одну премию: международную Ленинскую премию «За укрепление мира между народами».

Эренбург, судя по всему, был против любых еврейских объединений, хоть сколько-нибудь напоминающих гетто, полагая, надо думать, что если еврей не способен занять достойное место в индивидуальном состязании, то он и не стоит того, чтобы его защищать. Но когда после «дела врачей» в 1953 году над русским еврейством нависла опасность – ну, может быть, и не депортации, но, во всяком случае, перехода гонений на какой-то качественно новый уровень, Эренбург сумел приостановить руку «красного фаона» – которую тут же перехватила сама смерть.

Сигналом к атаке должна была послужить публикация в «Правде» некоего письма, подписанного всеми знатными советскими евреями. Смысл письма сводился к тому, что советская власть дала евреям все, а они платят за это черной неблагодарностью, сохраняя массовую приверженность буржуазному национализму...

Этим как бы оправдывались будущие действия власти, оправдывались, подчеркиваю, самой еврейской элитой. Но Эренбург в роковую минуту догадался сделать единственно верный ход – мгновенно настул письмо

Верховному Режиссеру: «Я считаю моим долгом поделиться с Вами моими сомнениями и попросить Вашего совета».

Знаменитый борец за мир между народами сумел найти безупречные идеологически, но при этом и убедительные прагматически-дипломатические формулы, которых ему и посейчас не могут простить ни сионисты за отрицание самого существования еврейской нации, ни благородные интеллигенты из самопровозглашенного министерства праведности за приятие языка советской пропаганды, – но дело было сделано: тысячи и тысячи судеб были спасены. Только об этом и беспокоился «циник», лихорадочно подбирая идеологические штампы, чтобы обращаться к державцу полумира на его собственном языке.

«Мне кажется, что единственным радикальным решением еврейского вопроса в нашем социалистическом государстве является полная ассимиляция, слияние людей еврейского происхождения с народами, среди которых они живут, я боюсь, что выступление коллективное ряда деятелей советской русской культуры, объединенных только происхождением, может укрепить националистические тенденции. В тексте имеется определение "еврейский народ", которое может ободрить тех советских граждан, которые еще не поняли, что еврейской нации нет.

Особенно я озабочен влиянием такого "Письма в редакцию" с точки зрения расширения и укрепления мирового движения за мир. Когда на различных комиссиях, пресс-конференциях ставился вопрос, почему в Советском Союзе больше нет школ на еврейском языке или газет, я неизменно отвечал, что после войны не осталось очагов бывшей "черты оседлости" и что новые поколения советских граждан еврейского происхождения не желают обособляться от народов, среди которых они живут. Опубликование письма, подписанного учеными, писателями, композиторами, которые говорят о некоторой общности советских евреев, может раздуть отвратительную антисоветскую пропаганду, которую ведут теперь сионисты, бундовцы и другие враги нашей Родины.

С точки зрения прогрессивных французов, итальянцев, англичан и т. д., нет понятия "еврей" как представитель национальности, там "евреи" понятие религиозной принадлежности, и клеветники могут использовать "Письмо в редакцию" для своих низких целей».

Этот исторический документ стоит перечитать тогдашними глазами.



И затем уже браться за последний эпохальный труд Эренбурга «Люди, годы, жизнь» – как за старое, но грозное оружие. Эпитет «эпохальный» – не преувеличение. Воспоминания Эренбурга действительно составили эпоху в нашем постижении двадцатого века – в отличие, скажем, от «Оттепели», которая дала эпохе имя, но сама, по-видимому, мало кем была прочитана. По крайней мере, пишущий эти строки при всем своем бесконечном пиетете не

смог осилить такую примерно стилистику, которой все советские писатели учились неизвестно даже у кого, но уж во всяком случае не у сценаристов и репортеров: «На заводе все относились к Коротееву с уважением. Директор Иван Васильевич Журавлев недавно признался секретарю горкома, что без Коротеева выпуск станков для скоростного резания пришлось бы отложить на следующий квартал». Сейчас эта забытая манера вызывает у меня нечто вроде даже почтительного удивления: это ж надо так суметь после знакомства с Брюсовым и Волошиным, Андреем Белым и Цветаевой, Мандельштамом и Хемингуэем, Андре Жидом и Ахматовой, Бабелем и Мориаком...

Но я уже невольно пересказываю, за что мы все ухватились, когда с невидимыми авангардными и шумными арьергардными боями к нам, часть за частью, начали пробиваться люди и годы жизни Эренбурга.

С точки зрения властей, там все было не так. Во-первых, слишком много всяких «формалистов», ради кого, собственно, мы и передавали из рук в руки сначала номера журнала, а затем и тома: Модильяни, Шагал, Матисс, Мейерхольд – ведь о них же почти ничего невозможно было отыскать, особенно в провинции, так что Эренбург, можно сказать, первым ввел эти имена в широкий культурный оборот. Во-вторых же, что с партийной точки зрения было еще более недопустимым, Эренбург позволил себе сказать вслух, что сталинским репрессиям сопутствовал некий заговор молчания, все всё понимали, но придерживали язык за зубами. «Нет, это вы, циники, понимали, а мы, кристальные большевики, не понимали!» – восклицали партийные идеологи, предпочитавшие титул дурака клейму труса (хотя обычно им хорошо давались обе роли).

Сегодня трудно даже представить, насколько расширила хотя бы полу-дозволенную картину мира эта книга – она прорубила новое окно не только в Европу, но и в наше собственное непредсказуемое прошлое. Но – падение царящего над социальным мирозданием советского небосвода породило и новые претензии к ней: если прежде ее ругали за то, что в ней есть, то теперь начали ругать за то, чего в ней нет. И подлинно: Эренбург не покушался на невозможное, а потому очень многое, действительно, обошел. А что еще хуже – кое о чем высказался прямо-таки в лакировочном духе: последовательное профилактическое истребление людей и структур, способных хотя бы теоретически когда-нибудь сделаться очагами сопротивления, Эренбург уподобил фронтовой ошибке, когда артиллерия бьет по своим. Это у Сталина-то были свои!

Тем не менее автор этих строк до сих пор испытывает неловкость, оттого что, глотнув пьянящего воздуха свободы, и он однажды тоже не удержался от соблазна покрасоваться на фоне покачнувшегося кумира, печатно назвав «Люди, годы, жизнь» энциклопедией советского либерального западничества, – как будто тогда было возможно какое-то иное западничество!.. А ведь пишущий эти строки никогда не претендовал на праведность, тогда как различение возможного и невозможного считается низким лишь в министерстве праведности...

С точки зрения этого министерства, еще менее красиво выглядит многолетняя служба Эренбурга в качестве представителя Страны Советов (СС) в интеллектуальных западных кругах: одного взгляда на этого лауреата и депутата, являющегося равноправным собеседником всех европейских знаменитостей, было достаточно, чтобы понять, что СС совершенно европейская страна и что слухи о тамошних притеснениях евреев не имеют под собой никакой почвы. И это правда: Эренбург сделал очень много для улучшения образа Советского Союза в глазах Запада. Но он сделал еще больше для улучшения образа Запада в глазах Советского Союза. Он и впрямь был символом какой-то иной цивилизации, обратив тем самым тысячи и тысячи умов сначала к культурному, а потом и социальному обновлению. Эренбург создал новую мечту, а именно творцы новых грез и есть тайные владыки мира.

Но, может быть, его итоговая книга при всей ее огромной исторической роли уже отслужила свое, подобно отработанной ступени баллистической ракеты? Ведь едва ли не о каждом ее персонаже к сегодняшнему дню выпущено столько литературы, что проблемой становится скорее ее необозримость, чем нехватка: пустырь, на котором главный космополит когда-то высаживал первые робкие деревца, превратился в непроходимый лес (в котором, кстати сказать, едва ли не половина липы). Что, собственно, «Люди, годы, жизнь» могут дать сегодняшнему читателю?

Сегодняшнему читателю я бы посоветовал видеть в этой книге не только источник знаний, но и конспект колоссального романа. Попробуйте каждое дерево в этом лесу дорисовать и раскрасить собственным воображением, постаравшись взглянуть на него глазами юного социал-демократа, религиозного романтика, монпарнасского обормота (М. Волошин), глумливого скептика, верного солдата, библейского пророка, искушенного царедворца, несломленного утописта, а может быть, и мудрого конфуцианца, полагающего, что лучше зажечь маленькую свечку, чем всю жизнь проклинать темноту. Попробуйте взглянуть десятком разных глаз на этих людей, эти годы, эту жизнь, и вы выйдете из книги с наброском гениальной эпопеи.

Тем более бесценной, что ей наверняка суждено остаться ненаписанной.



кандидат философских наук, культуролог, автор большого числа статей и эссе, а также книг «Конец стиля» и «След». Живет в США.

СЫН-ОДИНОЧКА

Юбилей Зигмунда Фрейда – 150 лет со дня рождения – дает прекрасный повод вспомнить великого человека, заново оценить его вклад в современную культуру. Этот вклад огромен, Фрейд произвел настоящую революцию в знании о человеке. Умножающий познание умножает скорбь. Это особенно верно в отношении того знания, которое дал нам Зигмунд Фрейд. Но всякий опыт – и особенно горький опыт – обогащает.

В числе революций, произведенных Фрейдом, был не только новый метод психотерапии, но и новое знание о механизмах человеческого творчества. Среди прочего Фрейд показал, что произведение искусства имеет структуру сновидения и (или) невротического симптома. Всякий артефакт – это сублимированный, принявший культурно-значимую форму невроз. Художник, получается, – невротик, сам себя лечащий, изживающий свои проблемы реализацией их в творческий продукт. Произведения искусства – тексты в широком смысле – приобретают значение вернейших свидетельств не только о внутреннем мире художника, но и о самом феномене человека как творческого существа. В произведении искусства, правильно понятом, мы находим модель человека и его истории, открываем ее глубинные мотивации.

С этой точки зрения интересным кажется рассмотреть одно из высочайших достижений русской пореволюционной культуры – кинематографическое творчество Сергея Михайловича Эйзенштейна и особенно его фильм «Иван Грозный».

Эйзенштейн, будучи чрезвычайно эрудированным человеком, знал, естественно, Фрейда и, более того, был горячим поклонником его учения. В мемуарах Эйзенштейна есть живая деталь первого знакомства с Фрейдом – в переполненном московском трамвае времен гражданской войны: зачитав-

шись книгой Фрейда, молодой красноармеец Эйзенштейн не заметил, как из его вещмешка вылился молочный паек.

Любой человек, испытывший на себе интимное действие психоанализа, никогда не разуверится в учении Фрейда. Естественно, речь идет о человеке, пережившем в прошлом (скорее всего, в детстве) психическую травму, смысл которой помог ему понять Фрейд. Всякий невротический симптом имеет смысл, дает зашифрованное изображение травматического опыта. Душевный опыт мальчика Эйзенштейна был нелегким: он рос в доме, раздираемом семейными скандалами самого отчаянного толка. В конце концов родители развелись, мать уехала в Петербург, он с отцом остался в Риге – тогда более немецкой, чем русской.

Михаил Осипович Эйзенштейн, отец будущего гения, был человек вполне корректный, крупный чиновник, имевший чин статского генерала, архитектор, застроивший Ригу массой домов в модном стиле модерн. Сын воспитывался в высших стандартах: бонны-немки, гувернантки-француженки, книжки, игрушки, рождественские елки, пони. Сережа Эйзенштейн был, что называется, пай-мальчик.

Позднее в мемуарных фрагментах он напишет:

«Тираны-папеньки были типичны для девятнадцатого века. А мой – перерос и в начало двадцатого! Сколько раз ученым попугаем примерный мальчик Сережа, глубоко вопреки своим представлениям и убеждениям, заученной формулой восторга отвечал на вопросы папеньки – разве не великолены его творения?.. Дайте же место отбушевать протесту хотя бы сейчас, хотя бы здесь! С малых лет – шоры манжет и крахмального воротничка там, где надо было рвать штаны и мазаться чернилами. <...> Почва к тому, чтобы примкнуть к социальному протесту, выростала во мне не из невзгод социального бесправия, не из лона материальных лишений, не из-за зигзагов борьбы за существование, а прямо и целиком из прообраза всякой социальной тирании, как тирании отца в семье, пережитка тирании главы рода в первобытном обществе».

Тирания отца в этом случае – это культурная репрессия, жизнь и воспитание в соответствии со строгими общественными, в данном случае буржуазными, нормами. Конечно, о тирании нужно говорить только в метафорическом смысле. Но художник тем и отличен от прочих людей, что способен оживлять, реализовывать, овеществлять метафоры.

В сверхвоспитанном, послушном, отлично учившемся пай-мальчике копились, прятали головы зловещие демоны бессознательного. Бессознательное Эйзенштейна обладает явными признаками садизма. Он сам прекрасно знал это и писал об этом:

«В моих фильмах расстреливают толпы людей, дробят копытами черепа батраков, закопанных по горло в землю, давят детей на Одесской

лестнице, бросают с крыши ("Стачка"), дают их убивать своим же родителям ("Бежин луг"), бросают в пылающие костры ("Александр Невский"); на экране истекают палящей кровью быки ("Стачка") или кровавым суррогатом артисты ("Потемкин"); в одних фильмах отравляют быков ("Старое и новое"), в других – цариц ("Иван Грозный"); пристреленная лошадь повисает на разведенном мосту ("Октябрь"), и стрелы вонзаются в людей, распластанных вдоль тына под осажденной Казанью. И совершенно не случайным кажется, что на целый ряд лет властителем дум и любимым героем моим становится не кто иной, как сам царь Иван Васильевич Грозный».

Иван Грозный как властитель дум и любимый образ – эти слова ни в коем случае нельзя понимать буквально, прямо, вне иронии, вне очень сложного подтекста. В символике бессознательного царь – отцовская фигура. Сергей Михайлович Эйзенштейн давно уже вырос из детских штанишек, стал замечательным кинорежиссером, мировой знаменитостью – но он всё еще во власти детского комплекса, с его враждой к отцу и страхом перед ним. Страх именно от вражды, от неприятия отцовского мира. Отец – человек, которого, по определению, на культурной поверхности нужно любить, но в глубинах души он вызывает страх и ненависть.

Эйзенштейн вспоминает, как в фильме «Октябрь» он использовал старые хроникальные кадры, на которых разымали на части старый памятник Александру III:

«...Если прибавить, что разъятая и опрокинутая полая фигура царя служила образом февральского низвержения царизма, то ясно, что это начало фильма, так напоминавшее поражение папенькиного творения через образ самого царя, говорило лично мне об освобождении из-под папенькиного авторитета».

Дело в том, что папенька-архитектор на одном из своих домов установил декоративные женские фигуры из поддельного алебаstra, а лившие на них дожди и осаждавшаяся влага придали этим фигурам излишне натуралистические детали. Папенькиных дев пришлось убрать. (Попутно заметим мотив избавления от женщин, столь важный в творчестве Эйзенштейна.)

Есть знаменитая фотография, сделанная на съемках «Октября»: Эйзенштейн сидит с ногами на троне российских императоров. Замечательная фотография. Роковая фотография.

Эдипов бунт кончился – не мог не кончиться – смирением и глубоким покаянием. Собственно, об этапах, о смене двух этих состояний говорить не приходится: они шли вместе, синхронно, ежесекундно. Глубокая амбивалентность свойственна фильмам Эйзенштейна. Это не просто садистические: это садо-мазохистские фильмы.

Вспомним слова об убийстве детей в его фильмах, начиная со «Стачки».

Лучший, судя по всему, и погибший фильм Эйзенштейна «Бежин луг» был целиком построен на этом мотиве. История Павлика Морозова была дана метафорой Бога-сына, приносимого в жертву Отцом во искупление грехов человечества. Вместо фильма о классовой борьбе в деревне Эйзенштейн снял христианскую мистерию.

Глубочайшая тема Эйзенштейна – крестные муки Сына, оспорившего божественность Создателя-Отца. Свой сугубо индивидуальный эдипов комплекс он сделал религиозной мистерией. Это первый признак гения – репрезентация персональных идиосинкразий в архетипических образах.

В фильмах Эйзенштейна идет столкновение гигантских архетипов, разворачиваются легенды веков, и нет в них никаких политических мотивов, которые жадно ищут у него как либералы, так и консерваторы.

В статье Михаила Ромма вспоминается заседание некоего художественного совета, созданного в министерстве кинематографии после того, как само министерство не решилось вынести оценку второй серии «Ивана Грозного»:

«Мы посмотрели и ощутили ту же тревогу и то же смутное чувство слишком страшных намеков, которые почувствовали работники министерства. Но Эйзенштейн держался с дерзкой веселостью. Он спросил нас: "А что такое? Что неблагополучно? Что вы имеете в виду? Вы мне скажите прямо". Но никто не решился прямо сказать, что в Иване Грозном остро чувствуется намек на Сталина, в Малюте Скуратове – намек на Берию, в oprичниках – намек на его приспешников. Но в дерзости Эйзенштейна, в блеске его глаз, в его вызывающей скептической улыбке мы чувствовали, что он действует сознательно, что он решился идти напропалую. Это было страшно».

Это столь же неверно, как негодование солженицынского зэка, увидевшего в «Иване Грозном» апологию тирании.

Если в фильме были бы такие намеки, то неужто их не понял бы Сталин? А поняв, не уничтожил бы Эйзенштейна на месте? Ничего подобного не произошло. Сталин запретил картину, сказав, что Иван у Эйзенштейна не такой как надо: не могущественный властитель, железной рукой громящий врагов государства Российского, а рефлексирующий невротик, вроде Гамлета. Политического обвинения по адресу фильма и режиссера не было. Эйзенштейн, что называется, умер в своей постели – трагически рано, конечно, в пятьдесят лет. Проживи он еще десятка два, и мы увидели бы не один шедевр. Но Сталин здесь, увы, ни при чем.

Что же действительно в фильме было «не так», почему его боялись показать Сталину и почему сам Эйзенштейн так вызывающе, можно сказать провокационно, приглашал высказаться и объяснить претензии?

В «Иване Грозном» Эйзенштейн поначалу отошел от своей главенствующей темы противоборства сына и отца – и развернул другую свою, еще

более глубокую тему; назовем ее темой мужской дружбы и предательства в любви. Иван предстает в обеих сериях брошенным любовником; во второй резче, острее, там эта тема эксплицируется Малютой после ссоры царя с митрополитом Филиппом: «по другу плачешь, голову преклонить на плечо некому?» Измены, преследуемые Иваном в порядке государственного преступления, – это, в подтексте, любовные измены.

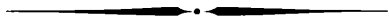
Вспомним конец первой серии: Анастасия умерла, и вокруг ее гроба выстраивается караул опричников в черном. Яснее не скажешь о новом выборе царя Ивана, об уходе его в сугубо мужской мир. Опричнина в фильме – гомосексуальное сообщество. Пляска опричников во второй серии – знаменитый цветной кусок фильма – метафора гомосексуальной оргии, и в центре ее Федька Басманов в девичьей личине с косами. А Федька действительно был царевым любовником, гомосексуализм Ивана – исторический факт.

Вот это перевертывание исторического сюжета в план глубинной психологии, сделавшее фильм гениальным произведением киноискусства, вызвало не то что негодование или даже непонимание Сталина, а не встретило одобрения с его стороны. Он увидел, что Эйзенштейн в очередной раз вместо политически необходимой картины представил изысканную эстетическую игрушку, отвечающую вкусам мастера, а не сиюминутной генеральной линии.

Либеральная легенда, представленная хотя бы в цитированных словах Ромма, утверждает, что Эйзенштейн этим фильмом совершил самоубийство. Самоубийство во второй серии действительно было: это сцена облачения Владимира Старицкого в царские одежды и последующее его убийство Петром Волынцом, принявшим его за царя. Иван велит отпустить Волынца, говоря: «Ты не царя убил, ты шута убил!» Этот шут – маска самого Эйзенштейна, великого художника, расплатившегося в этой сцене за свое право на царские одежды гения.

И это же возвращение темы наказанного сыновнего бунта.

Ты царь. Живи один.





Александр Кустарев

социолог, аналитик, писатель, публицист; с 1984 по 1997 г. – главный редактор тематических программ на Би-Би-Си, ныне сотрудник российского Института русской истории (РГГУ). Живет в Англии.

ДВА КОЗЛА ПРОТИВ МИРОВОГО ЗЛА

I must admit, Mr Gardiner, – the President said, – that what you've just said is one of the most refreshing and optimistic statement I've heard in a very, very long time (Jerzy Kosinski. «Being there»).*

Мыслимы и наблюдаются в жизни разные варианты избыточного карьерного успеха.

Возьмём за скобки ситуацию, зафиксированную в законе Паркинсона: каждый управленец достигает уровня своей некомпетентности. Закон Паркинсона предусматривает не только неизбежный выход каждого на уровень, превышающий его компетентность, но и то, что до этого финального уровня компетентность кадра остаётся адекватной его уровню. Эту ситуацию можно считать рутинной. Нас интересуют иные механизмы успеха, когда у персонажа нет никакой компетентности вообще и с самого начала. Нас интересуют мыльные пузыри, пустышки. Посмотрим, как они возникают, воспользовавшись необыкновенной карьерой Натана Щаранского.

Во-первых, большую карьеру может сделать ловкий амбициозный персонаж, пробивающий себе дорогу интригами, предательством, обманом, компрометацией и устранением конкурентов. Это – классический авантюрист. Такой персонаж может достигнуть самых больших высот, но ему очень трудно удержаться наверху. Его взлёт обычно стремителен, а падение следует почти немедленно. Такие карьеры были характерны для придворного общества.

* «Признаться, мистер Гарднер, – сказал Президент, – сказанное вами – одно из самых занятых и оптимистических заявлений, подобных которым я не слышал давным-давно» (*Ежи Козинский. Будучи там*).

Высоко можно подняться, оказывая услуги важным и сильным людям. Персонажи, владеющие этим методом, почти никогда не попадают на самый верх, поскольку на любой ступени карьерной лестницы остаются вечными «шестёрками» кого-то другого. Но зато их положение гораздо более устойчиво, потому что в ходе своей карьеры они, хотя и наживают себе врагов, но также приобретают и друзей. Такие карьеры преобладают в корпоративном мире.

Ещё один вариант – жулики и симулянты. Это те, кто делают вид, будто располагают особо важным знанием или свидетельствами своего особого достоинства – справками и рекомендациями. Иногда они намекают на свою связь с высшими, потусторонними силами. Так достигается успех в бизнесе.

Наконец, существуют карьеры, которые мало зависят от самого персонажа. Репутация, или «социальный капитал», может быть создана совершенно искусственно. Иногда она создается вполне сознательно «разработчиками», хорошо знающими, что они делают. Им подыгрывает медиа. Иногда такие мыльные пузыри возникают, так сказать, из воздуха в результате стечения обстоятельств. Чаще всего – и то и другое. Эти мыльные пузыри могут оказаться не такими уж мыльными в смысле их долговечности. Те, кто их раздул (раскрутил), оказываются их же заложниками. Такое характерно для в публичной сферы, в частности политики.

Конечно, совершенно не зависящих от персонажа карьер не бывает. Какую-то лепту на какой-то стадии в свой успех вносит любой персонаж, но эффект этой лепты может оказаться совершенно диспропорциональным.

Карьера Щаранского – именно этой разновидности. Щаранский, хотя и не был совершенно пассивен, всё же, в конечном счёте, не более чем стечение обстоятельств, «разработка», образ без содержания, миф, репутация без субстанции, имя на пустом месте. *Blank page is Gardiner's code name**.

Этот вариант общественной карьеры, благодаря своей курьёзности, всегда пользовался вниманием саркастически настроенных литераторов. Галерея литературных персонажей, воплощающих такие карьеры, богата оттенками.

Наиболее злобещий из персонажей этого рода – крошка Цахес, изобретение Э.-Т.-А. Гофмана. Как всегда у этого автора, обыденность персонажа комбинируется с действием сверхъестественных сил. Цахес – продукт колдовства.

В русской литературе самый знаменитый персонаж этого рода – незабвенный Александр Иванович Хлестаков. Он не внушает особой симпатии, но в нём нет и ничего особо злобещего.

Польский писатель Тадеуш Доленга-Мостович создал намного более симпатичный персонаж этого рода в романе «Необыкновенная карьера Ни-

* «Пустое место – это кодовое имя Гарднера».

кодима Дызмы». В Польше этот сюжет очень популярен. В 1956 году был сделан фильм по этому роману с замечательным комиком Адольфом Дымшей в заглавной роли. В 1980 году появился телесериал, а в 2002 году – ещё один фильм. Никодим Дызма (мелкий артист варьете) делает головокружительную политическую карьеру абсолютно против своего желания. Сперва его принимают за другого. Затем, поняв, что он не тот, за кого его приняли какие-то растяпы, более циничные кукловоды пытаются использовать его в сомнительных целях, рассчитывая, что он будет готов делать всё, что от него требуется.

Парафраз этого романа изготовил в 1971 году Ежи Козинский. Козинский, уехав после 1956 года из Польши, стал американским писателем, как говорят, умело эксплуатируя женщин и литературных негров, что придаёт ему сходство с Жоржем Дюруа Мопассана. Козинский был странный человек: компульсивный авантюрист, магнетический манипулятор, патологический лгун и социопат. Но, как видно, ему всё это давалось нелегко – в конце концов, он покончил с собой. У него была вторая половина души. Он «отслоил» вторую её в образе умственно отсталого садовника Чанса в романе «Being there», изобразив с мрачной иронией в этом персонаже самого себя, что делает ему честь. Этот простенький (даже примитивный) роман, едва выходящий за пределы концепта, был превращён позднее (как и роман Доленги-Мостовича) в киношедевр благодаря участию великого и неповторимого Питера Селлерса. Персонаж романа Козинского блистает полной невинностью, он настоящий святой. Он так до конца сам не понимает, куда он попал и что вокруг него происходит. Но даже полное отсутствие какой-либо информации о нём не может поколебать уверенности больших игроков в его важности. *Blank page is Gardiner's code name*, – говорит советский шпион.

Карьера Щаранского заставляет нас вспомнить всю эту галерею. Он то похож на зловещего Цахеса, то на потерявшего узду пьяного Хлестакова, то на злополучного пана Дызму, то на совершенно астрального идиота из романа Козинского.

Накапливать социальный капитал Щаранский начал в роли «отказника». В отказники он попал вместе с тысячами советских евреев и ничем среди них не выделялся бы, если бы не соединил своё отказничество с диссидентством. Его попытки держаться как можно ближе к академику Сахарову указывают на способность к рациональному карьерному расчёту.

Попав в застенки КГБ более или менее случайно, Щаранский обнаружил сильный характер, проявил незаурядное упрямство, азартно дразнил своих тюремщиков и в результате из обычного сидельца превратился в образцово-показательную жертву репрессивного режима. Американские доброхоты советских диссидентов и отказников выбрали его на роль «главного узника» злостной советской системы. Так возникло «имя».

Трудно предположить, что Щаранский, нарываясь на особые неприятности в советской тюрьме (больше года карцера!), всерьёз предполагал, что

создаёт себе «социальный капитал», который потом выведет его на большую политическую арену. Но именно это и произошло.

В 90-е годы русских евреев в Израиле стало слишком много, чтобы их игнорировать. В атмосфере характерной для Израиля «политики идентичности» у обеих главных партий был естественный соблазн перетянуть их на свою сторону, что называется, *en bloc* (скопом). Поскольку никакая программа и никакие материальные интересы всех евреев, даже сидящих в одной лодке, объединить заведомо не могут, было с самого начала ясно, что этого можно добиться (если можно вообще) с помощью какой-нибудь символической фигуры.

На эту роль и подошёл Щаранский. В отличие от других, скажем, не слишком ярких персонажей, пытавшихся стать политическими лидерами «русских» израильтян, Щаранский располагал некоторой харизмой – харизмой мученика. Трудно сказать, кому первому пришло в голову создать политическое движение «под Щаранского» – ему самому или кому-то из лукавых пиарщиков Ликуда. Кто первый сказал «э» – какой-то добчинский в среде политических разработчиков или этим добчинским был сам Щаранский? В таких случаях обычно «э» произносят сразу несколько фигурантов, что и было в своё время метко замечено Н. В. Гоголем («э» сказали мы с Петром Ивановичем...).

В политических телодвижениях Щаранского в Израиле (как замечают наблюдавшие за ними вблизи) была некоторая доля намеренности и целеустремлённости, хотя вполне очевидно, что им манипулировали гораздо больше, чем он сам кем-то манипулировал. Его действия могут выглядеть как простое политическое жульничество и казаться безответственными, но на самом деле, скорее всего, это были безответственные импровизации без какого-либо стратегического плана. Ему сказали, что он «лидер», он в это поверил и стал имитировать поведение лидера как получалось – наобум. Весь политический эпизод с его участием в главной роли, в конце концов, оказался совершенно стерильным. Щаранский, пожалуй, был козырной картой в политических играх с «русскими», но в достоинстве от двойки до шестёрки.

Смысл участия Щаранского в правительствах, видимо, по плану его спонсоров-разработчиков состоял в том, чтобы польстить русской алии. Предполагалось, что она будет рада себя с ним идентифицировать и будет думать, что в лице Щаранского вошла в большую местную политику. Но как раз из этого-то ничего и не вышло.

Его пребывание на министерских постах поначалу сбивает с толку: министрами ведь так просто не становятся, не правда ли? Но, во-первых, нет, не правда: бездарных министров как собак нерезаных (в силу хотя бы всё того же закона Паркинсона), и это как раз все знают. А, во-вторых, следует принять во внимание особенности израильской политики. Для неё характерны базарные торги с множеством мелких партий для построения коалиций. Мелкие партии произвели на свет таких министров, как Щаранский,

до хрена и больше. Где они все теперь и кто их вспоминает? Объём и содержание их министерской деятельности никому не известны и, надо думать, были равны нулю и, во всяком случае, не выходили за рамки элементарного лоббирования, патронажа бюрократических должностей и выступлений на митингах.

Но как бы там ни было, к «имени» Щаранского теперь добавилась «анкета». Теперь он уже был не просто герой сопротивления, а господин министр. В самом Израиле могли над этим потешаться сколько угодно, но такая анкета вводила её владельца во всемирный политический салон. Поскольку этот салон многоязычен и в нём половина участников что называется «моя твоя не понимай», анкета там не просто самое главное, но единственное средство идентификации персонажа.

В эту уже по-настоящему большую тусовку Щаранский пришёл другим человеком. Побыв фигурантом на израильской политической арене, Щаранский оказался совсем сбит с толку и начал принимать себя всерьёз. Он написал политический трактат. Но вряд ли и на этой стадии он мог себе вообразить, как высоко он полетит на этом трактате.

Обратимся теперь к этому трактату. Чему нас учит ребе Щаранский?

В мире есть хорошие общества – их он называет «демократическими», или «свободными». И плохие общества – их он называет общества страха. Как их отличить друг от друга? В свободном обществе ты можешь пойти на форум и обматерить власть. И тебе ничего за это не будет. А в обществе страха это невозможно. Там за такие вещи сажают. И все этого боятся. Щаранский оформил это глубокое прозрение метафорическим термином «town square test», или, если угодно, «проверка майданом».

В плохих обществах нет свободы, и все живут в страхе, потому что там плохая, деспотическая власть. Народы же хотят свободы и демократии. Им надо помочь этих благ добиться. У них всё должно быть как у нас.

В основе международной политики должен быть моральный императив. Что морально, то и политически выгодно. До сих пор Вашингтон самому себе во вред соглашался поддерживать плохие режимы только за то, что они были его союзниками против коммунизма. Это надо прекратить. Щаранский: «Вот, например, в 1991 году Америка спасла режим Саудовской Аравии, не поставив ему никаких условий. Я предупреждал, что это не кончится добром».

Нужно поддерживать только «хорошие» режимы. А плохие – сживать со света. Если и не с помощью военной агрессии и замены плохих режимов на хорошие (как в Ираке), то, оказывая на плохие режимы давление, покупая их демократизацию поблажками и подталкивая их к демократизации наказаниями (санкциями).

Совет Бушу (интервью «Независимой газете», август 2005 года): «Дайте вольнодумцам понять, что вы на их стороне, а не на стороне их угнетателей... Чтобы не бояться диктаторов, нужно дружить не с правительствами, а с народами».

Такова доктрина. Она оркеструется глубокомысленными сентенциями, вроде следующих (взяты из его книги «В защиту демократии» и интервью «Независимой газете»):

«Свободу любят все... всеобщее желание всех народов – не жить в страхе... терроризм – в первую очередь функция отсутствия демократии... уверять, как это делают скептики, что большинство свободно предпочтёт жить в обществе страха, всё равно что уверять, будто те, кто вкусил свободы, снова захотят жить в рабстве... свободные выборы это выборы в свободном обществе... демократические правительства не воюют друг с другом, потому что они зависят от воли народа... те, кто борются за права человека и не могут отличить свободное общество от общества страха, лишены морального компаса... Для глобальной безопасности важно не то, где проходят физические границы между странами, а где пролегает грань между обществами, которые живут в страхе, и обществами, которые живут без страха. Это очень важно – ведь если люди живут без страха, то в итоге их общество не опасно для их соседей – это сложная мысль, но я её потом объясню... Прогресс – это возрастание степени свободы». *I do agree with the President; everything in the garden will grow strong in due cause. And there is still plenty of room in it for new flowers of all kinds**. (Если это чуть-чуть подредактировать, то получатся афоризмы Козьмы Пруткова; как сказал бы Прутков: «читатель и сам мог бы это заметить».)

А вот мнения Щаранского по более конкретным поводам. «Трусливый оппортунистический Запад фактически помогал советскому злему тоталитаризму... в 30-е годы в Советском Союзе не было диссидентов... я не сомневаюсь, что арабы хотят свободы... При тоталитарных режимах общество состоит из цепных псов, диссидентов и двоемыслящих... В Саудовской Аравии давно уже большая часть населения двоемыслящие... Фарид Закария легкомысленно оперирует понятием демократии – он думает, что это выборы... Каждое новое государство автоматически принимают в ООН – это безобразие... В ООН сплошные диктатуры, а свободные страны её содержат... Я не говорю, что ООН следует отменить, но я настаиваю на том, что необходимо отдавать себе отчёт в крайней ограниченности её функций... Жизненно необходимо организовать сообщество стран, которые проходят "town square test", и постараться добиться того, чтобы это сообщество стало для остальных стран подлинным магнитом».

Вступать с учением Щаранского и его импликациями в дискуссию ни в коем случае нельзя. Это всё ниже уровня рационального дискурса. Это пошлая обывательская плебейско-подростковая безответственная, бессодержательная, досужая болтовня. Смесь тривиальности и вздора.

Но по двум причинам эта обывательская галиматья не может быть игно-

* «Я полностью согласен с президентом; все в саду расцветет должным образом. И останется полно места для новых цветов всякого рода».

рирована и подлежит аккуратной вивисекции. Во-первых, президент Буш объявил Чанса–Щаранского своим духовным наставником и превратил его в крошку Цахес. Во-вторых, напыщенная умственная хлестаковщина Дызмы–Щаранского документирует один из вариантов распространённого ныне весьма возбуждённого обыденного политизированного сознания и в силу этого есть важная социальная фактура.

Первое – бросается в глаза. Как пишет один из критиков Щаранского в интернете: «Я стал читать книгу Щаранского только потому, что американский президент объявил её откровением и рекомендует всему своему кабинету прочитать её... Ни по какой другой причине её читать не стоит. Она легковесна, необедительна и нисколько не стимулирует мысль». Между тем, с лёгкой руки Буша-младшего серый советский сиделец и почётный статист израильского политического театра в мгновение ока превратился в «гиганта мысли и отца всемирной демократии».

При виде этого волшебного превращения наблюдатели были несколько растеряны и не очень знали – плакать или смеяться. Их реакция была полуиронической, полуосторожной (на всякий случай). У Буша, писали они, интеллектуальный роман (an intellectual love affair). Буш, дескать, совершенно заворочен (infatuated) политической философией «еврейского интеллектуала». Буш, со своей стороны, цитировал фрагменты из книги Щаранского в инаугуральной речи. Во время предвыборной кампании 2000 года Буш говорил, что его любимый политический философ Иисус Христос, а теперь – Натан Щаранский.

Буш рекомендует книгу Щаранского всем, кому может, включая бедную Кондолизу. Буш больше часа разговаривал с самим Щаранским. С ним так же долго общался вице-президент Дик Чейни. С этого момента сходство Щаранского с Чансом-Гарднером (из романа Козинского) становится разительным. *Mr Gardiner, I heard the President's speech, in which he referred to his consultations with you... I understand from the remarks of Ambassador Skrapinov that among your many other accomplishments, you are also a man of letters**.

Ну и ну. Как Буш не боится отождествлять себя со столь одиозной и доморощенной псевдополитической болтовнёй? Неужели он не мог подобрать себе более респектабельную фигуру на роль домашнего учителя политической философии?

В его ближнем окружении есть не меньше дюжины мыслителей с таким же набором рекомендаций. Таких мыслителей пруд пруди на националистической мессианистской периферии американского нарратива. А если порыться в архиве, то можно найти и более или менее респектабельных (во всяком случае, по понятиям их времени) пророков американской миссии.

* «Мистер Гарднер, я слышал речь президента, в которой он ссылается на свои консультации с вами... По словам посла Скрапинова, среди множества ваших талантов числится и склонность к изысканной словесности».

Наконец, Буш мог бы сослаться на своего исторического предшественника Рейгана.

Но Буш предпочитает Щаранского. Делая вид, что Щаранский открыл ему глаза, Буш сильно лукавит, хотя, может быть, и бессознательно. Книга Щаранского приглянулась ему потому, что Щаранский повторяет слово в слово то, что уже давно произносит сам Буш. По замечанию одного критика, Щаранский «сыграл на руку "эго" самого Буша».

При этом, поскольку Буш патентованный дурак, можно подозревать, что он просто не понимает, какого низкого качества умственный продукт Щаранского. Он увидел, что кто-то думает так же, как и он сам, и этого для него достаточно, чтобы объявить этого другого «гением». Хваля Щаранского, Буш хвалит самого себя. По словам наблюдателя, «мистер Щаранский не столько гуру мистера Буша, сколько его подголосок».

Кроме того, Буш инстинктивно чувствует, что Щаранский ответит ему взаимностью. Ни с одним даже простым профессором он не может на такую взаимность рассчитывать. Ни один по-настоящему образованный и психологически уравновешенный профессионал (политического или академического профиля) в паре с Бушем выступать не согласится. Даже если он внутренне склоняется к тому же настроению и той же политической философии. Бедная Кондолиза – это самое большее, на что Буш может рассчитывать. (Но ещё посмотрим, что она будет писать про Буша лет через 10 в воспоминаниях. Калибра, класса у Кондолизы нет, но уж, во всяком случае, у неё больше интеллектуального лоска и багажа, чем у её покровителя купе с его учителем.)

Но главное, Буш хочет уязвить интеллектуалов, назначая на их место Щаранского. *This Gardiner is quite a personality... Manly, well groomed, beautiful voice...He's not of those phony idealists, or IBM-ised technocrats**. Вот, дескать, кто настоящий умник, а не вы, университетские крысы, болтуны-либералы, трепачи-словоклёпы. Буш, между прочим, несмотря на свою благодушно-простецкую ухмылку, на самом деле мужичонка злой и беспокойный. Он ревнив и закомплексован. В Йеле и Гарварде он был последним среди равных и не может этого простить своим однокашникам.

Мотивы Буша, таким образом, довольно прозрачны, и по этому поводу многие наблюдатели язвительно прохаживаются. Обратимся теперь к той стороне философских упражнений Щаранского, которая делает их при всей их пошлости, а точнее именно благодаря их пошлости социально значимым объектом. Щаранский интересен как носитель и разносчик городского умственного фольклора. Он – пересказчик политических «городских баек» – *urban tales*, широко циркулирующих если и не во всём городе, то в одном из его кварталов.

Фольклорность представлений и лексики Щаранского бросается в гла-

* «Этот Гарднер – таки личность... Сила, манеры, прекрасный голос... Не то, что эти наши дутые идеалисты или технократы от компьютеров».

за. Те, кто выросл в советском обществе в 60–70-х годах, знают все эти «разговорчики» наизусть. Это фольклор «пикейных жилетов» советско-антисоветского салона (кружка, «кухни»): «свободный мир» против «тоталитарного режима».... «двоемыслие».... «общество страха».... Загляните в русские эмигрантские газеты 70-х и 80-х годов – они переполнены этой лексикой. Так же выглядели рассуждения ренегатов «слева», сформировавших первое поколение профессиональных антикоммунистов и заложивших основы того, что позднее стали называть «неоконсерватизмом». Этим же умственным арсеналом высокопарно оперировали Радио Свобода, Голос Америки, Би-Би-Си (на Би-Би-Си эта практика была несколько приглушена доктринальной установкой директората на «объективность», что, между прочим, приводило в глубокое уныние многих сотрудников русской службы 80-х годов, поскольку это мешало им красиво выступить).

Этот фольклор ходил по кругу между радиостанциями, советско-антисоветским подпольным салоном и русскоязычной прессой в Америке и Израиле добрые три десятка лет. Авторитет этому фольклору в 80-е годы придал Рейган, пустивший в оборот (с чьей-то подачи, конечно) выражение «империя зла», звучавшее особенно знакомо для поколения читателей Толкиена, каковых к середине 80-х уже и в России было немало. Рейган и стал любимцем российских «пикейных жилетов». Щаранский – из этой толпы. Тысячи ему подобных могли бы сейчас с таким же успехом претендовать на роль наставника Буша. Среди моих собеседников в 80-е и 90-е годы на двух человек приходилось, по меньшей мере, полтора таких щаранских.

Щаранский встречался с Рейганом и умиленно цитирует самодовольные пошлости президента: «Я ему говорю, отпусти, говорю, лучше евреев» или: «Если будете держать людей в тюрьмах, не бывать промеж нас никакой дружбе».

Важная сторона этого умственного фольклора – назойливое морализаторство. Щаранский облюбовал выражение «moral clarity», что звучит несколько неестественно. Можно подозревать, что слово clarity появилось в лексике Щаранского как первый попавшийся под руку перевод на английский русского слова «чистота». Он собственно хочет сказать, что полноценна только политика, проводимая во имя «чистых» целей. Насаждение демократии – такая «чистая» цель.

Но требование не руководствоваться в политике ничем, кроме «высокоморальных целей», может исходить только от тех, кто тупо верит в собственное моральное превосходство над другими.

Адепт «морально чистой» политики Щаранский, в сущности, объявляет, что Америка и Израиль в его (Щаранского) лице – моральные лидеры человечества, а раз так, то они всегда правы. Вот как это звучит в исполнении самого Буша: «Я не понимаю, почему они нас так не любят. Не могу понять. Не могу. Потому что я-то знаю, какие мы хорошие». Если кто-то с этим не согласен, то он автоматически становится агентом зла.

Такая наивная демонстрация моралистического чванства производит

шокирующее впечатление. Не потому, что Америка и Израиль на самом деле, как нас уверяют их недоброжелатели, «сами злодеи». А потому что уверенность в своей (моральной) правоте имеет парадоксальные практические следствия и крайне опасна для мира и порядка. Между прочим, на другой стороне находятся точно такие же моралисты, как и Щаранский. Может быть, даже более экзальтированные, что ещё хуже и опаснее. Щаранский, может быть, думает, что шахиды поклоняются сатане? Жестокая ошибка.

Их морализаторство, скажет Щаранский, нельзя принимать за чистую монету. А наше можно? Зрелые и опытные комментаторы политической истории, профессиональные дипломаты и практикующие политики скептически относятся к любому морализаторству, от кого бы оно ни исходило. Они знают, что именно морализаторство с обеих сторон грозит обострением и продлением конфликта в бесконечность. Не для доказательства, а просто для иллюстрации приведём цитату из недавней статьи бывшего госсекретаря Мадлен Олбрайт: «Иногда политическому лидеру есть смысл для риторического эффекта напоминать, что мир разделён между силами добра и зла. Но совсем другое дело, когда самая могущественная нация мира кладёт эту фикцию в основу своей политики». Для того чтобы это понять, не надо быть большим спинозой. Олбрайт отнюдь не спиноза. Она просто взрослая женщина и опытный политик, знающий людей и занятый делом.

Моралистическая риторика Щаранского имеет один особый корень, о чём есть смысл напомнить. Сугубое и многозначительное морализаторство получило импульс в среде советского диссидентства в 60-е годы. Диссиденты непрестанно говорили о своём исключительно «моральном сопротивлении» аморальному тоталитаризму. Отчасти это морализаторство имело эстетско-аристократический оттенок. Отчасти оно объяснялось тем, что политические программы, а тем более любой активизм были очень опасны, поскольку автоматически превращали их агентов в «заговорщиков», то есть создавали «состав преступления» в действительно очень жёстких условиях идеологически монолитного «всенародного» государства, с его особо догматической «нормативностью» и чрезвычайно широкой трактовкой «преступности». Диссиденты думали (и правильно, между прочим, думали), что, настойчиво подчёркивая свои «моральные» мотивы, они получают некоторый шанс на более мягкие приговоры.

Но главным образом тяготение к моралистическому дискурсу объяснялось особым характером персонажей, выбиравших себе стезю диссидентства. Психологически они были сродни ранним христианам. Угнетённые всегда утешаются чувством своего морального превосходства над угнетателями. Это облегчает им мученическую практику. Щаранский ничего, кроме этой диссидентски-катакомбной субкультуры, не знает: вот он и воспринимает себя как «морально чистого» в войне против «морально нечистых». Он думает, что год, проведённый в советском карцере, сделал его «святым», и это придаёт «святость» всему, что он с тех пор делает. Это — чистая клиника.

Щаранский не чувствует глубокой парадоксальности проблематики «морального действия». Он как будто никогда не слышал о коллизии «цель–средства», вокруг которой существует такой необозримый нарратив – схоластический, параболический и пр. Между тем, особая сложность всей практики международных отношений (да и вообще отношений между людьми) связана именно с этим парадоксом. Патологические морализаторы позволяют себе смотреть на людей со зрелыми рефлексам, чувствующими эту парадоксальность, сверху вниз – как на людей морально слабых (лишённых «моральной ясности») и как на людей – о, ужас – «безнравственных». На самом же деле разница между ними и цивилизованными «агентами совести» в том, что цивилизованные профессиональные политики – ответственные, а самодовольно-высокопарные моралисты – безответственны.

Как у всякого невежественного морализатора (маниакального или лицемерного – безразлично), сознание Щаранского глубоко предрассудочно. Полемизирующий с ним И. Ефимов* нашёл в книге Щаранского поразительную «фрейдистскую проговорку». Щаранский (как он сам рассказывает) предложил нескольким компаньонам разыграть суд над инициатором «разрядки» Генри Киссинджером. Двум компаньонам была дана роль обвинителей, двум – роль адвокатов. «Себе я взял наиболее завидную роль из всех – роль судьи, – пишет он. – ...Приговор я вынес заранее: Киссинджер будет лишён американского гражданства, приговорен к высылке в Советский Союз, откуда он будет пытаться эмигрировать, не имея возможности использовать поправку Джексона–Вэника». Ефимов совершенно справедливо замечает: «Щаранский невольно выдает свою уверенность в том, что он сумеет в любой ситуации *заранее* вынести правильный приговор».

(Щаранский, вероятно, думает, что эта подстановка бедняги Киссинджера на место отказника есть его личное особенно эффективное изобретение. Между тем, это опять-таки вариация фольклора. Я припоминаю, что в устном самиздате в начале 70-х годов ходил стихотворный фельетон про недотёпу-американца, верящего в то, что с советскими партнёрами можно разговаривать как с людьми. Стихотворение кончалось словами: «пускай они побудут в нашей шкуре, и это, может быть, прибавит им ума». Бьюсь об заклад, что Щаранский со своей имитацией суда над Киссинджером вдохновлялся этими самыми строками.

Заодно я напомним о ещё одной единице фольклора, видимо подсказавшей Щаранскому идею «майдан-теста». В 70-е годы был такой анекдот. Американец говорит русскому: у вас нет свободы слова; вот я могу пойти на площадь перед Белым домом и там кричать «долой Никсона!» А русский в ответ американцу: подумаешь, дело; я тоже могу пойти на Красную площадь и там кричать «долой Никсона!» Уберите из этого анекдота смешное, и вы получите «майдан-тест» Щаранского. Разве нет?)

* И. Ефимов. Исправительно-принудительная демократия // NB. № 9.

Вот что такое на самом деле злополучная «моральная ясность». А чего стоит признание, что роль судьбы – «самая завидная»? Но ещё интереснее, я думаю, то, что Щаранский с этой инфантильной мечтой о суде над противным Киссинджером демонстрирует тягу к *магии*. Ибо что такое имитация суда над Киссинджером? Это не более чем заговорная операция в духе *вуду*. Самозванный виртуоз морали оказывается на поверку *вудуистом*.

У рассуждений Щаранского есть ещё один признак варварского или обыденного сознания. Он думает, что законность, моральная полноценность и эффективность (конкурентная) это одно и то же. Никак нет, это не одно и то же. Сознание разделённости этих трёх критериев социального действия – одно из самых важных достижений европейской общественной мысли. Оно есть продукт эмпирического обобщения, то есть исторического и личного опыта и рационализации этого опыта. Оно подкреплено мощной дискурсивной традицией. Кто этого не усвоил, тот просто недоросль, не выучивший азбуки. *I do not read any newspapers, – said Chance, – I watch TV**.

Щаранский игнорирует сложности конкретной жизни и живёт в мире грубых абстракций. Сразу видно, что он не нюхал настоящей политической ответственности и привык бросать слова на ветер. Как заметил один рецензент, «сам живёт в башне из слоновой кости и учит Америку тратить деньги и проливать кровь за какую-то чужую демократию». И это ведь говорит не какой-то враг демократии, а просто трезвый обыватель с нормальными рефлексами.

Щаранский легкомысленно объявляет, что так называемая «реалистическая» школа (она же «геополитика») в теории и практике международных отношений – «банкрот».

Тут он по невежеству попадает в занятую ловушку. С таким высокомерно-презрительным отношением к геополитическому «реализму» ему следовало бы записаться в противоположный лагерь – так называемую «либеральную» школу теории и практики международных отношений, то есть пойти в ученики, скажем, к президенту Вильсону или философу Канту. Эта школа настаивает, что мировой порядок не просто «параллелограмм» геополитических сил, защищающих свои (национальные) интересы, а ещё и результат борьбы между нормативными установками (ценностями). Эта школа, как и Щаранский, тоже за поддержание либеральных ценностей в мире и трактует американскую внешнюю политику как в описательном, так и в нормативном плане, как насаждение этих ценностей.

Но вот беда: эта же школа как раз за переговоры и компромиссы, за сдерживание и разрядку и против «экспорта демократии», как и «экспорта» вообще какого бы то ни было «порядка». В погоне за «моральной ясностью» Щаранский блуждает в полных умственных потёмках. Тяготение к абстрактной схеме (она же магическая формула) – одновременно причина

* «Я вообще не читаю газет, – сказал Чанс. – Я смотрю телевизор».

и следствие гротескного невежества Щаранского. Он обнаруживает полное (я подчёркиваю: полное) незнание политической истории, политической теории, политической практики. Его понимание демократии нельзя даже назвать неверным или спорным. Оно обыденно и рудиментарно. Он совершенно не в курсе развёрнутого и противоречивого нарратива вокруг этого понятия. Он, видимо, не знает, что в ходу несколько инструментальных определений демократии, что эффективность демократии как государственного строя не очевидна, что авторитет демократии в мире падает, что под вопросом совместимость демократии и либерализма, и так далее и так далее. Он суётся в воду, не зная броду.

Он убеждён, что люди не ругают власть только там, где это запрещено; что авторитарная власть слаба и держится только на страхе; что все хотят демократии, и если им демократию «подарить», то они будут безмерно счастливы. Он легкомысленно берётся говорить от имени народов, совершенно не представляя себе ни их интересов, ни их ментальности, ни реальных условий, в которых они живут, ни их способности поддержать конституционный порядок, импортированный извне. Его ссылки на опыт послевоенной конституционной трансформации Германии и Японии опять-таки совершенно фольклорны и только подчёркивают полное непонимание истории XX века.

Один интернетовский комментатор подозревает, что Щаранский хорошо знает серьёзные аргументы против своих идей, но игнорирует их; это, дескать, говорит, о его интеллектуальной нечестности. В самом деле, если человек демонстрирует такое гомерическое незнание с проблематикой, которую пытается обсуждать, то первое подозрение — что он сознательно врёт. Но критик ошибается: Щаранский не врёт, всё, что он говорит, он говорит в простоте душевной. Хороший аналитик-стилист покажет вам это на пальцах.

На фоне всего этого комично выглядит подростково-провинциальная фанаберия Щаранского. Путин, как он говорит, «сперва при встречах показался мне образованным человеком. У меня были на него большие надежды».

Курам на смех. Путин, конечно, ещё меньше спиноза, чем Олбрайтша, но кто такой Щаранский, чтобы ставить ему отметки? Судя по его книге, уровень образования у него самого, как у петеушника. Самые большие авторитеты по части политической философии для него — Сахаров и Амальрик. Мы все чтим этих героев психологической войны с всесильно вездесущим партийно-народным кремлёвским режимом, но глубокими политическими мыслителями их никак не назовёшь.

Ещё один пример. Послушав откровения Буша насчёт того, как мы несём демократию по всему миру, Щаранский (по его же словам) пришёл в полный восторг и сказал Бушу: «Вы настоящий диссидент!». Более сильного комплимента он не знает. Но это звучит примерно так: «Теперь я вижу, вы настоящий человек — наш, арбатский (бердичевский)!»

Крайняя провинциальность и ограниченность жизненного и интеллектуального опыта Щаранского обнаруживается в его постоянных ссылках на свой диссидентский и тюремный опыт. Как будто этот опыт универсален и всесторонне развивает личность. Тут Щаранский уже совершенно выглядит, как садовник Чанс-Гарднер: о чём бы беднягу Чанса ни спрашивали, он неизменно обращается к своему опыту садовника. *In a garden, – he said, – growth has its season. There are spring and summer, but there are also fall and winter. And then spring and summer again. As long as the routs are not severed, all is well and all will be well**.

Как замечает один критик, «Щаранский цинично эксплуатирует своё прошлое в Советском Союзе». Эксплуатирует, и успешно. Вот характерная реплика на его книгу: «Личный опыт Щаранского как политического заключённого в Советском Союзе сообщает особую силу и респектабельность его размышлениям». Таки да, ореол мученика и героя сопротивления производит на публику впечатление. Но в какой мере эта эксплуатация «цинична»? Стоящие за его спиной пиарщики, вероятно, знают, что делают. Но вот насчёт самого Щаранского с полной уверенностью этого сказать нельзя. Больше похоже на то, что ему, как и садовнику Чансу, просто не на что больше сослаться. И он сам верит в абсолютную достаточность своего тюремного (огородного) опыта. *He was not curious about life on the other side of the wall***. Жаль тех, кто разделяет эту его наивную веру. Карцер, может быть, хорошая школа сопротивления и воспитания воли, но карцер не прибавил Щаранскому ни знаний, ни культуры мышления, ни нравственной мудрости.

Жизнь в советской среде сказалась на его кругозоре ещё одним интересным образом. Один критик проницательно замечает, что словом «страх» Щаранский заморожен в силу своего специфически советского жизненного опыта. Щаранский, как очень уместно напоминает этот критик, был привилегированным сыном большого партийного босса на Украине, и ему известен только один «страх» – страх члена элиты при диктаторском режиме, а не страх рядового гражданина. Потому что он мог утратить статус и привилегию на сравнительно комфортабельную жизнь.

(Добавлю к этому одно наблюдение от себя, не касающееся нашего героя. Недавно я видел по телевизору один постсоветский фильм. Не с самого начала, и даже не знаю, как он называется. Знатоки, вероятно, по моему рассказу его опознают. Там артист Любшин играет важного и полуопального советского министра. За экраном голос многозначительно читает стихи, где рефреном идут слова: «Мы все ходили под богом, у бога под самым боком». Эти стихи были виртуозны, они с необыкновенной технической эффективностью передавали сильное и неподдельное чувство. Но в них

* «В саду, – сказал он, – все растёт по сезону. Есть весна и лето, но есть и осень, и зима. А потом опять весна и лето. Пока корни в порядке, все отлично – и сегодня, и всегда».

** «Что там происходит по ту сторону стены, его не интересовало».

было что-то для меня ужасно противное. Я не сразу понял, что именно. Но, подумав, сообразил: поэт одновременно хвастается тем, как он близок к «богу», и выбалтывает, как ему страшно. Это и есть тот самый страх, о котором говорит критик Щаранского. Я не знаток советской поэзии и не знал, кто написал эти стихи. Мне сказали, что это Слуцкий.)

В «страхе» в СССР жила приближённая к власти интеллигенция, боявшаяся, что её чего-нибудь «лишат» или что ей чего-то «недодадут». Простые люди в советском обществе жили не в страхе, а в искусственной бедности и в условиях навязчивого и избыточного патерналистского регулирования всей жизни, включая частную жизнь. Они также были под сильнейшим давлением монотонной моральной проповеди – советская власть по части морализаторства, пожалуй, не уступала Щаранскому. Так, во всяком случае обстояло дело в эпоху брежневского плато, а это ведь и была «советская система» *par excellence*.

Итак, по всем признакам сознание Щаранского примитивно и предрасудочно. Ещё это называют обыденным, или профанным, сознанием. Но, ограничившись этими атрибутами, мы, в сущности, объявляем Щаранского и его умственный продукт реликтом эпохи до просвещения.

К сожалению, не всё так просто. Этот продукт «интеллектуального майдана», как и более изощрённые его варианты в исполнении более инструментально оснащённых («грамотных») американских неоконсерваторов, не пережиток, а сугубо современное явление, и это самое интересное. Это не примитивизм. Это *неопримитивизм*.

Общественное мнение помещает виртуозов этого сознания на правом фланге политического спектра, и, стало быть, согласно существующей словоупотребительной традиции, они должны называться консерваторами. Но при этом ни у кого не поворачивается язык назвать их просто консерваторами. Их кличка – *неоконсерваторы*. Что кроется за этим уточнением? Чем нынешний «неокон» отличается от аутентичного консерватора?

Классический консерватизм был всегда враждебен и морализму, и социальному теоретизированию. Он выступал как хранитель традиции, как гарант порядка и ждал от народа почтения к нобилитету, знающему, как управлять людьми к их же вящей пользе.

Классический консерватизм не размахивал словом «свобода». Он скептически относился к свободе и больше ценил порядок. Он также не верил, что народу особенно нужна свобода и что народ сумеет ею воспользоваться.

И, что особенно важно для нас сейчас, классический консерватизм крайне недоверчиво и брезгливо относился ко всякого рода «теориям», считая их ненужным и подрывным элементом в практике человеческих отношений. Он не верил, что общество можно построить и им можно будет управлять на основе какой бы то ни было теории. Главным ресурсом правящего истеблишмента настоящие консерваторы всегда считали жизненный опыт и здравый смысл. Аутентичный консерватизм – это умонастроение

ние тех, кто сам находится у власти, а не домогается её – через выборы или карьерное трудоустройство.

Неоконсерваторы – совершенно другие общественные животные. Они – реинкарнация тех, кто за 100–150 лет до этого становились реформаторами, радикальными либералами, революционерами. После того как их проекты сорвались или осуществились и, в свою очередь, «законсервировались» (советское общество), персонажи с тем же самым ментальным синдромом перешли сперва на позиции антикоммунизма, а затем и вообще антисоциализма. Вчерашние левые стали «новыми правыми».

Их родство с консерватизмом определяется их ориентацией на реставрацию досоциалистических порядков. Но, добываясь реставрации, они оказались вынуждены, как и левые в предшествующую эпоху, опираться на *теорию*, поскольку других ресурсов у них не было. Им ведь приходилось сопротивляться коммунизму снизу, точно так же как их предшественникам, боровшимся со «старым режимом». Они привили консерватизму проектно-теоретический компонент. *Неоконсерватизм* утратил органичную для подлинного консерватизма связь со здравым смыслом и жизненным опытом.

Но в ходе этой операции была утрачена связь теории с позитивным научным знанием, что было так характерно для леворадикальной мысли предыдущего поколения.

Как бы мы ни относились скептически к так называемому «научному проектированию» общества и «научному управлению» обществом, социальные и политические доктрины, сконструированные как *теории*, но пренебрегающие наукой, ещё хуже и опаснее. Это уже чистые фантазии, (квази)религии или, что ещё неприятнее, магические формулы.

Склонность к безжизненному и безнаучному (паранаучному) теоретизированию – психоментальная особенность революциониста и террориста. Словесное наполнение его риторического дискурса совершенно безразлично. Риторика может быть расистской, «зелёной», исламской, евангелической, сионистской, либеральной, демократической – какой угодно. Если писания Щаранского чем-то и интересны, то только как документация этого типа сознания. Для вас загадка Ахмадинежад? Посмотрите на Щаранского. Как пишет о книге Щаранского в интернете один критик, «это фанатическая книга опасного экстремиста».

Интригующий вопрос состоит в том, насколько широко неоконсервативный психоидеологический синдром может распространиться и повлиять на политический процесс в ближайшие десятилетия. В своё время он распространился в Европе широко в виде фашизма и сильно наследил, хотя и не остановил магистрального социогенеза и культурогенеза в сторону общества, построенного на либерально-конституционном каркасе.

Сейчас, пожалуй, ситуация похожа на ту, что была в начале XX века. Этот опасный синдром уже широко распространён в исламском мире и по-

ка крепнет в американском мире, который в XX веке был главным тылом и гарантом конституционно-либерального духа.

Не надо думать, что этот синдром – привилегия небольшой группы интеллектуалов, ждущих, когда их идеи станут популярны в массах. Так может казаться, потому что его самые шумные глашатаи приобрели статус «знаменитостей», исполняя роль «публичных интеллектуалов», как это называется в Америке. Но на самом деле неоконсервативный синдром возник в мещанско-интеллигентской среде, бросающей вызов лицензированному интеллектуальному истеблишменту. Пока он держит заложником политическую власть в западных демократиях. Но будет ли так всегда?

Обращение Буша к Щаранскому именно в этом плане выглядит симптоматично и крайне неприятно. *«Do you realise that Gardiner happens to be one of the most important men in this country and this country happens not to be Soviet Georgia but the United States of America, the largest imperialist state in the world! People like Gardiner decide the fate of millions every day!»* *.

* «Понимаете ли вы, что Гарднер – один из самых влиятельных людей в этой стране, и эта страна – это ведь не Советская Грузия, а Соединенные Штаты Америки – самая большая в мире империя! От таких людей, как Гарднер, каждодневно зависят судьбы миллионов!»



кандидат физико-математических наук, аналитик, президент международного общественного фонда «Экспериментальный творческий центр», автор десятков научных работ. Живет в России.

«ЧИК» И «ЦЫК», ИЛИ В ЧЕМ РЕАЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОБОСТРЯЮЩЕЙСЯ ВЛАСТНОЙ КОЛЛИЗИИ

Только ли анекдот?

В эпоху застоя существовал такой анекдот: «ЦК цыкает, а ЧК чикает». Поразительным образом этот анекдот выражает и раскрывает нынешние актуальные политические проблемы. И в этом смысле он является уже не анекдотом, а грубой и жесткой метафорой, порождающей вокруг себя проблемно-концептуальное поле.

В чем смысл выражения «ЦК цыкает»? Смысл в том, что «собственно властный субъект», под контролем которого находятся некие репрессивные органы, способен именно цыкать. То есть исходя из неких идеологических представлений, целей и многого другого, «осмысленно волеполагать». В чем и состоят функция и роль настоящего политического субъекта.

Тем самым мы констатируем, что «цык» – это очень непростое действие. Нужно еще быть готовым его осуществить. Нужно суметь цыкнуть, и не каждый обладает этим умением.

Далее, надо определить, чем «цык» отличается от «чика». Осмысленно волеполагающий субъект (сразу надо признать: речь идет, прежде всего, о субъектах существенно недемократических, хотя и для субъектов демократических проблема весьма актуальна) умеет цыкать. А для того, чтобы его «цык» был в полной мере реализован, он опирается на обычную и политическую полицию. Одним способом он на них опирается в демократической стране, другим способом в стране, где власть осуществляется недемократически (авторитарно или как-то еще). И эта полиция (в нашем

случае – ЧК) во исполнение «цыка» осуществляет те или другие репрессивные действия.

Если кому-то тесно в рамках данного анекдота и его семантики, то можно вспомнить про «органы». Они ведь органы, правда? Они ведь не субъект, а аппарат, используемый субъектом! Субъект (ЦК) цыкает, а спецаппарат (ЧК) чикает. Предположим, что субъект формируется народным волеизъявлением (демократический вариант). Тогда спецаппаратам, например, ЦРУ и ФБР, очень трудно выдвинуть себя в качестве формализованной открытой альтернативной властной системы (в качестве альтернативного субъекта, то есть). И даже непонятно зачем.

У спецаппаратов в демократических странах есть свои возможности влиять на процесс. И эти возможности порою покруче, чем переворот с захватом государственной власти. В демократической стране такой переворот надолго оставит шрам в общественном сознании и сделает альтернативный субъект, пришедший к власти в результате переворота, существенно нелегитимным. То есть неустойчивым и неэффективным. И возникает вопрос: на фига козе баян?

Чем менее страна демократическая, тем менее актуален подобный вопрос. Потому что диктатура легитимируется иначе. И если кто-то совершит переворот – то и что? Диктатура меняется на диктатуру. Как там у Брехта? «Что тот солдат, что этот».

Демократический политик боится электората и общественного мнения. Диктатор не боится электората и существенно меньше боится общественного мнения. Диктатор либо вообще независим от выборов, либо точно знает, что все решает его административный ресурс. То есть, что выборы при необходимости будут подтасованы, и беспокоиться не о чем.

Что касается других форм народного волеизъявления, то диктатора (идет ли речь о личной диктатуре или о диктатуре партийной, диктатуре ЦК) эти формы тоже не очень беспокоят. Ну, выйдут люди на улицы. До тех пор, пока у ЦК (субъекта политической диктатуры) есть ЧК (спецаппарат по подавлению подобных эксцессов) и этот аппарат работает, можно не слишком бояться разного рода уличных неприятностей. Один мой знакомый сказал по этому поводу: «Если люди собрались на площади, значит, органы уже недоработали. Эффективные органы возьмут людей, когда они выходят из своих квартир. И на площади будет ровно столько людей, сколько это нужно будет органам. Нужно, чтобы никого не было – никого не будет».

Итак, эффективный диктатор (а это чаще всего диктатор коллективный, то есть ЦК) может не бояться ни общественного мнения, выявляемого через выборы, ни других форм выявления общественного мнения. Говоря современным языком, майданных форм этого выявления.

Значит ли это, что диктатор ничего не боится? Отнюдь! Диктатор (ЦК), прежде всего, боится собственных репрессивных органов (ЧК). Все перевороты происходят либо тогда, когда репрессивные органы уже неэффективны (разложены коррупцией, кем-то перекуплены и т. д.), либо тогда,

когда... Словом, когда сами же репрессивные органы и осуществляют переворот в собственных интересах или в интересах внешнего заказчика.

Если диктатор боится именно этого, то что он делает, чтобы этого не допустить? Он ведь диктатор, а не невзрачная барышня. Диктатор заводит себе специальный орган контроля за спецслужбами, обладающий собственными оперативными и иными возможностями. Этот орган подчинен уже только диктатору (в случае коллективного диктатора он подчинен партии и является ее «святая святых»). В СССР таким органом была партийная разведка (точнее, совокупный партийный спецслужбистский аппарат – до сих пор достаточно закрытая тема). При Ельцине аналогичную роль выполняла Служба безопасности Коржакова.

Если этот сверхорган работает эффективно, диктатор может не бояться обычных репрессивных органов (нормативных спецслужб). Но тогда он начинает бояться этого сверхоргана. У Ельцина, как мы понимаем, были серьезные основания для подобных страхов. Да и в Советском Союзе партия очень даже побаивалась собственной «инквизиции».

С этим страхом что делать? Диктатор не только усложняет пирамиду «органов». Как ни усложняй, страх будет перемещаться на высший уровень этой пирамиды. Диктатор делает нечто, аналогичное тому, что делает султан, назначая евнуха в гарем. Он обзаводится некими гарантиями того, что евнух не воспользуется соблазнами, проистекающими из специфики занимаемой должности. Кстати, султан не всегда использует для этого хирургические методы. Иногда он так доверяет, что обходится без них. Но чаще все-таки призывается на помощь еще и некий хирург.

В случае гарема все понятно. А что происходит в интересующем нас случае «чика» и «цыка»? Как обуздать «чик» настолько, чтобы он не захотел «цыка»? В общем, тоже известно, как это делается.

Во-первых, кадры отбираются соответствующим способом. Кадры «чика» должны быть лишены ментальных, эмоциональных и волевых претензий на «цык». Ведь и султан не зовет хирурга прямо перед назначением евнуха. Он подбирает дядю, уже имеющего соответствующую антропологическую специфику. Если он сам эту специфику создаст – дядя будет в претензиях, и это опасно. Значит, кадровая служба, назначаемая ЦК, должна отбирать работников для ЧК таким образом, чтобы ЦК был гарантирован от наличия в мозгу чекиста неких собственно чекистских интенций.

Во-вторых, ЦК должен специально следить за тем, чтобы внутри пирамиды ЧК не появлялось никаких «странных сгустков», в рамках которых возникнет почва для произрастания «чекизма». Особо опасно в этом смысле занятие чекистов разного рода интеллектуалистикой с политической окраской. Даже – политической аналитикой, а уж тем более, политическим планированием, идеологией, стратегией. Все это должно быть абсолютной прерогативой именно субъекта политической власти. У него должна быть абсолютная монополия на это начало, на субъектность, на осуществление высших управленческих функций и на мышление, способное породить такие функции.

В результате должен возникнуть пресловутый феномен «Центр–Юстасу». Юстас ничего не должен хотеть и мочь без Центра. Он должен без него лежать обесточенным, и, только когда Центр «даст ток», Юстас должен начать невероятно энергично и эффективно дергаться.

Высший политический класс (в советском случае – ЦК) должен был породить свою репрессивную вторичность в виде миллиона подобных, только по его энергосигналу оживающих юстасов. Он не мог не быть этим обеспокоен. И он предпринимал все возможное, чтобы добиться непреодолимой дистанции между ЦК и ЧК, между способностью цыкать (обладать высшей политической самостью) – и способностью всего лишь чикать (блестяще решать ограниченные задачи сугубо спецслужбистского свойства).

Исторический опыт показывает, что никогда ЦК не удавалось построить подобное абсолютное разграничение между собою и ЧК. Примеры Берии и Андропова здесь достаточно показательны. Потому что и Берия, и Андропов не только примеривались к функциям высшего политического руководства (Андропов эти функции даже получил на излете), но и замыслили нечто наподобие революции или контрреволюции.

Андропову недостаточно было стать генсеком и полностью зависеть от не им сформированного ЦК. Он хотел создать альтернативный модернизированный ЦК внутри своего ЧК. И не просто возглавить власть, а трансформировать ее весьма существенным образом.

Берия, возможно, шел еще дальше, мечтая о смене всего формата власти, о демонтаже коммунистической идеологии и о многом другом в этом духе.

Когда я спросил одного исследователя, занимающегося историей спецслужб, исчерпывается ли список чекистов, мечтавших заменить «чик» на «цык», Берией и Андроповым, и он сказал мне: «Да нет, Вы, наверное, забыли еще одну фигуру...» Я спросил – кого? Исследователь ответил: «Представьте себе, Феликса Эдмундовича Дзержинского».

Здесь крайне существенно, что успех претензий коллективного «чика» на «цык» полностью зависит от того, сумеет ли данный «чик» преодолеть свое отчуждение от специальных форм интеллектуализма. Зависит от того, как именно этот «народ» соединится с «интеллигенцией», обладающей знаниями по поводу «интеллектуальной алхимии», преобразующей «чик» в «цык», а ЧК в ЦК.

Учили ли чему-то Лаврентия Павловича окружавшие его академики – это вопрос. А вот то, что Феликс Эдмундович очень цепко и осмысленно присматривался ко всему подобному – от Барченко и Бокия до разных восточных религиозно-философских школ, содержащих в себе знания о «цыке», – это, как мне кажется, вполне очевидно.

Но нас здесь, конечно, больше всего интересует современность. А также вплотную прилегающая к ней история. Эта история детерминирована андроповским началом. И андроповским желанием соединить вверенный ему «чик» с чем-то, что пахнет «цыком». Это опасное желание могло хоть отчасти осуществляться только в силу того, что «высшее политическое живот-

ное», обладавшее прерогативой «цыка», уже не хотело цыкать и не держалось за свою прерогативу. Но даже в этом случае блокирующие механизмы работали «сами собой». И «цык» защищал себя от «чиковских» притязаний.

Переломным моментом, когда эти иммунные барьеры (кадровые, организационные и сущностные) были сломаны, следует считать все то, что привело к созданию в СССР идеологической контрразведки (Пятого управления КГБ СССР).

Идеология была высшей прерогативой «цыка». «Цык» должен был защищать не только свое абсолютное право цыкать, то есть исторгать из себя идеологический позитив, но и право контролировать все, что было связано с анализом чужих цыканий, являющихся подкопом под его «цык». Иначе – все, что было связано с идеологической инквизицией. И не надо окрашивать слово «инквизиция» оценочно. В Ватикане инквизиция до сих пор существует.

Инквизиция – это просто защита механизма своего «цыка», то есть своей высшей политической смысловой самости. То, что эту самость и право на инквизицию «цык» (КПСС) отдала своим обычным репрессивным органам (Пятому управлению КГБ), – означало, что «цык» уже тотально политически невменяем, что он не только не умеет осуществлять власть, но и не понимает, как за нее разумно цепляться. И что значит «цепляться». И что происходит, когда цепляться перестаешь. И с чего начинается это «перестаешь». А оно начинается именно с того, что ты отчуждаешь от себя собственную инквизицию.

Вопрос совершенно не в том, чтобы на кого-то за что-то возлагать избыточную ответственность. Вопрос вообще не в размышлениях о прошлом, а в приурочении к будущему. Но избегать определенных констатаций невозможно. В гиперцентрализованных системах, к которым относился СССР под властью КПСС, перевороты происходят не на площадях. Единственным органом, который в таких системах может готовить переворот, является система репрессивных органов, которая обзавелась чем-то наподобие своего «цыка».

Переворот Андропова был абортирован. Возможно, этот переворот принес бы с собой определенные позитивы. В любом случае, «высшее политическое животное», дошедшее до той степени невменяемости, когда оно делегирует кому-то свою политическую самость, было обречено. Но тогда следует признать, что отсроченный андроповский переворот фактически и был осуществлен в пределах так называемой перестройки. Конечно, наряду с другими конкурирующими замыслами.

Я констатирую это не впервые. Сразу после развала СССР (впрочем, еще до этого развала) выявилась группа, которая относилась к развалу в каком-то смысле сдержанно позитивно, считая, что развал позволит осуществить очередную фазу модернизации России, а потом к этой модернизации приложится все остальное. Но уже на других, более эффективных – не имперских, а, так сказать, национальных – идеологических основаниях.

Какие-то шансы на подобное развитие событий существовали. А поскольку это развитие событий содержало в себе определенные позитивы, то объявлять авторов этой политической логики носителями деструкции было и безнравственно, и контрпродуктивно. О чем я заявлял еще в 1994 году.

Прошло более десяти лет. И за эти годы я не раз спрашивал этот элитный совокупный «чик», вознамерившийся цыкать: где же модернизация?

Невнятные ответы адресовали к помехам со стороны «преступного ельцинизма». В этом было определенное лукавство. Но отделить это лукавство от невероятно сложных предлагаемых обстоятельств не представлялось возможным. И создавалась некая ситуация «вязкой паузы».

Приход к власти президента Владимира Путина прервал данную паузу. В стране возник своего рода *momento di vertar* (момент истины). С этого момента «чик» получил возможность стать полноценным «цыком». Он превратился во власть. Это превращение было очевидным для всего народа, заговорившего о чекистах и их новой власти как о данности и надежде. Именно эту данность и эту надежду олицетворяет высочайший рейтинг и все, что к нему, так сказать, приторачивается.

С момента прихода к власти Путина я неоднократно говорил, что вера народа в то, что «чик» станет «цыком», – это не бесплатное удовольствие. И вот теперь мое давнее и очень серьезное беспокойство (которое разного рода акынам от политологии, фиксирующим только то, что есть, а не то, что зреет внутри происходящего, казалось «торговлей страхом») превращается в нечто, очевидное для всех.

Разговоры об «античекистском восстании» по румынскому или какому-то другому образцу становятся «общим местом». Чекистское сословие не сумело перейти от «чика» к «цыку», оно не стало носителем осмысленного (андроповского, бериевского или любого другого) корпоративно-сословного начинания (проекта). В этом смысле пять лет потрачены зря. А по счетам потраченных лет придется платить очень скоро. И время воистину на исходе.

Я уже описывал и то, чем, на мой взгляд, является этот перехват власти «чиком» путинского периода. Я объяснял, что, на мой взгляд, это не революция, не сложно спроектированная спецоперация, а просто падение разваливающейся системы с аттрактора на аттрактор. Сгнивший аттрактор компартии выронил власть, и она после коротких квазиолигархических судорог упала на ближайший чекистский аттрактор.

А к этому времени в пределах аттрактора произошли серьезные изменения. Чекистский конгломерат, состоявший из весьма разнородных элементов (обычных бюрократов, людей служения, золотой молодежи, потенциальных бандитов), развалился на части. Люди служения, в основном, ушли в маргинальность или в запой. Золотая молодежь – в банки и за границу. Бюрократы – куда попало. В охранные структуры или в отстойники новых спецслужб.

В условиях ельцинского регресса потенциальная криминальность части наших спецслужб не могла не превратиться в актуальную. Я уже неоднократно цитировал известное высказывание: «моя этика – профессиона-

лизм». И показывал, что это – нонсенс. Солдата отличает от убийцы не профессионализм (профессионализм примерно совпадает), а идея служения. Если служения нет, солдат становится бандитом автоматически. Я не даю буквальных юридических оценок. Я говорю о социальном качестве. Отчасти – метафорически. Но лишь отчасти.

Эффективность новых чекистских слагаемых и их способность бороться за власть против так называемых олигархов были куплены ценой определенного социального мутагенеза. А этот мутагенез еще более отделил «чик» от «цыка». Лишил удачно смутировавших способности к эффективному стратегическому смысло- и целеполаганию.

Чекистский класс, чекистская социальная группа получили власть, но не смогли (по крайней мере, по сию пору) трансформировать полученное из привычного формата «чика» в новый и непривычный формат «цыка». Это при том, что нынешний «цык» может уже носить только проектно-концептуальный характер.

Аттрактору чекистов дана всего лишь отсрочка. Если он так и не сумеет ею правильно воспользоваться, то страна катастрофически упадет с него на следующий аттрактор (судя по всему, военный). А впоследствии с этого аттрактора еще далее – в бездну. Спасти от этого, остановить падение может только смена социального качества. То есть переход от «чика» к «цыку». Речь идет ни больше ни меньше как о макросоциальном процессинге, самотрансформации, самопреобразовании, самообучении. Или о том, что я называю самотрансцендентацией.

Этому препятствует навык «чика», а также вся заученная логика разграничения между Центром и юстасами. Юстасам предстоит самим стать Центром или катастрофически заплатить за подобную неспособность. Юстасы и хотели стать Центром. Но когда эта возможность упала им в руки, они стали проявлять катастрофическую неспособность ею воспользоваться.

Я не буду подробно описывать, на что и как это было разменяно. Я просто вкратце зафиксирую все вызовы, которые стоят перед совокупным «чиком», и всю невозможность преодолевать эти вызовы, мобилизуя собственно «чиковское» начало. Еще раз: речь идет не о качестве мобилизации «чика». Может быть, кто-то и решится чикнуть по-настоящему, хотя лично я в этом глубоко сомневаюсь. Но если это будет только «чик» – то кончится все чем-нибудь румынским. Или – еще более печальным.

Итак, о вызовах.

Вызовы «огорода»

Я мог бы разобрать этот вызов более научно, рассуждая о фундаментальной социокультурной коллизии. Но я хочу сделать свои рассуждения максимально прозрачными. И потому начинаю с простейшего бытового вопроса. Имеется ли у моих читателей опыт непосредственного соприкосновения с огородом?

Если имеется (а в той или иной степени это, безусловно, так), то что вы ответите умникам, которые скажут вам, что на огороде нужно обеспечить равноправную конкуренцию между сорняками и огурцами с помидорами? Вы пошлете этих умников куда подальше и будете пропалывать огород, помогая огурцам и помидорам победить сорняки.

А если вам скажут, что в России нужно лишь обеспечить равноправную рыночную конкуренцию, и тогда рынок расставит все приоритеты, – что вы на это ответите? Многие ответят, что это современная и правильная точка зрения.

Но чем эта точка зрения отличается от предложения организовать равноправную конкуренцию сорняков и помидоров с огурцами? Что до меня, то я считаю, что это буквально одно и то же.

Я убежден, что Гайдар «стебется», когда говорит о том, что рынок расставит приоритеты. Ради чего он стебется, это отдельный вопрос. И не ко мне, а к тем, кто пытался превратить «чик» в «цык» в более ранний период. И ко всей теории «прогрессоров», «особых зон», «решающих социальных экспериментов». Но мне, по крайней мере, ясно, что Гайдар твердо понимает: никакой рынок приоритеты не расставит и расставить не может! Гайдар для этого достаточно умен, образован, изощрен.

А вот что думает по этому поводу новый чекистский либерально-державный прагматический... клан... аттрактор... цех... Что он думает? Он, может, действительно считает, что рынок расставит приоритеты, а любая иная позиция отдает дремучим коммунистическим догматизмом?

Но мы же на этой провокативной лошадке въехали в эту самую перестройку, мы на ней ехали весь ельцинизм и приехали (вполне закономерно) в криминальное общество.

В этом смысле огурцы и помидоры – это нормальные советские граждане (младшие и старшие научные сотрудники, инженеры, техники, рабочие), которым предложили стартовать в единой рыночной эстафете с держателями общаков, наркоканалов и всего прочего. Как это называется на языке социальной теории? «Неравные стартовые возможности».

Может, этих держателей больших стартовых возможностей (агентурных сетей, оргпреступных групп, номенклатурных позиций и прочего) кто-нибудь ловил за штаны, когда они «особо резво» побежали в рынок? Какой-нибудь прокурор, комиссар Катанья? Так нет, наоборот! Было сказано, что эти держатели особых возможностей как раз и есть соль земли! Я могу привести сотни высказываний о том, что в совковой антисистеме нормальны только мафиози и что именно они должны стать нашей опорой на пути к рынку.

Так они и стали! Сорняку дали на равных состязаться с помидорами и огурцами. И сорняк закономерным образом победил. Что? Кто-то из менеджеров пробился в олигархии? Без комментариев! Когда огурец или помидор побеждает сорняк, считайте, что он уже обладает всеми свойствами этого сорняка. Кроме того, все эти истории о пробившихся менеджерах-одиночках

очень напоминают рождественские сказки об американских чистильщиках сапог, ставших миллионерами. Реальная история американской элиты имеет мало общего с мифами об успешной чистке сапог.

Может быть, в этом соревновании был надлежащий моральный, культурный, экзистенциальный, просто человеческий, гуманистический арбитраж? А вы вспомните! Вы перечтите внимательно статьи той (самое страшное, что и этой) эпохи. Вы раскиньте мозгами! Вы сопоставьте! Вы не пренебрегайте анализом статей Н. Шмелева о пользе мафии. Вы вдумайтесь в смысл фразы А. Чубайса: «Наворовали, и ладно (заметьте: не "хватит", а "ладно"). Может быть, внуки станут порядочными людьми». Вы отдайте должное воспоминаниям А. Козырева: «Мы думали, чем заменить коммунистическую идеологию, поняли, что любая идеология приведет к тоталитаризму, и решили: пусть вместо национальной идеи будут деньги».

Деньги – отличная вещь. И никто не зовет назад, в натуральное общество. Но если деньги становятся национальной идеей, то это даже не город Желтого Дьявола. Это просто криминальное государство. Не криминализованное, а именно криминальное. А что, криминальное государство может быть великой державой? Оно вообще может быть устойчивым?

Когда и кому говорили то, что было сказано в России? Когда так издевались над людьми? Когда им в лоб заявляли, что новая элита – это элита воров? Но если элита – элита воров, то почему все остальные не будут воровать? А если все будут воровать, то это – криминальное государство. А если это криминальное (не путать с криминализованным) государство, то кто будет его защищать? «Паханат» сам будет защищать себя с помощью своих летучих отрядов? От Гусинского с Березовским (то есть от других слагаемых того же самого) так можно защититься. На Ходорковского так можно наехать. А даже от боевиков из Чечни так уже не защитишься! Потому что криминализованный солдат и криминализованный офицер будут сговариваться с чеченцами. И потому, что у традиционных (даже традиционно-набеговых) социальных групп есть фора по отношению к регрессивному криминальному началу. Тейпы, не тейпы, но что-то есть.

А если все это еще поддерживается извне – какие летучие отряды, мама родная? И что они будут защищать, и зачем? Бабки они будут защищать свои воровские! И не через «грудью на дот», а совсем иначе. Матросов и Маресьев – не Федя Резаный и Вася Кривой. Бандитский нахрап – не державный героизм. Это все треснет под первым, даже средним нажимом. Треснет вместе со всей страной. И никто – слышите! – никто не поднимется на защиту. Потому что нормальным людям, нормальным патриотам предложат патологический выбор. Им предложат сдаваться – или защищать паханат.

А что значит – защищать паханат? Людям скажут: «Вы идете с внуком по улице. Выскакивает наглец на "Мерседесе", сбивает внука, а вам орет: "Хилай, а то и тебя пришью!"» Людям скажут: «Выбирайте: или сюда придет европейский чиновник, и тогда наглец на "Мерседесе", который сбил

вашего внука, сядет, или кучмовско-шеварнадзевский пахан совсем обнаглеет и начнет сбивать всех подряд».

Что вы скажете людям? Что ющенковско-саакашвилиевский паханат еще хуже? Так это не аргумент! И никогда это не отвращало людей от революции. Потому что логика революции – «сначала ЭТО уберем, а потом посмотрим. Придет еще худшее – опять уберем». И что вы противопоставите этой логике?

Я прекрасно понимаю масштаб катастрофического процесса. Я понимаю несоразмерность этому процессу многого из того, что у нас имеется. Но прежде чем говорить о том, где можно искать источники для преодоления катастрофы, надо все-таки расставить точки над «i».

Прежде всего, надо еще раз вспомнить, как масса высокообразованных идиотов бесконечно спорила о том, кем был нарком продовольствия Цюрупа. Наживался ли он на революции, как говорил Бунич, или был честным человеком и падал в голодные обмороки?

Правда, конечно, очень важна с точки зрения истории. Но все это до боли напоминает коллизию с огородами. Потому что любому вменяемому человеку было понятно, что главное не в том, о чем спорили. Не в том, голодал или жрал в три горла некий реальный Цюрупа (я-то считаю, что голодал). Но даже если реальный Цюрупа жрал в три горла, то дело не в этом. А в том, что революционный «цык» предъявлял народу, обществу, умиряемому хаосу образ голодающего Цюрупы. И в этом была высшая правда.

Большевики предъявляли массам, в виде позитивного идеала, наркома продовольствия, который падал в голодный обморок рядом с продуктами, но не воровал. То есть они предъявляли мораль, подымали ее на знамя. И за счет этого преодолевали сползание революционного процесса в анархию, в криминалку. То же самое делали деятели Великой Французской революции. Кем был Робеспьер в реальности – это один вопрос. Историки спорили и будут спорить. Но обществу, взбаламученной революционной Франции предъявлялся образ Неподкупного. Образ морали, жертвенности, высокого идеала. То же самое делала Коммуна. То же самое делал Кромвель. Кто делал иначе? Алжирские пираты, создавшие криминальное королевство? Так чем они кончили? Тем, что их вырезали всех, под корень. Беспощадно и окончательно.

Сегодняшняя наша элита ведет себя на этот алжирский манер. Она нарушает все исторические прецеденты. Она непрерывно вещает, дует в каждое ухо: «Если человек, будучи рядом с продуктами, не кормит до отвала свою семью и падает в голодные обмороки, то он – идиот, чуть ли не мерзавец. А хорош он в том случае, если эти продукты хаваает, не делая различия между своим и чужим».

Такой антистандарт транслируется через телевидение, прессу. Пришел новый субъект – «чик», желающий стать «цыком»? Он что, остановил этот процесс? Помониторьте телевидение всего один месяц, сосредоточьтесь только на центральных каналах. Посчитайте количественно семантику,

конфликтно-сюжетную логику, логику противопоставлений и оценок. Результат будет чудовищным. Не можете это просчитывать? Не понимаете, что это такое? Учитесь! Превращайте «чик» в «цык»!

Не хотите – швыряйте страну на следующий аттрактор. Соучаствуйте в очередной катастрофе. И ни на кого потом не сетуйте, только на себя.

Страна не может жить, если основной предмет обсуждения всего общества состоит в том, кто, как, сколько, когда и от кого поимел. «Чисто конкретно», в миллиардах «зеленых». Страна не может мобилизоваться на защиту чего бы то ни было, непрерывно купаясь в полукриминальной и криминальной грязи. Может, ей нравится в этом купаться. Слаб человек – и любит грязь. Но тогда ее надо из этой грязи вытягивать. А не конкурировать за то, кто лучше разместит хрюшку в луже и позволит ей сочнее хавать и хрюкать. Потому что если это хрюшка, то ее забудут. И вас вместе с нею.

Жизнь как-то возможна, если исподтишка берут взятки и время от времени за взятки сажают в тюрьму людей, которые «зарвались». Но нельзя выдвинуть взятку как норму. Нельзя, чтобы взятки открыто обсуждали в духе: «Раньше мы носили сумки с долларами, а сейчас таскаем чемоданы на колесиках. И в этом – главная разница эпох».

Наращение таких тенденций в нашей реальной жизни несовместимо с жизнью. Если эти тенденции развиваются дальше, они сами эту жизнь уничтожают. А для того чтобы изменить тенденции, нужен не лучший или худший царь, не лучший или худший вождь. Нужен субъект в виде огромного количества людей, не зараженных этими тенденциями. И нужно, чтобы эти люди одновременно начали что-то этим тенденциям реально противопоставлять.

Признайте, что страна перешла черту. Это еще не смертный приговор, но уже очень тяжелый диагноз. Признайте это и делайте выводы. Защищайте не себя, не свои позиции и возможности, а некий шанс на спасение своего народа. Защищайте это – и тогда защитите себя. Начнете защищать только самих себя – вам конец. Начнете угрожать, что вместе с вами все развалится, только затянете петлю на своей и общероссийской шее.

Спросят: откуда возьмется нечто, способное переломить всеобщую криминалку? Откуда возьмется восходящее, если все нисходит? Откуда черпать силы, если всюду смрад? Что противопоставить регрессу, если он возобладал?

Не капитулируйте перед правдой, сколь бы горькой она ни была. И не прячьтесь в сладкую ложь. Да, вы перед лицом ситуации, почти не знающей прецедентов. И, тем не менее, прецеденты были. Да, революционные и контрреволюционные коллизии мы проехали (а то, что получим вместо них в ближайшем будущем, – это суррогат). Но есть и иная – позитивно-катакомбная логика.

Вспомним пример христиан, брошенных в исторический процесс в период распада Римской империи. Империя уже не имела тормозов, все тенденции в ней вели к тому, что она должна была быть уничтожена. Но

вышедшая из катакомб группа, заряженная другим смыслом и сформированная иначе, успела встроиться в существующий государственный субъект. И – через катастрофу, через распад, трансформацию, через Бог знает что еще – удержала Рим для мира. Удержала как центр Запада.

В этом была огромная роль Ватикана. Я бы посмотрел, чем были бы государства раннефеодальной Европы, если бы не было папы римского. Какой бандитизм гулял бы по Европе, и чем бы это (в худшую сторону!) отличалось от того, что происходило при поздних монгольских ханах.

Значит, существуют исторические прецеденты, когда катакомбные формы спасают самые больные, самые разлагающиеся сущности во имя будущего, во имя Истории. Имея перед глазами прецеденты, как мы можем впадать в отчаяние?

На самом деле, есть и другие прецеденты. Каждый из них на вес золота. И далеко не все стоит обсуждать публично. Обсуждать надо, прежде всего, качество происходящего. Остроту и глубину нынешней социальной болезни. Надо признать, что болезнь зашла очень далеко, страшно далеко. Что резерв исторического времени действительно на исходе, а ситуация только усугубляется. И что выход, реальный выход, при такой глубине болезни и травмы общества, – не в революциях, а в чем-то намного большем, намного более радикальном и более страшном.

Выход – по ту сторону спектакля. А революции при такой социальной болезни – это небезопасное комедиантство весьма специального толка.

Вызовы «суррогатной банановости»

С тем, что огород пропалывать надо, мы уже согласились? С тем, что нельзя призывать к воровству стомиллионную аудиторию, тоже согласились? Мы уже готовы признать, что Волга впадает в Каспийское море? А то, что бескровных революций не бывает, – это непреложная констатация или парадоксальная эксцентрическая гипотеза?

Идиоту никогда ничего не докажешь. Безглюкозный сахар... безбелковое мясо... бескровная революция... Если настоящая революция началась, она бескровной не будет. Она может быть более или менее кровавой. Вулкан не может извергнуть из себя холодную лаву, которая ничего не подожжет и не подомнет. Иначе это не вулкан, а фейерверк.

И, тем не менее, мы постоянно слышим: «Ах, какая замечательная, совершенно бескровная революция!» Я вам объясню в двух словах, что такое бескровная революция. Бескровная революция – это когда метрополия меняет власть в колонии или доминионе. И, соответственно, все названия, которые смакуют сегодня («оранжевая революция», «революция роз» и т. д.), имеют один общий первоисточник: «банановая революция».

Что такое, в своей основе, «банановая» (суррогатная) революция? Это ситуация, когда на улицы выходит толпа, а власти говорят, что они не могут, не имеют права применить свой репрессивный аппарат.

Толпу в колониальной стране можно вывести на улицы всегда, потому что в любой колонии почти все недовольны всем. Чуть-чуть проплатили кому надо – и вывели толпу. А затем диктатору говорят: «Хуан, Родриго, или как тебя там, – твоё время кончилось! Не стреляй, а то плохо будет!» И диктатор, у которого руки по локоть в крови, вдруг начинает проявлять человеколюбие: «Я не могу стрелять! Как же я буду стрелять в свой народ!»

Толпа бушует на улице, диктатор отказывается приказать стрелять, а затем быстро сваливает куда-нибудь с большими чемоданами. Наверное, в них он везет сочинения Поппера, Хабермаса и других о демократии и открытом обществе. А может быть, алмазы или доллары... Но не буду так гадко думать об этом милом диктаторе.

Меня роднит с Асланом Абашидзе то, что он увез из Аджарии на самолёте свою любимую собаку (я очень люблю собак). Меня не роднит с ним то, что он бросил под нож следующего режима (поверьте мне, совсем не вегетарианского) своих друзей и соратников. Что его любовь оказалась избирательной любовью только к собаке (и к отдельно взятым близким), а не к своей команде.

Если человек имеет миссию, претендует на «цык» и хочет вернуться, он вывозит команду... и – собаку тоже. Я очень люблю собак... И уважаю тех, кто их любит... Но если думаешь о «цыке» (а если не думаешь – не лезь во власть!), то надо вывозить (и любить) не только собак и близких. И это еще одно отличие «цыка» от «чика». Скажете, незамысловатое отличие? Ой ли!

Но почему очередной жестокий диктатор будет так «мирно сваливаться» из своей страны? Потому, что ему сказали: «Освободи место. И не стреляй, стрелять нельзя!» А почему теперь нельзя, а раньше можно было? Пиночет что, не стрелял? Или Дювалье? Или шах Ирана? Они что, вдруг все стали толстовцами? В них проснулись совесть и народолюбие?

Боюсь, что мы зря здесь будем искать элементы моральной логики. Логика тут есть, но другая. Банановая. Метрополия напрямую объясняет «банановому» диктатору, что ему надо сваливать (называются причины или нет – не суть важно). Диктатор может просто послушаться. А может не послушаться и захотеть «рыпнуться».

Если диктатор дурак, «не рубит фишку» и не понимает, что ему пора сваливать, то представители метрополии договариваются непосредственно с конкретными силовыми структурами доминиона. И эти структуры вышибаются из-под диктатора, как стулья, на которых он рассчитывал усидеть.

В 1991 году один патриотический писатель мне рассказывал: «Ты не думай, Грачев – наш, он порвет этих демократов, он их ненавидит!» Так хотелось верить! Но не зря говорят, что многие знания умножают скорбь. Я не знал тогда и сотой доли того, что знаю сейчас. Но кое-что я все-таки знал. Я успел поездить по «горячим точкам», набрал какой-никакой аналитический и информационный актив. И я верил не писательской патетике, а данным этого актива. А актив этот просто, сухо, устало и иронично повеествовал о том, когда, кому конкретно, на какой, образно говоря, лавочке,

кто именно из вполне уже «обананенных» (и оболваненных) силовых боссов рапортует и присягает.

Конечно, не только эти присяги решали суть дела. Ненавидя развал Союза и не имея (ни тогда, ни сейчас) никаких предрассудков по поводу недопустимости силовой защиты от деструкции, я постоянно (публично и непублично) предупреждал апологетов «чика», не понимающих роли «цыка», что в танках сидят солдаты, читающие журнал «Огонек». Что для победы нужно выиграть информационную войну, и что ее можно выиграть. Но «чик» считал себя самодостаточным... Неужели и сейчас эта «чииковость» ничему не научилась, ничего не поняла, не обрела хоть чего-то, принадлежащего сфере настоящего «цыка»?

Но пропаганда, нацеленная на разложение и ценностную перевербовку силовой низовки, не исчерпывала сути происходящего. Другой, более высокий, контингент имел другие мотивы для неожиданного обнаружения в себе толстовской, гуманистически-пацифистской сути.

Человек – глубочайшая тайна Вселенной. Мало ли кто и что может в себе неожиданно обнаружить? Но все-таки мне почему-то кажется, что люди, тренированные на убийствах (например, тех своих, кто неожиданно окажется на их пути при осуществлении особых заданий), не превращались вдруг из Савла в Павла, а банально присягали на «банановый» манер. Что они уже знали, кому и как следует присягать.

И если бы кто-нибудь в ГКЧП сошел с ума настолько, что отдал бы команду стрелять, то эти люди, мгновенно превратившись из мордovorотов в алёш карамазовых, не смогли бы переступить через «слезу ребенка»... Даже если этого ребенка зовут, например, господин Бурбулис. И то ведь – ну, не может человек убивать, его по этому принципу отбирали в спецназ. По наличию аллергии на всяческое кровопролитие. Долго искали, находили того, кто ну никак не может выстрелить в человека, и только его и брали в спецназ... Такая у нас была, видите ли, кадровая политика...

Если без шуток, то, с оговоркой на возможность очень эксцентричных и маловероятных личностных трансформаций, я утверждаю, что в большинстве случаев обнаружение в каком-то вполне оголтелом силовике непреодолимого отвращения к кровопролитию означает, что он уже конкретно «взял». Столько-то и на такой-то счет. Или его хозяин «взял» (конкретный хозяин, батя, которого он должен слушать – иначе ему хана). Или его конкретно «взяли за одно место» и показали, что все им наворованное (вот тут-то и обнаруживает себя гнилая суть криминального государства) находится на таких-то счетах. И будет тут же изъято, если он срочно не обнаружит в себе вышедших из подсознания пацифизма, народолюбия etc.

Такой тип управления я когда-то назвал счетократией. Когда профессионально занимающийся убийствами человек говорит: «Не могу убивать. Люблю Толстого, Моцарта, а чтобы из автомата стрелять – никогда!», это значит, что у него на определенном счете появилась или выросла определенная сумма. Это – Альфа и Омега всех «банановых» революций.

Если «банановый» диктатор «рубит фишку» и понимает, что «раз велено – надо сваливать», то его боссов «чика» можно и не перекупать. Он сам прикажет этим боссам сложить оружие и превратиться в пайнек-пацифистов.

Если же диктатор уперся, то перекупаются боссы «чика»... или же ключевые подчиненные этих боссов... Схема может ветвиться, усложняться. Но суть от этого не меняется. Воровская пластичность – квинтэссенция всех «банановых революций».

Все, что будет происходить в России, будет столь же «банановым», как и все, что произошло в Киргизии или на Украине. Потому что основополагающие параметры «колониальности элиты» у нас и в Киргизии одинаковы. Это не значит, что мы – Киргизия. У нас есть все для того, чтобы к нам никакой хозяин не сунулся. Все, кроме одного. Кроме того, что составляет суть «цыка».

А суть его – в способности обеспечить иной, не воровской, не тварно-потребительский тип мобилизационной готовности. Суть «цыка» в том, что он преодолевает коллизию счетократии.

Мы от этого страшно далеки. Элита нашего «чика» ничуть не менее гедонистична, чем какой-нибудь ею особо презируемый олигарх. Она так же, как этот олигарх, превыше всего ставит свои удовольствия. А раз так, то и счета в зарубежных банках, обеспечивающие эти удовольствия. А раз так, то и хозяев этих счетов, способных в один момент отнять то, что составляет фундамент этих невероятно ценимых удовольствий.

У нас много говорят про отдельных «оборотней». Я ничего не хочу утверждать, никого не хочу демонизировать – я просто предлагаю логическую дилемму. Эти «оборотни» начальникам «отстегивают» или нет? Если «отстегивают», то есть хотя бы криминальная вертикаль. А если не «отстегивают», то вертикаль поломана. И внизу этакая самоуправляемая криминальная система, выходящая на другие подобные системы (тут без разделения труда и кооперации не обойдешься), а наверху беспомощные начальники.

Если мы имеем дело с первым сценарием, то управляемость сохраняется. Однако это очень специфическая управляемость. Гейдар Алиев недаром говорил: «В Азербайджане одна мафия – моя». Но даже он ошибался.

А если мы имеем дело со вторым сценарием, то... в каком-то смысле это еще печальнее. Предположим, что Алиева сменил Везиров и, предположим, что Везиров «не берет»... Ну и что? А то, что раз Везиров «не берет», то он и не управляет «берущими» милиционерами и гебешниками. То есть – под Везириным находится структура управления, которая криминально самоорганизуется. А он... Он наверху, но чем он управляет? Самим собой? Своим секретарем? Пресс-службой?

Он же не Петр I и не Ленин, он не принес с собой смысловое поле и цементируемый этим полем кадровый резерв. Он не «чик», не «цык», а так себе... Он чужд криминальному мотиву, но криминальный мотив остается доминирующим в системе управления, для которой он – шут гороховый.

Криминальный мотив доминирует... Согласившись с этим, мы не можем

не спросить себя, на что этот мотив замыкается? Он замыкается на счета в Швейцарии, Люксембурге, оффшорах. У этого всего есть хозяева. Соответственно, хозяева осуществляют перехват системы управления. Они не только мотив замыкают на себя, они одновременно с этим замыкают на себя и алгоритмы управленческих действий.

Как это делается – общеизвестно. К мотиванту приходят и говорят: «Извини, но если твое поведение будет неверным, мы не сможем удержать прокурора. Мы-то хотим всё сделать хорошо, но международный прокурор Карла дель Понте взбесилась (наверное, на возрастной почве) и хочет всех сажать. Она роет и роет, а у нас демократия, и мы ее остановить не можем. Мы ее пока держим, но она возбуждается от того, что ты не сдал сербов. Сдавай их, быстрее, а то она дороеет до главных сюжетов».

А что, не так? Жил-был имярек с амбициями. А тут еще плохое настроение, то-се. К имяреку пришел возбужденный военный, стал кричать, что гибнет русская честь, Сербия гибнет, наш союзник, надо нашей мощью воспользоваться... Амбициозный имярек чуть было не захотел воспользоваться. Но тут, с одной стороны, вмешались близкие люди, стали рвать на себе одежду, кричать, что он не в себе. Однако это бы ладно. Ан заодно возьми и всплыви «дело Мабетекса». И эта самая ужасная Карла дель Понте, которая до сих пор «копала» в другую сторону, вдруг начинает «копать» именно в эту сторону. И как копает! Уже почти дорылась!.. Тут уж не до Сербии...

Киргизия, Казахстан и так далее – какая разница? Выявляют счета начальника и сообщают ему об этом, выявляют счета основных силовиков и сообщают им об этом, и начинают переговоры... И находят достаточное количество тех, кто ради счетов продаст все. Это и есть криминальное общество.

Кто-то считает, что оно жесткое. Извините! Оно очень избирательно жесткое. «Молодец против овец, а против молодца – сам овца». А как иначе может быть? Деньги – всё. Но наши «деньголюбы» не протестанты и не скупые рыцари, не шейлоки эти самые. Им деньги зачем нужны? Для удовольствий. Как это называется? Это называется гедонизм. Точнее – гедонистический консенсус. Общая формула – этот консенсус плюс криминальный мейнстрим.

Гедонистический лозунг в том, что жизнь – это сумма удовольствий. Что все хотят вкусно кушать, роскошно жить, шикарно одеваться, отдыхать на престижных курортах et cetera. Где именно кушать? В зарубежных ресторанах. Где именно роскошно жить? На зарубежных виллах. Где именно шикарно одеваться? У этих, как их там... кутюрье... Где именно отдыхать? На зарубежных курортах. Где именно, вообще-то говоря, жить? Там, у них. Соответственно, там нужны дома и все остальное. Для этого требуются весьма немалые деньги. Их что, налом возят с места на место? Никто такого нала не примет. Значит, нужны зарубежные счета.

Вот вам и крючок! Пожалуйста! Ведь наш гедонист – это не какой-нибудь Мэллон XXV! Он деньги под свой гедонизм как зарабатывает? Согласно вышеприведенной формуле про мейнстрим. Криминальный мейн-

стрим – это не наукообразие. Это значит, что немалые деньги под совершенно необходимые удовольствия добываются воровством. Потому что столько денег добыть больше нельзя ничем. А, как известно, всякие там цюрупы... И пошло, и поехало.

Значит, достаточно получить информацию про криминальность фигурантов (это проще простого), и крутой паханат с его гедонистическим консенсусом – как овечка. Смиренький, тихонький, пластичный донельзя.

Пока есть гедонистический консенсус и криминальный мейнстрим, мы «банановая» страна самого низкопробного качества. Нас это не устраивает? Тогда нам надо изменить консенсус и мейнстрим, то есть общество. Если «банановость» останется, власть будет сметена. Если власть не хочет быть сметенной, она должна изменить тип общества.

Только не надо воплей: «Все на защиту того, что есть!» То, что есть, защитить нельзя. И мобилизовываться на защиту этого просто бессмысленно. Потому что при таком обществе любой механизм мобилизации будет парализован. Потому что при таком обществе нельзя защитить власть, если хозяин решил ее поменять. Потому что при таком обществе можно только изображать из себя особо продвинутый обком при ихнем ЦК. То есть интриговать, разводить, коррумпировать, юлить, получать мандаты и ярлыки, сдавая других. Но тут, сколько веревочке ни виться, конец один.

А с того момента, когда хозяин примет решение, центр процесса будет находиться в посольстве этого хозяина. Действительная власть будет находиться там и только там. И все потечет оттуда: управляющие сигналы, потоки денег, указания по ликвидации, информационные и идеологические импульсы – все.

Хотите удержаться – замените «чик» «цыком». Свои «наезды» – стратегией. Это не значит, что «наезжать» нельзя. Я не ханжа и понимаю структуру интенций, мотиваций, подходов и алгоритмов. Но я также понимаю, что без замены «чика» на «цык» весь этот норов гроша ломаного не стоит.

Никто меня не полоскал так, как СМИ Гусинского, особенно – Киселев на НТВ. И случилось так, что я оказался рядом с одним из организаторов «посадки» Гусинского в тот момент, когда ему позвонили и сообщили: «Гусинский арестован». Он, этот человек, меня спрашивает: «Ну, как мы его, а?»

Я говорю: «Не знаю».

– Почему не знаете? Гусинский – враг России!

– Я пока не знаю, я хочу посмотреть, кто будет рулить НТВ вместо него.

Через некоторое время на НТВ вместо Киселева появляется Савик Шустер. Шустер – мягкий, интеллигентный человек и в этом смысле приятнее Киселева. Разница в том, что Киселев – из КГБ, а Шустер – из ЦРУ. То есть произошла замена сколь угодно гнилого своего (которым, если захочешь, понятно, как управлять – он на подписке, у него кураторы и т. д.) на чужого (или двойного, что в нашей ситуации то же самое). А чужим управлять вообще нельзя. То есть им управляют другие.

Теперь ответьте мне на вопрос: «банановость» увеличилась или умень-

шилась вследствие такой кадровой замены? Меня ведь это интересует. А наш совокупный «чик»? Он понимает, что при подобной логике замен он чикнуть не успеет, как его сметут по чужим заданиям. И что ж он творит-то? Почему проявляет такую суицидальную ориентацию?

Спрашивают: «А что вы предлагаете, что можно было сделать?»

Отвечаю, что можно было сделать.

Можно было никого вначале не трогать. Но в соответствующем месте собрать альтернативный информационный актив и поначалу просто его обучить. Актив – это 100–150 человек (ведущие информационных программ, режиссеры базовых передач, держатели ключевых узлов информационной инфраструктуры и так далее).

В «час Ч» тихо и без скандалов можно было, при желании, заменить информационный актив. И проводить принципиально новую информационную политику. С ориентацией на другое общество, другую страну. Весь вопрос в том, насколько был бы эффективен новый мессидж, чем он был бы подкреплён в реальности. То есть, каков бы был «цык» – не информационный, а совокупный.

Может быть, это дало бы новое качество. А может быть... Может быть, все общество послало бы это все на три буквы и захотело бы сохранить свое свинство, грязь, хрюканье, мейнстримы, консенсусы... Если это было бы так (а я не верю, что это было бы так), то надо было бы застрелиться. Не чикать, а пустить себе пулю в лоб. А вот если отклик был бы достаточный и кто-то начал бы подымать свои банды для того, чтобы поломать новую, их не устраивающую тенденцию, тогда можно было бы чикнуть как угодно, желательно – минимально, но эффективно. Однако обязательно – имея и предъявляя свой новый «цык».

Сажать Гусинского... не сажать Гусинского... сажать Ходорковского... не сажать Ходорковского... Центр сегодняшней власти – телевидение. Это нынче те самые «почта и телеграф». Взять власть в современную эпоху – значит сменить и контролировать информационный актив, прежде всего – именно телевизионный.

Почему этого не сделали? Тут есть две причины, которые необходимо осознать в полной мере.

Еще раз о стратегии и идеологии

Первая причина состоит в том, что смена информационного актива предполагает выход за «банановые» рамки. А на это никто не осмеливается.

Вторая причина, что это предполагает все тот же переход от «чика» к «цыку». И это невозможно без преодоления рамок других: личностных, ментально-поведенческих, корпоративных. Это предполагает, в свою очередь, применение процессинговых, трансцендентирующих технологий. И тут страх перед «хозяином» соединяется с амбициозностью – и все это обрушивается на любое трансцендентирующее начало.

Скажите – слишком сложно? А что тут сложного? Любой профессионал знает, что нельзя управлять активом (и даже руководством) телевидения и газет с помощью непрерывного потока директив. Актив должен сам рулить. А для этого он должен знать, в какую сторону рулить. То есть – невозможно вести информационно-психологическую войну без идеологии и стратегии. Как только идеологии и стратегии нет – все! Любой информационный актив разваливается.

И только ли информационный актив разваливается? Возможна ли вообще эффективная кадровая политика без стратегии и идеологии? Мы ведь не в исламском мире живем, у нас нет узаконенного многоженства, и ни у кого из нас нет 100–150 детей. Кроме того, мы знаем, что там, где все это есть, эти дети режут друг друга, а не образуют единый актив семейно-кланового типа.

Но допустим даже, что детей много, и они друг друга не режут. Но их всего 150, а не 10 тысяч. И знакомых у нас, в лучшем случае, человек 50. Причем и среди детей, и среди знакомых явно не все такого качества, что им можно доверить сложные задачи управления.

Во всем мире у крупного политика, главы государства, бывает закрытый «теневой кабинет» из идейно близких к нему людей. У Рейгана был какой-нибудь «сигарный» кабинет. Тут решает близость. И в этом нет ничего плохого. Но это узкая группа, а не исполнительная вертикаль. Административный актив таким способом не наберешь. Тогда каким способом его набирать? Кто-то изобрел что-то, кроме понятия «единомышленники»? Если нет идеологии, стратегии – какие единомышленники? Консолидированную банду так не создашь, не то что кадровый потенциал, который должен вытягивать такую неуклюжую телегу из такой ужасной трясины.

Взять хотя бы телепередачу «Русское порно». «Русское порно» – это не просто порно. Это порно, целенаправленно снимаемое в сакральных точках русской культуры. Например, на крейсере «Аврора»! В момент оргазма барышня дергает за веревочку, и раздается выстрел крейсера «Аврора». Вам понятно, о чем речь? Это что, порно? Это десакрализация, ломка стереотипов, война против символов. А ведь там не только «Аврора». Такое же порно у памятника Петру I и в других, не менее сакральных для России местах.

У меня на семинаре недавно были представители экспертного сообщества Израиля. Я их спрашиваю: «Скажите, может ли быть такое еврейское порно, чтобы групповик – у Стены плача? Что будет дальше? Арестуют или разорвут раньше, чем успеют арестовать?» Самый уважаемый мною эксперт ответил: «Надеюсь, что разорвут на части раньше, чем арестуют. Если нет, я эмигрирую из страны».

После таких вещей, как «Русское порно», мне будет кто-то говорить, что это просто соревнование огурцов с сорняками? Идет прямое подыгрывание каждому сорняку!

Казалось бы, достаточно просто приравнять сорняк к огурцу – и выра-

стет сорняк. Ан нет! Поскольку есть страх, что все-таки вырастет огурец, каждый отдельный случай «огурца» еще и «мониторят». И всех, кто пытается выращивать огурцы, ставят в максимально неблагоприятные условия.

Я должен собственным трудом зарабатывать на то, чтобы делать сложный театр. А Большому театру, где ставят сорокинских «Детей Розенталя», собираются выделить на реконструкцию миллиард долларов. Не понимаю, зачем вообще публично оперировать цифрами. Можно строго сказать: «Представьте смету, она будет проверена и удовлетворена». Зачем злить голодную страну миллиардом долларов? Зачем нужно, чтобы высчитывали, сколько это будет за квадратный метр? И обсуждали все вопросы, лакомые для сегодняшнего криминального общества?

В конце концов, ради торжества некоей высокой культурной нормы можно заплатить огромные деньги. Но тогда не говорите сколько, а говорите – за что. Вы же платите эти огромные деньги. Вы имеете право спросить: за что? Вам ведь должно быть не все равно!

Отремонтировали Большой театр... отделали по экстра-классу и... И показали там «Детей Розенталя»? То есть Сорокин – это у нас флагман культурной политики? Если Сорокин – флагман культурной политики, то это – политика акультурации собственного населения, превращение его в скотов, в быдло, в мразь. И мне тогда уже все равно, на сколько процентов увеличился ВВП. Потому что если Сорокин – флагман культурной политики, то общество, которое здесь будет, – бордель, и ничего больше. И меня не интересует, как вырастет ВВП борделя. И какие ракетные установки поставят на его крышу. Потому что никакие ракетные установки бордель не защитят. Бордель вообще не может сопротивляться. Потому что Сорокин как флагман (и просто как допустимая, государственно поддерживаемая возможность) – это не вытаскивание людей из грязи, а затаскивание их в грязь. Достоевский по этому поводу говорил: «Обратитесь в хамство, гвоздя не выдумаете».

Все понимают, что «Дети Розенталя» – это культурная политика «банановой» страны. Кого-то это радует. Кто-то это сосредоточенно ненавидит. Но культурная политика – это вообще переход от «чика» к «цыку». Для «цыка» это суперважная вещь, для «чика» – жалкая тусовка на периферии сознания.

А раз так – «банановость» будет расти. А если она будет расти, что можно защитить? Предположим, что хочешь защитить власть, понимая, что будет хуже. Но как это можно сделать? Только превращая «чик» в «цык». А это нельзя навязывать. Это должно быть выстрадано и понято.

И ведь это не касается одних «Детей Розенталя» или «Русского порно». По телевидению – один сериал за другим. То ГРУшники возят тоннами наркотики и убивают мужчин и женщин, то ФСБешники. Это что – мобилизация, создание аттрактивного позитивного образа?

Помимо прочего, уровень режиссуры и актерской игры в этих сериалах таков, что у любого культурного человека возникает единственное желание – «выключить ящик», чтобы это не видеть и не засорять мозги. Мне говорят:

«Это естественный процесс: вор в законе хочет видеть свою любовницу по телевизору, он платит деньги, а те берут. А любовница не умеет в кадре стоять, ходить и говорить». А представьте себе, что вор в законе выдвинет новую Чурикову. И бабки заплатит за нее. Ее возьмут? Ой ли!

Я убежден, что имеет место не только органический процесс (то есть предложение на равных соревноваться сорняку и огурцу), но и процесс специальный. Дело не только в дефиците вкуса у воров в законе. А в том, что если вор в законе проявит высокий вкус, его, вполне вероятно, «шлепнут». Я не шучу.

С одной стороны, мы видим политику настойчивой, навязчивой акультурации нашего населения (каждый день просмотра телевидения об этом просто кричит), а с другой – слышим непрерывные разговоры о великой державе. О какой великой державе? О великой державе, в основе культурной политики которой оказываются Сорокин и «рашн порно»? Кто-то считает, что можно поместить все это в фундамент культурной политики – и иметь великую державу?

Ни в какую органику этой тенденции я не верю. Повторяю: сама апелляция к органике провокационна. Вытащить человека из грязи гораздо труднее, чем толкнуть его в нее. Но ведь толкают, не полагаясь на то, что тот и так выберет грязь.

И для таких выводов мне не надо читать конспирологические записки, достаточно включить четыре главных телевизионных канала и посмотреть, что по ним идет в прайм-тайм. Для этого достаточно знать, что, когда автора и хозяина «Русского порно» пытались привлечь к суду, местные «народные избранники» заявили, что это не порно, а «жесткая идеологическая эротика», и триумфально оправдали обвиняемого! «Идеологическая эротика»! То есть те, кто оправдал, реально понимают, что это идеологическая атака, что удары наносятся именно по сакральным точкам! Тогда зачем гимн: «Россия, великая наша держава»? Какой вкладывается смысл в сей оксюморон?

Страна больна и погружается в тяжелейшее состояние, но ее не только не выводят из этого состояния, а все глубже, глубже и глубже в него затягивают. Делают ли это стихийно или сознательно, из предрассудков или по злобности, одни так, другие иначе, но никто никуда это затягивание развернуть не может. И корень проблем в том, что почти вся действующая элита находится в криминальном мейнстриме и гедонистическом консенсусе. В этом состоянии нельзя ни управлять, ни (внимание!) удерживать власть.

Между прочим, Петр I это хорошо понимал, когда создавал свои потешные полки. Он понимал, что ему нужен собственный вариант «катакомб», что ему нужно, чтобы из его «параллельной системы» вышел его новый актив. И он вполне осознавал, какой ему требуется актив. Есть такие понятия: «новый призыв», «революция сверху» – Петр это понимал, и это сейчас вполне актуально.

Но если под флагом «смены актива» кто-то хочет «срубить» на российской нефти или чем-то другом больше, чем «срубил» сейчас, – не надо счи-

тать, что все вокруг дураки. Сегодня уже очень многие в стране могут отличить реальное намерение исправлять что-то в обществе от «крышевания» благородными декларациями криминальных операций и хватательных рефлексов. Россия уже достаточно изощрена, и она на это не «купится».

Хотите говорить с обществом – говорите всерьез и не считайте, что за вас пиарщики все сделают. Пошлите серьезный честный мессидж. Если живая часть России на него откликнется – может, будет поддержка. А может, ее уже не будет – с каждым месяцем шансов на это все меньше. Потому что мы живем «в ситуации Бишкека». И если мы в этом себе не признаемся, то просто прячем голову под крыло.

Персонажи в поисках смысла

Я не могу уходить от злобы дня. Но не могу и все подчинять этой злобе дня. Если мы хотим копить силы для прорывного выхода из сложившейся ситуации, если мы отрицаем свой «банановый» статус, то на повестке дня должна быть и подлинно стратегическая проблематика. Причем такая, которая имеет, в полном смысле слова, общемировой характер. И одновременно замыкается на нашу большую реальность. Иначе – зачем она?

Я позже объясню, какое это имеет практическое значение. А пока давайте рассмотрим следующую модель (рис. 1).

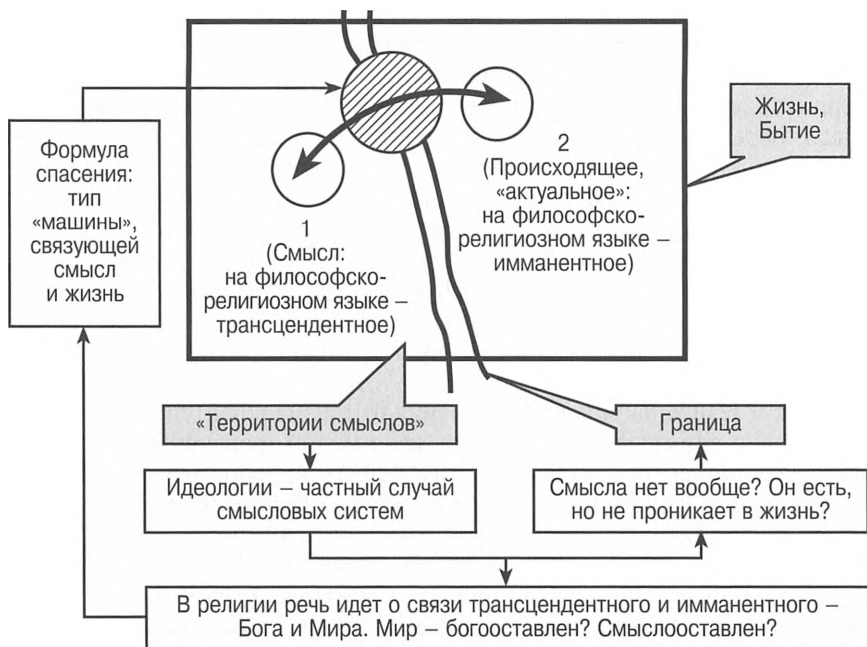


Рис. 1

В нормальной жизни всегда есть территория смыслов – и территория всего остального, «происходящего».

Смыслы могут что-то значить, то есть влиять на происходящее, или же являться «смыслами в собственном соку» (если хотите, это вопрос о соотношении идеала и действительности).

Почему сегодня этот вопрос имеет глобальную актуальность? Потому что сегодня все менее понятно: а есть ли «территория смыслов», открытая происходящему? Остались ли вообще смыслы, которые что-то значат? Из российской жизни они в значительной степени изъяты (вспомните соревнование овощей и сорняков, «Русское порно» и вообще наше телевидение, «Детей Розенталя» и прочее).

Но если смыслы есть, как отвечает мир на сопряжение двух территорий: одной – всего происходящего (конкуренция за ресурсы, энергоносители, финансовые потоки и т. д.) – и другой, вот этой скромной территории смысла? В мировой философской практике это называется «трансцендентное» и «имманентное». Или, говоря проще, смысловое – и все остальное. А между ними – граница.

Что же такое «территория смыслов» (а идеология – это частный случай смысла)? И что значит «граница»? Если есть граница, значит ли это, что в происходящее из смысловой зоны ничто не приходит? Как вообще смысл проникает в жизнь? Как он течет в происходящее у каждого отдельного человека и у всех нас вместе? И почему мы – общество, если вдруг смысл из трансцендентного в имманентное не течет?

В действительности, в нормальной общественной системе между «территорией смысла» и происходящим есть какой-то мост, по которому смысл перекочевывает из своей собственной области в актуальную жизнь и обратно. И этот тип «машины», связующей смысл и жизнь, этот способ соединения трансцендентного и имманентного в религиозных системах называется «формулой спасения». Причем в разных религиозных системах она разная. Протестантизм увел трансцендентное в бесконечность, заявил, что имманентный мир богооставлен и что спасение – дело личного отдельного подвига. Православие же, напротив, говорит, что во всем имманентном присутствует трансцендентное, что инобытие есть везде в бытии.

В таком тезисе налицо риск впадения из теизма в пантеизм. И потому в православии внимательно разбирали, как именно трансцендентное размещается в имманентном. В связи с этим Карсавин, например, строго различал пантеизм и панентеизм. Но в религиозной системе трансцендентное, в любом случае, кочует с «территории смыслов» в жизнь.

Что, с этой точки зрения, есть современный мир? Не обязательно мы, а весь мир – потому что мы не поймем себя, не поняв других. В религии речь идет о связи Бога и мира: богонаполнен мир или богооставлен? А в идеологии он что, смыслооставлен? Что такое в нем смыслы? (На религиозном языке – благодать.)

Ответы даются разные. Самый грубый вариант – смыслов в нынешнем мире вообще нет. Более мягкий вариант – мир есть «музей смыслов», которые уже не проникают в бытие. В моем спектакле «Изнь!» есть метафоры: «Рай» и «Зона Ч». «Рай» – это западный «культурный зоопарк», место, где смыслы есть, но они в нем не тигры, а кошечки, не «живые бомбы», а безопасные экспонаты. Они обезврежены.

Это и есть мир постмодерна. Неправда, что мир постмодерна – это мир без смыслов. Мир постмодерна – это мир смыслов, которые приручены. Они уже не жгут того, кто с ними соприкоснулся, не мотивируют поведение, не мобилизуют личную и социальную энергию, а существуют *так*, для декора.

Итак, в России вообще грубо изъяли из жизни смысл. А на Западе что сделали? Там его постепенно превращают в музейные экспонаты. И, по большому счету, я не знаю, что лучше.

Конкретная беда нашего нынешнего варварства, которую я обрисовал, вписана в мировой контекст. И это ставит проблему: какая-то идеология, какой-то смысл – релевантен или нет? Он как-то действует, кого-то активизирует? Люди способны им жить? «Идеи становятся материальной силой, когда овладевают массами», – так говорил Ленин, и это вовсе не потеряло актуальность. Так вот, сегодня идеи в принципе этими массами овладевают или нет? Становятся ли идеи материальными силами? Если становятся, то смыслы – это тигры, а если не становятся, то это кошечки, жеманно – без коготков.

Куда идет Запад после 70-х годов XX века? В нем постоянно происходят попытки стерилизовать смысл, изъять из смысла заряд энергии, обезвредить его. И это – главное свойство постмодернизма. Это и есть некая эзотерическая философия для той эзотерической идеологии, которой называет себя глобализация. Глобализация – это ярлык для дураков. Подлинное содержание глобализации – постмодерн. Подлинное содержание постмодерна – это изъятие из смысла активного начала, запрет на то, чтобы какая-нибудь идея когда-нибудь превратилась в материальную силу, овладела массами, запустила энергетический импульс в общество.

Следующий вопрос, который всегда под названием «теодицея» стоял перед религиями, – объяснение и оправдание Бога, терпящего в мире Зло (рис. 2). Если происходящее в жизни содержит в себе зло, если налицо очаги зла, то какой стоит за этим смысл? Если горели печи Освенцима и фашизм уничтожил десятки миллионов славян, евреев и других, значит ли это, что в области смысла был какой-то импульс, идеология, энергия, которые это породили? Или и здесь «мухи отдельно, котлеты отдельно», смыслы отдельно, происходящее отдельно?

Мы видим, что на сегодняшнем Западе явно существует страстное желание отделить одно от другого. Я понимаю рискованность сопряжений, но постоянно это обнаруживаю:

– Мирча Элиаде был последовательным железногвардейцем...

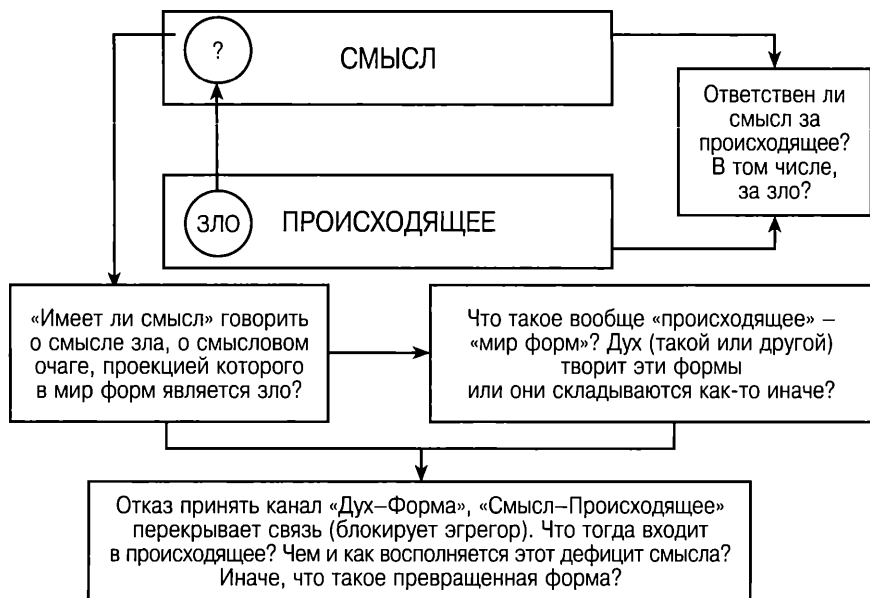


Рис. 2

- Нет, знаете, он был философом!
- Юнг последовательно стоял на фашистских позициях...
- О! Это архетипы!
- А Хайдеггер?..
- Это экзистенциальная философия.

Я не хочу никому «пришивать дело» и понимаю, что сложно заставить Ницше отвечать за капо в Освенциме, хотя и считаю, что это в каком-то смысле нужно сделать. Однако в современном западном обществе существует гигантское желание этих мух от этих котлет отделить окончательно и бесповоротно. И объявить, что смыслы ни за что не отвечают.

Но если смыслы ни за что не отвечают, что же тогда произошло и откуда взялись Освенцим и геноцид? Это важно, но еще важнее другое. Если смыслы ни за что не отвечают – что такое человеческая жизнь и почему она зовется человеческой? Говорить, что смыслы ни за что не отвечают, – это и есть попытка окончательно превратить смысл в чисто игровую постмодернистскую конструкцию!

Если всерьез обсуждать смыслы, то нельзя пройти мимо вопроса о смысле зла, то есть о смысловых очагах, проекцией которых на материальную реальность является зло. И мимо вопроса о том, что творит формы нашей жизни – дух, то есть смысл, или что-то еще? В классической философии, начиная с Платона, формы творит дух. Нет духа – нет форм, все распадается, возникает хаос.

Если убрать смыслы, что будет происходить с формами? С любимыми формами жизни: с семьей, с межличностными отношениями, со школой, вообще любой деятельностью? Если смысл во все это не входит, если не смысл все это творит, то кто же и что же творит? Вот, на мой взгляд, главный вопрос XXI века. И это вовсе не отвлеченный философский вопрос. Отказ от признания того, что дух и форма, то есть смысл и происходящее, связаны, прерывает эту связь, прерывает подпитку «человека действующего» энергиями высших целей и смыслов.

Что же тогда входит в происходящее? Во что превращается деятельность, если перекрыта связь между духом и формой, если смысл деятельности оказывается оторванным от деятельности как таковой? Форма может просто рассыпаться. Так и произойдет, если прекратится доступ смысла, доступ духа. Но может произойти и другое. В форму войдет чужой, антагонистический смысл. Антисмысл. И тогда произойдет не рассыпание, а превращение форм. Форма даже усилится, но она станет отрицанием того содержания, которое ее создало. Форма начнет не раскрывать содержание и не прозябать в отсутствии оно. Она начнет воевать с содержанием.

Назовите это как угодно. Антибытием, адом. Важно понять, что речь идет об очень специфической онтологии и метафизике. И что эта онтология, эта метафизика имеют прямое отношение к нашей действительности, той самой злобе дня, о которой я говорил.

Как только вы не пускаете смысл в бытие, оно не просто чахнет и рассыпается. Это не единственный сценарий. По другому сценарию, в это бытие при перекрытии доступа смыслов активно входит антисмысл, зло.

Так вот – наша реальность не просто абессмысливается. Она именно «превращается». И это указывает на многое: на вектор, проект, субъект. Самый простой пример: если экономическая, хозяйственная деятельность оторвана от смысла, она не обязательно прекращается. Она может и превратиться. Стать антидеятельностью – в этом суть криминального государства. Важно не то, что я что-то построил, создал. Важно то, что я делаю прибыль на непостроении, на антиподе созидания. Что такое отмывка? Это затаскивание грязных денег в дыры, созданные недостатком деятельности. Пустота, антидеятельность становятся суперприбыльными. Чем не игра превращенных форм?

Другой пример – из сферы этого самого «чика». Если система государственной безопасности оторвана от смысла, она может принять в себя антисмысл. И стать для государства главной опасностью.

Есть такое заболевание – системная красная волчанка. Что это такое? Это такая биологическая превращенная форма, когда иммунная система (то есть система безопасности) начинает истреблять не врагов организма, а его, организма, системообразующие начала. Вот вам и пример по поводу сорняка и огурца. Сорняк (враг организма) поддерживается, огурец (системообразующий элемент) истребляется.

Фактически, речь идет о контринициации. И эту контринициацию развязывают те, кто отрывает смысл от вещей, дух от формы. Потому что в этот

разрыв вклинивается иная энергия – антисмысл, антидух. Кому-то нужно, чтобы здесь все рухнуло. А кто-то хочет, чтобы здесь все «превратилось». Поймите, это не одно и то же! Рассматриваемая мною проблема не абстрактна. Она конкретно отвечает на вопрос о природе происходящего. А значит, и на многие другие вопросы. Например, на вопрос «что делать?»

Перед тем как к этому перейти, хочу состыковать метафизический и психологический уровни одной и той же суперпроблемы.

Смыслы и социальная психология

Аналитическая психология выделяет в человеческой личности «сверх-я», «я» и «оно». Если у человека в сфере «я» концепция самого себя расходится с реальностью (например, я считаю, что я великий человек и всем управляю, а на самом деле являюсь чем-то совершенно другим), то все, что содержится в разнице между этой концепцией и реальностью, всякое «несоответствие занимаемой должности», говоря совсем грубо, запикивается в подсознание, в «оно».

Механизм понятен? Я не могу спокойно жить, зная, что не соответствую занимаемой должности (абсолютно неважно, какой должности: большой, маленькой, средней – любой). Я должен ей соответствовать. Значит, все, что мне говорит об этом несоответствии, я должен куда-то запихнуть. Куда? Место для этого только одно – подсознание, «оно». Но когда я запикиваю это в подсознание, прячу от себя – что у меня рождается? Комплекс неполноценности. А он чего требует? Гиперутверждения. И я начинаю важничать, командовать. Если я не могу ничего сказать людям содержательно, я что должен сделать? Я должен их прищучить: «Ты, того, смотри!»

А ведь рядом люди, которые видят это мое несоответствие. И дают понять, что его видят. Что я должен сделать с этими людьми? Я их должен убрать. А кого я должен поставить? Тех, кто этого несоответствия не видит или не показывает, что видит. То есть либо идиотов, либо лжецов.

Что в такой ситуации вообще может сделать человек? Человек может всю реальность «загнать под концепцию». И это Достоевский – «Записки из подполья»: нет реальности, есть только концепция. Или Горбачев с его: «Нам подбрасывают... Не надо драматизировать». Если у человека «под ногами горит», а он не соответствует ситуации, он может попытаться выбросить из рассмотрения (ученые скажут – элиминировать) реальность.

Человек может разрушить концепцию себя и признать реальность. Это – Чехов: Лаевский в «Дуэли» сделал именно это, он признал, что он есть то, *что* он есть. То есть человек может признать свое поражение в этой роли в этой реальности и сменить роль на «посильную».

Есть ли «третий путь»? Есть. Это – самотрансценденция. О ней – великая фраза Гоголя: «Монастырь наш – Россия! Облеките же себя умственно рясой чернеца и, всего себя умертвивши для себя, но не для нее, ступайте подвизаться в ней...» Блок потом это цитировал.

Самотрансцендентация предполагает, что человек имеет миссию, смысл. И тогда ему начинает открываться ресурс его «сверх-я». Этот ресурс открывается лишь в том случае, если человек чему-то служит, если у него есть высшая идея этого служения. И любая действительно прочная консолидация, любая активная и эффективная коллективность и командность возникают только вокруг такой идеи служения.

Без этой идеи служения, что такое «питерцы» или «чекисты»? Сегодня это «питерцы» или «чекисты-братья», а завтра – разные интересы, разные «бабки», разные аппетиты, конкуренция за близость к главной персоне, мысль «почему бы и не я» и т. д. Это же естественно! Невозможно выстроить устойчивую ролевую матрицу вокруг «я». Особенно если налицо разрыв между «я-концепцией» и реальностью. Значит, если нет миссии и общего смысла (служения), то обязательно будет грызня. А если еще окажется, что люди не соответствуют своим ролям, то грызни будет больше, потому что будет уже не только грызня между «я», но и грызня между «оно».

Что это означает? Что не может быть необходимой самотрансценденции вне служения, вне актуальной миссии, вне «сверх-я». Но ведь именно по этому регистру личности нанесен удар. Потому что все, чему люди служили, – отняли. Потому что людям сказали: «Будешь жить служением – станешь маргиналом».

Люди вообще не соответствуют нынешним вызовам, потому что вызовы гигантские, беспрецедентные. В условиях катастроф люди могли бы меняться, самотрансцендентироваться. Но такая самотрансцендентация требует невероятной мобилизации идеи служения. А именно эту идею вырывали с корнем. И там, где должна быть точка опоры, – пустота.

Я не хочу сказать, что этим описанием предлагаю решение. Но узловая точка коллизии, как мне кажется, обнаруживает себя. А когда нащупываешь узловую точку, то в чем-то уже нащупываешь решение.

Еще одно следствие смыслопотери

Смыслопотера опасна тем, что она не позволяет преодолеть барьер между «чиком» и «цыком». Она вдвойне опасна тем, что не дает самотрансцендентироваться, изменить себя даже в условиях катастрофы. Но есть еще одна опасность, связанная с ней. Отсутствие смысла скукоживает и выхолощивает даже прикладную аналитику, прикладное понимание происходящего. Приведу пример.

Наша нынешняя пресса наполнена предсказаниями о том, что в России возможен «вариант Чаушеску». Но никто не додумывает до конца, что такое «вариант Чаушеску»? Эта невозможность додумать до конца есть еще одно из следствий смыслопотери. В результате глубокие феномены становятся плоскими знаками.

Что такое «вариант Чаушеску» в качестве плоского знака, мне понятно. Если не весь наш силовой «актив» окажется перекуплен, а президент не со-

гласится с предложениями «уйти по-хорошему» и будет «дергаться» (что сомнительно), то организуют конфликт между двумя политическими группами. Например, между Дугиным и Рогозиным. При этом Дугин станет защищать президента, а Рогозин нападать на президента. Это будут примерно такие фигуранты, потому что «оранжевые» демократические мальчики ничего не могут, они камень в руку не возьмут.

То есть этот конфликт начнут оформлять как противостояние, например, «русской» и «евразийской» групп. Затем куда-то будет «придан и упакован» радикальный ислам, куда-то – «белые», куда-то – «красные». И эти группы будут максимально разводить между собой. Как разводить – в конце концов, не так важно. Важно, что за группой поддержки власти, за проправительственной группой, должны, например, стоять «комитетчики», а за ее оппонентами – военные.

Потом проправительственная группа должна начать защищать власть и стрелять по «бунтовщикам». Ответом станет «недовольство армии», решительно переходящей к поддержке восставшего народа. И вот тогда «комитетчиков» будут расстреливать так, как их расстреливали в Румынии. А в Румынии их расстреливали массово. Военные сажали их в грузовики, вывозили, ставили к стенке, расстреливали и закапывали. И семью президента, как мы помним, вырезали. Это и называется «румынский вариант», или «вариант Чаушеску».

В России, действительно, может готовиться румынский вариант. И я бы предложил представителям «чекистов» подумать о том, что речь уже идет не о лustrациях, не о запретах на профессию, речь идет о массовом уничтожении. Я не хочу разжигать страсти, я знаю, что говорю.

Но это – лишь плоский знак. Есть ведь и действительный масштаб феномена Чаушеску. И этот действительный масштаб имеет к нам самое непосредственное отношение. Раз уж кто-то оперирует феноменом Чаушеску, казалось бы, должно появиться желание додумать до конца. Но смысловая потеря как раз и мешает додумывать. И тогда вместо объемов – плоскость. Вместо проблемы – прописи.

Между тем, далеко не лишним является понимание того, чем же оказался плох Чаушеску и почему начали стрелять? Ответ на этот вопрос заключается в том, что в мировой элите были группы за и против Чаушеску. Против Чаушеску были старший Буш, Чейни и ряд других. А у Чаушеску-то что было, какая поддержка? Советская? Чаушеску что, был верным ленинцем? Да нет!

Чем же Чаушеску был так плох для его противников? Почему всех остальных «советских» лидеров в Восточной Европе не расстреляли, а его расстреляли? Он что, был особенно свиреп или сильнее всех сопротивлялся? Нет! Он просто был слишком прочно интегрирован в одну мировую группу, а к власти начала приходить другая мировая группа. Рядом с Чаушеску был некий Брюс Раппопорт, и он торговал нефтью. Это израильский военный спецслужбист, который оказался близко вхож в «семью», был у

Чаушеску главным контрагентом по нефти и представлял интересы мировых конкурентов Буша.

Если бы Чаушеску «сдал» свою группу или перебежал из лагеря в лагерь, результат, возможно, был бы другой. Но он не сдал и не перебежал – считал, что это еще опаснее. Все это разве не имеет отношения к нашей действительности? А это ведь не единственный случай!

В чем реальный феномен Милошевича? Да в том же самом! Ему звонили два человека, и один говорил: «Слобо, ударь по американским войскам!», а другой – «Слобо, не смей!» Оба звонившие были американцами и для Милошевича представляли «хозяина». Просто один высказывал позицию республиканской партии США, а другой – демпартии США. Одним было нужно, чтобы Клинтон в Югославии провалился (а для этого югославы должны были ударить по войскам НАТО из всех стволов), а другим – чтобы этого ни в коем случае не произошло и чтобы «Слобо» поскорее сдался. Милошевич лавировал между этими требованиями до тех пор, пока к нему не приехал Черномырдин, как посланец Альберта Гора, и не сказал: «Надо скорее сдаваться».

То есть суть какого-нибудь «румынского» или «югославского» вариантов заключается в том, что идет острейшая борьба крупных мировых элитных групп. Но чтобы понять и включить в свой анализ эту борьбу групп, требуется задаться вопросами о самих таких группах и об их целях, то есть о смысле существования и действий этих групп. Нельзя просто твердить: «У нас будет вариант Чаушеску», не понимая, в чем смысл этого самого «варианта Чаушеску»!

Так что такое в реальности крупные элитные группы?

Смыслы бывают «музейные» и «горячие», властно релевантные. Эффективная элита не может не иметь внутренней идеологии. Без нее «я» и «оно» не удержатся от конфликтов, без нее не может быть консолидации, не может быть устойчивых мотивов общей деятельности. Каждая группа, которая хочет завоевать и сохранять власть, цементируется внутренней идеологией, верой, миссией. То есть – смыслами. Нет этого – нет ничего!

Нет абстрактных «чекистов» без осознания смысла «чекизма», нет «питерцев» без осознания и предъявления смысла «питерства». Если Санкт-Петербург – главный город новой модернизации, то большая часть общества согласится: хорошо, пусть у власти будут «питерцы». Но если просто питерская банда воюет с московской, то «чума на оба ваши дома». Тогда вместо них нужна, скорее, какая-нибудь рязанская банда – может, будет поспокойнее.

Что такое Питер? Что такое чекисты? Придайте смысл этой клановости, этим корпоративным группам, внесите этот смысл в свою и чужую жизнь, если хотите уцелеть. Потому что иначе будет бойня.

Я понимаю, что аргументом «от бойни» кого-то напугать можно, но смысл им не внесешь. Однако неужели после Бишкека не видно, что на нашей земле происходит? Элите сейчас крайне нужна внутренняя идеология, нужны смыслы. И речь не о музейных смыслах, а только о живых и горячих.

А что значит – живые и горячие? Смыслы горячие тогда, когда в них соединяются рефлексия и перцепция (рис. 3).

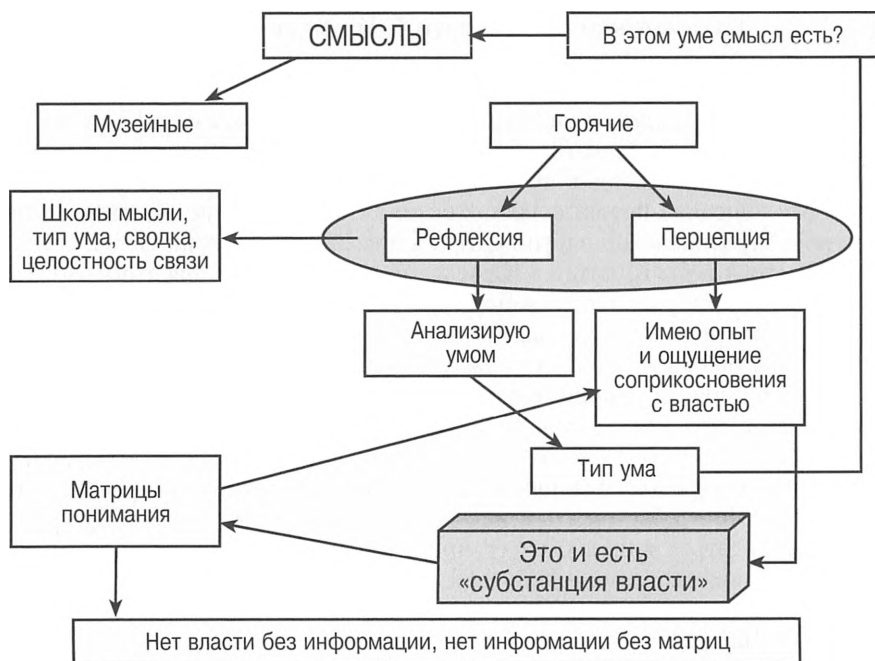


Рис. 3

Смыслы живые и горячие – это такие, которые мобилизуют на действие. И не просто на действие, а на политически эффективное действие.

Что значит – мобилизация на политически эффективное действие? Я не что анализирую своим умом, произвожу рефлексию на реальность, но я одновременно имею внутренний опыт соприкосновения с властью. У желающих властвовать есть непосредственное ощущение того, каков тип властного ума? Вот именно этот опыт и это ощущение и есть «субстанция власти».

Без этого соприкосновения и без этого опыта – нет того, что Ноам Хомски назвал «матрицей понимания». А без такой матрицы – нет возможности правильного осмысления информации. Без такой матрицы люди вроде эту информацию и имеют, причем даже в безумном избытке, но совершенно не понимают, какие она содержит значения. И не могут политически эффективно действовать.

Значит, каковы школа мысли, тип ума, какова матрица понимания, есть ли в ней, помимо качественной рефлексии, еще и перцепция, как происходит сводка информации, каков уровень ее целостного осмысления, как внутри нее выстраиваются связи, насколько все это насыщено «горячими»

смыслами, относящимися к действительным проблемам властвования, – вот центральные проблемы элитной консолидации в действующий субъект, вот ключевые проблемы власти. И огромная беда нынешней России состоит в том, что у нас в стране теряется сама властная «школа мысли», сам тип этого властного ума.

Еще раз о цене различия между «чиком» и «цыком»

Все, что я сказал, может быть сведено к одной фразе: разница между «чиком» и «цыком» – это разница между поражением и победой. Чьей победой? Чьим поражением? Путина? Узкой группы? Да нет! Всего того «чикающего», что хотело цыкать, начиная с Берии, а возможно и с Дзержинского. Всего того, что в стратегическом смысле несла с собой андроповская линия. Это заденет очень серьезные элитные группы. Это заденет общество.

Проиграть «цык» и остаться в «чике» – это значит проиграть все. А проиграть все – это значит «оплатить политические счета». Взять на себя всю политическую карму всех предшественников на данном пути, причем «по полной программе». Уверяю вас – я ничего не преувеличиваю!

По факту приходится признать, что весь андроповский «цык» оказался несостоятельным. А по большому счету – что «цык» обернулся «чиком». А обернувшись, стал искать себе чужой «цык». Это начало, не взяв барьер собственного «цыка», стало строить отношения с тем же Западом (и не только с ним) по следующей усеченной схеме: «Я умею чикать. Хотите – так могу чикать, хотите – иначе могу чикать. Каков будет ваш цык?»

Но что на этом самом Западе-то в тот момент происходит? Там-то где и какой именно «цык»? А там – то, что я уже начал описывать на примере «варианта Чаушеску». Например, атака на упомянутого Брюса Раппопорта. Заметим, что позже именно Раппопорта связали с ЮКОСом и пресловутым Bank of New York, вокруг которого наворотили криминальные обвинения на десятки миллиардов долларов (они, напомним, вскоре тихо развалились и «забылись»).

То есть там, где это ЧК искала для себя новый «цык», сцепились разные хозяева, причем, минимум, два хозяина сцепились только в одном Нью-Йорке. И один хозяин говорит: «чикай сюда», а другой хозяин говорит: «чикай туда». Они говорили это 15 лет назад, и они говорят то же самое сегодня.

Я вам могу сказать, кто, по большому счету, посадил в тюрьму Ходорковского. Его посадили очень большие западные дяди, использовавшие, в том числе, и наш отечественный «чик».

Но сегодня дяди посадили его, а завтра они посадят других. Потому что происходит перегруппировка сил в стане этих самых дядей. А «чик» как не понимал, что происходит в нашем ЦК, так не понимает, что происходит в новом тамошнем ЦК. И это, возможно, опаснее всего остального. При этом данная проблема касается не только чекистов (нынешний аттрактор), но и

военных (возможный будущий аттрактор). А также всех остальных сил в нашем обществе.

Наши «олигархи» страшно боятся того, что их будут «дербанить» чекисты. Однако настоящий современный международный чекист – не тип в кожаной куртке с маузером, а американский джентльмен в смокинге на своей яхте. Олигархам кажется, что этот джентльмен для них – классово свой. Так вот, я утверждаю, что при сохранении нынешних тенденций ни одного из наших сверхкрупных состояний в целости и сохранности не оставят, и все олигархи будут сидеть в тюрьме.

У меня недавно вышла статья об этом в израильской прессе. Там я пишу, что если России, как опорной страны для отечественного капитала, не станет, ни один из сегодняшних олигархов на свободе не останется. И неважно, где он сейчас – в России, в Великобритании, в Израиле или где-то еще. Арестовывать и сажать в тюрьму их будут там, на Западе, даже если основную работу для этого будет выполнять наш «чик». Командный «цык» будет оттуда, «хозяевами» уже приняты решения о том, чтобы олигархов в России не было.

И идея о национализации и переприватизации трех тысяч предприятий на Украине – тоже оттуда. Потому, что вера в возможность создания на постсоветском пространстве «периферийного капитализма» закончилась. Здесь уже никому не доверяют, а поэтому намерены сначала проводить национализации, а затем – прямую передачу ключевых активов западным корпорациям. Спорят лишь о том, какие активы каким корпорациям.

Американцы требуют, чтобы здесь не осталось ни одного олигарха. Ходорковский оказался в этой очереди первым прежде всего потому, что хамски хвастался тем, что залез в мировой клуб миллиардеров и теперь важнее Чейни. Но еще он, конечно, пострадал и за упорство в намерении гнать нефть ЮКОСа на Дацин, и за Раппопорта, то есть за слишком плотную вовлеченность в интересы элиты демпартии США.

Нет единого мирового субъекта и единого мирового «цыка»! В том-то и сложность, что ЧК готова «чикать», но не понимает «под кого».

Смысловая оптика и «начинка» фактов

А почему не понимает? Да потому, что вместе со смыслопотерей в России вообще утрачена способность к полноценному анализу все более сложной мировой ситуации. И осмысление реальности происходит в рамках крайне упрощенных моделей, к тому же нередко явным образом противоречащих множеству очевидных и не вполне очевидных фактов.

Конечно, невозможно пытаться осмыслить факты и события вне некоей изначальной оптики, вне определенных «стержневых моделей» происходящего. Однако любая игра со стержневыми моделями имеет ограничения. И главное ограничение, конечно, – недопустимость игнорирования, во имя спасения модели, реального содержания событий и фактов. Я же вижу, что

нынешнюю российскую аналитику постепенно перестает интересовать, чем в действительности «начинены» факты.

Почему? Видимо, потому, что российский аналитическое сообщество уже внутренне считает себя «колонизальным» (то есть неконкурентным там, где принимаются решения) и, кроме того, разобрано по «идеологическим квартирам» (то есть нередко готово отбирать и интерпретировать фактуру «под идеологию»).

Одна крайность – углубляться в фактуру без оптики, без идеологии и, соответственно, без продуманной «матрицы понимания». Другая крайность – подчинять идеологии и фактуру, и интерпретацию фактов, а в отношении фактов, противоречащих идеологии, считать: «тем хуже для фактов». Нельзя не собирать, не просеивать и не интерпретировать факты, но при этом совершенно необходимо в самих фактах выявлять их содержание, «начинку», и поверхностные слои, «шелуху».

Например, я читаю в газетах, что Вулфовица резко «повысили», ибо он возглавил Всемирный банк. Ребята, не верьте! Вулфовица вышибли из команды, под зад коленом, и неоконсервативная группа вокруг Буша трепещет.

Почему его вышибли? Потому что начался новый тур переговоров между Америкой и исламом. И в Саудовской Аравии сказали: «Для нас на переговорах с вами эта еврейская фигура неприемлема, нам это не нужно, мы правоверные. Для начала диалога – уберите его». Бушу сейчас очень нужны арабы (отдельный вопрос – зачем). И Вулфовиц вылетел. А «патриотическая» российская пресса кричит, что Вулфовица сделали хозяином мировых финансов. Всемирный банк – не хозяин мировых финансов, это ложное отождествление, причем легко проверяемое. Начинка и шелуха факта – вещи очень разные.

О реальном запахе «киргизских тюльпанов»

Возьмем, например, Киргизию и проблему СНГ. Путин 14 июля 2004 года говорил, что СНГ надо сохранить любой ценой. Меньше чем через год он сказал, что СНГ – это всего лишь «механизм развода». Путин не должен этого говорить после того, как сказал, что СНГ надо сохранить любой ценой. Но он не может не говорить этого, потому что страны СНГ рушатся одна за другой. Путин говорит, а американцы делают то, что они задумали, и производят соответствующий «цык».

Операцию в Киргизии проводили, прежде всего, американцы, и проводили ее не ради Киргизии. У нее две крупные цели. Главная цель – Каримов, снос узбекского режима и развал Узбекистана, вторая цель – Назарбаев и отделение от Казахстана юга (Джамбульской и Шымкентской областей). Ставки этой игры – на развал Узбекистана и Казахстана, то есть фактически на хаос в Центральной Азии.

Объясните мне, зачем нужно менять Кучму на Ющенко, Акаева на какого-нибудь Бакиева, Назарбаева на какого-нибудь Нуркадилова? Разве эти

главы государств не были готовы делать почти все, что потребуют американцы? Тогда почему их убирают?

А убирают их потому, что меняется мировая стратегия США (рис. 4), в которой налицо признаки перехода от строительства «нового мирового порядка» к тем или иным формам «управляемого мирового хаоса».

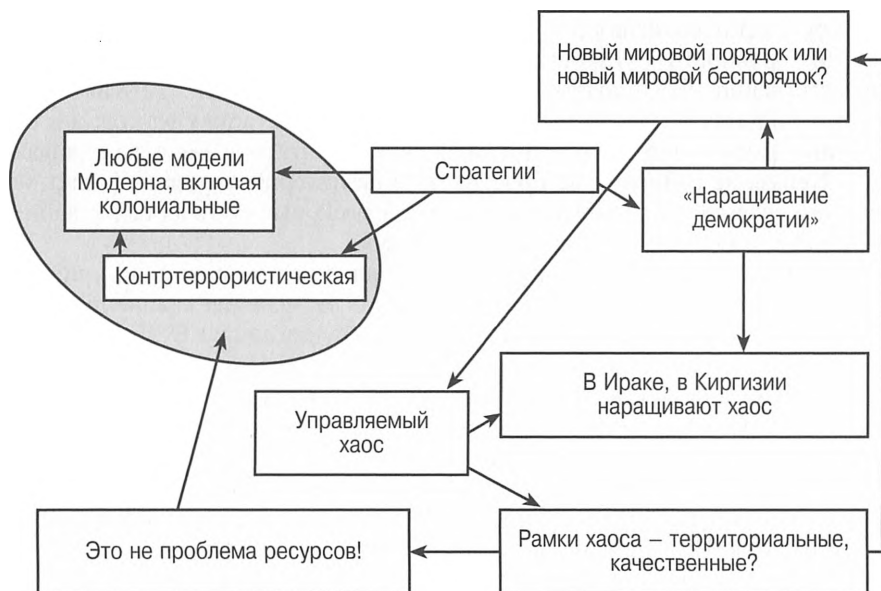


Рис. 4

В это же время Буш говорил о «контртеррористической» стратегии. Что, в принципе, могло выходить на любые модели защиты модерна, включая колониальные.

В 2004 году в России проходила международная конференция по контртерроризму, на которой присутствовал ряд очень статусных, очень близких к высшей власти американцев. Я им сказал: «Если уж вам так необходимо входить в Ирак, то ответьте себе и миру на вопрос: зачем вы в него входите? В чем смысл? Не несите чепухи по поводу того, что вы дарите людям демократию. Это не работает! Скажите хотя бы, что речь пойдет о модернизации, о движении Ирака к современности, о новом плане Маршалла. Но тогда – не надо уничтожать БААС. Уничтожайте конкретных врагов! Подавляйте очаги сопротивления. Смириться с тем, что придется сильно раскурочить иракское общество и получить сильную ответную реакцию. Но если вы не хотите, чтобы эта реакция была сокрушительной и разрушительной, перетяните на свою сторону основной баасистский актив. Это не фундаменталисты, это националисты. Без них вы ничего не сделаете, и ни-

какой модернизации не будет. Если вам нужен модерн, сохраните за собой реальный националистический актив, а это БААС. И вообще – будьте осторожны, идеологически разборчивы. Либералы, которых вы привлечете в обозе, – никто. Реальных сил две – националисты и фундаменталисты. Уничтожив националистов, вы столкнетесь с фундаменталистами».

Что сделали американцы? Они расстреляли или загнали в подполье национальный актив. В итоге шиитская часть населения ушла под радикальный ислам и подчиняется Куму, даже не Тегерану, суннитская часть генерирует такой ужас, по сравнению с которым Бин-Ладен – это профессор Паганель, а курды начинают новую революцию, которая взорвет союзников США в регионе.

Что американцы впустили в регион в результате войны в Ираке? Сломав национальное государство, они впустили туда радикальный исламизм. Против кого всегда боролись «братья-мусульмане»? Против национальных режимов в арабских странах, против мубараков, садатов, насеров и т. п. Кто поддерживал «братьев-мусульман»? Запад, в том числе США, их поддерживал! И те, кто их поддерживали, сейчас и начинают новый тур той же игры.

Значит, американцы вместо модели стабильности приводят в действие модель нестабильности. Они через все свои терминалы влияния запускают в Центральную Азию радикальный исламизм, фактор дестабилизации и хаоса. Зачем? Они готовятся решать свою основную задачу XXI века. У них уже нет задачи войны с исламом; у них есть одна ключевая задача нового века, решение которой они готовят со всей мощью своего государства и своей экономики: война с Китаем.

При этом я знаю, что война с Китаем предполагается в двух возможных формах: либо прямая война, ядерная в том числе, либо создание против Китая мощного и агрессивного исламского поля, халифата. Интеллектуальные операторы демократической партии США, включая Бжезинского, говорят, что нужно стравить с Китаем ислам. Республиканцы, в том числе Киссинджер и Вулфовиц, говорят, что это невозможно, и нужно готовиться к прямой войне.

Но Вулфовиц «нон грата» для ислама и к тому же крупно провалился в Ираке. И потому Киссинджер – прочь, Вулфовиц – вон! Бжезинский – *some here!* Свято место пусто не бывает: если из команды выбиты Вулфовиц и Киссинджер, туда входит Бжезинский. Я не буду развивать и углублять эту расшифровку. Скажу лишь, что это – публичные представители двух субъектов, беспощадно борющихся друг с другом в лоне самой западной цивилизации. И их не надо отождествлять с республиканской и демократической партиями.

У этих субъектов есть уже вполне отчетливые миропроектные представления и соответствующие идеологии. И сейчас президент США переходит на новую идеологию.

Когда Буш говорит уже не о контртеррористической деятельности, а о «наращивании демократии», это что такое? Неужели Буш и Чейни такие ос-

лы, что вправду считают, будто можно нарастить демократию в Киргизии? Причем после того, как они уже «нарастили демократию» в Ираке? Во всех странах третьего мира «наращивание демократии» – это синоним хаоса и радикализации! Это уже понятно всем, других прочтений нет. Разве американцы этого не понимают? Понимают. То есть, когда они говорят о демократии в странах третьего мира, они имеют в виду хаос. «Мы говорим Ленин, подразумеваем – партия». Мы говорим «демократия», подразумеваем – «хаос».

Хаос – чей, где и откуда?

Что нам остается предположить? Что вместо «контртеррористической» стратегемы, которая была, в принципе, способна выводить на модерн и национальные государства, на вооружение берется стратегема «наращивания демократии», то есть хаоса. При этом подчеркну, во избежание упрощенного понимания, что управляемый хаос – это не ресурсная проблема, хотя и она очень важна. Например, очень важно, как в регионе будет распределена и куда потечет нефть. Но еще важнее – как будут распределены и куда потекут наркотики. Причем эти две «важности» очень трудно, почти невозможно, совместить: наркотики требуют хаоса, нефть – порядка. А отсюда следует, что очень важны совокупные рамки создаваемого хаоса. Рамки территориальные, и рамки качественные, то есть ответ на вопрос: на что и «откуда» готовы пойти американцы, создавая этот хаос?

Где им нужен хаос? Уже понятно, что им нужен хаос в Ираке и в Центральной Азии. А нужен ли им хаос на Кавказе? Нужен ли им хаос по всей России? Это очень серьезный вопрос. Если говорить не декларативно-патриотически (этим гадам всюду нужно все самое плохое), а содержательно, то территориальные границы этого «зоопарка хаоса» и мера самого хаоса, которую США могут себе позволить, – это сложнейшие стратегические и операциональные вопросы. Это сложнейшие вопросы, в том числе и потому, что в данную игру включились вовсе не только одни США.

Я уже сказал, что в силу артистической впечатлительности у меня бывают странные аналитические сны. И никто не должен рвать на себе волосы, если в одном из таких снов я увидел, что аль-Завахири, весьма существенная для радикального ислама фигура, почему-то пребывает где-то на западе Китая.

Китайцы умнее своих нынешних западных противников. И если это так (а я уверен, что это так), они никогда не будут пробрасываться позициями в радикальном исламе, тем более что этот ислам им хотят воткнуть как нож в спину. Такая позиция была бы совершенно верной. Я считаю, что китайцы достаточно умны, чтобы поступать верно. И наверняка они уже перетянули на себя большую часть радикальной исламской агентуры, которую после 11 сентября 2001 г. начали «прессовать» американцы. И с Саудовской Аравией китайцы будут договариваться напрямую, здесь США окажутся «третьим лишним». То есть борьба вокруг исламских «терминалов хаоса» только началась.

По моим представлениям, сами американцы ничего не умеют делать с хаосом. Работать с хаосом хорошо умеют англичане и китайцы. А кто будет работать активнее и успешнее – это открытый вопрос.

Несомненно одно: американская военная и политическая машина уже не входит в создаваемый хаос, как нож в масло. Она начала ощущать растущее сопротивление другой стороны. Пока что это сопротивление мягкое, соперник не хочет действовать в лоб, напрямую. Но сопротивление началось. И его уровень и исход зависят не от нас.

Еще раз повторю то, что говорил уже не раз. Пока у США были три врага – ислам, Европа и Китай, мы могли жить относительно спокойно. А когда у американцев ислам становится главным агентом создания хаоса, с Европой они готовы как-то мириться, а с Китаем намерены воевать, то что будет с Россией?

Будет ли это Россия, которую хотят взять в реальные союзники и «заточить» на Китай? А это можно хоть как-то совместить с «Русским порно» и другими тенденциями, которые я описал выше? Ясно, что нельзя. Значит, вполне вероятен выбор американцами такой стратегии, в рамках которой Россию надо «зачистить» полностью, бросив в нее радикальную исламистскую массу, а потом стравливать такую «новую Россию» с Китаем.

Но кто сказал, что радикальный ислам начнет воевать с Китаем? А если на втором шаге такой игры радикальный ислам начнет строить партнерские отношения с Китаем, где окажутся американцы? Тот день, когда радикальные исламисты договорятся с Китаем, будет для США «началом конца».

И потому я уверен, что, отдавая Евразию на разграбление радикальным исламистским ордам, Америка подписывает себе смертный приговор. Буш, может быть, думает, что такая стратегия гениальна, но Бжезинский, я убежден, знает, что он делает. Я давно считаю, что он очень сложный агент. Отдавая радикальному исламу Евразию и сталкивая ее с Китаем, он понимает, что однажды наступит день, когда китайцы с такой Евразией договорятся.

Что дальше? Европа уже изрядно исламизирована, и что тогда будет с Евразией? Далее, адресуясь к известной максиме геополитики «кто владеет Евразией, владеет миром», зададим следующий вопрос: что будет с Америкой? Америка – неустойчивая сверхдержава, у которой экономический и социальный базис в огромной степени зависит от надстройки: военной и политической мощи.

Не верьте, когда вам говорят, что доллар вот-вот рухнет. Пока американская надстройка держится, доллар не рухнет. Но в первый же день, когда треснет американская военно-политическая надстройка, рухнет не только доллар. Возникнет действительно мировой хаос, потому что слишком многое в мире завязано на сверхдержавные потенциалы США.

Однако в тот момент, когда это, не дай Бог, произойдет, нас, России, уже не будет.

Есть у нас и такие принципиальные ненавистники США, которые гово-

рят: «Ну, России не будет, но зато Америка грохнетя...» Что для меня означает это «зато»? Я веду свой международный диалог на понятных основаниях. Мне, России, это «зато» крайне невыгодно, и многим другим в мире, и любому нормальному человеку в США это тоже невыгодно. Вот площадка для диалога.

Но внутри рассмотренного сценария с переходом к стратегеме хаоса неизбежно возникает вопрос о развертывании перед нами неких «экзоидеологий» – и «эзоидеологий». Или, иными словами, есть у хозяев, у мировых субъектов внешние смысловые оболочки, «идеологии навывнос», – и «идеологии для внутреннего потребления». «Наращивание демократии» – это экзоидеология, внешняя оболочка. Что внутри, за ней? Эзоидеология «управляемый хаос». Контртеррор – это другая внешняя оболочка. Что за ней? Эзоидеология «мировой держиморда». Вроде бы, и то и другое плохо. Но разница есть. И она заключается в том, что из «мирового держиморды» есть шанс перейти на защиту и развитие модерна, а из «управляемого хаоса» – нельзя.

И, как я уже давно говорю, модерну противостоят постмодерн и контрмодерн, и они сейчас будут между собой объединяться. Глобализация – это объединение постмодерна с контрмодерном и архаикой*.

То есть, как я вижу по множеству событий последнего времени, в администрации США происходит явный переход от экзоидеологии «контртеррора» к экзоидеологии «наращивания демократии». А это совсем другая стратегема, стратегема хаоса, от этого меняется буквально все!

И кто в этой ситуации Путин? Человек, который за этими фундаментальными изменениями просто не успевает следить. Путин ведь сейчас по-прежнему всюду говорит о контртерроре, о наращивании борьбы с терроризмом. Он, похоже, не замечает, что там, откуда сегодня исходит главный «цык», об этом практически перестают говорить. Оттуда-то теперь несут другое: «светоч демократии». Несут к нему в кремлевские покои вместе с ятаганом, которым полагается головы резать. А Путин не понимает, что это как раз и называется «наращивание демократии».

«Наращивание демократии» в России будет состоять в том, что у здешней «банановой революции» вдруг окажется радикально-исламистское ядро.

Клановая война и конкуренция «чиков»

Обратим внимание на так называемое «покушение на Чубайса». Даже мой водитель удивленно спрашивал: «Сергей Ервандович, я там ехал, все деревья повалены рядом в лесу, а Чубайс уцелел. Больше килограмма тротила – и без оболочки! И стрельба из обычного автомата по бронированной машине. Кого же хотели грохнуть?»

Да никого не хотели грохнуть! Этот килограмм тротила был не просто

* См.: Кургинян С. Логика политического кризиса в России // NB. № 12.

без оболочки, а специально уложен так, чтобы взрывная волна шла в другую сторону. Но ряд элементов акции исполнили вполне профессионально. А такое соединение профессионального и непрофессионального делается только в одном случае. Когда этой акцией говорят: «Мальчик, в следующий раз мы сработаем всерьез. Видишь, куда мы сейчас килограмм тротила направили? На лес. А в следующий раз мы направим куда надо, и не без оболочки, а фугас».

ГРУшник этот арестованный, Квачков, – это что такое? Он, конечно, ГРУшник, и вполне квалифицированный. Но разве квалифицированный ГРУшник поедет на такое дело на своей машине? До этого бандит средней руки не додумается! Значит, его машину кого-то из родственников уговорили в нужное место в нужный момент доставить, придумали повод. Далее, говорят, что он сосед Чубайса по даче. Он такой же сосед, как я. Если дома на расстоянии чуть не 10 километров – это соседство, тогда и я в радиусе 10 километров очень много кому сосед...

А смысл этого странного «покушения», видимо, в том, что какие-то силы лезли в РАО ЕЭС и были связаны с кремлевской группировкой, более ориентирующейся на ГРУ. А другая группировка на «птичьем языке» сказала: «Мы сейчас возьмем вашего, он наговорит все, что мы захотим, и нити от него пойдут очень далеко, куда угодно. Так что вы не лезьте к нам, в наши бабки».

Если я прав, то что это значит? Это значит резкое усиление грызни между ФСБ и ГРУ, между двумя главными совокупными персонажами российской политической сцены, наиболее близкими к Путину. На новом этапе их «разборка» приобретает уже кроваво-денежный характер. Но это – управляемый конфликт, который нужен для того, чтобы столкнуть людей друг с другом и «решить вопрос». И когда меня спрашивают, кто так устроил покушение на Чубайса, отвечаю: профессионалы, которые частично имитировали непрофессионализм, конкуренты той группы, что сейчас пытается «влезть» в РАО ЕЭС. И когда Чубайс говорит: «Я знаю, кто это», – он знает точно, потому что у него логика абсолютно такая же, как у меня, он не дурак.

Итак, что это событие означает в его политическом эквиваленте? Борьбу наших группировок. А что такое наши группировки? Это группировки, привязанные к «их» группировкам. В этом смысле у нас нет своих группировок: поскольку у нас только чикают, но «цык» – чужой. То есть, в политическом смысле, – столкнулись два чужих «цыка».

Еще один пример.

Как реагируют многие наши патриоты на слова Горбачева в адрес нынешнего президента США о том, что Буш-младший – преемник своего отца? Они говорят, что Горбачев – американский агент.

Но если Горбачев – американский агент, то Америка вела себя как последняя дура, когда разваливала СССР. Если всевластный Горбачев был американским агентом, то США должны были всячески укреплять его

власть. Горбачев мог расставлять сотни агентов на любые посты, мог превратить ЦК КПСС и КГБ в полноценный американский «чик», и затем вести корабль СССР именно туда, куда укажет «цык» США.

Но в действительности ведь происходило совсем другое! Говорю вам то, что знаю стопроцентно: за объединение Германии Тэтчер ненавидит Горбачева как предателя; но и Буш-старший буквально «обалдел» от этого объединения! Буш его не хотел! Конечно, когда Германия объединилась, Тэтчер и Буш публично это поддержали. Но внутренне они этого очень не хотели. А объединение состоялось.

О чем тогда идет речь? О том, что Горбачев был интегрирован в другой проект, альтернативный американскому! И тогда были произнесены слова: «Он нас "кинул" с Колсм». Но это же не «кинуть на бабки» партнера-коммерсанта где-нибудь в Саратове, это другой масштаб процесса, это миропроектная борьба!

А что сейчас политически говорит Буш? Что сначала он хотел быть чуть-чуть другим, чем его папа, а теперь будет таким-то и таким-то? Он миропроектную присягу заново принимает! Он – в Европе, рядом с Братиславой, в Майнце, – стратегически переопределяется! Там идет «перезагрузка миропроектных матриц»!

Заключение.

«Перезагрузка матриц»: что делать?

Конечно, внутри этих матриц сохраняется какая-то стратегическая ответственность. Но матрицы, несомненно, перезагружаются. А российская элита этого, похоже, вообще не понимает.

И до тех пор пока внутри этой элиты не возникнут очаги политически властной мысли, то есть «цыка», пока эти люди не будут хотя бы успевать за событиями – до этого момента провалы будут воспроизводиться и нарастать и вести страну к крупномасштабной войне. Это неизбежно, потому что в мире перезагружающихся матриц уже невозможно быть «плюросателлитом», уже невозможно двигаться в русле интересов сразу нескольких мировых центров силы и одновременно всех их «накалывать».

Пока не возникнет хотя бы качественного мониторинга меняющейся ситуации, а также ее осмысления и превращения этого осмысления в политическую волю, мы будем ползти к войне. И поэтому на сегодняшний день «цык» и «чик» – это не моя шутка и не пустая метафора, а перцепция – это вовсе не заумь каких-то «академистов». Это тот «хлеб насущный» политики, отсутствие которого завтра обернется большой кровью и хаосом в ядерной стране с гигантским количеством боеприпасов и критически опасных объектов, которые все равно в реальности нельзя проконтролировать.

Или кто-нибудь всерьез надеется, что где-нибудь посреди русской зимы эти боеприпасы и объекты будет охранять от набегов исламистских и других банд контингент из 1000 американцев, дрожа от холода и участь корруп-

ции и алкоголизму с неслыханной быстротой? Их что, наши ребята не научат, как брать рубли и баксы «налом» и жрать водку? Увы, научат, научат в два счета.

Поэтому пафос моих предупреждений имеет несколько разных ракурсов и адресатов.

Первое. Я хочу по-доброму предупредить разумных людей в Соединенных Штатах и в других местах, что обозначившаяся смена стратегии США означает «шаг к концу». Хотят они того или нет, но стратегически сильная Россия – это безальтернативная аксиома устойчивого существования США. Речь не о российском патриотизме, просто так устроен мир.

Второе. Хочу предупредить, что все нынешние «игры с обострениями» в российской властной элите в условиях, когда разные центры сил подталкивают людей в разные стороны и когда им все время кажется, что «чиком» можно заменить «цык», – приведут к бойне. Им нужно понять, что альтернативы «цыку» нет и не может быть.

И третье. Хочу подчеркнуть, что анализ событий и фактов не может быть оторван от понимания главных миропроектных трансформаций, определяющих сегодняшнее и завтрашнее «лицо» меняющегося мира.

А суть этих трансформаций – скорее всего, примерно та, о которой я здесь говорил. Каждый из вас может их осмысливать по-своему, но поверьте: они не сводятся ни к борьбе за материальные ресурсы, ни к триумфу одного из мироустроительных начал. Процесс гораздо сложнее, и главное в нем – нынешнее изменение фундаментальных мироустроительных стратегем. Нам это изменение стратегем страшно невыгодно, но оно невыгодно и многим другим. И все, кто не хочет этого изменения стратегем, на определенном этапе могут договориться между собой. Могут договориться, если они понимают, что происходит.

Но понимать это они могут, только если перейдут от «чика» к «цыку». И, к сожалению, эта проблема существует не только у нас. Чем быстрее мы ее решим, тем скорее ситуация – и у нас в России, и в мире – хотя бы нормализуется.





БЕС ПОПУТАЛ

Я врал самозабвенно, не понимая причину своего вранья. Врал, как врут в раннем детстве, смешивая фантазию, желания и действительность в единое целое. Врал и надеялся, что вот сейчас закончу, и Виктор Платонович Некрасов печально улыбнется и скажет: «Лихо придумал, но только не верю». Но он поверил. Поверил сразу и безоговорочно.

— Керженцев, Фарбер, Валега, — повторил он вслед за мной, словно ожидая, что они сейчас подойдут, а затем буднично спросил: «А пить-то где будем?»

— Давайте я мигом позвоню, тут рядом, у Колонного зала, есть один гостеприимный дом, они поздно ложатся, авось примут.

— Время для гостей несколько поздноватое. Первый час ночи пошел.

— Да вы там были. Помните, после демонстрации 5 декабря на Пушкинской площади мы большой компанией к ним ввалились. Они рады вам будут.

И, поставив у ног Виктора Платоновича сумку с диковинно добытой мной бутылкой 0,75 литра «Будафока», венгерского бренди, отправился в угол вестибюля метро «Охотный ряд» к телефонам-автоматам, чтобы оповестить о нашем визите. Квартира была коммунальная, и лучше было не беспокоить звонком в дверь в столь поздний час соседей. Получив добро, мы скорым шагом, точно опаздывая, двинулись в полуночные гости.

Встреча наша, как говорится в сказках, произошла неожиданно-негаданно. Я возвращался одним из последних поездов метрополитена домой — в сторону Сокольников — с посиделок в теплой компании, а Виктор Платонович встречным поездом поспешал на ночлег к кому-то из своих многочисленных московских друзей — видимо, тоже не из библиотеки. Наверно, поэтому мы, вместо того чтобы мирно подремывать в уголке пустого вагона,

торчали у дверей, и когда наши поезда остановились с противоположных сторон платформы, да еще дверь напротив двери, то неведомая сила, явно не физической природы, потянула нас друг к другу. Разговор был короткий. Обошлись без приветствий.

– Сколько у тебя? – спросил Виктор Платонович.

– Два рубля пятнадцать копеек, – отпартовал я, не задумываясь. Перед выходом из гостей в надежде, что, может быть, хватит на такси, я пересчитал свою наличность.

– И у меня два.

Мы помолчали минуту.

– Давайте я все-таки попробую.

И мы понуро пошли к выходу из метро. А там неподалеку гостиница «Москва», возле которой была большая стоянка такси. И ему, и мне было хорошо известно, что водка ночью у таксистов стоит пять рублей. Впрочем, чем черт не шутит, пока Бог спит.

Взяв у Виктора Платоновича два помятых рубля, я отправился добывать водку. Негоже весьма известному человеку, хлебнувшему и войну, и славу, и гнусную напраслину, да и к тому же на тридцать лет старше меня, уговаривать таксиста взять в залог паспорт вместо 85 недостающих копеек и клятвенно уверять, что завтра в любое время должок плюс чаевые за услугу будет отдан.

Но черт решил в эту ночь пошутить. Первый же таксист, у которого я спросил, нет ли чего выпить, посмотрев на меня, как на инопланетянина, обстоятельно объяснил, что он уже три года ни капли, зашил. Но какое-то пьяное чучело забыло на заднем сиденье бутылку, и если это то, что мне нужно, то он, конечно не безвозмездно, может мне ее отдать. На сиденье лежала завернутая в полупрозрачную бумагу бутылка «Будафока». Я чертыхнулся – «Будафок» стоил в магазине шесть рублей. Таксист истолковал мое раздражение по-своему.

– Не любишь коричневую? Я тоже когда-то не любил. Клопами пахнет, но напор сорок градусов. Берешь? Не берешь? Охота пуще неволи.

Я замялся, пытаюсь прикинуть, во что мне обойдется этот далеко не божественный напиток. Таксист, мужик лет сорока, выдавший виды, улыбнувшись, спросил: «Что, деньги подсчитываешь? Я барыгой никогда не был. Кто войну из окопа видел, тот за копейку не удавится. Сколько у тебя есть?»

– Четыре рубля 15 копеек, – честно отпартовал я. – Но завтра...

– Не надо никаких завтра. Давай сделаем так. Будем считать, что я нашел клад и сдал тебе как представителю нашего непутевого государства, а ты мне, соответственно, – вознаграждение. Бери бутылку, только не свисти, и давай свои четыре рубля. Пятнадцать копеек на развод оставь.

Меня так и подмывало рассказать этому доброхоту, что его «клад» будет распит незамедлительно со знаменитым окопником, автором повести «В окопах Сталинграда», получившим за нее Сталинскую премию второй

степени. Но было понятно, что первой фразой в ответ будет недоуменный вопрос: «Неужели у лауреата Сталинской премии нет денег на бутылку?» Не заводите же мне с ним, как минимум, получасовую беседу и объяснять, что Сталинскую премию отдал Виктор Платонович на коляски для инвалидов. Миллионные тиражи давно в прошлом, а после известного заявления генсека Н. С. Хрущева, на встрече с представителями творческой интеллигенции блеснувшего познаниями, полученными им в церковно-приходской школе, что, дескать, «не тот этот Некрасов», да и вообще «турист с тросточкой» – аналог расхожего трамвайного хамства, – писателя печатать практически перестали.

Слышал я от Петра Якира рассказ, как Хрущев за рюмкой водки, будучи в опале, практически под домашним арестом на даче, каялся в «литературных грехах». Вчинял он себе иск за историю с Нобелевской премией Бориса Пастернака и горевал, что не дал Ленинскую премию Солженицыну. «Вот бы они сейчас попрыгали», – говорил он со злобой про своих бывших подельников по политбюро, травивших в это время Александра Исаевича. В вельможном хамстве не каялся, вероятно, считая его одним из завоеваний революции, весьма уместном в устах гегемона, а уж тем более номенклатурищика.

Пришлось бы еще упомянуть о выступлении Виктора Платоновича на стихийном митинге по случаю 25-летия расстрела евреев в Бабьем Яру, про демонстрацию на Пушкинской площади, где собравшиеся, сняв шапки, пятиминутным молчанием почтили память Конституции СССР, давно ставшей полузабытым проектом о намерениях, и про многое другое. Говорить, что все мы под колпаком стукачей-добровольцев, и т. д. и т. п.

Сам он все это знал, так как не с Луны со своим такси свалился. Наверно, интереснее ему было бы, в знак благодарности, услышать байку про встречу Сталина с Некрасовым, когда вожь всех народов и времен собственноручно включил его в список лауреатов*. Водки выпито было немалое, гласила байка. И сказал тогда Сталин: «Болит у меня задница, все ее лижут, совсем гладкая стала. А ты не лизоблюд».

Случай беспрецедентный в русской словесности, ибо, если в XIX веке Салтыков-Щедрин иронизировал, что «многие склонны путать понятия "Отечество" и "Ваше превосходительство"», то Софья Власьевна, то бишь Советская власть, поставила жирный знак равенства между этими понятиями и зорко следила за вольнодумцами, которые понятие отечества пытались толковать по-своему.

Сверкнули пунктиром эти мысли в голове, но неуместен был этот разговор, да и время поджимало. Захлебываясь от выпавшей мне удачи, бросился я со всех ног к входу в метро, где, покуривая, поджидал меня Вик-

* Через много лет я узнал, что это вовсе не байка. Описал эту встречу Виктор Платонович, будучи в добровольно-принудительной эмиграции.

тор Платонович, и за несколько метров выпалил: «Достал... бренди... 0,75». И вот тут меня понесло. Не дожидаясь закономерного вопроса: «Как же тебе удалось за четыре рубля?...» – я начал врать. Врать, как врут в раннем детстве, смешивая фантазию, желания и действительность в единое целое. Врал и надеялся, что вот сейчас закончу, и Виктор Платонович Некрасов печально улыбнется и скажет: «Лихо придумал, но только не верю».

– Первый же таксист, к которому я подошел, солидный товарищ, прочел мне нотацию: «И с чего вы, молодежь, пьете? – говорит. – Мы на фронте начинали, кто со страху, а кто для куража, но тоже со страху, а вам-то чего не живется? Хлеб есть, колбаса есть, в кино хоть каждый день ходи, а лень – смотри лабуду по ящику». Я ему говорю, знакомого встретил. Видимся редко. Отметить бы надо. Да вы, может, про него слышали. Виктор Некрасов, «В окопах Сталинграда» написал. «Не только слышал, но и книжку читал, и кино смотрел. Правильная вещь. Все как было. У меня тут бутылка завалилась. Сам я завязал, но с вами, так сказать, мысленно выпью и в долю войду. Давай, сколько у тебя есть. Для такого человека не жалко. И пусть поклон однополчанам передаст, если живы». Так, что передавайте привет Керженцеву, Фарберу, Валеге и другим, – пошутил я.

– Керженцев, Фарбер, Валега, – повторил он вслед за мной, словно ожидая, что они сейчас подойдут, а затем буднично спросил: «А пить-то где будем?»

Шли молча. Впереди была вся ночь. Предостаточно времени, чтобы наговориться.

Я твердил про себя свое вранье, понимая, что, оправдываясь за столь поздний визит, придется рассказывать о случайной встрече и повторить легенду про покупку бутылки.

Несколько десятилетий я никому не рассказывал об этой истории. Может быть, наличие маленькой тайны, связывающей меня с этим замечательным человеком и замечательным писателем, тешило мое самолюбие, а серьезнее – я неоднократно задавал себе вопрос: действительно ли поверил Виктор Платонович моей байке или вежливо промолчал.

Лет пять-шесть назад мой близкий приятель, чокаясь, молвил:

– Вика* был прав на сто процентов, водку надо пить только вдвоем.

И тогда я впервые рассказал ему эту историю, сказав, что до сих пор меня гложет сомнение, что Вика впрямь поверил в ее правдивость. Помолчав пару минут, приятель хмыкнул и изрек: «Помнишь, как, прочитав его "Записки зеваки", ты всем морочил голову, доказывая, что эта книга – образец, к тому же единственный, счастливой прозы в русской литературе, где все страдают и требуют жалости и сочувствия. Так вот, счастливую, по твоей терминологии, прозу в состоянии писать только дети или те, кто пронес в себе детство до седых волос и далее, а дети всегда верят сказкам».

* Так звали Некрасова среди своих.

ИСТОРИЯ СО СЧАСТЛИВЫМ КОНЦОМ

В закрытой до 2009 года части архива известного советского поэта, литератора и общественного деятеля Константина Михайловича Симонова (1915–1976), вполне вероятно, сохранилось письмо, написанное им, фигурально выражаясь, самому себе. Естественно, что подпись под письмом не К. М. Симонов, а другая. Знатоки творчества Симонова смело могут утверждать, что это не его стиль, не то построение фразы и т. д., но каким должно быть содержание письма, Константин Михайлович изложил мне и моей бывшей жене июньским днем 1970 года на своей даче в Пахре. Попали мы туда по протекции тестя, когда-то работавшего с Симоновым то ли в газете «Красная звезда», то ли в каком-то толстом московском литературном журнале. Причиной визита было задержание у здания Мосгорсуда во время процесса по делу Натальи Горбаневской, а затем и арест нашего доброго приятеля Володи Тельникова. Плохие новости – аресты, обыски, вызовы на допрос – распространялись по диссидентской Москве со скоростью набора телефонного номера. Эта не стала исключением. Исключительность ее заключалась в другом. Впервые на моей памяти кто-то был арестован за вполне естественный интерес к судебному делу над близким или знакомым человеком. Нет, конечно, такого рода «любопытность» бесследно не проходила. В лучшем случае, к списку прегрешений в досье о неблагонадежности добавлялся очередной абзац, в худшем – увольнение с работы или какая-нибудь другая пакость.

Попасть в зал суда практически было невозможно.

– Мест нет, – вежливо, но категорично заявляли стоящие у дверей молодцы.

Кто были эти любители судебных процессов над диссидентами, заполнявшие до отказа залы, рассчитанные на несколько десятков человек? Платили ли им повременно за ломоту скул, сведенных от скуки, на этих спектаклях – пародиях судебных разбирательств? Когда же они дружной толпой вылетали, словно школьники, насилу дотерпевшие до конца уроков, из зала заседания, расспрашивать их о чем-либо было бессмысленно. И вовсе не потому, что их обязывали свято хранить тайны так называемых «открытых» процессов, а просто из-за полной неосведомленности, словно судебное заседание протекало на китайском языке. Скорее всего, это были стукачи «учрежденческого масштаба», в чьи обязанности входило сообщать куратору из КГБ о политической благонадежности своих сослуживцев. Выписывали им местные командировки и давали в награду за тяжкий труд день отгула – а может, и два. Коллеги по работе обычно догадывались об их второй специальности, но относились к этому спокойно, хотя и с некоторой досадой, как относятся к неприятным погодным явлениям типа града или заморозков. Климат в стране такой, не благоприятствующий сельскому хозяйству и благосостоянию. Что поделаешь?

Кучковавшиеся возле суда люди – родственники, друзья подсудимых, знакомые тех и других – коротали время в беседах, ожидая выхода адвокатов или кого-то из ближайших родственников, пропущенных после дли-

тельных уговоров и просьб по «высочайшему дозволению». Для некоторых приход к зданию суда, перефразируя Чехова, был каплей выведенного страха перед паучьей системой гебухи.

Володя Тельников попал в их сети еще в 57 году, девятнадцати лет от роду. «Секретный доклад» о култе личности Сталина Н. С. Хрущева, который, тем не менее, знало все взрослое население страны. Марксистский кружок «Союз революционного ленинизма». Идеи построения подлинного социализма. Симпатии к брожениям в Польше, как говорили тогда, «самом веселом бараке соцлагеря», где генеральный секретарь ЦК Польской рабочей партии, по прозвищу «маленький Сталин», Владислав Гомулка ликвидирует большинство колхозов, прекращает преследование римско-католической церкви и смягчает цензуру. Листовки против подавления восстания в Венгрии. Вся та же самовозрождающаяся в разных ипостасях идея – осчастливить народ.

Поэтому и принимаю я за чистую монету рассказ о том, что, когда Тельников прибыл в зону строгого режима отбывать свой шестилетний срок и надзиратели выстроили этапников для определения, кого на какую работу направить, то на вопрос: «Профессия?» Володя гордо ответил: «Профессиональный революционер».

Познакомился я с ним после его отсидки от звонка до звонка. Был он достаточно замкнут и воспоминаниям предаваться не любил. Знал – опять же не от него, а от его друга Володи Гершуни*, что во Владимирской тюрьме сидел он по иронии судьбы, а может, из-за специфического юмора следователей в той же камере, где «перевоспитывался» Гомулка, придумавший идею «польского пути к социализму». Постоянно ругался с надзирателями. Однажды вертухай не выдержал и сказал: «У меня сам Гомулка таскал парашу! А ты кто такой?!» У каждого своя гордость. Заставить генерального секретаря выносить парашу дано не каждому.

Небольшой штрих. Анекдот тех времен, похожий на отрывок из летописи. Трое в камере. Один спрашивает другого:

– Ты за что сидишь?

– Я был против Гомулки. А ты?

– Я был за Гомулку.

Вопросительно смотрят на третьего. Он (смуценно): «А я Гомулка».

* Гершуни Владимир Львович (1930–1994). Потомок руководителя боевой организации эсеров Г. А. Гершуни (1870–1908). Студентом был арестован за участие в молодежной антисталинской группе. Осужден Особым совещанием по ст. 58 УК РСФСР на 10 лет лагерей. Срок отбывал в Степлаге, где познакомился с А. Солженицыным (в дальнейшем помогал ему в работе над «Архипелагом ГУЛАГ»). Арестован вновь в 1970 (ст. 190–1 УК РСФСР). Направлен на принудительное лечение в Орловскую спецпсихбольницу. В третий раз арестован в 1982 году по той же статье и вновь направлен в спецпсихбольницу. Автор многочисленных палиндромов. Некоторые из них врезались в мою память, видимо, навсегда:

Умыло Колыму алым. Омыла Воркуту кровью.

Вынес Тельников из лагеря хорошее знание английского языка, чем и кормился, переводя для разных журналов рассказы Айзека Азимова, Курта Воннегута и др. С «перевоспитанием» дело обстояло также отлично. Как писал в рифму мой школьный соученик: «Жизнь выбила иллюзии прямым ударом в челюсть». Стал большим конспиратором и активно участвовал в диссидентской жизни. Женился. Малолетний сын. И вот на тебе – второй арест. К вечеру стали известны кое-какие подробности. Стычка с милиционером. Появилась надежда, что представитель правопорядка переусердствовал.

Идея обратиться за помощью именно к Симонову возникла, когда мне вспомнился забавный рассказ Володи о посещении им Константина Михайловича в Пицунде в связи с переводом повести-притчи Уильяма Голдинга, тогда еще не лауреата Нобелевской премии, «Повелитель мух». Бестселлер 1954 года не вписывался в рамки советской идеологии, и журнал «Вокруг света», с которым сотрудничал Тельников, надеялся, что положительный отзыв о произведении У. Голдинга секретаря Союза писателей СССР поможет обойти цензурные препоны. Прилетел Володя в Пицунду утром 21 августа 1968 года и нашел Симонова на пляже, когда тот, услышав по транзистору ошибочное сообщение, кажется агентства «Рейтер», о том, что слухи о вторжении войск Варшавского договора в Чехословакию не подтверждаются, закатил веселую пирушку. Только пирушка «за здравие» довольно быстро превратилась в гражданскую панихиду по «социализму с человеческим лицом». В эфире звучал гул десантных советских самолетов и лязганье гусениц танков по улицам Праги. Москва лепетала о братской помощи и угрозах Запада.

В словосочетании «социализм с человеческим лицом» содержится какая-то несуразность. Если социализм – нечто хорошее, то при чем тут человеческое лицо? Если же это дракон, пожирающий людей, то никакое самое прекрасное человеческое лицо не может скрыть его сущность.

Положительный отзыв Симонов написал, но на Володю смотрел косо, хотя и был радушен. Косо не косо, но знаком, да и к тому же свой брат-литератор. Вторая причина обратиться к К. М. Симонову была также веской. По слухам, он был близко знаком с Р. А. Руденко, генеральным прокурором СССР. Скорее всего, это было знакомство со времен войны, с Нюрнбергского процесса по делу главных военных преступников нацистской Германии (1945-46 гг.), на котором Руденко был главным государственным обвинителем от СССР и безуспешно пытался добиться смертного приговора для всех без исключения обвиняемых.

Так или иначе, но в назначенное время мы с женой стучали в калитку дачи Симонова. Он, сам, весьма любезно встретил нас и провел в беседку, где был накрыт чайный стол.

– Я догадываюсь, по какому поводу вы приехали, – сказал Симонов, улыбаясь.

Мы удивленно переглянулись. Я не присутствовал при разговоре моего тестя с Константином Михайловичем, договорившегося о нашем визите,

но прекрасно понимал, что он и словом не упомянул об истинной цели визита. Не телефонный это был разговор по тем временам.

– Вам нужна квартира? – с интонацией прорицателя произнес Симонов. – Я хорошо знаком с Промысловым (председатель исполкома Московского городского Совета депутатов трудящихся тех времен, мэр Москвы по нынешней терминологии. – *А. Ш.*). По моей просьбе он детям фронтового товарища не откажет. Только вы расскажите подробнее о себе, что мне говорить. Заодно и поближе познакомимся.

Сам того не зная, попал Симонов в нашу самую больную точку. Жили мы в коммуналке, если верить легенде, в первом кооперативном доме в Москве, построенном руководителями пресловутой Промпартии в Лялином переулке, где соседствовали с семьей милиционера, имевшего пасынка-алкоголика, и дамой, далеко за семьдесят, из бывших. Собственно, она единственная уцелела после «полной и окончательной победы социализма в одной отдельно взятой стране» в этом доме. Углядев однажды запрещенный в то время «тамиздатовский» роман Пастернака «Доктор Живаго» у нас на тумбочке, взяла, несмотря на все мои экивоки, почитать. Проплакала неделю, а возвращая книгу, предложила хранить все запрещенное в ее комнате: «Не ровен час, придут, заберут». Мой знакомый, отсидевший 17 лет, когда я рассказал ему эту историю, вполне серьезно стал мне доказывать, что соседка осведомитель со стажем. Я рассмеялся. После этого случая она периодически заходила и докладывала, что милиционер опять подслушивал у нас под дверью.

Предложение Симонова было столь неожиданным и соблазнительным, что мы на несколько секунд замялись.

– Видите ли, – наконец, промямлил я, – честно говоря, мы приехали по другому поводу. Квартира – это, конечно, очень соблазнительно, только мы к вам с другой просьбой. Арестовали нашего доброго знакомого Володю Тельникова. Вы с ним знакомы, он пару лет назад брал у вас отзыв на перевод «Повелителя мух»...

– Как вы сказали? Тельников? – перебил меня Симонов. – Да вы хотя бы знаете, за кого вы просите? Он же стукач. Его прислали ко мне в Пицунду в день ввода войск в Чехословакию. Их интересовало мое отношение к этому событию.

Я запнулся, но вовсе не из-за слов Симонова. То, что появление человека из Москвы в такой момент вызвало у него подозрение, мне было прекрасно понятно. Я внезапно сообразил, что не знаю, как к нему обращаться. Дурак, не сообразил спросить, как его величают знакомые. Кирилл Михайлович – по имени, данному родителями, – или Константин Михайлович – по псевдониму, избранному шестикратным лауреатом Сталинской премии самому себе, так как он не выговаривал буквы «р» и «л». Выбрал второе и решил разрядить обстановку шуткой.

– Константин Михайлович, он из другой организации. Организация, в которую входил Тельников, называлась «Союз революционных ленинцев».

Эйфория XX съезда и иллюзии молодости. 6 лет лагерей еще при Хрущеве. От звонка до звонка.

– У него сын совсем маленький, – вставила жена.

– Понятно, но не могли бы рассказать подробнее, что с ним случилось? За что его на этот раз арестовали?

– На мой взгляд, глупость обыкновенная. Володя хотел попасть на слушание дела Наташи Горбаневской, переводчицы и поэтессы. Ее после демонстрации на Красной площади против ввода войск в Чехословакию отпустили, так как она – мать двух маленьких детей. А теперь судили. Признали невменяемой. Дали спецпсихбольницу. В зал суда, как обычно, никого не пустили. Кто-то сказал, что во дворе суда из окон слышно, что происходит в зале. Тельников и еще человек пятнадцать переместились во двор. Стояли и молча слушали. Появился милиционер, разорался и стал грубо всех отгонять от окна. Толкнул девушку, Юлю Вишневскую, так, что она упала. Володя заступился и тоже полетел на землю. В общем, по русской пословице «Заставь дурака...» Вот только лбы он, как правило, другим расшибает. Затем честь мундира. Володю в участок, оттуда в тюрьму. Вишневскую через час тоже арестовали. Я сам не присутствовал, очевидцы рассказали. Люди весьма порядочные.

Симонов выслушал, не перебивая, и мгновенно среагировал.

– И вы хотите, как я догадываюсь, чтобы я поговорил с Руденко? Не так ли?

Говорить что-либо из привычной жвачки вежливых и благодарственных слов было глупо, и мы молча покивали в знак согласия. Константин Михайлович задумался, решая, как ему поступить.

– Так, вы говорите, что ваш приятель женат?

– Да, и ребенок, мальчик, совсем маленький.

– Тогда поступим так. Пусть его жена напишет мне письмо. Примерно такого содержания. «Я очень люблю Ваши стихи. Особенно "Жди меня, и я вернусь" и поэтому обращаюсь к Вам». Далее изложит обстоятельства ареста. Только, пожалуйста, без «Заставь дурака», чести мундира и прочего. При встрече с Романом Андреевичем, я имею в виду Руденко, покажу ему это письмо, пусть разбирается. От себя скажу, что Тельников – молодой, способный переводчик. Что я с ним знаком. – Улыбнувшись, Симонов добавил: «И что он произвел на меня очень приятное впечатление».

Все истории имеют свое завершение. Я, как многие, предпочитаю истории со счастливым концом. Счастливый, по тем временам, конец этой истории был следующий. Примерно через семь недель Володя Тельников был выпущен из тюрьмы. Произошло ли это благодаря хлопотам Константина Симонова или, как иногда случалось, власти решили, что «преступное деяние» потеряло свою социальную опасность. Не знаю. Знаю только, что жена Тельникова написала письмо, но, будучи сама поэтессой и филологом, особой любви к творчеству Симонова не испытывала, а посему конспект письма Симонова самому себе творчески переработала, изменив преамбулу.

ИСТОРИЯ ОДНОГО ДОКУМЕНТА, ИЛИ УТРО НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ

Иногда история появления документа интереснее, чем его содержание. Во всяком случае, это так по отношению к отзыву, написанному Андреем Дмитриевичем Сахаровым. У меня нет никаких гипотез по поводу, каким образом он уцелел после нескольких обысков, когда любые рукописные и машинописные бумаги засовывались в папки со словами «потом разберемся». Описывались в протоколе обыска лишь книги, изданные за рубежом, да печатная машинка, считавшаяся в те времена «самым мощным оружием в руках диссидента». Но это так, к слову.

Я созвонился с А. Д. (так обычно его величали в кругу «диссидентских разночинцев») и попросил написать отзыв на наши совместные с Андреем Твердохлебовым работы, объяснив, что хочу приложить его для весомости к своей просьбе в прокуратуру о предоставлении мне свидания с соавтором. Взял уже отзыв у Михаила Львовича Левина, специалиста по электродинамике, но вообще, сказал я, мало надеюсь на то, что «необходимость продолжения научной работы» произведет какое-либо впечатление на следственные органы. А. Д. согласился написать отзыв, а там «чем черт не шутит».

Андрей Твердохлебов, член сахаровского Комитета по правам человека, сидел в это время в тюрьме КГБ «Лефортово» по традиционной для «инакомыслящих» статье 190–1 УК РСФСР – распространение слухов, порочащих Советскую власть, или в простонародье Софью Власьевну. Андрей Дмитриевич назначил мне день встречи и время, раннее утро, попросил принести журнальные оттиски работ и не опаздывать.

Я опоздал почти на тридцать лет. Конечно, надо было в тот же день записать события того памятного утра.

Однако, следуя немудреной присказке – лучше поздно, чем никогда, – я продолжу свое повествование.

Далее в нем появится черное бобриковое пальто из конца забытых сороковых годов, и, следуя законам жанра, надо дать описание того солнечного утра 22 сентября 1975 года. Конечно, лучше, чем это делает джазовая мелодия «На солнечной стороне улицы», мне не по силам, скажу лишь, что выбеленные солнцем стены домов создавали иллюзию наступления лета, а не осени. День обещал выдать через пару часов градусов 12–15 по Цельсию в тени.

Меня совсем недавно под благовидной причиной – сокращение штатов – выставили из Академии наук СССР, так что я не успел забыть одно из правил «этикета» этой организации: кому нужен отзыв, тот его и пишет. Отзыв я сочинил, еще когда собирался на встречу с М. Л. Левиным, но ему моя заготовка не понадобилась, так как, будучи оппонентом моей кандидатской диссертации, он частично знал эти работы. Отзыв он дал охотно, угостил рюмкой прекрасного французского коньяка и подробно расспросил о делах Андрея.

(Диссертацию я защитил, но она не была утверждена ВАКом [Все-союзная аттестационная комиссия]. Зато я получил вместо диплома

кандидата физико-математических наук справку о том, что являюсь антисоветчиком. Документ уникальный даже по тем временам.)

Признаюсь, я не знал, что расспросы Михаила Львовича не пустое любопытство либерала, украсившего гостиную картинами Б. Г. Биргера, исключенного из КПСС и из Союза художников СССР «за отстаивание формалистских взглядов» в творчестве и письма в защиту Ю. Галанскова и А. Гинзбурга. Спустя годы, прочитав воспоминания В. С. Фрида, я узнал, что Михаил Львович был арестован, когда заканчивал физфак МГУ. Изъятая у него при задержании «Теория возмущений» очень обрадовала чекистов, но оказалась – математическим трудом. Он получил 3 года. Срок отбывал на одной из «шараг». В 45-м освободился по амнистии, был сослан в Бор; потом работал в Тюмени, затем в Москве. Профессор, доктор физико-математических наук. Эрудит и человек многих талантов.

Получение отзыва у А. Д., считал я, займет минут десять–пятнадцать, и планировал свои дальнейшие поездки, уж больно хороша погода. Надо пользоваться. Дверь мне открыл сам А. Д., и по тишине, царившей в его совсем не академической небольшой двухкомнатной квартире, я понял, что он пребывает в одиночестве. Его жена лечила глаза в Италии, что стоило ему многих хлопот, а многочисленные домочадцы – падчерица с мужем и детьми – были, видимо, на даче. Он провел меня в свой кабинет, служивший и спальней. Я достал оттиски работ и сказал, что у меня есть болванка отзыва.

– Сначала надо прочесть, а потом я сам напишу, что считаю нужным, – довольно строго произнес академик. – Садитесь. Вы, Шура, надеюсь, не топчитесь?

Честно говоря, я был весьма удивлен. Мы были знакомы, но такого внимания я не ожидал, однако счел, что арест Андрея был тому причиной. В то время трижды Герой соцтруда, лауреат Сталинских премий, теоретик водородной бомбы хотя и был в опале за то, что, не спросив разрешения у власть имущих, посмел иметь собственную гражданскую позицию, но имел некий иммунитет против КГБ. Особое раздражение властей вызывало то, что А. Д. якшался с людьми, чье место, по их мнению, у параша социализма, а еще лучше – просто у параша. В лихих фельетонах тех времен борзописцы величали их *отщепенцами*.

Как только А. Д. взялся за чтение первого оттиска, раздался звонок в дверь. А. Д. пошел открывать и через минуту появился в сопровождении некой особы, одетой в черное пальто из бобрика поверх теплого домотканого шерстяного платка. Ее наряд был явно не по сезону, а тем более никоим образом не соответствовал наступающему лучезарному дню. Создавалось впечатление, что владелица пальто нашла его на дне бабушкиного, пропахшего нафталином сундука и надела смеха ради. Когда-то, в конце сороковых – начале пятидесятых, такая одежда показывала некую зажиточность. На фоне телогреек, курток и полупальто, называемых в народе полупердаками, перешитых из солдатских шинелей, это была солидная одежда, но в середине семидесятых смотрелась несколько опереточно.

Она выложила на откидную доску секретера, за которым мы расположились, квитанции и хорошо поставленным командным голосом приказала: «Распишитесь три раза». Пока А. Д. протискивался бочком к квитанциям, особа с любопытством разглядывала незатейливую обстановку и убранство жилища академика. Сахаров расписался. Не оборачиваясь, она так же властно приказала: «Поставьте число и время получения». Тщательно проверила, словно хотела убедиться, не поддельная ли подпись, после чего выложила три нераспечатанные телеграммы. А. Д. проводил ее до двери квартиры и, вернувшись, распечатал первую.

– Это от диссидентов, – произнес он и отложил телеграмму на левый край доски в раскрытом виде. «Поздравляю с Нобелевской премией... и подпись – А. Вольпин». Я не помню точного текста, так как был несколько ошарашен. Разговоры о выдвижении Андрея Дмитриевича на Нобелевскую премию мира ходили давно, но о присуждении ее А. Д. Сахарову я не знал и был весьма смущен. Во-первых, не поздравил, мог ведь цветы купить на Курском вокзале, во-вторых, ему сегодня явно не до моей просьбы. Пока я придумывал, как бы выйти из неловкого положения, в которое попал по воле обстоятельств, новоиспеченный лауреат вскрыл вторую телеграмму и, положив ее посередине, произнес: «Это от ученых». Краем глаза я увидел подпись: «Морс», а скорее «Фешбах» – за давностью лет не помню, так как они оба ассоциируются у меня с монографией «Методы теоретической физики», авторами которой и являются. По странной случайности именно ее мы использовали в работах, на которые А. Д. собирался писать отзыв.

А. Д. вскрыл третью телеграмму, прочел и со словами «Это от друзей» отложил вправо в сложенном виде. Я начал бормотать извинения, смешанные с поздравлениями, дескать, понимаю, как я некстати, и так далее.

– Премия премией, а дело – делом, – прервал он меня. – Сейчас я прочту и напишу отзыв.

Но тут вновь раздался звонок в дверь, и вся процедура повторилась, только телеграмм было более десятка. Андрей Дмитриевич аккуратно расписывался, ставил дату и время, а мы с почтальоншей-скачкой – она возвратилась минут через десять, от силы пятнадцать – занимались созерцанием: она рассматривала книжные полки, а я ее ботинки, с высокой шнуровкой, на толстой рифленой подошве. Такие ботинки входили в обмундирование морской пехоты США и, являясь пределом мечты каждого туриста, стоили в Москве немеренные деньги.

А. Д. проводил почтальоншу до двери и занялся сортировкой вновь поступивших телеграмм. Число стопочек увеличилось с трех до пяти, но в смысл более детальной классификации он меня не посвятил. Спросил в некоем раздумье: «Как Вы думаете, Шура, если она опять придет, надо дать ей денег?»

– Право, не знаю. Не помню, когда в последний раз получал телеграмму. Когда-то родители давали 10 копеек. В пятидесятые так было принято. После реформы это рубль, как я понимаю. Странно, что телефон молчит.

– Странно будет, если он вообще еще работает.

Наша прекраснословная беседа была прервана очередным звонком в дверь квартиры.

– У Вас что, Андрей Дмитриевич, по такому случаю почтовое отделение в подъезде открыли? – пошутил я.

– Вы, Шура, когда шли, не заметили у подъезда какую-нибудь машину? – спросил А. Д. и, не дожидаясь ответа, отправился в очередной раз открывать дверь.

«Далекий благовест заутреннего звона» – всплыло в памяти. Какие машины в полдевятого утра?

На этот раз наша почтальонша появилась с толстенной пачкой телеграмм и, усмехнувшись, скомандовала: «Подпись, число, время».

Андрей Дмитриевич покорно, словно провинившийся первоклассник, принялся расписываться. Ему, впрочем, как и мне, было ясно, что на все сегодняшние планы можно махнуть рукой. Искренне сочувствуя академику, занимающемуся мартышкиным трудом, я предложил:

– Андрей Дмитриевич, давайте для убыстрения процесса я Вам помогу расписываться.

Представительницу почтовых властей аж передернуло, но не успела она и рта раскрыть, как А. Д., не переставая выписывать «А. Сахаров, 22.09.75», резко произнес: «Когда Вы, Шура, получите Нобелевскую премию, тогда и будете расписываться».

Факт росписи за поздравительную телеграмму по поводу присуждения премии в моей биографии не состоялся.

Наконец, Андрей Дмитриевич закончил, но, прежде чем отдать стопку квитанций, положил поверх нее трешку, что по тем временам соответствовало примерно дневному заработку почтальона.

– Нет, нет, я не возьму, – взмахнула она руками, – мне за это зарплату платят. Это моя обязанность.

– Ваша обязанность доставить адресату одну, две, скажем, три телеграммы, – настаивал Андрей Дмитриевич, – а не 92 штуки. Это благодарность за перевыполнение служебных обязанностей.

Интересно, мелькнуло у меня, он сосчитал все телеграммы или только последнюю порцию?

Почтальонша взяла квитанции вместе с трешкой и, внезапно вытянувшись словно по команде «смирно», отпортовала: «Желаю Вам счастья и успехов в научной, личной и общественной жизни». Повернулась через левое плечо и строевым шагом промаршировала к двери. Несколько ошеломленный А. Д. проследовал за ней.

Я не буду описывать дальнейшее. Все повторялось еще несколько раз. Принос телеграмм, росписи, сортировка... Где-то во второй половине дня отзыв был все-таки написан. И, что самое странное, свидание с Андреем Твердохлебовым мне, правда, после суда перед его отправкой в ссылку, дали.





биохимик, закончил аспирантуру и защитил диссертацию в лаборатории проф. А. Гурвича (Институт им. Гамалеи АМН СССР), в Израиле работал ст. научным сотрудником в Институте им. Вейцмана (Реховот). Публиковался в журналах «22», «Новое время», «Здравый смысл» и др. Живет в Израиле.

АРОН ЕВСЕЕВИЧ ГУРВИЧ, КАКИМ Я ЕГО ПОМНЮ

13 февраля 1978 года я прибыл в благословенную страну Израиля. Этим актом я оборвал все связи, которые у меня установились за 16 лет работы в Институте Гамалея. Остались одни воспоминания. Среди всех, кого помню, Арон возвышался, как Эверест. Его я вспоминал чаще всех и по сей день вспоминаю очень часто.

Начнём с его основополагающих: **«Как дальше жить – неясно»** и **«Люди не созданы для того, чтобы жить друг с другом»**. Эти чеканные формулировки, которые Арон так любил повторять, были для меня чрезвычайно актуальными именно в первые годы эмиграции, когда пришлось попытаться понять новые коды поведения, совершенно непривычные, особенно для человека, выросшего в Союзе, и как-то приспособиться к этим кодам. Всё было незнакомым, странным и непонятным, и, естественно, не только каждый день, но и каждый час было неясно, как дальше жить. Ну и, конечно, каждый день и час сталкиваешься с новыми незнакомыми людьми и каждый раз убеждаешься в том, что люди не созданы для того, чтобы жить друг с другом.

По моему мнению, после лагеря и войны, эмиграция – самое тяжелое испытание, выпадающее на долю человеку, даже если она зовется репатриацией. Все вновь приехавшие переживают эмиграционный шок, все в напряжении, жизнь – сплошная нервозность, а, как справедливо утверждал Арон, **«все болезни от нервов, только сифилис от большой любви»**. До СПИДа он не дожил. Семейные отношения и в мирное время оставляют желать лучшего, а эмиграция вносит в них свою суровую лепту. Это ещё один повод вспомнить Арона. Когда как-то вечером Игорь Абелев сказал:

«Устал, пойду домой, отдохну», Арон с удивлением прореагировал: **«Разве дома можно отдохнуть?»**

Очень часто я вспоминал и другое его основополагающее правило. Как-то я пришёл в лабораторию в мрачном расположении духа, и Арон спросил: «Что случилось, Жора?» Я ответил: «С женой поругался». Тогда Арон сказал: **«Разве можно ругаться с женой?»** И на мой вопрос: «А что же делать?» – ответил: **«Пассивно обороняться!»** Ну, разве такое можно забыть?

Перейду теперь к другой теме – Арон как учёный. Выражаясь высокопарно, наука – это добывание новых знаний. Это в теории. Однако на практике, особенно на практике советской науки, научная работа в области экспериментальной биологии зачастую ничего общего с поиском нового не имела. Да и на Западе ситуация не столь однозначна. Арон неустанно искал новое. Высшая положительная оценка, которую он давал какой-то идее: **«Этого никто не делал»**. Я с ним постоянно спорил на тему, что важнее в науке – быть первым или быть лучшим. Я считал, что важнее быть лучшим, Арон неизменно – первым. Ирония судьбы. Он приобрел международное имя не потому, что первым предложил иммуносорбент, а потому, что создал лучший иммуносорбент. Приехав в Израиль, я с радостью обнаружил, что ведущие компании по продаже реактивов продают целлюлозу, модифицированную по Гурвичу. Более того, химическое соединение, которое Арон впервые применил для присоединения белков к целлюлозе, было использовано – разумеется, со ссылкой на Гурвича – для присоединения нуклеиновых кислот к бумажным дискам, применяемым для одного из основных методов молекулярной биологии – гибридизации.

Арон был первым, кого заинтриговал факт драматического торможения синтеза антител, и он со свойственной ему настойчивостью и изобретательностью пытался выяснить механизм этого феномена, но без успеха. К сожалению, он опередил своё время. Когда он заинтересовался этой темой, о существовании специальных клеток, тормозящих иммунитет (так называемых Т-супрессоров), ничего еще не было известно, не говоря уже об открытом много позже механизме клеточного самоубийства.

Хочу отметить несколько особых черт его характера, которые оказали существенное влияние на его научную деятельность. Ему очень трудно было сделать выбор из нескольких возможностей. Для того чтобы понять, о чём речь, я сошлюсь на самого Арона. Он рассказывал: «Андрей (его сын. – Г. Д.) ещё более нерешительный, чем я. Когда он, катаясь на лыжах, подходит к месту раздвоения лыжни, он может стоять час, не решаясь повернуть туда или сюда». В работе самого Арона эта черта, однако, играла скорее положительную роль. Он долго колебался в выборе из многих возможностей, тем самым глубоко обдумывая каждую из них. Это, конечно, много лучше, чем бездумная импульсивная решительность. Другая особенность его характера, сказывавшаяся на его работе, – глубочайший пессимизм. Заканчивая ставить опыт, результаты которого можно будет узнать только через 48–72 часа, он любил повторять: «Вот сейчас самое время ра-

доваться, опыт поставлен успешно» – прозрачно намекая на то, что результаты, конечно, будут печальными.

Здесь я плавно перехожу к его стилю руководства аспирантами. Прежде всего, он был очень либеральным руководителем, почти не давил, но был чрезвычайно скуп на похвалу. Когда я существенно упростил разработанный им оригинальный метод количественного определения антител в сыворотке крови и показал ему результат, он сказал: «Это вы, конечно, сделали из-за лени» – и был совершенно прав. Когда же я приходил к нему со своими многочисленными завиральными идеями, он неизменно демонстрировал глубокий пессимизм. Он, естественно, понимал проблему гораздо лучше, чем я, и видел далеко, но видел, главным образом, препятствия, которые не позволяют реализовать предложенное. Я уходил от него огорчённый, расстроенный и обескураженный. Но через несколько дней, при случайной встрече в коридоре, он вдруг спрашивал: «Жора, а вы помните, вы предлагали сделать то-то и то-то, вы это сделали?» Я с возмущением восклицал: «Но вы же сказали, что ничего не получится», – на что он с усмешкой говорил: **«На меня не ссылайтесь»**. Он повторял это часто и в других ситуациях, и я всегда трактовал это как попытку отучить сотрудников ссылаться на авторитеты, а думать самим. Это резко контрастировало со стилем научного руководства других заведений лабораториями и отделами. Не могу удержаться и приведу забавный пример. Мой коллега-аспирант рассказывал о своём научном руководителе, большом учёном, члене-корреспонденте АМН, следующую историю. Когда бы он ни приходил к своему шефу с каким-либо предложением, тот неизменно отвечал: «Нас это не интересует». Тогда аспирант применял другой подход. Он говорил: «А помните, И. И., вы говорили, что нужно сделать то-то и то-то?» И получал неизменный ответ: «Почему же ты не сделал?»

Как уже было сказано, ничего подобного Арону не было свойственно. Более того, я извлек из фразы «На меня не ссылайтесь», по-видимому, правильные уроки – стал обдумывать свои идеи сам, принимал решение делать или не делать тоже сам. По-видимому в связи с этим, Арон принял судьбоносное для меня решение и сказал: «Жора, вы больше не нуждаетесь в руководстве, делайте что хотите, у меня только одна просьба – время от времени рассказывайте мне о своей работе». Однако ещё до этого он сказал мне, чтобы я публиковал статьи только под своим именем, даже если работа была выполнена вместе с ним. Впоследствии он дал мне возможность, числясь у него в штате и получая зарплату, работать в другой лаборатории по теме, не имеющей никакого отношения к основным темам Арона. Я думаю, что это редчайший случай.

Не могу не вспомнить бесценные советы в отношении докладов на конференциях и симпозиумах. Перед моим первым публичным выступлением он настойчиво советовал мне подготовить сообщение «**для идиотов**». Все мои возражения о том, что я собираюсь выступить перед специалистами, он с негодованием отвергал и справедливо отмечал, что никто не хочет на-

прягаться. Ещё один бесценный совет состоял в следующем. Он говорил, что в каждой работе есть слабые места, и в докладе не следует ни в коем случае скрывать это, а, напротив, самому указать на слабости. Этим, говорил он, вы обезоружите потенциальных критиков. С тех пор я неизменно следую его совету и никогда об этом не пожалел. Хочу добавить, что это были не просто полезные советы, извлечённые из житейского опыта, а результат глубокого понимания человеческой природы. Арон не просто усвоил банальную истину о том, что человеку свойственно ошибаться, — я убеждён, что он открыл её для себя сам. Он многократно и в самой разнообразной форме указывал, что исследователь должен принимать во внимание то, что каждый полученный им результат может оказаться ошибочным, и действовать соответственно. Сам он следовал этому своему правилу неукоснительно и, высказывая своё мнение по какому-либо вопросу, говорил: **«Возможно, я ошибаюсь, я в своей жизни часто ошибался».**

Арон был сильным, мужественным и независимым человеком. Советскую власть он ненавидел, но, понимая, что ничего изменить нельзя, пытался, насколько это было возможно, держаться от власти предрержащих подальше. Он был заведующим лабораторией в академическом институте, а одна из важнейших функций зава в советской науке состояла в «выбывании» ставок, дополнительного помещения, импортного оборудования и т. п. Он, по возможности и в ущерб себе, избегал этого. В принципе, его экзистенциальная позиция состояла в «стоическом неучастии». Когда начальство однажды предложило ему заняться разработкой биологического оружия (редкая возможность увеличить штат, получить валюту и т. п., возможность, в которую другие завыв вцеплялись, «как кобель в падлу»), он твёрдо отказался, заявив, что на войну работать не будет. Столкнувшись со столь твёрдой позицией, начальство, привыкшее к всеобщей покорности, даже несколько растерялось и отступилось. Во всяком случае, немедленных оргвыводов не последовало.

Вообще, он был человеком твёрдых принципов, которые, по возможности, не нарушал. К людям, независимо ни от чего, он относился очень уважительно и доброжелательно. Он считал, что критиковать и судить людей нельзя (редчайшее качество для советского человека), он даже советскую власть критиковал косвенно, в духе своего своеобразного чувства юмора. В тот день, когда у него родилась внучка, советские газеты сообщили, что президент Картер стал дедушкой. Через несколько дней Арон пришёл в лабораторию во второй половине дня и объяснил своё отсутствие тем, что он и президент Картер занимались в этот день одним и тем же, а именно: в то утро «давали» детские коляски, и они несколько часов простояли в очереди. Арон, как правило, не критиковал ни стиль советских научных боссов, ни процесс массового производства малограмотных кандидатов наук, ни общий низкий уровень советской биологии. Он только иронизировал иногда. Так, однажды он упрекнул меня в том, что я плохо работаю и в результате публикую в год всего одну статью. **«А вот академик Н. публикует**

новую статью каждые две недели». В другой раз, вернувшись с сессии АМН, посвященной развитию иммунологии в нашей стране, он спросил меня, сколько, по моему мнению, в Союзе иммунологов. Я посчитал на пальцах и сказал – восемь. Арон ехидно улыбнулся и сказал: «Тысяча».

Арон был знаком чуть ли не со всеми биологами Москвы, и мы, его сотрудники, часто спрашивали его мнение о том или другом из них. У него было два стандартных ответа, один положительный – **«знающий»** и другой отрицательный – **«энергичный»**. Никаких подробностей или деталей из него вырвать было невозможно. Я тогда совершенно не задумывался над тем, почему Арон выбрал именно эти слова, **«знающий»** и **«энергичный»**. Много позже, уже в Израиле, я где-то прочёл, что великий человек это тот, кто видит дальше всех и хочет сильнее всех. Руководствуясь этим определением, я довольно быстро сообразил, что чаще встречаются другие комбинации. Есть люди, которые видят достаточно далеко, но с низким уровнем мотивации, амбициозности, честолюбия. Они, как правило, никуда сильно не рвутся и никому дорогу не перебегают. И есть такие, которые видят чуть дальше собственного носа, но их амбициозность достигает уровня наркозависимости. Они готовы родную мать продать ради минимального продвижения по карьерной лестнице. И тогда я подумал, что именно таких деятелей Арон определял словом **«энергичные»**.

Надо добавить к этому, что жизнь в Израиле чуть ли не каждый день разрушала одну за другой те многочисленные иллюзии о жизни на Западе вообще и в Израиле в частности, которые я привез с собой в багаже своего гигантского советского невежества. В частности, начав работать в Институте Вейцмана, я утратил очередную иллюзию, обнаружив, что наряду с талантливыми учёными там работают весьма посредственные научные сотрудники, которые, тем не менее, имеют профессорские звания и занимают высокие административные посты. Одна из таких профессоров, дама приятная буквально во всех отношениях, за глаза определялась как **«блестящий лаборант»**, и не более того. У этих деятелей посредственность, как правило, сочеталась с невероятным апломбом и иногда с высокомерием.

Один из талантливых профессоров и просто умный человек доходчиво разъяснил мне ситуацию. Допустим, сказал он, в комиссию по присуждению профессорских званий поступили документы от ста претендентов, а профессорских позиций только 20. 10 явно плохих будут отброшены сразу. 10 явно хороших будут утверждены немедленно. Останется 80 более или менее одинаковых посредственностей, из которых комиссия должна выбрать 10. И вот здесь, подчеркнул мой поводырь, вступают в силу ненаучные соображения. И побеждают здесь самые пронырливые, самые ловкие, самые **энергичные**. Дальнейшее знакомство с Израилем, в особенности с израильской политической системой, привело меня к убеждению, что в этой сфере энергичные активно вытеснили всех знающих. По-видимому, поэт Борис Слуцкий имел в виду именно энергичных, когда писал: «Люди сметки и люди хватки / победили людей ума / положили на обе лопатки /

наложили сверху дерьма». Это он пророчески об Израиле писал. Отсюда наши израильские неисчислимые беды. Как любит говорить один очень талантливый и мудрый израильский артист: «Поправьте меня, если я прав».

И раз уж я заговорил об Израиле, хочу остановиться на очень важной стороне личности Арона – на его еврействе. В своей знаменитой работе об антисемитах и евреях Сартр разделил евреев на две категории. Он отметил, что больше всего антисемиты ненавидят тех евреев, которые пытаются быть большими французами, чем сами французы, скрывая или маскируя при этом своё еврейство. Такие евреи, заметил Сартр, смотрят на себя глазами антисемитов, рассматривая своё еврейство как нечто постыдное. К тем же евреям, которые не только не скрывают, а демонстрируют своё еврейство любым способом, включая традиционную одежду, французские антисемиты относятся даже с некоторым уважением.

Как мне видится, российские евреи ничем не отличаются от французских. Я не раз слышал такие рассуждения: «Какие мы евреи? Языка не знаем, родной язык – русский, воспитаны на русской культуре и т. п.». (Замечу в скобках: в этих рассуждениях есть хотя бы какая-то логика, а вот высказывания некоторых очень известных евреев, которые я недавно слышал, лишены всякого смысла. Один говорил: «Я русский, в жилах которого течёт еврейская кровь», а другой выразился ещё образнее: «Я русский еврейского разлива». Если эти господа так хотят стать русскими, пусть приедут в Израиль. Тут они моментально станут русскими, а в некоторых случаях им придется даже доказывать, что они евреи, так же как в их прошлой жизни в России им приходилось доказывать, что они не верблюды. Но вернёмся к нашим евреям.) Лучше всех это состояние ущербности и даже комплекса неполноценности описали, как это водится, поэты. Светлов спрашивал: почему они нас так ненавидят, ведь мы уже пьём, как они? А тот же Слуцкий писал: «Не воровавший ни разу, / не торговавший ни разу / ношу в себе как заразу / эту особую расу». **Как заразу!**

Такое отношение к еврейству было Арону абсолютно чуждо, хотя он тоже не знал еврейского языка и был крайне далёк от еврейских традиций. В результате многолетнего тесного общения с этим человеком у меня сложилось следующее мнение о нём. Он был гордый, цельный, совершенно неуязвимый человек, с глубоким чувством человеческого достоинства. Он чувствовал себя в среде русского народа как равный среди равных. Он был самим собой всегда и везде. А быть самим собой для него значило также быть евреем. И он был, как говорят в Израиле, гордым евреем. Он бы мог, перефразируя известное англосаксонское выражение, сказать: «Это мой народ, когда он прав и когда он не прав». Он любил говорить о себе: «**Я – сын Авраама**». Ну, и абсолютно в своём неповторимом стиле любил заявлять: «**Я старый, больной, беспартийный еврей**». Как я уже говорил, Арон ни в коем случае не рассматривал своё еврейство «как заразу». Не впадал он и в противоположный грех, свойственный некоторым евреям, – идеализировать всё еврейское. В своей жизни ему приходилось

сталкиваться с разнообразными евреями, в том числе, к сожалению, и с мошенниками, фабрикующими результаты экспериментов, ворующими чужие идеи и разработки, приспособленцами, стукачами и подонками. Верный своему принципу не судить и не критиковать, он, тем не менее, выражал своё отношение к этим людям в свойственной ему своеобразной метафорической форме.

Но сначала маленький штрих его биографии. Арон был в составе той группы советских войск, которая освободила Освенцим. Он ходил по лагерю и видел то, что можно было увидеть, и представлял себе то, чего уже нельзя было увидеть.

И вот когда я, например, рассказывал ему об очередной мерзости, сотворенной каким-нибудь евреем, этот советский солдат, еврей и один из освободителей Освенцима иногда говорил: «Одну маленькую печечку в Освенциме надо было сохранить!» Я полностью отдаю себе отчёт в том, что эта его фраза вызовет праведный гнев у многих евреев. Но, как говорится, разумному достаточно. А мнением тех евреев, которые в Союзе были пламенными коммунистами и интернационалистами, а в Израиле стали пламенными сионистами и националистами, можно пренебречь.

Арон сказал эту фразу применительно к некоторым российским евреям. Я, прожив 26 лет в Израиле, нередко, к сожалению, просто не могу не вспоминать её, так она актуальна.

Таким был незабвенной памяти российский гражданин, еврей, большой учёный и дорогой человек – Арон Евсеевич Гурвич.



ДАЙДЖЕСТ



автор более 40 книг, переведенных на 15 языков, лауреат литературных премий (израильских и французской), член международного ПЕН-клуба. Живет в Израиле.

ПО ДОРОГЕ ИЗ ГЕЙДЕЛЬБЕРГА*

Кусками желтой халвы мелькнули жернова прессованного сена. Очередной туннель всосал поезд с ухающим воем, раскачал в черной рябой утробе, выплюнул – и по горным склонам, подскакивая, рассыпались черепичными гроздками городки, с неперенной пикой на панцирном шлеме кирхи. Время от времени промахивали заброшенные заводы с осколками солнца в разбитых стеклах – слюдяная парча, за которой угадывалась тьма. Почему в покинутых зданиях, где бы они ни встретились, обязательно разбиты окна?

Мое отражение плавало в солнечном мареве за окном, и деревья, городки и замки проносились сквозь мои отраженные глаза, плывущие по-над Рейном.

Несколько лет спустя от всей этой поездки остался только жемчужный мартовский день в старинном Гейдельберге.

Меня давно обещали свозить туда друзья, супружеская пара, лет пятнадцать живущая в Германии; и в единственный свободный от выступлений день я оказалась у них во Франкфурте, откуда уже до Гейдельберга было рукой подать.

Друзья, задумавшие показать мне товар лицом, все сокрушались, что погода не задалась. А по мне, так задалась весьма! Обитатель библейских скал, обьятых безжалостным светом пустыни, я так люблю эти матовые небеса умеренной Европы...

Да и в ином смысле весь этот день – череда туманных пейзажей, графика голых ветвей и ошеренные пиками елей черные пасти ущелий – выстроился так продуманно и точно, словно некий режиссер долго набрасывал мизансцены на бумаге, переставлял их местами, чиркал что-то, вносил изменения, но,

* Зарубежные записки. 2005. № 4.

подумав, убрал лишнее и, наконец удовлетворенно откинувшись в кресле, велел собрать труппу.

И мы собрались, и после завтрака все же поехали, несмотря на дождь...

В гору, с которой открывался вид на весь Гейдельберг, рассыпанный по берегам реки, взбирались долго, витыми улочками с педантично расставленными на них указателями: «Кёнигштуль» – смешное, школьное, легко переводимое название... Наконец, выкрутили на лесистую макушку, частью заасфальтированную под стоянку.

Для ослабевших от восторга туристов здесь был построен ресторан, к дверям которого по рельсам, проложенным от подножия горы чуть ли не вертикально, тяжело и долго вползала старинная вагонетка – желтая, с тремя ступенчато расположенными дверьми. Когда мы подошли к парпету, она только едва желтела среди елей внизу. Мы успели приблизить и исследовать в огромную подзорную трубу на высокой подставке старинный арочный мост с башенными воротами, полуразрушенный замок, знаменитый университет... а вагонетка все ползла и ползла – гудели рельсы, повизгивали провода, – и, наконец, вкатилась, вывалив на гору пассажиров тремя пестрыми языками...

Потом мы проехали к замку – величественным развалинам крепости династии Виттельсбахов, разрушенной некогда войсками Людовика Четырнадцатого, с циклопической толщины стенами, показывающими краснокирпичный испод, проросший давней травой.

Это был целый город, обнесенный рвом. Множество стилей сплеталось на огромном этом пространстве. Людвиги, Фридрихи, Генрихи тщились увековечить свои имена в башнях, рвах, подъемных мостах и гигантских винных бочках... Когда-то здесь была резиденция одного из блистательных дворов Германии. Увы – все пошло прахом. Хорошо, подробно, на совесть воевали в прошлых столетиях: крепость взрывали в какой-то старинной войне, сжигали, в нее попадали молнии... Династия Виттельсбахов беднела, не в силах каждый раз восстанавливать обширное это хозяйство; замок приходил в упадок и запустение. И только в девятнадцатом веке городские власти, спохватившись, принялись что-то реставрировать, заделывать, подделывать там и сям... (Моя бабушка, когда я в детстве являлась со двора с прорехой в майке или штанах, говорила, вдевая нитку в иголку: «А вот мы сейчас прихватим на живульку»...) Долгие десятилетия эти живописные развалины немецкого Ренессанса «прихватывали на живульку», но, во всяком случае, отстроили неперменный ресторан, выставочный зал и помещение для администрации «Фонда друзей замка». Эх, создать бы этот фонд друзей до того, как взрывались пороховые бочки, летела за стены горящая пакля и ухали, содрогаясь, пушки «короля-солнце»... Да что поделаешь!

– ...кроме того, каждое лето здесь проводятся музыкальные и театральные фестивали, – добавил мой друг. – Декорации-то вон какие – роскошные, натуральные, романтические!.. Представь какую-нибудь «Риголетто» или «Аиду» летним вечером на фоне вон той башни!

Долгий выход тумана расплзался по каменным террасам... Великолепный

замковый парк, расходящийся по склонам, изумлял гигантскими деревьями, изумрудными от сырого мха, и фонтаном, в котором полулежал большоголовый мраморный Нептун, похожий на лешего из русской сказки, – с лишаями плесени на плечах и зеленоватой бороде. Это было царство влаги, белых кувшинок на зеленой ряске воды...

Таблички вдоль дорожек, посыпанных мелкой галькой, предупреждали о том, что с наступлением темноты следует осторожно передвигаться, дабы не наступить на лягушек. Можно вообразить, что здесь творилось летними гремящими ночами и как безжалостно давили лягушек ноги очередного юного Виттельсбаха, какого-нибудь влюбленного Фридриха, припустившего вдогонку за мелькающей среди кустов юбкой какой-нибудь Элизабет Стюарт...

Мы спустились вниз и долго гуляли под теплым дождем по блестящей черной брусчатке Старого города.

Завтракали на крытой террасе модного отеля, в доме семнадцатого века, перелопаченном классными дизайнерами так, что любо-дорого: посреди зала среди столиков росло дерево, выплескивающее макушку кроны в квадратное окно стеклянной крыши, повсюду на полу расставлены лампы в форме больших белых репьев, и маленький бронзовый Пан со свирелью у козлиной бородки, весело приподнимая одно бронзовое копытце, но твердо упираясь в камень другим, прислушивался к журчанию воды в миниатюрном фонтане.

В уютном, изысканно обставленном фойе висели на стенах средневековые гравюры. Я отлучилась в туалет и на обратном пути задержалась у одной из них, на которой была изображена расправа над то ли неверной женой, то ли бесчестной девицей. Несчастную прикрутили длинными волосами к оглобле телеги и готовы уже были пустить коня вдоль по улице. Кнут в руках дюжего малого был поднят. Толпа вокруг с жадным интересом наблюдала за действием. М-да...

А обедали уже за городом, в винарне. Это был приземистый деревенский кабачок: простые беленые стены, черные балки потолка, винные бочки вдоль стен. Два музыканта, очевидно, поляки – они подозрительно хорошо говорили по-русски – бродили от стола к столу, наигрывая на гармошке и скрипке мелодии тех стран, к которым они безошибочно относили клиентов. Для нас, например, заговорщицки подмигивая и склоняя к нашим плечам скрипичный гриф, сыграли «Подмосковные вечера», а для шумной компании итальянцев за соседними сдвинутыми столами – «Вернись в Сорренто». Мы молча выслушали преподнесенный нам «пряник» и также молча дали на чай пять евро; итальянцы же вдохновенно подпевали, дирижировали, не отпускали музыкантов, один отобрал у гармониста инструмент и под хохот приятелей пытался что-то из него извлечь...

В обратный путь тронулись в том же морозящем дожде, путаясь в длинных языках батистового тумана, ползущего с гор и бинтующего пики отборных, как строй гренадеров, неподвижных елей. Мокрые петли опасной дороги крутили автомобиль, как щепку. Клубни тумана восходили из черных щетинистых ущелий, на вершинах проплывали развалины башен, и время от времени слева раз-

ворачивалась долина с очередным белым городком, утонувшим в пенном облаке тумана по самые черепичные и сланцевые крыши.

По дороге мои друзья долго спорили, куда напоследок меня завезти – в некий замок, где, по слухам, владелец, старый граф, одинокий бездетный аристократ, допускал туристов в свои владения за небольшую мзду, или в городок Мюльхайм, где, как мне объяснили, издревле жили еврейские ремесленники... Я не вмешивалась в их спор, мне было все равно куда ехать, не от равнодушия – от тихого блаженства, в которое я была погружена с утра, как низинные городки были погружены в туман по самые крыши.

Наконец, решили в пользу ремесленников – оно и ехать ближе, пока еще свет не вовсе ушел.

И минут через десять мы уже парковали машину неподалеку от стеклянного куба «Макдональдса», одиноко стоящего на обочине дорожной развязки. Поодаль, в двух сотнях шагов, тянулась каменная стена средневековой кладки.

Нырнув в низкую и глубокую, как бочка, арку ворот, мы вынырнули на площади одного из тех туристических городков, будто срисованных с картинок из книги сказок братьев Гримм, которых рассыпано по Германии немало.

Все тут было как полагается: крошечная площадь с фонтаном, здание ратуши, старинные фахверковые, перечеркнутые черными балками, дома, как бы опившиеся пивом и потому слегка завалившиеся на спину. Фасады иных даже были покрыты граффити. На первых этажах размещались магазины сувениров, кондитерские, бары – все тесное, кукольное, словно строители заранее тиснули в кольцо городской стены.

Март, сумерки, отсутствие туристов... А горожане в это время уже укладываются спать – немцы рано начинают рабочий день.

Мы брели по совершенно пустынному городку, если не считать двух-трех завсегдатаев баров, одиноко сидящих над кружкой пива в освещенном окне.

Мой друг, который непременно хотел отыскать и показать мне местную синагогу (все мои друзья в Германии почему-то одержимы желанием продемонстрировать мне какую-нибудь синагогу или, что чаще, – место, где она когда-то стояла), шел, озираясь в поисках какого-нибудь прохожего.

Наконец, из темной боковой улочки показалась женщина, и он ступил с тротуара ей навстречу, обратился по-немецки. Та охотно ответила, стала объяснять и показывать, но запуталась, махнула рукой и – так я поняла – взялась отвести нас.

– А вы не русские часом? – вдруг спросила она с надеждой.

Мы радостно отозвались.

– Ох, ну какая же удача у меня сегодня! – воскликнула она. – Вот я с утра чувствовала – что-то хорошее случится... А я, знаете, так тоскую по русскому языку, иногда даже подкарауливаю группы туристов и тихонько так пристроюсь сбоку и брожу с ними по городу, заодно и гида слушаю. Я поэтому все памятники здесь знаю и все факты истории...

Она вела нас скудно освещенными, уже погруженными в глубокие сумерки

ки улочками, по пути оживленно выясняя, откуда мы и сколько лет в Германии и как мы тут – вообще?

– Ну что Израиль против нас? – спросила она меня. Я сделала вид, что не поняла вопроса.

– В смысле – где лучше? – простодушно уточнила она. И я, которая никогда не позволяет втянуть себя в подобные разговоры, вдруг ответила:

– Конечно, в Израиле.

И она улыбнулась и не стала возражать. Сказала только:

– Здесь очень чисто.

Выяснилось, что она из Магнитогорска, давно, лет уже тринадцать. Двадцать восемь лет замужем за немцем, трое детей... Ну и в начале девяностых муж стал задумываться... Жизнь как-то так повернулась, знаете... Боже, что с нами делает жизнь...

Я была когда-то знакома с режиссером магнитогорского театра и сказала ей об этом. Она ужасно обрадовалась – она вообще как-то мгновенно и ярко отзывалась на любое слово такой искренней приязнью... Ну как же – у нее свояченица работала там, в театре, бухгалтером, доставала контрамарки! И минут пять, пока шли, мы обсуждали постановки и актеров...

Завернули на какую-то узкую улицу и в глубине ее сразу увидели маленькую изящную синагогу нездешней архитектуры – с высокими окнами, двумя тонкими колоннами по краям входной двери, классическим портиком... За окнами было темно.

В свете фонаря отблескивал пяточок булыжной мостовой. Непередаваемое одиночество и чужеродность этого здания среди кряжистых фахверковых домов витали над улочкой... Оно выглядело отщепенцем в компании добропорядочных бюргеров.

Наша провожатая сказала, что это одна из немногих в Германии синагог, которая не была ни сожжена, ни разрушена. Более того, ее прихожане – сорок ремесленников-евреев – не были депортированы в лагеря и не были уничтожены! В ее голосе звучала гордость новой гражданки за прошлое славного города.

– Представляете? – повторила она. – Не были уничтожены!

– Почему? – спросила я.

Она замялась – не ожидала, видимо, этого вопроса. Задумалась. Наконец ответила:

– Не знаю... Вот этого факта не знаю...

Мы постояли еще перед закрытой синагогой, потом побрели кружным путем к городской стене.

– И мэр у нас – замечательный человек! – говорила женщина. – Всегда приходит в синагогу на еврейские праздники, выступает. «Мне без разницы, – говорит, – какой нации граждане. Главное – чтобы был порядок в городе...» Очень хороший человек. Я, знаете, уважаю вот людей, которые не националисты... Сейчас модно хаять и высмеивать это советское понятие – «дружба народов». А я вот в середине семидесятых жила в Ташкенте...

Тут я перебила ее, призналась, что родилась в Ташкенте, выросла и жила там много лет. Она даже вскрикнула от радости... Мы наперебой принялись вспоминать любимые места, выискивать знакомых... И, хватая меня за руки, она повторяла в волнении: «Ну надо же!.. Ну вот как повезло мне! Я с утра чувствовала, просто чувствовала, что сегодня что-то произойдет!..»

Мы дошли до городской стены, через все ту же глубокую мрачную арку вышли наружу. Пустой «Макдональдс» безнадежно и как-то безумно светился огнями.

Она провожала нас, не переставая вздыхать и сокрушаться.

– Эх, жаль, что вы прямо вот так сразу уезжаете! – говорила она. – Остались бы, а? Пошли бы мы завтра с вами в замок... Во-он там он, на горе, видите, какая громада? Графиня сама бы вам все рассказала и показала.

Я, уже открывшая дверцу машины, остановилась.

– Графиня? Сама?! С какой стати?

– Да она простая! То есть не простая, конечно, она португальская принцесса, но такая сердечная, такая живая... Издали завидит – машет рукой, кричит: «Как дела?» Очень сердится, когда обижают иностранцев. Я, говорит, сама иностранка...

– А вы, значит, хорошо знакомы с графиней?

Мой друг, мгновенно по лицу моему определивший, что я вышла на охоту (все-таки он и сам был литератором, издателем и книгопродавцем и понимал толк в таких вещах), только рукой махнул и достал сигарету из пачки. И они с женой отошли покурить.

– Так я же в замке работаю... Помогаю старшей горничной на приемах.

Да, это был поворот сюжета. Это была, как я догадывалась, запутанная дорога от Магнитогорска и Ташкента до сумрачной громады замка на горе и хорошей немецкой графини, которая сердилась, когда обижали иностранцев.

– Тогда вам можно позавидовать, – сказала я с неопределенной интонацией. По опыту знаю, что только эта вот, незаинтересованная, интонация не настоит человека и развяжет ему язык. А я давно уже не задаюсь вопросами нравственности в своем старательском деле.

– И не говорите! Много я повидала за эти несколько лет. За всю жизнь в Союзе такого себе и не намечтаешь... Впервые не в кино, а наяву увидала на дамах эти вечерние платья с оголенными спинами, глубокие декольте, бриллианты в диадемах и ожерельях. А мужчины все во фраках, грудь белая, бабочки...

– Изысканная публика? – спросила я.

Она ответила:

– Изысканная. Пока не напьются. А как напьются, они такими же, как мы, становятся...

– А на чем же в замок съезжаются эти бароны-графы? – спросила я, стараясь, чтобы она не заметила моего хищного интереса.

– На машинах, на вертолетах... У нас там, в горах, есть вертолетная площадка. Этот замок, знаете, национальное достояние. Он бесценный, просто бесценный! Под охраной ЮНЕСКО находится. А иначе у графини просто денег не было бы подправлять его там-сям. Здание-то огромное, это сейчас в тем-

ноте не видно – в будние дни, когда приемов нет, графиня слегка экономит на электричестве...

Однако темные очертания замка на горе, заслоняющего изрядный кусок неба, даже отсюда, снизу, казались величественными.

– Замок-то – настоящее сокровище... – повторила она. – Старый граф, когда нацисты пришли к власти, бежал со всем семейством за границу. Он всю жизнь был по дипломатическому ведомству и оказался замешан в одном деле... Я не очень вдавалась, когда графиня рассказывала, но, в общем, он выправлял подложные документы и помогал беженцам скрываться...

– Каким беженцам? – спросила я.

– Ой, вот я вам не скажу точно... – огорченно улыбнулась она. – Надо бы у графини спросить, она все знает. Ах, жалко, что вы уезжаете!

– Так он бежал с семьей за границу... а как же... замок?

– О, это история, прямо «Монте-Кристо»! Здесь оставался старый Рихард, управляющий, он, знаете, из семьи, что пятое поколение графам служит, – деды его, прадеды здесь жили в замке, дочь его Эльза сейчас старшая горничная... Ну так он все успел спрятать, все имущество!

– Все имущество? Такого громадного замка?

– Да! Да! Так Эльза говорит, а она не станет врать – зачем ей? Он с тремя своими сыновьями все спрятал в каком-то укрытии, в лесу... Так что почти ничего не пострадало, – ну кое-где в парадных покоях позолоту содрали и резные панели старинные сняли в дубовой зале... а так ничего. А после войны графы вернулись и привезли молодую португальскую принцессу. Говорят, в молодости была ослепительной красоты, южных кровей, знаете... Поэтому и дети симпатичные, кудрявые. Много все-таки значит свежая кровь в старинных этих семьях...

– И сколько же у нее детей?

– Трое. Сын и две дочери. Внуки уже немаленькие. И все, знаете, очень удачные: работающие, образованные, хорошие специалисты. Графиня – строгая мать, всех воспитала в труде. Поэтому все ребята стоящие. Недавно вот только переполох был со старшим внуком, Алексисом. Он учился в Петербурге, влюбился там в сокурсницу, а она совсем простая девочка, из Петрозаводска. Забеременела. Скандал! А он уперся: женюсь, и все! Порядочный, понимаете? Это их графиня так воспитала.

– Ну и как выкрутились? – спросила я.

– Пришлось документы девочке покупать...

– Какие документы?

– Что она княгиня.

– А разве в России можно купить такие документы?

– В России, деточка, – сказала она, – все сейчас купить можно...

Она вздохнула, поколебалась – говорить или нет, – потом решилась: «У нас, когда Эльза не в духе, она проговаривается. Хотя и – слов нет! – графине предана, как курица петуху. Но ежели что не по ней, ежели графиня в чем отказала – так и бурчит, так целый день и бормочет, сплетни вяжет...»

– И что ж за сплетни?

– Да так, глупости... – неохотно проговорила она, вероятно уже жалея, что коснулась этой темы. – Бурчит, что графиня легко так решает эти семейные проблемы, оттого что в свое время и для нее пришлось документами озаботиться... Мол, старому графу, как только он узнал, что сын влюбился в девушку из монастыря...

– В какую девушку из монастыря?

– Так ее, вроде, в монастыре прятали... – пояснила моя собеседница. – И как уж там они с молодым графом встретились, неизвестно, но такая безумная случилась между ними любовь... Я уж не знаю сейчас, что правда, а что нет, но только старшенький-то у них сорок пятого года рождения... – Она вдруг умолкла, как спохватилась. – Ну и, словом, старому графу ничего другого не оставалось, как и ей документы выправить... Ой, да я же говорю, глупости все это, какая разница – кто, где... Эльза – просто старая сплетница!.. А насчет Алексиса я тоже думаю – совет да любовь. Подумаешь – простая! А наша-то императрица, Катерина Первая, разве не простая была? Не Катька обозная?! И ничего, что ребеночек раньше родится. Это ж не средневековое какое, что девицу, бывало, привяжут волосьями к телеге, да и волокут по деревне... ужас!

Вообще-то они небогатые, – сказала она доверительно. – Денег-то у них нет. Я месяца три назад была в крыле молодого графа, помогала с приемом в честь помолвки его дочери, средней внучки графини. Так я вам скажу: вот я – эмигрантка, но как по мне, мое постельное белье куда лучше графского – крепкое, чистый хлопок и лен. Знаете, ивановская мануфактура. А у наших-то, у графьев, все белье, скатерти, занавески... такое все старое, тонкое, ветхое... Я перед приемами начинаю на кухне мятые их серебряные плошки-тарелки. Господи, – говорю, – да как же можно таким знатым гостям на такой рухляди подавать? А Эльза мне в ответ: «Ты только сдуру при графине этого не ляпни. Это посуда фамильная, с гербами, шестнадцатый век...»

Мой друг с женой докурили свои сигареты, и он легонько постучал ногтем по стеклу часов... Мне сегодня еще надо было добираться до Дармштадта.

А наша провожатая никак не могла расстаться со мной, «ташкентской веселочкой». Все время обрывала себя, спрашивала с надеждой:

– А Юсуфа Рахматуллаевича из «Узбекбирляшу», случайно, не знали? А Оганесяна – он в семидесятых был начальником главка?..

Мой друг открыл дверцу машины, сел за руль. Махнул мне нетерпеливо...

– Красиво у нас, когда охота... – сказала она. – Все егеря окрестные съезжаются, такие костюмы роскошные, все на лошадях... Рога трубят – аж досюда звуки доносятся, воздух-то какой у нас – горный, прозрачный...

Стали уже прощаться совсем. Я села в машину. А она все стояла у дверцы и, наклонившись к окну, повторяла:

– Вы еще приезжайте, я познакомлю вас с графиней, она простая, живая такая, вот на вас похожа, даже внешне... Португалия, а там Испания близко... Такие, знаете, черноглазые края...

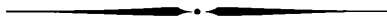
– Знаю, – сказала я.

Мы стояли на перроне, ждали поезда на Дармштадт. Неподалеку от нас

прогуливалась немолодая, но статная, с модной прической на красиво посаженной голове женщина. Несколько раз мой взгляд задерживался на ней, и я вдруг подумала, что именно такой представляю себе графиню из замка.

И пока ожидала свой поезд, на перрон прибыла электричка. Женщина вошла в освещенный вагон, села у окна и, стянув перчатки, принялась, глядя в свое отражение, взбадривать ладонью прическу, поддавая себе легких подзатыльников и похлопывая себя по вискам, словно приводя в чувство. Взгляд ее был направлен в стекло, в никуда – отстранен... Но я-то видела ее внутри освещенного вагона, и, значит, наша мимолетная встреча все еще длилась.

Наконец поезд дрогнул, качнулся и поволок ее прочь, как волокли в старину неверную жену или потерявшую стыд девицу, прикрутив волосьями к телеге...



ПОСОХ ДЕДА МОРОЗА*

Элле и Станиславу Митиным

После утренней репетиции к Мише подошел в актерском буфете замдиректора Свиридов и спросил, мол, Мишаня, заработать не интересуетесь?

Свиридов был мужиком гульным, разговаривал фразами из матерных анекдотов. И отвечать ему следовало тем же. Соответственно, вышеприведенный его вопрос звучал куда энергичней, чем тут на бумаге, и Миша ответил как надо: а какой, мол, какого же эдакого не захочет, покажите, мол, мне такого... – время было предновогоднее, дедморозное, для актерской братии урожайное и бессонное: утренники на утренниках.

Выяснилось, что где-то за Репино, в пионерлагере, хотят Деда Мороза. Но буквально 31-го вечером, и главное, в чем заваyka, Мишаня: туда доставят, а назад машины не будет. Оттуда уж электричкой...

– А как же я выберусь 31-го, на ночь глядя? – спросил Миша. На Новый год он был приглашен в хорошую компанию, где интересовался сразу тремя разными, но равнопрекрасными девушками.

Свиридов развел руками – это уж, Мишаня, как водится: либо заработать, либо лясы точить. Сказал он, конечно, не «лясы».

– Сколько? – спросил Миша, вздохнув. Деньги нужны были очень.

– Ну, в том-то и дело: восемьсят.

Миша присвистнул и поспешно, на этом же свисте, сказал: «Идет!»

* Огонек. 2005. № 52.

Деньги давали громадные. Обычная такса тут была – 50. Вероятно, добавляли за моральный убыток. Но и убыток был громадным – выгуливая потом трех славных девушек индивидуально...

– Сергей Семеныч! – окликнул Миша уже спускающегося по лестнице Свиридова. – Но реквизит-то будет?

– Устроим, Мишаня! – крикнул снизу Свиридов. – Армяк-посох-борода и Снегурочка – ...! – ...далее уже совсем было неприлично и, главное, раскатывалось эхом по всему зданию театра. Впрочем, народ тут был непугливый.

Миша вернулся в буфет, дожевал кисель, круто сваренный из концентрата, и побежал по делам...

Идиотские речевки, стишки и загадки, полагающиеся старому хрену с горы, он вызубрил, от души матеря творцов этой отрасли искусства Мельпомены.

И дня за два до Нового года стал искать Свиридова насчет армяка и бороды. Да и Снегурочке пора было объявиться из-за какого-нибудь сугроба, потому как обнаружилось, что весь женский пол – вплоть до шестидесятилетней Марии Николаовны Аркашиной – был разобран на елки-утренники месяца за полтора.

Но замдиректора исчез. По его домашнему телефону измученный женский голос отвечал, что Сергей Семенович серьезно болен и не скоро поправится.

Значит, запил опять, скотина...

Запой у Свиридова случались нечасто, раз в году, но уж тогда он, как в штольню летел, а выкарабкивался медленно и драматически: непременно с какими-то остановками сердца, с капельницами, клизмами, шлангами в носу и пропитанным милым реквизитом.

Проклиная безответственного Свиридова, Миша кинулся в костюмерную – все давно было разобрано. Он обзвонил знакомых, потрепыхался еще, обежал специализированные магазины... а там, словно кто метлой повывел. Остался последний посох, раскрашенный почему-то под зеленеющую ветвь, и запыленный бронзовый парик, похожий на скальп их бухгалтера Фриды Савельевны, если б его непрофессионально снял торопливый индеец. Скальп уценен был до двух рублей тридцати пяти копеек. Все это Миша зачем-то купил в лунатическом отчаянии.

Затем он махнул рукой и покорился судьбе. Вот только пионерских заказчиков надо было дожидаться и извиниться по-человечески. Свиридов, помнится, говорил, что за ним заедут часов в 8 вечера прямо к служебному входу.

И ровно в 8 снизу позвонила вахтерша, сказала:

– Михал Борисыч, тут к вам товарищи...

Миша вздохнул, загасил сигарету, накинул на плечи первое попавшееся полупальто с вешалки и пошел извиняться, но перед тем как выйти из примерной, прихватил – может, бессознательно – зеленеющий в углу дурацкий посох и бронзовый скальп, и совсем уж непонятно зачем, сунул в карман валявшийся на столе ноздрявый носиче с паклей усов, на резинке.

У служебного подъезда стоял «пазик» с несколькими пассажирами. Впере-

ди сидел мужик, в тонну весом, вероятно, какой-нибудь областной начальник. За ним маячили две тетки. Опираясь на посох, Миша прошествовал к «пазнику» походкой Алексея Максимовича Горького, идущего по Волге за знаниями, приоткрыл дверцу и сказал внутрь извиняющимся, но правильно подобранным, достойным тоном:

– Товарищи, вот, собственно, я – Дед Мороз. Но без костюма и без Снегурочки...

В машине образовалась плотная недоуменная пауза. Начальник, от которого при движении поднялось винное облачко, обернулся назад и тяжело спросил: «Роза Арутюновна?..» – и та зачастила, что все было договорено, и трижды звонили, чтоб наверняка, а те трижды подтверждали, бессовестные!

Миша все бормотал, ковыряя тростью снег под ногами, что это Свиридов обещал, что борода и армяк – товар в это время дефицитный, но поскольку он в запое, то... я, пожалуй, пойду, товарищи...

– Я те пойду! – невкусно выдохнул мужик и ухватил Мишу за пустой рукав накинутаго пальтеца, словно тот бы сейчас бежал. – Артист, ебень! У меня там сто пятьдесят оборотов, третий и четвертый классы, эт куда их?! Не-е-ет, вот залазь, поедем, и пусть они тебя схавают с потрохами!

Его запихнули в «пазик», поехали... Минут через пятнадцать угрюмого молчания одна из теток сказала:

– Вы часок продержитесь? Я позвоню подруге в «Красные командиры», может, они поделятся своими артистами, те у них раньше начинают...

Машина ехала куда-то в сторону Финского залива, сначала по шоссе, потом свернула и поехала лесом, по корявой дорожке с еще неуезженным настом.

Ехали молча, в напряженной обоюдной ненависти. Так же молча с полчасика толкали в морозной чернильной тьме застрявший в колдобине «пазик». Все взмокли, нагрузили сапоги снегом, начальник, тот даже протрезвел и помрачнел еще больше.

Затем свернули на совсем уже интимную тропку и, с подъелдыкиваниями желудка к горлу и штормовыми раскачиваниями «пазика» в ямах, наконец, въехали в разъявленные ворота под тусклым фонарем, прокатили по хрустящей снегом аллее и остановились.

Типовое кирпичное здание школы, освещенное электричеством по всем трем этажам, казалось отсюда, из чащи нагруженных снегом елей и сосен, чуть ли не декорацией к «Щелкунчику». Было что-то театральное и в медленном кружении снежинок там, где золотой квадрат окна вылавливал их табунки из небытия.

На крыльце торопливо докуривал сигарету старшеклассник, а девушка помчалась докладывать о прибытии Деда Мороза. Видно, их ждали давно.

Тут компания разделилась – его попутчики делись куда-то (может, отправились допивать и праздновать в кабинет директора лагеря, а им как раз оказался угрюмый мужик, так лихо и незаконно умыкнувший Мишу; может, по домам подались, а может, направились в зал, посмотреть на его, Мишин, позор).

Его же самого паренек пионервожатый коридорами проводил за кулисы. В зале бесновались, визжали дети.

– Во, слышите?.. – сказал пионервожатый. – Мы их тут музыкой глушили, больше часа... Я вас как объявляю? К нам приехал Дед Мороз?

– Объяви: артист ТЮЗа Михаил Мартынов, – сказал Миша, сбросив на стул чужое полупальто и напяливая на собственные непослушные вихры бронзовый скальп. На всякий случай и носяру насадил на лицо, с неопрятным кустом, лезущим в рот. – Это что там у вас в углу? Пианино? Играющее?

– Без понятия, – ответил пионервожатый. – Вроде, первоклашкам вчера что-то играли...

Он вышагал на середину сцены, сложил ладони рупором и крикнул в зал:

– Т-и-иха-а-а!! А ну, тиха!!! Начинаем!

Зал завизжал, заулюлюкал... Паренек все стоял, грозно всматриваясь в ряды:

– Бакланов и Шварц, а ну, сели спокойна-а!!! – проорал он.

– Пошел вон! – сказал ему Миша из-за фанерной кулисы.

– Чего? – спросил тот, повернув к нему голову.

Миша знаками показал ему, чтоб проваливал, проваливал, наконец... и, не дожидаясь больше ничего, выкатился колесом на сцену, поднялся, гикнул, сделал сальто, еще одно, подкатил колесом к инструменту, отбил чечетку, перевернулся, приземлился с размаху прямо на стул и распахнул крышку – клавиатура отозвалась под его руками дребезгом плохо настроенных звуков... А ведь могла быть и заперта, подумал Миша с облегчением... Он пробрякал несколькими бойкими аккордами сверху вниз и запел песню Бармалея из недавно выпущенного спектакля «Доктор Айболит».

Дети, перевозбужденные, утомленные долгим бездельным ожиданием, никак не могли успокоиться. Гул и взвизгивание в зале, выкрики, топот ног сопровождали его пение... Они, конечно, ждали старика в армяке (сволочь, Свиридов!), Снегурочку, всех этих заезженных новогодних стишков, подарков... Кстати, роскошная – вероятно, прямо из здешнего парка, – наряженная шарами ель с криво нахлобученной на гнутую верхушку желтой пикой тоже была достойна украсить собой декорации к «Щелкунчику»... Она стояла, пока еще с погасшей сетью фонариков в огороженном стульями углу зала, и ждала команды зажечь свои огни. Следовало бы, наверно, проорать что-нибудь из того, что он вызубрил:

«Отвечай-ка на вопрос: как зовусь я?...» – но где была гарантия, что фонарики зажгутся?

Прошло минут десять; Миша просто работал, гнал репертуар, пел все, что накопил за пять лет беспорочной службы в театре... Парик съехал ему на ухо, лицо под картонной насадкой вспотело, но он как-то не решался все это снять, чтоб не остаться на сцене совсем уже голым буднем.

В дело пошли «Битлы», «Подмосковные вечера» и коронный его номер – гимн Советского Союза канареечным свистом на четыре лада... Дети не воспринимали ничего. Они хотели Деда Мороза, хотели подарков, и чтобы елка зажглась и закружилась... – все не ладилось, все катилось к черту. Перед ним, как «мене, текел, фарес» всплыли страшные стишки, зазубренные на скорую

руку; и, вывинтившись из-за пианино, он проделал перед микрофоном несколько припопывающих «па» и крикнул в зал:

Вам неведомы тревоги!
Вам открыты все дороги!
Вам желаю счастья я!
Будьте счастливы, друзья!

Ему казалось, что этот кошмарный сон длится уже больше часа... когда в двери зала с воплями и гиканьем ввалились спасители: Дед Мороз, каланча и дубина, и пискля – Снегурка. Видать, «Красные командиры» пошли все же навстречу Розе Арутюновне, поделились залетными артистами. И пока они, голубчики, ухая, приседая, кружась и выкрикивая стишки, шли в гущу детей, подбирая ватные полы армяка и расшитого блестками, золотой и серебряной фольгой Снегурочкиного наряда, Миша узнал обоих.

Это были профессиональные «чесальщики»: ядреные, горластые, сверкающие Дед Мороз и Снегурочка – уже довольно пьяная чета Говорянков, Фима и Маша. Вся штука была только в том, что высокая, дородная, с нутряным волжским басом Маша всегда исполняла морозного деда, а вертлявый сморчок Фима наряжался Снегуркой. Такое у них было незыблемое ампула.

– Вам неведомы тревоги! – завопил сморчок Фима.
– Вам открыты все дороги! – забасила Маша...

Миша не стал дожидаться окончания великого произведения, даже не стал раскланиваться, просто выпал за кулисы и выскочил в коридор. Он был мокрым как мышь. С омерзением стянул с себя парик и накладную личину, сунул в карман. Достал сигарету и жадно закурил – он все еще не очень верил, что спасен... В зале визжали счастливые дети, и Маша гудела, как паровозный гудок: «Е-лач-ка, заж-ги-ся!!!»

Ясно, что о плате за все это безобразие ему даже и заикаться не следовало. Деньги, хотя б тридцатку, он намеревался выколлотить в качестве компенсации из алкоголика Свиридова – потом, если тот не подойдет.

И, приговаривая «сволочь, вот сволочь!», Миша с посохом под мышкой (вот взял его за каким-то чертом, а выбросить жалко!) стал спускаться по лестнице вниз, в натопленный вестибюль, где на вешалке сиротливым кулем висело пальтецо.

Теперь надо было сообразить – как отсюда выбираться...

– Эй! Клоун! Как вас там...

Миша, с рукой, продетой в один рукав, обернулся. К нему грузно спускался директор – тот, многопудовый, что завез его в эти дебри и вытолкнул на растерзание пионерам. Дать бы ему сейчас по жирному брюху коленом, да кулаком – по тупому затылку, да добавить по...

– Ты вот что... У нас бухгалтер только завтра утром приедет. У нее мать вчера оперировали. А без нее я тебе денег выдать не могу...

Миша продел вторую руку в рукав, степенно обдернул коротковатые обшлага, чтобы не показать своего потрясения: этот святой человек все же соби-рался платить!

– Так что, тебе деваться-то некуда. Да и поздно уже... Новый год же, это... настает...

– А... что ж мне делать? – спросил Миша.

– Сиди здесь, жди... Вернусь... – сказал директор и, действительно, минут через десять спустился уже одетым, направился к выходу, молча загребая воз-дух рукой, чтоб Миша, мол, следовал за ним.

Так, гуськом, в мрачном молчании они вышли к воротам, свернули налево и буквально через несколько десятков метров подошли к дому – типовому трехэтажному, с бугристым от снега палисадником, с зияющим провалом не-освещенного подъезда, в проеме которого металась и плясала круговерть белых хлопьев.

Миша понял, что этот мужик, в каждом взгляде которого чувствовалось презрение к шуту, актеришке, засранцу... ведет его к себе домой, за семейный стол. Видно, не мог допустить, чтобы в праздник пусть и такой вот никчемный балбес остался без рюмки и огурца. И горячая волна благодарности плеснула голодному Мише куда-то в область диафрагмы, как бы ополаскивая резервуар, подготавливая его ко вкушению дивных яств.

А стол уже был накрыт. Семья ждала хозяина.

– Вот... – сказал директор жене, тоже многообъемной, полнолицей, с таким же круглым кугелем на макушке, отчего ее голова была похожа на игрушку «ванька-встанька», она и качала все время этим сооружением и склоняла к плечу тяжелый шар головы. – Вот, артиста привел... накормить. Некуда девать парня...

– Витя... а где ж его покласть? – озабоченно, после беглого «дрась», спросила супруга.

– В спортзале переночует, на матах, – ответил тот. – Ничего, молодой... спортивный.

И она успокоилась.

Когда все уселись за стол, Миша незаметно оглядел семейство. «Ванька-встанька» сидела рядом с мужем. Грузная старуха с лицом, изгвазданным какими-то бурными рубцами – теща или свекровь, – сидела напротив, чтобы наблюдать за мальчишками – близнецами лет восьми, тоже толстыми, круглолицыми. По правую руку от матери сидела старшая дочь, заслоненная от Миши могучим брюхом отца...

К столу успели вовремя: минут через пять в телевизоре пробили куранты, отец семейства налил себе и Мише водки, сказал: «Ну, с Новым счастьем!» – и выпил.

Жена отозвалась: «Здоровья, здоровья, главное!»

– Нина, язык ты недосолила, – встряла старуха.

– Мама, а в праздник, единственный в году – можно мне без этого надзора?! – как-то сразу громко, с ненавистью крикнула толстая. И муж рыкнул на нее, протянув руку за соленым огурцом.

– Ты чего сидишь засватанным? – буркнул он Мише. – Давай, отоваривайся...

– Если недосолила, так я и скажу просто: недосолила... – невозмутимо отзывалась старуха. «Свекруха, ненавистница...» – подумал Миша.

Более странной встречи Нового года у него в жизни не было.

Эта тяжелая, угрюмая – под стать своему хозяину – семья вела неутраченную междоусобицу по нескольким направлениям. Старуха оказалась вовсе не свекровью, а тещей, и ухитрялась одновременно накручивать и дочь и зятя, хотя возбудить этого носорога на военные действия, да еще с каждой новой рюмкой – для этого требовалась какая-то изощренная сила бытовой ненависти. Несколько раз хозяин наливался багровым соком и, глядя исподлобья на старуху, рычал что-нибудь вроде: «Мамаша... или вы сейчас стихнете со своей кулебякой, или я эту кулебяку вам сейчас...» И тогда уже супруга вступалась за ядовитую бабу. Дети, видимо, были привычными к такому градусу жизни. Мальчишки уминали за обе щеки, смотрели телевизор и лишь, когда очередная звуковая волна разборок перекрывала голоса ведущих «Голубого огонька», наперебой кричали:

– Тихо, ну, тихо, папа!.. Баба, молчи!

Часа через полтора хозяин тяжело поднялся из-за стола, налил на посошок водки себе и Мише, заставил его выпить и сказал:

– Сыт-пьян? Ну, чтоб не говорил, что бросили замерзать в лесу... Пошли, отведу тебя на боковую. Утром Людмила придет, выдаст денег...

– Вы хоть подушку возьмите... – сердобольно добавила «Ванька-встанька» и качнула верхним шаром в сторону дивана. – И плед...

– Ничего, спасибо, я курткой накроюсь, – сказал Миша. – Не беспокойтесь.

Но она все же запихнула ему под мышку плед и сунула в руки думку с дивана.

Вдруг кто-то спросил из-под локтя:

– А это вы играли Д'Артаньяна?

Он обернулся.

На него яркими янтарными глазами смотрела рыженькая, конопатая, лет четырнадцати. Нет, не в этом дело... Нежная солнечная крупка осыпала всю ее кожу; волосы того же оттенка, но плотнее тоном, падали на лоб, и глаза – все та же гамма светлого меда, янтаря, теплой канифоли... К тому же, хрупкая фигурка, озаренная золотистыми оттенками ее природных тонов, была еще и одета в рыжие джинсы и желтый свитер. Ну, надо же, подумал Миша, какое светлое дитя соорудили трое этих бегемотов... Не приемная ли?

– Да-да, – сказал он, топчась в коридоре, держа в нетрезвых объятиях плед и думку, – и Д'Артаньяна, и Маугли, и Бумбараша...

Глаза девочки глядели на него влюбленно и зачарованно.

– Ну, пошли, – буркнул папаша, выходя на лестницу. Миша оглянулся, по-

махал ей, мол, извини, видишь, утаскивают меня... еще раз отметив это сияние золотой парчи, которое от нее исходило... И вышел.

Снова они шли гуськом, но в обратном порядке и медленнее. Директор шагал основательно, грузно, подсвечивая себе фонариком и то и дело шумно и сокрушенно отрывая. Миша на воздухе словно бы очнулся, огляделся... ему все нравилось: хрустящий под ботинками снег, резкий щипастый воздух, рвущий ноздри, деревья в снежных окладах... А сейчас заснуть, закинуть за спину весь этот странный вечер, забыть...

Он тоже был слегка пьян.

В холодном темном спортзале директор щелкнул выключателем, сказал:

– Ну, вот... Не околеешь тут? Вообще-то, здание отапливается, но зал-то огромный, не хватает.

В углу у стены, как олады, горкой были навалены кожаные маты. В центре зала с потолка свисал канат, неподалеку от него пасся кожаный «козел», рядом с ожидающими чего-то брусьями...

Миша бодро ответил, что все в порядке, и не там, и не так еще приходилось – и это было правдой. Очень ему хотелось рухнуть, доспать до утра, получить бабки и покинуть гостеприимную спортивную обитель Деда Мороза.

– Так... бывай, что ли?

Миша протянул руку, благодарил, бормотал, что в другой раз непременно заранее...

– Нет уж, – честно сказал директор лагеря. – В другой раз прослежу, чтоб тебя здесь не было...

Он вышел.

Миша стянул с горки на пол тяжелый кожаный мат, щелкнул выключателем и в свете подслеповатого, с одного боку подбитого фонаря за окном добрался до своего лежбища, споткнулся о него и повалился спать.

Две-три минуты он боролся с идиотской думкой, пытаясь как-то приладить на ней голову, но голова съезжала то с одного ее каменного бока, то с другого, и Миша отпихнул ее, завернулся в плед, закрыл глаза... Подумал, засыпая: «золотая парча... кукла такая... у бабушки Нади на комод... в детстве...»

И заснул...

– Доброе утро! – сказал кто-то у него над головой и, видимо, повторил это раз пять, прежде чем он продрал глаза. Безжалостное солнце било в физиономию.

Через секунду он понял, что никакого не солнце, а фонарик, и никакого не утро, а все та же сизая зимняя тьма за окнами спортзала. Молниеносно пронесся дикий табун мыслей в голове: грабить пришли, наказать, издеваться, мучить, убить!!! Одновременно с мыслями и вполне бессознательно его тренированное тело взвилось с мата и прыгнуло к стене: два года циркового училища в отрочестве и сейчас не подвели, несмотря на выпитое.

– Что!!! – крикнул он. – Что, кто это?!

Перед ним, все еще светя фонариком, стояла какая-то фигурка – в темноте за кругом света ни черта было не разглядеть.

– Извините, что потревожила... – проговорила она жалобно.

Тут Миша опознал дочку толстого директора и от ужаса чуть не околел: вот этого ему здесь не доставало, для полноты счастья – совращения Дедом Морозом малолетней пионерки!..

– Ты что?! – крикнул он. – Рехнулась?! Какого лешего ты приперлась среди ночи?!

– Я... просто... я хотела спросить кое-что... Можно я с вами немного посижу?

Голос ее набряк близкими слезами...

Вот задрыга! Стянуть фонарик, ийти ночью сюда, к незнакомому человеку!? Он давно подозревал, что дочери – это наказание божье...

Миша соскочил с матов, подбежал к выключателю, щелкнул.

Продолжая сжимать в руке ненужный фонарик, она шурилась от света. С ворохом рыжих своих волос, с мерцающим излучением кожи она сама была словно порождением этого света...

– Чего тебе от меня надо? – спросил он злобно.

– У вас же все равно скоро электричка... – сказала она, садясь на мат. Сгорбилась.

– Ну-ка, проваливай отсюда, – проговорил он. – Мне тут папаши твоего не хватает для полного удовольствия.

«Ничего себе вечерок да ночка», – подумал он. Сердце до сих пор колотилось, во рту было сухо.

– Он спит, – сказала доверчиво девочка. – Он же выпил... Они, когда выпьют, спят как медведи...

– Слушай, где тут кран? – спросил он, облизывая наждачным языком губы.

– Вы хотите пить? – встрепенулась она. – Я принесу!

И действительно, минут через пять принесла воду в железной эмалированной кружке.

– Это моя, – сказала она, – в изостудии. Я в ней краски развожу...

И стояла рядом, благоговейно смотрела, как он жадно пьет.

– Ты рисуешь? – спросил Миша, отдавая ей кружку.

– Рисую, да... но я хочу актрисой быть. Я хочу, знаете, играть... Констанцию Буонасье...

Ах, вот оно что... Ну, да, как он сразу не догадался?..

– Ты... тебя как зовут-то?

– Таня!

– Знаешь, Таня... Ты подумай хорошенько, советую... Ведь этот наш труд – такая морока... столько обид, тоски, интриг... зависти...

– И у вас – зависть? – спросила она. – Я не верю. Вы такой... такой... летучий, прыгучий!

– Вот-вот... – усмехнулся Миша, – летучесть-прыгучесть в цирке главное достоинство... В театре необходимы еще кое-какие качества...

– А я «Трех мушкетеров» из-за вас три раза смотрела, сначала с восьмыми классами, потом с седьмыми, потом опять с восьмыми... Вот то место, когда

вы фехтуете на лестнице один против шести! Это так здорово! Я просто не дышала! Я не верю, что вы кому-то завидуете.

– И, тем не менее, завидую! – сказал он и вдруг удивился, что именно здесь, в присутствии этой незнакомой девочки, наконец, признался самому себе.

– Кому, например? – удивилась она.

– Например, Сеньке Либерману... Он играет Сирано... а это моя мечта – сыграть Сирано.

– Я думала, все актеры мечтают сыграть Гамлета... А этот... Си-ра-но, какое смешное имя, – он кто?

– Слушай, – сказал Миша. – Иди ты, пожалуйста, домой, а? У меня из-за тебя могут быть дикие неприятности!

– Ну, пожалуйста!!! – взмолилась она. – Еще полчасика, неужели вы боитесь, вы же смелый, вы – Д'Артаньян...

– Нет, я – Сирано, – сказал Миша. Он поднял с полу посох Деда Мороза, достал из кармана накладной нос, закрепил резинку на затылке... Девочка смотрела на него не шевелясь.

– А... кто он такой?

– «Но кто же он такой? – подхватил артист ТЮЗа Михаил Мартынов, запрыгивая, как на сцену, на гору черных кожаных матов...

Сложнейший из вопросов...

Пожалуй, астроном...

Он музыкант!

Поэт!

Он храбрый человек.

Он физик!

Он философ!

И сумасшедший! Но его отвага

Неподражаема! И он со всеми прост.

И плащ его похож на петушиный хвост,

Когда его слегка приподнимает шпага...

А нос какой! Он так отрос,

Что нужен шарaban – его не вложишь в тачку...

Бедняга по утрам прогуливает нос,

Как барыня свою собачку!

Он спрыгнул с горы матов и неожиданно для себя самого вдруг пустился рассказывать девочке содержание пьесы Эдмона Ростана. Она сидела на мате, подняв колени к подбородку, смотрела своими янтаринами, тянула к нему острое лицо. Поглощала, пожирала... да, это был экземпляр...

А его уже закрутило... Не отдавая самому себе отчета, по ходу пересказа сюжета, Миша вскакивал, садился, прохаживался перед нею, жонглировал посохом... Вдруг пускался играть тот или другой отрывок...

И вообще, как всегда случалось с ним, когда речь заходила об этой роли, он

все меньше обращал внимание на девочку и перед собой видел уже не ее, а зал... Текст роли, как и текст всей пьесы, он давно уже знал наизусть...

– Вы что так смотрите? Вам нравится мой нос?
– Я... Что вы?..
– Может быть, мы оба
Смутили вас?
– Ошиблись, сударь, вы...
– Быть может, носик мой качается, как хобот?
– Нет, вовсе нет..
– Или как клюв совы?
– Да что вы..
– Может быть, на нем нашли вы пятна? Или, быть может,
он торчит, как мощный пик?
– Я вовсе не смотрел..
– Вам, значит, неприятно осматривать мой нос?
Быть может, он велик?

Она тянула шею вослед его прыжкам, хохотала, перекачивалась со спины на живот, вскакивала, замирала, вскрикивала, хваталась ладонями за щеки и – застывала, когда за спиной красавца и баловня фортуны Кристиана Сирано с болью рассказывал Роксане о своей любви...

Что я скажу? Когда я с вами вместе,
Я отыщу десятки слов,
В которых смысл на третьем месте,
На первом – вы и на втором – любовь.
Что я скажу? Зачем вам разбираться?
Скажу, что эта ночь, и звезды, и луна,
Что это для меня всего лишь декорация,
В которой вы играете одна!
Что я скажу? Не все ли вам равно?
Слова, что говорят в подобные мгновенья,
Почти не слушают, не понимают, но
Их ощущают, как прикосновенья...

Сейчас, по ходу сцены держа ворох пламенных кудрей где-то на обочине взгляда, он вдруг подумал, что Роксана вовсе не должна быть томной шатенкой, как ему представлялось раньше. Да, вот какой она должна быть – рыжей, худой, светящейся в ночи, как факел...

Я чувствую, мгновенья торопя,
Как ты дрожишь, как дрожь проходит мимо
По ветке старого жасмина...

– Ну, подавай текст Роксаны, – бросил он вдруг на ходу: «Я плачу... Я дрожу...»
– Как это?! – прошептала она, округляя глаза. – Когда? Что... как – сейчас?..
– Подавай текст!!! – крикнул он раздраженно: «Я плачу... Я дрожу...»
– Я... п-плачу... Я дрожу...
– «И я люблю тебя».
– Кто? Ты... он – меня?!
– Вот дура! Да не я, и не он! Это реплика Роксаны, я-то свои сам подаю. Давай снова, ну! «Я плачу, я дрожу, и я люблю тебя...» Поняла?
– Поняла! – вдруг проговорила она твердо, вскочила с мата и всем телом подалась вперед, обняв себя за плечи, словно удерживая:
– Я... плачу... Я дрожу... – проговорила она с отчаянием в голосе и вправду дрожа всем телом. – И... и я люблю тебя!
– Молодец! – резко бросил он, нырнул под брусья, перевернулся, повис вниз головой... и еще минуты две продолжал читать текст таким вот манером...

Все четвертое действие – «Осаду Арраса» – артист ТЮЗа Михаил Мартынов прочел, раскачиваясь на канате, забравшись по нему чуть ли не под потолок. Он срывал с головы бронзовый скальп Фриды Савельевны за два рубля тридцать пять копеек, размахивал им, как белым шарфом графа де Гиша, оплакивал гибель Кристиана, заставлял Таню подавать реплики снизу. Задрал голову, не отрываясь ни на мгновение, она следила за малейшим его движением, чтобы не прозевать того сладостного момента, когда должна будет вступить:

Но как я вас нашла? Передо мною
Лежала Франция, истощена войною.
Меня вели к вам нищие поля.
И если это воля короля –
Все эти стоны, жалобы и боль
Земли, разорванной на части, –
То мой король Любви – единственный король,
Который, может быть, заслуживает власти!

За окнами спортивного зала валил, крутил, метался густой снег. И если бы кто-нибудь решил заглянуть в одно из этих окон, то он увидел бы странную картину: мечущегося по залу молодого человека с накладным носом, с палкой в руках, с волосами дикого красного, не существующего в природе оттенка, и рыжую девочку, бегающую за ним по пятам, как собачонка...

– И финал... – тяжело дыша, проговорил Миша. – Действие пятое, сцена шестая. Прошло четырнадцать лет... Монастырь, где Роксана укрылась в трауре по своему Кристиану. Суббота, и как обычно, ровно в четыре она ждет в гости Сирано, чтоб он развлек ее своей «газетой» – просто хроникой светских новостей... Она ждет его ровно в четыре, но... его убивают наемные убийцы!

– Как?! – воскликнула Таня.

– А вот так. Бревном по башке.

– И... они не увидятся?! И Роксана так и не узнает, кто писал ей письма?!
– Спокойно, узнает... Он притащится из последних сил... Он прита-ащит-ся! – простонал Миша, опираясь на посох Деда Мороза и, хромая, подволаки-вая ногу, достиг брусьев, припал к ним, повис на них...

Прощайте. Я умру.
Как это просто все! И ново и не ново.
Жизнь пронеслась, как на ветру
Случайно брошенное слово.
Бывает в жизни все, бывает даже смерть...
Но надо жить и надо сметь.
И если я прошел по спискам неизвестных,
Я не обижен... Ну, не довелось...
Я помню, как сейчас, один из ваших жестов,
Как вы рукой касаетесь волос...
Я не увижу вас. И я хочу кричать:
– Любимая, прощай! Любимая! Довольно!
Мне горло душит смерть. Уже пора кончать....

Предсмертный голос Сирано гулко разносился в пустом спортзале загород-ной школы:

Вы дали мне любовь. Как одинокий марш,
Она звучит во мне, и, может быть, за это
Навеки будет образ ваш
Последним образом поэта...
<...>
Судьба насмешлива. И я убит в засаде.
Как мелкий вор, как жалкий ловелас,
Убийцей нанятым, убит поленом сзади...
Мне даже смерть не удалась!
<...>
Вся жизнь прошла, как ночь, когда я был в тени...
И поцелуй любви и лавры славы
Они срывали за меня,
Как в поздний вечер памятного дня.

– Подавай: «О, как я вас люблю!»
– О, как я вас люблю! – крикнула в отчаянии девочка.
– Не ори, больше глубины, больше осознания: она потрясена открывшейся правдой, ведь это означает, что она упустила единственную в своей жизни подлинную любовь, которая столько лет была рядом! Понимаешь?! Ну, снова: «О, как я вас люблю!»
– О, как я вас люблю!

Сирано погибал... Ему оставалось жить считанные минуты. Он шатался, падал на одно колено, с трудом поднимался...

Но если смерть, но если
Уж умирать, так умирать не в кресле!
Нет! Шпагу наголо! Я в кресле не останусь!
Вы думаете, я сошел с ума?
Глядите! Смерть мне смотрит на нос...
Смотри, безногая, сама!
Пришли мои враги. Позвольте вам представить!
Они мне дороги, как память.
Ложь! Подлость! Зависть!.. Лицемерье!..

В дело опять пошел посох Деда Мороза, и сколько изящества, сколько смертной истомы было в каждом выпаде задыхающегося Сирано:

Ну, кто еще там? Я не трус!
Я не сдаюсь по крайней мере.
Я умираю, но дерусь!

Он сделал три неверных шага, качнулся, шпага выпала из руки и покати-лась по полу...

Все кончено. Но я не кончил эту...
Мою субботнюю газету.
Нас, кажется, прервало что-то...
...Итак,
Я кончил пятницей... В субботу
Убит... поэт... де Бер-же-рак...

Он как раз подгадал к мату, упал на спину и закрыл глаза.

Тут случилось непредвиденное.

Девочка вскрикнула, сотрясаясь в страшном горестном рыдании и повали-лась на Мишину грудь, поколачивая по ней кулаками, иступленно повторяя: «Не умирай, любимый мой, не умирай!!!»

– Ты что, чокнулась?! – Миша испуганно вскочил, схватил ее за плечо; она тряслась и икала...

– Таня, Танечка!!! Ну, успокойся... Слушай, это же пьеса, ну!..

Она выла безутешно... Мотала головой... Оплакивала поэта...

Вот тут, подумал артист Мартынов, на этой минуте пьесы и врываются обычно суровые родители, чтобы отомстить за поруганную дочь...

Храбрец Сирано де Бержерак струсил по-настоящему.

Минут через десять она все же стихла... видно, устала. Сидела, как воро-бей на ветке, зябла, шмыгала носом...

– Ну, вот что, мать, – решительно проговорил Миша... – Ты, конечно, наш человек, но прошу тебя как брата: уйди, а?

Она подняла к нему истерзанное лицо:

– А можно... можно я...

– Нет, нельзя! – заорал он. – Хватит!!! Пошла отсюда, ясно?!

Походил туда-сюда, строго хмурясь и поглядывая на нее, размышляя... Потом сжалился все же, достал из кармана использованный с прошлого месяца проездной и стерженок шариковой ручки, который на всякий случай всегда таскал в заднем кармане джинсов.

– Ладно... Вот, телефон театра... Там у нас студия есть, для таких чокнутых, как ты... Скажешь от Михаила Борисовича Мартынова. Поняла?

– Поняла... – хлюпая красным носом, прошептала девочка. Все-таки у этих рыжих при малейшей слезе физиономии становятся непотребно красными... – Спасибо, Михаил Борисович!

– Ну, давай, иди уже, иди...

Когда она вышла, наконец, Миша повалился навзничь, закурил... Его трясло... Да нет, дело было не в девочке, а в том, что он сегодня, сейчас сыграл Сирано... сыграл почти так, как хотел... И благодарный зритель принял, черт побери, его трактовку образа!

Он еще думал об этом, улыбаясь, бормоча тихонько: «Как в серебро луны оправлен сумрак синий!..» – пока «сумрак синий» в огромных окнах спортзала не подернулся рассветным пеплом... В конце концов он, видимо, заснул... потому что, когда снова открыл глаза, ломоть солнца рыжим седлом лежал на кожаной спине «козла»... а рядом с пузатой думкой раскинулась веером четверка дружных двадцаток, которые неизвестная, но симпатичная Людмила оставила, жалея будить артиста.

Миша поднялся, потер ладонями лицо, потянулся, спрятал деньги в нагрудный карман рубашки и, минуя вестибюль под транспарантом: «С Новым, 1985-м годом!», покинул здание школы...

Он шел зимним лесом к электричке, сбивая снег с кустов посохом Деда Мороза, громко выкрикивая дурацкие, не пригодившиеся накануне прибаутки и чувствуя, что вчерашний вечер и минувшая ночь, и эти грузные от снега ели, и весь ослепший от звонкого солнца лес сплетаются во что-то неразрывно прекрасное, в какую-то огромную, огромную, вздох, жизнь...

С вершины богатырской ели в полном безмолвии перед его лицом заструилось перо неизвестной птицы, ввинчиваясь в толщу пронизанного солнцем воздуха, – так грузило пронизает толщу прозрачной воды, так скользящий жест милой руки пронизает толщу времени...

Во всяком случае, и двадцать лет спустя он ясно помнил, как трепетало это перо белым лезвием, планировало медленно и совершенно и, наконец, вонзилось острием в сугроб, словно, старинный писатель, завершив страницу, оставил свое стило в снежной чернильнице.





писатель, культуролог, эссеист, автор книг «60-е: мир советского человека» (совместно с П. Вайлем), «Американа» (совместно с П. Вайлем), «Вавилонская башня», «Темнота и тишина», «Довлатов и окрестности», «Сладкая жизнь» и др. Живет в США.

ПИРРОВА ПОБЕДА ФЕМИНИЗМА*

Недавно умерла Бетти Фридан – одна из самых влиятельных женщин в истории Америки, она, в сущности, создала идеологию современного феминизма, сумев найти ей практическое применение. Зачастую даже не вспоминая об этом, Америка во многом живет как раз в том обществе, которое придумала для этой страны Бетти Фридан. Если сегодня нам привычны женщины, служащие в полиции, церкви или армии, если нас не удивляют фигуры таких политиков, как Хиллари Клинтон или Кондолиза Райс, то все это потому, что в конце 50-х годов Бетти Фридан подняла бунт против женской идилии, которую она объявила кошмаром.

Став американской звездой первой величины, Бетти Фридан жаловалась: «Меня часто неправильно понимали. Мне приписывают лозунг: "Женщины всех стран, объединяйтесь! Вам нечего терять, кроме своих мужчин". Это неправда. На самом деле я провозгласила нечто другое: "Вам нечего терять, кроме своих пылесосов"».

А началось все с того, что в безмятежные 50-е годы наделенная блестящими способностями дочь эмигранта из России, психолог по образованию и народный трибун по темпераменту, Бетти Фридан вела жизнь домашней хозяйки, обремененной мужем, детьми и большим пригородным домом. Встретившись на традиционном сборе со своими однокурсницами, она обнаружила, что все, кто достиг того же домашнего рая, считают его адом. Этот, казалось бы, завидный образ жизни порождает постоянную депрессию, от которой нет избавления – ни в домашних заботах, ни в общественных нагрузках, ни в супружеской любви, ни в супружеских изменах, ни в терапии психиатров, ни в транквилизаторах фармацевтов. Об этом написана книга Бетти Фридан «Загадка женственности».

Став Библией послевоенного феминизма, эта книга только в Америке разо-

* Радио Свобода.

шлась тиражом более трех миллионов. В этом замечательно написанном труде, который и сегодня читается с тем же азартом, с которым он был написан 40 лет назад, Бетти Фридан звала женщин освободиться от комфортабельного домашнего ярма и стать тем, кем они могли бы быть, если бы им не мешали стереотипы половой психологии. Знаменитая книга подняла революцию за новое равенство женщин, которые потребовали – и добились – своей доли в мужском обществе.

Прожив продуктивную и долгую жизнь (она умерла 4 февраля, в свой 85-й день рождения), Бетти Фридан смогла увидеть плоды начатой ею революции. Ее принципы победили, феминистская утопия стала реальностью, чего бы это ни стоило женщинам. Об этом написала книгу чрезвычайно влиятельная журналистка Морин Доуд.

У этой немедленно ставшей бестселлером книги провокационное название «Необходимы ли мужчины?», но она могла бы называться и иначе: «Пиррова победа феминизма». Владимир Гандельсман начал разговор об этой книге с цитаты: «Когда я поступила в колледж в 1969 году, женщины выплывали из куколок, освобождаясь от корсетов, подкладных подушечек и прочих условностей. Одни начали имитировать мужчин, другие просто вести себя независимо: курить, выпивать, стремиться к деньгам, принимать противозачаточные таблетки». Так начинается свой разговор на тему феминизма автор книги, колумнистка New York Times и очень красивая женщина Морин Доуд. Мать, воспитывая её, полагала, что до тех пор, пока анатомия у полов разная, никакое мужское одевание или мужские повадки не сделают женщину мужчиной. Ни о какой одинаковости и равенстве запросов не может быть и речи. Что дарили такие матери девочкам, когда они становились девушками? Морин упоминает три книги: «Стать женщиной», «365 способов приготовления гамбургера» и «Как найти и удержать при себе мужчину». Следовало быть такой таинственной крошечкой-кошечкой с бантиком на шее. Ни в коем случае не саркастичной. Мужчины этого не любят.

Как мы знаем, карты смешала сексуальная революция. Для девушки, которая входила в век Равенства, эти книги быстро стали анахронизмом. Флирт в начале 60-х вышел из моды, а с ним и макияж, и идея «улавливания» мужей в свои сети. Казалось ведь, все проще: никаких игр и выдумок... И напрасно казалось. В 1995 году вышла книга «Правил» – библия наставлений, возвращающих женщину в дофеминистские времена. Наставлений типа: будьте спокойны и таинственны, улыбайтесь, носите черные колготки, заголяйте юбчонку, соблазняя мужчину, который вам нравится... Наша журналистка, с чьей цитаты я начал, поняла это до выхода «библии», когда ее подруга одолжила у нее ту самую мамочкину книжку «Как найти и удержать при себе мужчину».

Какие же параметры изменились со времен 60-х? Все нынче шиворот-навыворот. Например, деньги. Девиз феминисток: платите нам те же деньги за ту же работу. Естественно, и на свидании феминистки хотели платить на равных, доказывая, что они не приложение и не орнамент социума, а равное мужчине социальное существо. Сегодня чековая книжка – не повод для утверждения равенства. Юное создание больше интересуется своей сексапильностью, чем платежеспособностью. Хочет платить – пусть платит. Это замечательно.

Так же, как открыть дверь автомобиля и подать руку. Зачем нарушать ритуал? Сегодня девушка говорит: есть множество способов убедить меня в равенстве, не нарушая «неравного» (в смысле денег) ритуала свидания. Нарушение ритуала – хаос. Сейчас говорят о «девичьих деньгах». Изменился даже тип подарков на свадьбу: дарят посуду, фартуки с оборочками из магазинов старой закваски. Поворот к стилю 50-х заметен на любом уровне.

Еще одна проблема феминизма – бизнес-леди. Что стало с преуспевающей женщиной сегодня? Увы, она зачастую отпугивает мужчин. Морин Доуд рассказывает, что она как высокопоставленный журналист New York Times отпугнула человека (который впоследствии ей в этом признался), – он хотел сделать ей предложение, но вроде как испугался ее критических способностей. Да еще и вежливо предупредил, что ей никогда не найти пару – мужчины, мол, любят слабых и податливых. Вот так. Аромат (а лучше бы сказать – сильный запах) женской власти отталкивает. А притягивает... Ну, понятно, что притягивает. Есть там такая фраза: «Женщина, преуспевающая на работе, проигрывает в постели». Таков взгляд.

Недавно во время интервью одна красивая и преуспевающая актриса выпалила: «Не могу поверить, что мне 46 и я до сих пор не замужем. Сегодня мужчины женятся только на своих секретаршах». Так и есть. И об этом свидетельствуют социологические исследования. Оказывается, что мужчины предпочитают женщин нена начальственных еще и потому, что начальственные более склонны к измене. Один из ведущих ученых-биологов Стефан Браун теоретизирует: мужчина хочет свести риск того, что ребенок будет не его, к минимуму.

Получается, что чем женщина успешнее, тем менее привлекательна? На сегодняшний день, во всяком случае, это так. Есть «ужасные» цифры. Экономист Сильвия Хьюлет утверждает, что среди женщин с заработком выше 100 тысяч долларов – 49% не имеет детей, а среди мужчин с таким же доходом бездетных лишь 19%. Вывод: чем больше преуспевает женщина, тем меньше у нее вероятность выйти замуж и завести детей. Женщина, закончившая Гарвард, признается, что скрывала это от своего кавалера, ибо такого рода признание – «поцелуй смерти»: разлука неизбежна. Морин Доуд восклицает в сердцах: «И грустно и смешно! Я происхожу из ирландской семьи. Мои тетки обслуживали знатные американские семьи, были их няньками, уборщицами, кухарками. Я так гордилась, что сделала карьеру, недоступную моим тетушкам. И – пожалуйста: в цене опять прислуга». Понятие красоты тоже изменилось. Когда одна из феминисток писала, что все женщины – зайчики, это не было комплиментом, это был призыв к борьбе. Прошли десятилетия, и «зайчики» вернулись. Свои размышления Морин Доуд заканчивает весьма остроумно: «Я не любила феминисток за то, что эти дамы одевались одинаково, выглядели одинаково и думали одинаково. Они хотели свободы и задохнулись в похожести. Я не люблю сегодняшних юных антифеминисток за то, что они одеваются одинаково, выглядят одинаково и думают одинаково. Суть их поведения – диаметрально противоположна: быть объектом притяжения для мужчин, быть сексуальной, – но результат тот же: удушающее сходство».



этнограф, историк, политолог, аналитик, автор книги «Структурная модель политических технологий». Живет в России.

ИРАН – НАСЕЛЕНИЕ И РЕВОЛЮЦИЯ*

Демографические процессы играют значительную роль в новейшей истории Ирана. За последние сорок лет население этой страны утроилось и достигло сегодня, по официальным данным, 66 миллионов человек. Поэтому даже внешнеполитические проблемы иранцы склонны рассматривать через призму демографии. Например, ход боевых действий в Афганистане они толковали исходя из предположения о том, что СССР хочет изменить демографический баланс на севере Афганистана в пользу «антииранских» (тюркских) этнических групп.

Иранская революция 1978–1979 годов была совершена молодежью, которая, не находя себе места в деревне, вынуждена была отправляться в города (с 1975 года городское население Ирана превысило сельское). Исследователи назвали это явление «демографическим бумом революции» – в 1976 году прирост населения составил 3,9%. Во главе революции встало шиитское духовенство, «перепроизводство» которого привело к революционным результатам, аналогичным результатам перепроизводства светской интеллигенции в других странах. Ведь в исламе уход молодежи в религию не подразумевает уход от мира, что блестяще использовал Хомейни. Своеобразное гуманитарное образование, которое дают иранские духовные школы, позволило духовным лидерам сохранить свое влияние и в послереволюционные годы.

Сегодня прирост населения Исламской Республики Иран (ИРИ), по официальным данным, составляет 1,7% в год. Свои успехи в замедлении темпа роста населения (более чем в два раза по сравнению с шахским периодом) руководство ИРИ объясняет эффективностью разъяснительной работы. Од-

* Русский журнал.

нако как она может проводиться при полном отсутствии полового воспитания и запрете на пропаганду аборт, не вполне ясно. Скорее, достигнутый результат связан с процессом интенсивной модернизации иранского общества. Например, не могут не впечатлять масштабы вовлечения иранских женщин в общественную жизнь: свыше 50% школьных учителей, 30% преподавателей вузов, 20% госчиновников составляют женщины; в стране действует 248 женских неправительственных организаций; несколько сотен депутатов всех уровней – женщины.

Такой социальный прогресс (не говоря уже об экономическом росте) значительно превзошел все то, что было достигнуто в период, предшествующий революции. Его движущей силой стала созданная Хомейни политическая система, в которой, пожалуй, наиболее полно в истории воплотилась герценовская идея «использования национальных особенностей для построения социализма», если под «социализмом» понимать строгое следование плановому хозяйству с целью промышленной модернизации.

Политическая система современного Ирана устроена таким образом, что оперативное управление страной находится в ведении президента и парламента, которые избираются прямым тайным голосованием, а стратегические решения о путях развития государства принимаются высшим духовным авторитетом – рахбаром, который, в свою очередь, контролируется «советом мудрецов». Совет мудрецов – это собрание более чем ста великих аятолл, исламских авторитетов, из среды которых избирается рахбар.

Оборотной стороной такой политической системы стало появление нового класса собственников из духовенства, обогатившегося на постреволюционных конфискациях, приватизациях и субсидированиях отечественного производителя (уже 10 лет назад разрыв доходов в ИРИ составлял 15,5%).

Динамичное развитие иранской экономики (темпы роста ВВП составляют сегодня 4,8% в год) порождает непропорциональные ожидания в иранском социуме. Та же приватизация не всегда встречает понимание. По данным «Международной амнистии», большинство политических заключенных составляют студенты, протестовавшие против приватизации вузов.

Иранское общество при огромном удельном весе молодежи (свыше 31% населения младше 14 лет) по-прежнему управляется довольно ригидной властной структурой. Свыше 2% жителей ИРИ – учащиеся вузов. Если учитывать, что, по разным подсчетам, для успешной революции необходима поддержка от 2 до 10% населения, это достаточно серьезный резерв потенциально недовольных.

Экономика Ирана развивается на основе пятилетних планов. Кооперированное сельское хозяйство и городское ремесло находятся под властью министерства кооперативов, которое управляет ими директивно. Безработица, по официальным данным, охватывает 12,2% активного населения страны. Закупочные цены на продовольствие и энергию субсидируются за счет нефтедолларов, что позволяет удерживать общий уровень цен ниже, чем в соседних государствах. Однако возможности населения по приобретению потребитель-

ских товаров заметно ниже. Во многих провинциях подача электроэнергии ограничивается несколькими часами в сутки. Зависимость страны от экспорта нефти, накладываясь на дефицит электроэнергии, ощущается практически всеми отраслями экономики.

Сочетание роста населения с ростом его потребительских запросов угрожает стабильности политического режима ИРИ. Кроме того, рост населения является источником еще одной проблемы – национальной. По разным оценкам, персы составляют не более 50% населения ИРИ.

Из истории последних лет существования СССР хорошо известно, какую роль могут играть национальные меньшинства при развале многонациональных государств. Обычно в местах компактного расселения они выполняют функцию катализатора разрушительных центробежных процессов, что усугубляется склонностью элит выдвигать их представителей на важные государственные посты, занятие которых сопряжено с принятием непопулярных решений и возможной ответственностью.

В этом ракурсе чрезвычайно показательны появившиеся сообщения о принадлежности президента ИРИ Ахмадинежада к национальному меньшинству – талышам.

Программные выступления президента ИРИ живо напоминают о том, как в странах социалистического лагеря начинали реформы, перестройку и прочие преобразования, закончившиеся «бархатными революциями». С одной стороны, он яростно осуждает всякое сотрудничество с Западом, фактически обвиняя в компрадорстве столпов религиозного истеблишмента, а с другой – призывает к радикальному прорыву за счет ускорения промышленного развития. Социальное напряжение на селе предлагается снять за счет освоения целинных и залежных земель, находящихся в собственности государства.

Иран пытается разрешить проблемы, связанные с национальным вопросом, через запрет на использование национальной принадлежности в карьерных или деловых целях. Но тот же Ахмадинежад пришел к власти под персидско-националистическими лозунгами. Персидский национализм (всякий национализм запрещен шариатом) легализован в ИРИ под предлогом того, что «персидский – второй язык ислама». Это – идеология возрождения древнеперсидского великодержавия на основе индустриализации и компьютеризации ИРИ.

Интересно рассмотреть, каким народам (остальным 50% населения) предстоит осуществлять эти преобразования на благо великой Персии. Талыши являются третьим по численности национальным меньшинством (свыше 6% населения). Традиционно соседи талышей считают их наивными и излишне искренними: «дадут устное обещание и потом выполняют». Два более крупных «меньшинства» – азербайджанцы (до 25%) и курды (до 9%).

Азербайджанцы глубоко интегрированы во все слои персидского общества, в том числе и в совет мудрецов. Что касается курдов, то считается, что организационное ядро курдской националистической эмиграции было разгромлено спецслужбами ИРИ. Но теперь с появлением в Ираке мощного курдского автономного образования многое в этом вопросе может измениться. Другие значи-

мые национальные меньшинства составляют примерно по 2%. Это луры, бахтияры, белуджи, говорящие на индоевропейских языках, и кашкайцы и туркмены, говорящие на тюркских. Некоторая часть этих народов сохраняет кочевой образ жизни. Государство оказывает определенные преференции кочевникам – они являются основными производителями мясомолочной продукции (недостаток которой ИРИ вынуждена восполнять за счет экспорта).

Самое значимое нацменьшинство Ирана – арабы (по клятвенным заверениям иранцев, их не более 3%). Ведь конкуренты Ирана в борьбе за лидерство в регионе (в том числе и в нефтяном экспорте) – соседние арабские государства. Арабский язык в обязательном порядке изучается в средних школах как язык Корана.

Сегодня политический режим ИРИ находится перед дилеммой: развитие персидского национализма и экономический рост неизбежно влекут за собой политизацию нацменьшинств и усвоение западной потребительской культуры. Пропорционально современной экономике (и населению) растет и интеллигенция, необходимая для обслуживания модернизированного общества. Такая интеллигенция в первом поколении знакомится с западной культурой в основном на ее лучших экспортных образцах, что порождает желание «жить, как на Западе».

Будущее иранского режима напрямую зависит от его способности вырваться из замкнутого круга противоречий. Прогнозируя дальнейшее развитие событий, можно предположить, что парадоксальным образом правящему режиму ИРИ выгодно развитие событий по наиболее радикальному сценарию.

В случае введения экономических санкций ИРИ угрожает сократить нефтяной экспорт на 50%. Однако наиболее выгодным для «муллокрации» было бы применение силы. Причем интенсивность боевых действий не имеет значения. В случае если режим сохранится, даже атомный удар может сработать ему на пользу. Это – как ни цинично звучит – мальтузианское решение и проблемы перенаселения, и проблемы национальных меньшинств. Жертва «атомной агрессии» может рассчитывать на самое снисходительное отношение со стороны мирового сообщества. Кроме того, внешняя агрессия позволит надолго подавить очаги революционных настроений.



выпускник Ленинградской консерватории, скрипач, прозаик – автор романов «Обмененные головы» (1992), «Бременские музыканты» (1998), «Прайс» (1999, шорт-лист Букеровской премии), «Суббота навсегда» (2001), «Вий» (2005). Живет в Германии.

ЗАПАД ЕСТЬ ЗАПАД*

Я испытываю едва ли не чувство удовлетворения, следя за ходом военных действий в «карикатурной войне» (она действительно карикатурна). Возможно, это признание не делает мне чести, но оно делает заявку на честность. Если политкорректность – палка о двух концах, то мы имеем дело с другим ее концом. Отношение к политкорректности в России, прослышавшей об оной с сильным опозданием, отмечено редкостным единодушием: «Ха. Ха. Ха». Но я то уже более тридцати лет наблюдаю это явление с близкого расстояния, и мне не смешно. Ни ухмыляться, ни иронизировать я не стану.

Политкорректность – это разновидность опрощения, которым сопровождается покаянное хождение в народ, точнее, в народы – их много разных, включая и «женский народ» (по выражению Платонова). Известно, чем обернулось и как осмеивалось хождение угрызаемых совестью угнетателей к недоуменно презиравшим их угнетенным, – притом следует помнить, что соотношение тех и других, как в анекдоте: конь – рябчик; не только количественное, но и качественное.

По сравнению с народничеством, политкорректность ближе к епитимье, поскольку есть род ограничения. Например, нельзя называть вещи своими именами. То есть «своими именами» в рассуждении кающегося, иначе раскаяние превратилось бы в фикцию: «Ты не смеешь так говорить или так думать» – обращено может быть лишь к думающему так или говорящему так. (Симптоматично, что песня *Die Gedanken sind frei* в Германии относится к разряду непolitкорректных.)

Однако запрет на высказывание по причинам этического характера практически невыполним. Заповеди политкорректности не могут быть кодифицированы уже потому, что им нет числа. Верней, они – порождение культурно-исто-

* Грани.ру

рических ситуаций, мир же это калейдоскоп культур, менталитетов, обычаев, каждый из которых настаивает на своей исключительности. И если на земле есть что-то единое, некий общий знаменатель для всех и вся, то это цивилизация. Она одна для всех, и она – цивилизация европейская (дерзну я утверждать, при всем своем восхищении Тойнби с его двадцатью восемью цивилизациями: от Андской до Содомо-Гоморрской).

Но главное даже не в бесчисленности запретов и оглядок, а в том, что соблюдение одной заповеди автоматически влечет за собой нарушение других. В предельно политкорректном объявлении о конкурсе на замещение вакансии должно быть написано: «Предпочтение отдается исповедующим ислам многодетным матерям-одиночкам с безграничной инвалидностью». Первое здесь в безусловной вражде со вторым, что не имеет значения, поскольку все равно главным условием приема на работу является полная нетрудоспособность работника.

Хорошо, это *reductio ad absurdum*. Но я помню замешательство – на рефлексорном уровне, – когда Англия «вела неоколониальную войну» против Аргентины, в которой военная хунта тогда же «вела грязную войну» против своего народа. «Что я должна думать? Что я скажу детям?» – соседка в растерянности, и вроде бы не дура, просто такая, как все.

Оттого что политкорректность непереводима, ей отчаянней всего сопротивляется язык, родная речь – или, если говорить созвучно эпохе, спикер национальной культуры. Классический пример – смысловая перверсия слов «негр» и «черный» («афроамериканцы», «афроканадцы» вне обсуждения, их все равно язык не перемелет). «Негр», еще недавно такой лапушка, вот-вот разделит судьбу слова «жид», и, наоборот, «черного», почти что «черномазого», пытаются обелить (о, месть языка!). Сегодня сказать «негр» – как бы и перед другими неловко: слышится «ниггер», а скажешь «черный» – все еще неловко перед собою: чувствуешь фальшь. В результате: «Ну, она там с одним блэком встречалась...»

Что бывает за несоблюдение политкорректности? Именно так нужно ставить вопрос, поскольку она носит характер добровольно-принудительный, что-то наподобие субботника или подписки на заем. Здесь, как в Библии: заповеди политкорректности неравноценны, в большинстве случаев отказ следовать им чреват нареканием, но есть среди них одна, нарушить которую тебе не позволят физически. В этом смысле она, как заповедь «плодитесь и размножайтесь» – попробуй не соблюсти.

В ходе «карикатурной войны» Европа взялась было публиковать, наряду с дружескими шаржами на пророка, картинки, «задевающие религиозные чувства» свои собственные: мол, берите с нас пример, вышучивайте нашего Христа, как мы вышучиваем вашего. Мы к вам в претензии не будем. Давайте сообща создадим этакий антипантеон. Когда еще мне доводилось слышать, что Моисей заблудился в пустыне, вообще же он вел евреев в Швейцарию? Иисус пошел ко дну, позабыв, что у него дырявые пятки. И т. д.

Но сильным мира того, то бишь исламского, известно: симметрии здесь нет. Восемнадцатый век, Просвещение, энциклопедисты, вольнодумство – словом, все, что является основой современной цивилизации, сделали европейцев совер-

шенно индифферентными к тому, в чем церковь усматривала кошунство и за что именем Христа отправляла на костер тысячами. Походя отмечу: англосаксонский мир, не переживавший столь бурного романа с французским Просвещением, оказался в меньшей степени, чем континентальная Европа, затронут нынешним скандалом. На сей раз американские и английские флаги жгут по причине «исламской политкорректности» – чего не скажешь о датском, норвежском или французском флагах. Показательно: Франция, по части авансов арабам оставившая позади Россию, приютившая у себя некогда аятоллу Хомейни, – Франция не отдает ни пяди своей культурной территории. Ибо то, что для других цивилизация, для нее – культура. Россия Пушкиным тоже бы не поступилась.

В землях благодатного полумесяца сознают, что Запад, иллюстрируя «Карманное богословие» Гольбаха (в иудео-христианской его части), великого святотатства для себя не совершает. Все в прошлом. Главная реликвия Запада сегодня – это Холокост, он святая святых. И сионистское лобби тут ни при чем. Было даже время, когда в Израиле о Холокосте предпочитали не вспоминать: позор нации. Один из аргументов против идиша в тогдашнем идеологическом арсенале сионизма: на этом языке говорили те, кого, как стадо баранов, гнали на бойню. Только на процессе Эйхмана стало очевидно: в идейном плане Холокост неисчерпаем. Тогда-то эти шесть миллионов из презренных галутных евреев, поплатившихся жизнью за нежелание внять героической трубе сионизма, превратились в мучеников, чья память священна.

Холокост – первая заповедь, начертанная на скрижалях политкорректности. Если не соблюдающий прочих заповедей гражданин Евросоюза может отделаться, так сказать, общественным порицанием, образно говоря, «от него отвернутся товарищи», то нарушение заповеди о Холокосте уже вполне наказуемо: могут уволить с работы, а могут и срок дать – зависит от обстоятельств дела. Несколько лет назад один немецкий оркестрант на гастролях в Израиле брякнул официантке, которая подала ему счет: «Гитлер заплатит». С его стороны это была неуклюжая шутка, но она стоила ему места: немец, произносящий такое в Израиле... Да в Германии само имя «Адольф» под запретом (хотя можно было бы и не запрещать: кому придет в голову назвать свое чадо Чертом).

Или другой случай, памятный всей Германии, поскольку сие транслировалось по телевидению. В годовщину Хрустальной ночи (была круглая дата) на специальном заседании бундестага его председатель в покаянной речи допустил незначительное отклонение от канона – в том духе, что, дескать, к несчастью, мы, немцы, были ослеплены своими успехами. Эти «успехи» оказались для него роковыми. Не прошло и двух часов, как оратор, заканчивавший свое выступление уже при пустом зале, подал в отставку. За нечаянно быют отчаянно.

Предумышленное оскорбление памяти жертв Холокоста – для чего достаточно не усомниться в массовом уничтожении евреев – уголовно наказуемо, оно подпадает под действие закона об «освенцимской лжи» (Auschwitzluege). Этот закон не из тех, что существуют лишь на бумаге, – он применяется на практике, в чем осужденные, вероятно, видят давление еврейских кругов. А напрасно. Изначально евреи отнюдь не принуждали христиан к покаянию – как крепостные не при-

нуждали к покаянию помещиков, больные – здоровых и т. д. Недаром революции совершаются теми, против кого они направлены. Но как не потребовать свою законную виру, когда есть такая возможность – вот еврейство ею и воспользовалось. Да и поныне пользуется – боюсь, на свою голову. Я помню трех-четырёх-летнего мальчика – ангельское создание: льняные волосы, голубые глаза, – который сделал для себя удивительное открытие: оказывается, стоит сказать в магазине «я еврей», как обязательно получишь что-нибудь вкусненькое. Это продолжалось до тех пор, пока он не сказал волшебное слово в греческой лавке...

Делать ставку на чью-то политкорректность соблазнительно, но, во-первых, рискуешь столкнуться с политкорректностью, обслуживающей противную сторону, а во-вторых (конечно, правильной было бы первое и второе здесь поменять местами), это еще и верный путь к деградации: много ли дала Африке экономическая политкорректность развитых стран? Вечный статус жертвы приводит раньше или позже к летальному исходу.

Когда слышишь, что в лице ислама двадцать первый век столкнулся с каким-нибудь там ...дцатым веком, хочется возразить: «Уже нет». После Освенцима понятие святотатства вновь актуализировалось в европейском сознании. Европа склонна отказаться от того важнейшего, что принесло с собой Просвещение, а именно – от разделения права и морали. «Я с вами не согласен, но готов умереть за ваше право это говорить». Благодаря законам об «освенцимской лжи», о «пропаганде расовой ненависти» и т. п., Запад, по сути дела, оказался в том же ...дцатом веке. О войне анахронизмов – какой-то умник называл это войной цивилизаций – можно забыть. В царстве мулл теперь с полным основанием могут сказать: «А у вас негров линчуют», – у нас свой Мухаммед, у вас свой. (Хотя допускаю, что для этих толп, сокрушающих датские посольства, все дело в оскорблении племенного божества. Несмотря на космополитический характер ислама, в этом допущении нет ничего шокирующего – существует же такая форма духовной самоидентификации, как «русский, православный», что естественно вытекает из образа «русского Христа».)

Безумие – развращать других и самому быть развращаемым иллюзорными выгодами, которые сулит политкорректность, в действительности лишь способная столкнуть всех лбами. Наоборот! Двигаться надо в противоположном направлении: *Die Gedanken sind frei*, «мысли свободны». Право высказывать их – вот символ веры цивилизованного человека. Универсальная религия. К этому должно приучать «меньших братьев», коих и среди аборигенов Запада большинство, – а не идти на поводу у тех, кто убежден: давать по морде в ответ на сказанное – «пр-р-ральна».

Залог процветания, быть может, даже спасения человечества – либерализм экономический – невозможен без либерализма нравственного. На все возражения, а их очень легко можно себе представить, замечу лишь, что не карикатуры в «Штюрмере» породили нацизм, а наоборот. Они были орудием нацизма, который никогда бы не позволил на карикатуру ответить карикатурой.



философ, культуролог, публицист. Бывший политзэк. Автор многочисленных философских работ и эссе. Живет в России.

ЧЕРЕЗ ПУТАНИЦУ ДОБРА И ЗЛА*

История – это очень коварная госпожа. Каждый её вызов может быть осознан, но результаты ответа людей нельзя предвидеть.

Когда люди стали замечать сдвиги, происходящие в обществе, и заметили существование Истории, оказалось, что это очень коварная госпожа. Каждый её вызов может быть осознан; каждая задача отделена от других, определена – и в человеческих силах оказалось создать проект решения. Но совершенно невозможно предвидеть, к чему приведёт выполненный проект. По мере исполнения доброе дело оплетается множеством фактов, которые не учтёшь, и приносит злые плоды. Ад вымощен благими намерениями – Анатоль Франс написал об этом рассказ «Чудо святого Николая». И, наоборот, дело, начатое со злым сердцем, со злой целью и злыми средствами, может где-то обернуться добром (на этом основано хвастовство Мефистофеля, положительная оценка Чингисхана, создавшего зону свободной торговли, и т. п.).

Я отвлекаюсь от того, что Чингисхан саму войну считал добрым делом. Я выношу за скобки все войны и революции. Какими прекрасными ни были цели, каким искренним ни был порыв освободительной войны, священной войны, ясно, что насилие – средство, способное пожрать любую цель, и в ходе долгой войны цели её неизбежно подменяются – и подменяются люди, начавшие освободительную борьбу. Поэтому возьмём пример мирного проекта, начатого с добрыми намерениями и выполненного добрыми средствами.

В 1948 году возникла проблема беженцев, мешавшая заключить перемирие между арабскими странами и Израилем. Бедные арабские страны не соглашались взять на себя прокорм беженцев. Число беженцев определялось по-разно-

* INTELLIGENT.ru

му: от 550 тысяч до 900 и даже 1 300 000. Английская оценка может считаться компромиссной (примерно 750 000). Две богатые страны, Англия и США, взяли содержание беженцев на себя. Выделенные средства позволили бы организовать расселение беженцев и включить их в нормальную жизнь Египта, Сирии и т. д. Однако арабские страны принципиально отказывались от этого, они требовали возвращения беженцев на незаконно отнятые земли. Таким образом осталась только одна возможность: благоустроить жизнь беженцев в лагерях.

За год до этого в ходе раздела Индостана число беженцев достигло 16 миллионов. Достаточной помощи не было. Индия и Пакистан вынуждены были сделать то, что делали греки с беженцами из Турции, немцы с населением Восточной Пруссии и Силезии: расселять на новых местах. Через пару лет проблема беженцев исчезла со страниц газет и журналов.

На Ближнем Востоке мешало принципиальное несогласие признать реальность Израиля, и развитие пошло другим путём. Объединённые Нации, получив средства от Англии и США, создали в лагерях беженцев удовлетворительные условия жизни; молодёжь училась, получала начальное, среднее и высшее образование. Арабские страны (многие из которых стали богатыми) полностью стряхнули с себя эту проблему. Палестинцам давали работу, но не предоставляли прав гражданства, социальное страхование и т. п. Палестинец всюду чувствовал себя изгоем, и всюду росло чувство обиды без вины виноватых.

Особенно ярко горел костёр обиды в лагерях, где оставались подрастающие дети. Они были беженцами от рождения до смерти. Лагеря стали школами ненависти, накал которой всё рос. Произошло что-то вроде превращения временной припухлости в постоянную и злокачественную опухоль. В этой психической опухоли злокачественные клетки стремительно размножались и создавали метастазы. Люди, в душе которых растёт и растёт обида, не способные расстаться с обидой, ставшие воплощением обиды, полны разрушительной энергии. Такая энергия создаёт катастрофы, как Настасья Филипповна в романе «Идиот» – она способна взорвать мир.

Человеку, переполненному обидой, всё позволено. Он это сознаёт и позволяет. Столкнулись две обиды: израильтян за Холокост и арабов за потерю Палестины. Сложился тип недоучившегося студента, ставшего террористом. Мы его хорошо узнали в России. Первыми террористами на Ближнем Востоке были выходцы из нашей страны; потом они выиграли войну и стали противниками террора, но дети арабских крестьян, выучившись за счёт ООН, окунулись в террор, как в родную стихию.

Накал возмущения, копившегося у беженцев, хорошо описан в книге Фаваза Турки «Дневник палестинского изгнанника». Я реферировал эту книгу и хорошо её помню. Сегодня этот накал интеллигентского возмущения, похожего на пафос революции, слился с фанатизмом традиционной религии и создал тип шахида – рыцаря глобального террора. Так доброе решение, выполненное добрыми, мирными средствами, привело к злу, с которым никто не может справиться. И это не единственный пример.

Обратимся теперь к действию, начатому с заведомо недобрыми намерени-

ями: к подхлестыванию нашего наступления от Курской дуги до Берлина. Летом 1943 года, после двух прорывов Южного фронта немцев по реке Миус, наша пехота представляла собой довольно жалкое зрелище. На запад катились «студебеккеры» и «шевроле» с прицепленными к ним орудиями, а за ними плелись в пыли уцелевшие пехотинцы. Немцы не мелочились, сразу отходили на хорошо подготовленную линию Вотана. И я подумал: ну что ж, исход войны решён. Теперь эти «студебеккеры» и «шевроле» доведут наши пушки до границы. А Гитлера пусть добивают союзники; мы своё дело сделали.

Сталин думал иначе. В освобождённых областях мобилизовали мальчиков и стариков, избежавших угона в Германию, и пополнили стрелковые роты пушечным мясом. Возвращались в строй и легко раненные, но основной массой стрелков были «трофейные солдаты». Они легко терялись в бою и гибли несравненно чаще, чем ветераны. Обучать некогда было. Сталинские приказы требовали наступать, не считаясь с потерями.

Чего хотел Сталин? Захвата Восточной Европы, а с этого трамплина – и всей Европы. Бессмысленная затея ничего не дала, кроме растраты народных сил России и ненависти покорённых народов, исторически чуждых Российской империи, не желавших входить в неё и не примирившихся с порабощением. Ради этой цели, оказавшейся призраком, исчезнувшим через несколько десятков лет, солдаты и офицеры наступающей армии накачивались духом ненависти и мести, и дух этот вырвался на волю, когда мы перешли долгожданную границу, когда мы оказались «в логове зверя».

Однако допустим, что Сталин пожалел солдат, снизил темп наступления и предоставил Европу союзникам, несравненно более близким народам Центральной Европы, чем русские. Как бы союзники выполнили свою задачу? Пошли бы они на жертву миллионами жизней солдат или пустили в ход атомную бомбу?

В августе 1945 года бомбы уже были готовы. Готовились они не для Хиросимы и Нагасаки, а для Берлина и Эссена. Эйнштейн написал своё письмо Рузвельту в 1942 году, когда флаг со свастикой развевался на Эльбрусе. Казалось, что только атомная бомба может остановить Гитлера. Оппенгеймер и его команда физиков-антифашистов работали для этой цели. И медлить нельзя было: немецкие физики тоже трудились над изобретением секретного оружия...

Гитлер не капитулировал бы со второй бомбы, как Хиروهито. Он не был потомком богини Аматерасу, оставшимся после капитуляции в своём дворце. Если бы фюрер не покончил с собой, его повесили бы. И после первой пары бомб он продолжал бы сопротивление до десяти, до двадцати атомных грибов, до превращения Центральной Европы в выжженную пустыню, из которой ветер разносил бы облака радиоактивной пыли на запад и восток, на север и юг.

Когда мы думаем о советских солдатах, их ничем не оправдываемая жестокость весной 1945 года кажется каплей зла сравнительно с атомной катастрофой, от которой армия, штурмовавшая Берлин, спасла Европу. Наши солдаты – простодушные варвары, к тому же одурманенные пропагандой И. Эренбурга и других публицистов, взывавших к ненависти и мести. Бывают состояния аффекта не только у отдельных людей, но и у целых армий, целых народов. Состояние аффек-

та позволяет суду оправдать преступника. Но у Сталина не было временного помрачения, было постоянное господство мрака, и оно не заслуживает оправдания.

Покойный Вениамин Львович Теуш, сосед и друг четы Солженицыных в Рызани, написал комментарий к «Одному дню Ивана Денисовича». Из этого самиздатского текста мне запомнилось различие между человеческим и дьявольским злом: человеческое ожесточение перегорает и гаснет; дьявольское зло негасимо. Человеческое чувство различает врагов и друзей; дьявол с наслаждением мучает и истребляет свои собственные кадры... Моделью дьявола для Теуша явно был Сталин.

Поведение наших солдат и офицеров в Германии показало, что ни христианизация на византийский лад, ни цивилизация на западный лад не были доведены в России до конца. Лесков писал об этом ещё до разрушения культурного слоя, из которого брались царские офицеры: «Евангелие в России ещё не было проповедано». Под тонким покровом культуры шевелился хаос, и напряжение войны вытолкнуло наружу наследников викингов, зарезавших Бориса и Глеба и простодушно хваставшихся своим подвигом. Ибо это деяние, окаянное в глазах иноков, ничем не противоречило варварской лестнице ценностей: «золото, женщины, месть, слава». Грабежи и насилия над женщинами не противоречили солдатскому пониманию воинской доблести.

Для людей, иногда даже образованных, но оставшихся душой на уровне дружин Ярослава, Сталин долго ещё будет кумиром. Стихотворение С. Куняева о Карле XII хорошо передаёт их чувства. Они гордятся родством с бичом Божьим, как монголы – родством с Чингисханом. Чтобы избавиться от этого наваждения, недостаточно перекреститься на икону. Нужно преображение. Я не теряю надежды на творческое меньшинство. Но дух Сталина не раз ещё будет искушать народ, хотя бы прах изверга был заложен в царь-пушку и выстрелом развеян по ветру.

Параноидный клубок в душе Сталина стал преемником «анонимных сил» истории, вырвавшихся наружу в 1914 году и с тех пор не обузданных. Об этих силах хорошо написал М. Гершензон: «Вокруг человека и в нём самом кишат неслетные силы, о которых он вовсе не может быть осведомлён сознательно; эти силы, неуловимые для разума, чрезвычайно энергично действуют в мире... Эта война сразу приняла такие размеры и такой характер, что её смысл как мировой катастрофы обнаружился с первых дней. Кажется, новый потоп, но уже не водный, а огненный, послан на землю за беззаконие людей... Эта чёрная туча, разразившаяся кровавым ливнем над Европой, скоплась в течение многих лет... В нравственном мире, как и в физическом, есть свой закон сцепления, и порою рассеянный в мире грех собирается в грозные тучи, смывающие города и истребляющие целые царства. Нужно дать себе ясный отчёт в этой простой истине, и нужно это для того, чтобы не бледнеть лицемерно или наивно перед ужасом войны, не видеть в ней внезапную напасть и не откешиваться от ответственности за неё... За нынешний ужас каждый в прошлом виновен, и по делам теперь каждому нести свою часть кары. Для нынешней катастрофы нам уже поздно каяться и поздно учиться, но надо сознать былую ошибку и научить детей».

Гершензон говорил это в Киеве 29 марта 1917 года. Бедствия тогда только

начинались. Они намного превосходили ужасы Первой мировой войны. Текст его лекции о кризисе современной культуры звучит так, как если бы она состоялась после всего страшного опыта XX века. Как избежать продолжения этого опыта, не поддаться обаянию медиумов «анонимных сил», преворачивавших вверх дном народы и государства? Как сохранить свою внутреннюю свободу перед лицом сатанинского величия?

Принципы здесь не спасают. Нет такого злого дела, для которого нельзя найти прекрасного основания. «Zu Grunde kommen ist zu Grunde gehen», – писал Гегель («Прийти к основанию – значит, пойти ко дну»). Спасает чувство «Божьего следа», как это назвал Антоний Сурожский: «Действия Христовы рождаются изнутри глубинного созерцания, и только из глубин созерцания может родиться деятельность христианина. Иначе это будет деятельность, основанная на принципах – нравственных, богословских или любых принципах; но сколь бы ни были они истинны, прекрасны, справедливы, они не соответствуют божественной динамике, внезапной динамике небывалого, непостижимого, в чём именно характерно действие Божье. Мы, христиане, призваны жить на большей глубине, жить глубокой внутренней жизнью – но не в смысле обращённости на самих себя. Мы призваны уйти глубже этой обращённости, и самая эта глубина позволит нам взглядеться долго, спокойно, пламенно-чисто в канву истории, канву жизни и благодаря такому созерцанию, глубокому взглядыванию различить в ней след Божий, нить Ариадны, золотую нить, красную нить, которая укажет, куда Бог ведёт нас среди окружающей нас сложной целостной жизни. И тут громадная разница между мудростью и человеческой опытностью. Опытность – результат прошлого, накопленный человеческий опыт, она обращена к пережитому, опыту более обширному, чем личный опыт, и делает выводы интеллектуально основательные, точные, глубокие. А мудрость поступает "безумно". Мудрость состоит в том, чтобы погрузить свой взор в Бога, погрузить свой взор в жизнь в поисках того, что я только что назвал следом Божиим, и действовать безумно, нелогично, против всякого человеческого разума, как нас учит поступать Бог».

Мудрость, если перевести слова владыки Антония на книжный язык интеллигента, – это скачок интуиции, не требующий никакого логического обоснования. Скачок интуиции, выводящий из тупика логических построений, основанных на прошлом опыте, неприменимом к неслыханной новизне. Это мудрость постоянного взглядывания в неожиданные и небывалые повороты жизни. Она не гарантирует от ошибок, но даёт возможность быстро исправлять их, постоянно ставя созерцание целого выше аксиом (принципов) и логических выводов; не отказываясь от аксиом и логики, но постоянно сознавая их несовершенство в попытках ухватить истину. Мудрость требует выхода за рамки своей обусловленности эпохой и культурой, требует готовности к диалогу, в котором дух Господа, объединяющий людей, ставится выше столкновения реплик. Но для этого требуется взгляд на современные споры как бы с неба, как бы с птичьего полёта, перешагивая через противоречия, охватывая их в некоем метахудожественном и металогическом единстве...



ДЕТИ, ТВОРЯЩИЕ ЗЛО... КТО ВИНОВАТ?*

Агрессия – это часть нашей жизни

В проявлениях агрессии нет ничего необычного или патологического. Агрессия присуща каждому из нас так же, как и проявления добра, сострадания или других чувств. Она возникает всегда, когда человеку внутри **не по себе**. Агрессия может быть и конструктивной. Стремление побеждать в соревнованиях, быть первым, защищать себя и других, активно продвигаться по карьерной лестнице – всё это тоже проявления агрессии, только конструктивной, которая поощряется в обществе. Осуждается деструктивная агрессия – насилие, разрушение окружающей среды, саморазрушение.

Часто говорят, что в последние годы резко возросла агрессивность детей и подростков. Можно ли утверждать, что наше время отличается особой жестокостью детей? Думаю, что любой ответ будет субъективен. Заглянув в историю, мы увидим, что во все времена случались массовые кровопролитные войны, беспощадное уничтожение целых народов, агрессивное противостояние людей разной веры, взглядов, национальностей, классов. Агрессия проявлялась всегда и на всех уровнях жизни общества: в политике, бизнесе, семье. В среде подростков и молодёжи стычки тоже были всегда. И всегда они отличались особой жестокостью и нетерпимостью.

Конечно, были исторические периоды более спокойные и менее. Думаю, что наше время исторически не самое жестокое, хотя и не самое гуманное. Важнее другое: всегда и во всех странах были и есть люди, которые озабочены агрессией и насилием среди детей. Педагоги и другие специалисты, работающие с детьми, считают, что в последние годы замечен рост насилия в школах и даже в детских садах.

Насилие в школах

Известный швейцарский психолог и психиатр Аллан Гуггенбуль в своей книге «Зловещее очарование насилия» (СПб., 2000), посвящённой детской и школьной агрессии, называет несколько важных причин роста насилия в со-

* INTELLIGENT.ru

временной школе. В их числе исчезновение уличных игр из жизни детей. Игры детей на улице в наше время и в нашей культуре, действительно, стали достаточно редким явлением. Школьники перегружены учебными программами и домашними заданиями. Кроме того, родители стараются так занять свободное от школы время ребёнка, что для прогулок времени у детей просто не остаётся.

А ведь на улице дети проживают именно **свою жизнь**, а не навязанную взрослыми. Здесь же у подростков происходит то, что психологи называют **групповой динамикой**, или созданием отношений. Пребывание в группе позволяет им прочувствовать феномен человеческого бытия полноценно, хотя и не всегда позитивно. В уличных играх дети определяют своё место, статус в группе, свою идентичность. Там случаются и достаточно жёсткие столкновения «кто кого», завоевание лидерства между группами и внутри них.

Теперь же подобные выяснения отношений переносятся в школу. А здесь эти процессы происходят не так естественно и не так быстро, как на улице, на них накладывается множество ограничений: это и школьные порядки, и контроль взрослых, и школьный статус подростка, который далеко не всегда совпадает с его положением в группе сверстников, и наличие «посторонних», и многое другое.

Ещё одна причина роста детской агрессивности, по мнению Гуггенбуля, связана, как ни странно, с **гуманизацией и демократизацией образования**. Эти позитивные процессы уравнивают детей и взрослых в правах и приводят к тому, что у детей исчезает страх, трепет перед школой и учителями. Но при этом учитель перестаёт быть и непререкаемым авторитетом, способным остановить насилие и агрессию.

Прямая связь существует также между трудностями в обучении и агрессивностью. Растёт число детей с проблемами в обучении – растёт и школьная агрессивность. Всем детям хочется быть успешными в учёбе, иметь друзей, быть популярными, то есть **быть кем-то, кто имеет значение**, но не всем это удаётся. И тогда они заявляют о себе агрессивными выходками.

«Мне плохо!»

Существует ещё целый ряд социальных факторов, влияющих на рост детской агрессивности: насилие в обществе, войны, терроризм, расслоение общества на богатых и бедных, безработица, пьянство и наркомания. А неполные семьи... Их число неуклонно растёт. Исследования же показывают, что у детей из неполных семей ниже самооценка, выше тревожность, неудовлетворённость и, как следствие, – агрессивность.

Действительно ли в последние годы дети стали более жестокими? Я не могу утверждать это наверняка. Но вполне очевидно, что стало много поразному неблагополучных семей, в которых взрослые недовольны собой или своей жизнью.

Главным условием хорошего самочувствия ребёнка является жизнь в семье, где ему рады, где его любят именно таким, **каков он есть**, и проявляют внимание к тому, что заботит именно его. Если родители не справляются со

своей жизнью, или она, по их мнению, идёт «не так», то дети в таких семьях могут быть «лишними». Постоянные упреки, замечания, смысл которых можно обобщить фразой «ты не такой, как надо, ты создаёшь проблемы своим существованием», воспринимаются детьми как отвержение.

Иногда родители ждут от детей воплощения своих неосуществившихся замыслов. Дети должны постоянно «оправдывать надежды», то есть осуществлять не **своё бытие**, а мечту родителей.

Родительская гиперопека на первый взгляд демонстрирует любовь и заботу, но при этом родители контролируют все сферы жизни своих детей под девизом «как бы чего не вышло» или «без нас ты не справишься». По сути дела, для ребёнка это означает недоверие к его способности **самому нести ответственность** за свою жизнь.

В любом из перечисленных случаев у ребёнка возникают протест, несогласие, которые принимают форму бессознательной и часто смещённой агрессии. Он начинает вести себя совершенно неадекватно с точки зрения окружающих: может направить свою агрессию на сверстника, на более слабого человека, на учителя, кошку, собаку, на телефонную будку. Или на самого себя – и тогда это будет саморазрушающее поведение (наркомания, суицид и др.).

«Мне плохо!» – «кричит» ребёнок этими своими поступками нам, взрослым. Но мы не слышим. Большинство взрослых видят только то, что на поверхности: опрокинутую урну, разрисованный подъезд, «дикие» причёски, следы татуировок и пирсинга.

«Я есть!»

Любое поведение имеет смысл. И агрессивное тоже. Мы часто задаём вопрос, почему подросток так поступает? Мы ищем причину, пытаемся найти в его детстве, в его семье нечто, на что он сегодня «отреагировал». Другой вопрос: **для чего** он это делает, помогает нам понять цель или смысл поведения.

Что стоит за внешне вызывающим или агрессивным поведением? Может быть, ребёнку это необходимо для того, чтобы его заметили: «Пусть я не такой, как надо, я плохо учусь, но **Я ЕСТЬ!**». В этом – смысл его поступков.

«Я есть!» – это то, в чём хочет утвердиться каждый ребёнок и подросток и чего не хватает многим детям. Родительское внимание часто ограничивается материальной сферой, заботой о здоровье и дежурными вопросами: как дела в школе, нет ли «двоек» и замечаний в дневнике. Исполнив «родительский долг», мамы и папы редко задумываются о внутреннем состоянии детей, об их настроении, удовлетворённости жизнью, об их отношениях с другими, о статусе в классе.

А все ли дети имеют признание в школе? Учитель не может уделить внимание каждому ребёнку. Обычно его удостаиваются лишь самые успешные и самые отстающие. А если ребёнка не замечают, он «теряет себя», ведь у него ещё не развито самосознание. Ребёнок нуждается в постоянном подтверждении своего присутствия в мире. Если ребёнка любят, улыбаются ему, общаются с ним, он «отражает» себя как «присутствующего» и «хорошего». Если им по-

стоянно недовольны, он «отражает» себя «плохого». Если же его не замечают, он делает всё что угодно, чтобы «не потерять себя»: цепляется к окружающим, издаёт какие-то звуки, чем-то кидается, дерётся, ноет, смеётся без причины и так далее и тому подобное.

Другими словами, если ребёнку или подростку не хватает **чувства бытия**, если ни дома, ни в школе, ни на улице его не замечают, то ему обязательно нужно как-то о себе заявить. Один из способов – агрессивное поведение. Особенно, если его уже убедили, что он «плохой». Плохой ведь и должен поступать плохо.

Вглядитесь повнимательнее в поступки ребёнка и вы услышите, что его мучает: «Я докажу всем вам, что я что-то значу. Я терпеть не могу, когда на меня смотрят, как на пустое место!» Или другое: «Я совершаю зло, так как не верю в добро. В моей жизни его не было». А может быть и так: «Моя жизнь пуста. Я ничего не чувствую. Это непереносимо. Поэтому я делаю что-то, что вызывает чувства у вас – мне интересно их наблюдать».

«Я что-то значу для других»

Социологи подсчитали, сколько разрешённого времени во время уроков ребёнок имеет для выражения себя и своей точки зрения. Оказалось, в среднем, две минуты в день. Выходит, в школе у подростка очень мало возможностей открыто проявить себя. Неудивительно, что детям так хочется разговаривать во время уроков. И чем строже учитель, чем меньше «болтовни» он допускает, тем чаще дети во время перемены или на следующем уроке у учителя, не такого строгого, сбрасывают агрессию. Особенно, если были недовольны своей ролью на уроке.

Наверняка, многие замечали: один на один с учителем, родителем или психологом хулиганы, забияки и прочие злостные нарушители дисциплины обычно агрессию не проявляют. Дети ведут себя по-разному, когда они находятся на расстоянии от авторитетного взрослого и когда они оказываются рядом, «глаза в глаза» с этим человеком.

Скажу по своему опыту: огромная разница – работать с детьми как учитель в классе и как психолог, один на один. Когда мы с ребёнком «глаза в глаза», он знает, что **он для меня есть и я принимаю его** без всяких условий. Он видит внимание к себе, чувствует, что важен для меня – и ведёт себя совершенно иначе. Эта значимость исключает агрессию. Может быть, многим детям действительно не хватает ощущения того, что они что-то значат для других людей?

В моём кабинете иногда собираются ребята, которых в школе считают трудными. В нашем общении мы ценим именно то, что можем поговорить о чём-то важном для них. В это время их трудно назвать агрессивными.

Монстры на бумаге и в душе

Может показаться, что нагляднее всего агрессивность видна в рисунках современных детей. Бытует представление, что по рисунку психологи и психиатры ставят пациентам диагноз. А некоторые учителя рисования утверждают, что

чаще стали встречать в работах учеников тёмные, мрачные тона и агрессивные элементы. Даже известные сказочные персонажи, например Баба-Яга, Кощей, Великан, наделяются «дополнительно» оскаленным ртом, клыками, когтями, мечами, пистолетами и даже огнёмётами. Бывает, что вполне благополучные на первый взгляд ребята из приличных семей рисуют страшных монстров и жестокие сцены кровавых убийств. Один хороший мальчик, например, нарисовал любимую маленькую собачку с огромными острыми клыками, а другой, изображая Ботанический сад, пририсовал в уголке повешенного кролика.

Что сказать на это? Вряд ли по перечисленным наблюдениям можно делать какие-то определённые обобщения. Агрессивный рисунок налицо, но что он значит, что говорит об авторе?

Психологи, действительно, часто используют рисунки как диагностический материал. Но обычно рисунок применяется в качестве вспомогательного, а не основного средства. Делать выводы об эмоциональном состоянии ребёнка лишь на основании рисунков, и тем более, если рисунок только один, неправомерно. Так, например, краски преимущественно тёмных, мрачных тонов могут использовать дети как в состоянии депрессии, протеста или находясь в плохом настроении, так и просто срисовывая у соседа или воспроизводя по памяти рисунок с заданным изображением. А такие элементы, как шипы, когти, клыки, действительно, часто рисуют дети агрессивные, но нередко – и совсем неагрессивные, даже боязливые. Дети и подростки часто рисуют именно то, чего боятся, тем самым бессознательно пытаясь избавиться от своего страха. Некоторые агрессивные фантазии, в частности, в виде рисунков, воображаемых картин или литературных произведений могут играть компенсаторную роль у тревожных, чувствительных людей с богатым воображением или в состоянии фрустрации (неудовлетворённости). А иногда детям просто нравится шокировать взрослых своими рисунками, или они бездумно повторяют друг за другом то, что возбуждает или вызывает смех.

Показательно, что иногда, рассказывая мне о монстрах и других отрицательных персонажах своих работ, дети говорили, что те стали такими потому, что «их никто не любит». Или потому, что «с ними люди жестоко обращались – и теперь они им мстят».

Главное для определения эмоционального состояния ребёнка или подростка – это его поведение в школе, дома, а также характер его отношений со сверстниками, взрослыми, его отношение к миру и к себе. Рисунок может передавать неблагоприятное эмоциональное состояние ребёнка. Но гораздо **важнее обнаружить не следствие, а источник этого состояния**. Например, детей в школе просят нарисовать свою семью или портрет папы, а какой-то малыш зло бросает карандаш, другой же начинает плакать. Им некого нарисовать...

Пойдём в кино, посмотрим «ужастик»?

Часто приходится слышать, что в росте детской агрессивности виновны средства массовой информации и кино, излишне натуралистически показыва-

ющие сцены жестокости и насилия. Что детей необходимо «защищать от влияния СМИ, как от наркотиков». Что из-за масс-медиа мы все «привыкаем к жестокости и даже ждём, когда нам покажут что-нибудь эдакое». В итоге современные дети якобы воспринимают кровь, убийства, поножовщину как нечто обыденное, более того, начинают считать, что это здорово, «круто». Они уже не осознают, что речь идёт о смерти, «зомбированы» окружающей жестокостью и воспринимают доброту как нечто сусальное. И мы, согласно такому мнению, бумерангом получаем агрессивность детей. Нас грабят в подъездах, бьют, обворовывают...

Аллан Гуггенбюль говорит по этому поводу так: «Считать, что ребёнок имитирует сцены, увиденные им с экрана телевизора или видео, в масштабе один к одному, было бы крайним упрощением. Если бы примеры были настолько заразительны, наши школы имели бы гигантский успех». Действительно, ведь учителя в школе демонстрируют детям так много хороших примеров...

Определяющим являются не наблюдение жестокости и насилия, иначе все поголовно ими «заразились» бы, а характер реакций детей на эти сцены. Гуггенбюль проводил исследования с участием большой группы детей – наблюдал за юными зрителями при просмотре фильмов с элементами насилия и убийства. В своей книге он приводит несколько форм их реакций. Часть детей воспринимала подобные сцены как что-то нереальное, существующее только в виртуальном мире. Другие дети в страшные моменты закрывали глаза, отказываясь воспринимать отталкивающие их ужасы, их сознание не принимало ужасного (такая реакция достаточно широко распространена не только у детей, но и у взрослых). Ещё одна форма реакции – отвращение. «Многие дети, – пишет исследователь, – при созерцании насилия мыслят моральными категориями: они возмущаются, пугаются, их неприятие насилия усиливается». Подражание злу как реакция было свойственно лишь единицам, тем, кто получал от сцен насилия удовольствие. Причём именно эти дети, по словам знающих их людей, сами имели склонность к жестокости. То есть **не наблюдение зла** воспитывает в детях жестокость, а **внутренняя готовность некоторых детей к насилию** объясняет их повышенный интерес к просмотру сцен насилия и желание им подражать.

Об этой внутренней готовности – особый разговор. Заметив её в ребёнке, родителям и учителям следует правильно использовать свои возможности для воспитания, не исключая и психологической помощи специалистов. Если мы будем запрещать такого рода продукцию и осуждать за интерес к ней, то дети просто-напросто будут «охранять» нас от столь неприятного знания, скрывая его от нас и замыкаясь в себе. Можно, посмотрев фильм вместе с детьми или поиграв вместе с ними в соответствующие компьютерные игры, то есть вместе пережив увиденное, поделиться затем впечатлениями, чувствами и суждениями, выразить своё отношение к тому, что есть добро и зло, и вместе прийти к какому-то заключению. Жестокость, получившая осуждение, послужит детям хорошим уроком.

Очень важно рассказать детям о том, что мы, взрослые, тоже бываем в гне-

ве, испытываем неудовлетворённость, оказываемся отвергнуты, порой готовы совершить зло. Что мы делаем с этими чувствами? Как удерживаемся от зла? Что мы делаем потом, если всё же совершили его? Что делаем, когда рядом с нами творится зло? Сложные вопросы, на которые не каждый взрослый знает ответ. Каково же детям, так часто предоставленным самим себе, справляться с ними в одиночку? Общение со значимым взрослым, возможность быть услышанным и понятым – вот то, чего так не хватает современным детям.

Агрессия возникает не сама по себе. Агрессия – это реакция обесцененного. Она возникает **между** людьми, когда есть непонимание, противостояние, отвержение, манипулирование, предательство. Когда ребёнок ждёт любви, а его игнорируют. Когда он живёт **не своей жизнью**. Когда он **ничего не значит** для других. Когда его **нет** для тех, для кого он хочет **быть**... Тогда всякий из нас может проявить агрессию, может ответить злом на зло. Но может найти и другое решение. Мы все за это в ответе.



Дмитрий Горчев

преподаватель английского и немецкого языков, художник, член союза писателей Санкт-Петербурга. Живет в России.

О ВЛЮБЛЁННЫХ*

Любовь – это очень прекрасное чувство.

Когда человек влюблённый, это чувство захватывает его целиком, без остатка. Он запросто продаст Родину, отца родного, мать-старушку; он украдёт, зарежет, подожжёт и даже сам не сообразит, чего наделал.

Со стороны влюблённые производят неприятное впечатление.

Оставишь их одних на пять минут, кофе поставишь, вернёшься – а они уже на пол свалились. Или сидят, но рожи красные, глаза выпученные и языки мокрые. И сопят.

Влюблённые вообще много сопят, чмокают и хлюпают. Из них все время что-то течёт. Если влюблённых сдуру положить спать на новую простыню, они её так изгаздают, что только выбросить.

Если влюблённый один, то у него есть Предмет Любви.

Если Предмет Любви по легкомыслию впустит такого влюблённого хотя бы на пять сантиметров внутрь, он тут же там располагается, как маршал Ро-

* LiveJournal.

коссовский в немецком городе, вводит комендантский час и расстрел на месте, берёт под контроль внутреннюю секрецию и месячный цикл. При этом он редко оставляет потомство, потому что всё время спрашивает: «Тебе хорошо? А как тебе хорошо? Как в прошлый раз или по-другому? А как по-другому?»

Зато когда влюблённого оттуда прогоняют, он немедленно режет вены и выпрыгивает в окошко. Звонит через два часа в жопу пьяный и посылает нахуй. Через две минуты опять звонит, просит прощения и плачет. Такие влюблённые вообще много плачут, шмыгают носом, и голос у них срывается.

Одинокого влюблённого на улице видно за километр: голова у него трясётся, потому что газом травился, но выжил; идёт он раскорякой, потому что в окошко прыгал, но за сучок зацепился и мошонку порвал. А на вены его вообще лучше не смотреть – фарш магазинный, а не вены. Но при этом бодрый: глаза горят, облизывается, потому что как раз идёт Выяснять Отношения. Он перед этим всю ночь Предмету Страсти по телефону звонил, двадцать четыре раза по сто двенадцать гудков, а теперь торопится в дверь тарабанить, чтобы задавать Вопросы. Вопросы у него такие: «Ты думаешь, я ничего не понимаю?», «Почему ты не хочешь меня понять?» и «Что с тобой происходит?».

Ещё он говорит: «Если я тебе надоел, то ты так и скажи» и «Я могу уйти хоть сейчас, но мне небезразлична твоя судьба». Ответов он никаких не слушает, потому что и так их все знает.

А ещё иногда он напишет стишок и всем показывает, стыда у них вообще никакого нет. В целом же влюблённые – милые и полезные существа. О них слагают песни и пишут книги. Чучело влюблённого с телефонной трубкой в руке легко может украсить экспозицию любого краеведческого музея, хоть в Бугульме, хоть в Абакане.

И если вам незнакомо это самое прекрасное из чувств, вас это не украшает.

К сожалению, вы – примитивное убогое существо, мало чем отличающееся от виноградной улитки или древесного гриба. На вас даже смотреть противно, не то что разговаривать.

До свидания.

АЛКОГОЛЬ

Как прекрасен пьяный человек! Когда лежит он со спущенными штанами на асфальте возле входа в железнодорожный вокзал, любой прохожий обязательно испытает чувство гордости. Пусть за себя, а не за него, ну так что ж? Кто более свободен в этом мире – тот, кто идёт с постылой своей работы домой, тянет исправно жёсткую свою лямку, несёт занозистый свой крест и выплачивает непомерный свой оброк или же тот, кто, не ведая забот, вольготно раскинулся в луже?

Пусть он презираем, грязен, гоним со всех работ, одинок и неказист лицом. Но это он, именно он взял Бастилию, Зимний, написал оперу «Хованщина», поэму «Москва–Петушки» и стихотворение «Отговорила роща золотая». Зато трезвенники подарили миру Гитлера и Чикатило.

Вот бредёт пьяный человек по колено в море аки посуху, когда все остальные давно уже утонули, куда-нибудь в подводный град Китеж за пивом.

Вот пошёл он пешком на небо, но споткнулся и упал, да прямо на вражеский дзот. И враг захлебнулся своими пулями, но вывернулся и обернулся милиционером. Вот и очнулся герой под дрожащей от холода казённой лампочкой.

Пьяный человек всегда преследуем. За ним неустанно охотятся демоны с орлиными головами, они подкарауливают его, когда он, с трудом волоча ноги, возвращается с ночного своего дозора. Они валят его на землю и волокут в свой ад. Там они пытаются его до утра, чтобы узнать у него Военную Тайну, но никогда ещё ни один узник им её не открыл, и поэтому мы все ещё пока живы. Трясая от злобы, демоны выгоняют героя из ада назад, под холодное и ненавистное им утреннее солнце. Кто из вас, трезвенники, видел хоть раз в жизни небо над вытрезвителем? Никто, ибо не для вас было перенесено туда это небо непосредственно из утерянного рая.

Трезвый человек лжив и прагматичен. Он продаст Родину и зарежет младенца, если это будет для него выгодно, и ловко заметёт следы. Пьяный человек сделает то же самое в порыве вдохновения, совершенно бескорыстно, и, протрезвев, ужаснётся. Если целуются двое пьяных мужчин, это не значит, что они готовы вступить в брак – это просто означает, что они искренне любят и уважают друг друга. Может ли трезвый человек всей душой полюбить первого встречного, с которым знаком всего лишь полчаса? Никогда.

И совсем уже прекрасным пьяный человек становится в пору глубокого похмелья.

Похмелье поверхностное несёт с собой лишь тошноту и головную боль, вполне доступные даже и для вовсе непьющих людей. Глубокое же похмелье сопровождается столь же глубоким постижением непрочности окружающего мира. Похмельный человек осторожно ставит ногу на асфальт, зная, что под тонким его слоем находится бездонная яма, ведущая в никуда. Он героически фокусирует взгляд и этим удерживает от распада и исчезновения окружающий его город, населённый ничего не подозревающими стариками, женщинами и детьми. На плечи его давит свинцовое небо, а под ногами змеятся трещины. И он один во всём мире всё это видит и осторожно несёт на себе, боясь случайно уронить и разбить.

И что? Поставит ли кто-нибудь тихому герою за это памятник? Повесит ли на грудь его круглую медаль? Нальёт ли кружку пива, в конце концов? Никто. Мерзавцы.

БЕСЕДЫ О ПРАВОСЛАВИИ

Многие народы увлекаются расширением сознания. Для этого применяют различные вещества и заклинания. Расширив таким образом своё сознание, народы, некоторое время охуевши, наблюдают вращение бесконечного пространства, беседуют с Господом Богом или же с Сатаной – это кому как повезёт,

а затем неизбежно возвращаются назад, домой – к толстой своей жене и аккуратным деткам, бреются и идут на службу.

Совсем другое дело – Православные народы. У Православного человека сознание и без того расширено до такой степени, что он его никак не может сфокусировать для какой бы то ни было полезной деятельности. У Православного степь да степь кругом, и всю-то он вселенную проехал, и глядит Православный на небо, всё думку гадаёт, а вот под ноги никогда не глядит и поэтому вечно то в говно наступит, то морду себе разобьёт. Ходит Православный обычно грязный, и в доме у него живёт свинья, потому что вся эта мелкая херня для Православного неинтересная. Поэтому Православные пьют Водку. От Водки сознание, наоборот, сужается, за что её и не любят другие народы. Православный же, выпив три-четыре стакана, некоторое время сидит неподвижно, затем замечает рядом с собой супругу. «Да ты же СУКА!» – говорит Православный с изумлением и бьёт супругу в рыло.

После этого он вытаскивает из-под стола за ухо сопливого и тоже с рождения Православного двоечника, требует дневник и затем порет ремнём.

Исполнив таким образом за пятнадцать минут те обязанности, на которые у других народов уходит вся жизнь, Православный подпирает щёку кулаком и некоторое время поёт песнь. Затем он падает мордой в стол и засыпает.

ВОТ БЫ КАК НАДО!

У нынешних миллиардеров категорически отсутствует чувство прекрасного.

Ну вот взять того же Ходорковского, прости Господи. Будет ведь подавать унылые апелляции, жалобы и цидульки в гаагу, так девять лет и пройдёт. А ведь как шикарно можно было бы всё устроить! Во-первых, организовать побег: роскошнейший побег с подкопом, взрывом стены и прибывшим на подмогу истребителем с вертикальным взлётом.

Затем Михал Борисович удалился бы в тамбовские леса, где с отрядом весёлых товарищей он останавливал бы проезжих чиновников областной администрации и нечистых на руку служителей РПЦ и раздавал бы отобранное крестьянам, обиженным губернскими властями.

Удовлетворив этими приятными англосаксонскими аллюзиями буржуазного зрителя, следовало бы резко сменить дискурс: утопить какую-нибудь нерусскую княжну и, надев тулупчик заячий, объявить себя внебрачным внуком Сталина и двинуть с крестьянами на Москву (пообещать им рублёвское шоссе на разграбление). После пленения и перед четвертованием на красной площади распеловаться с Платошей (Невзлин подъедет чуть позже – визу ждёт), попросить прощения у Православных и принять мученическую смерть. Лет через двести Михал Борисович был бы канонизирован и остался бы навеки в памяти народной.

Вот это судьба! А он так и будет считать на пальцах проценты желавших бы тайком проголосовать за него на условных президентских выборах. Восемь процентов или восемь целых три десятых? Да не будет всё равно никаких выборов, нахуй они кому нужны.

Так что пойдёт преступный олигарх на общие работы, потом на поселение, начнёт от скуки гнать самогон из брюквы, будет занимать у соседа сто рублей до получки на дрожжи. Сосед денег не даст, и Михал Борисович будет трясти его за лацканы: «Мне, думаешь, деньги твои сраные нужны? Да у меня этих денег знаешь, сколько было? Деньги – грязь! У меня за державу душа болит!»

Ну и замёрзнет однажды по пьянке в сугробе какой-нибудь мордовской деревни. Вот и вся глупая жизнь.



Ольга Горюнова

филолог, литератор, медиа-теоретик и критик, специалист по сетевому искусству. Живет в России.

И ТЫ БРУТАЛ?*

Заставка «РЖУНИМАГУ» на мобильном телефоне коллеги? Это уже годичной давности. Ответы в стиле «ЗАЧОТ» / «НИЗАЧОТ» или «ПЕШИ ИСЧО», а также «ЖЖОШЬ» циркулируют уже несколько лет. Ну и, наконец, недавний и поистине всенародный «ПРЕВЕД КРОСАВЧЕГ, КАГДИЛА»!

Все это – самый модный сленг этого сезона, один из продуктов удаффкома, интернет-платформы udaff.com, вокруг которой развивается если не новое литературное направление, то жанр, ну а если не жанр, то хотя бы стиль брутальной «мужской литературы». И специфический язык, происхождение которого, кстати, не всегда известно даже его собственным пользователям.

Именно язык удаффкома проникает в «официальную» культуру и в общепотребительный русский, и именно он наиболее заметен. Но удаффком – это не только смешные фразочки и неверная орфография.

Каждый день сайт посещают не менее 30 000 человек. Удаффком ежедневно публикует несколько коротких рассказов, жанрово самоназванных «креативами», которые любой может написать и предложить для публикации.

Удаффком – пример социальной мощи и творческого потенциала интернета; это пример развития целого сообщества и в некотором роде художественной школы в виртуальном пространстве. Удаффком стимулирует непрофессиональную творческую деятельность. Механизм работы здесь простой: ресурс

* Новая газета.

аккумулирует тексты, пользователи, читающие тексты, воспроизводят и разрабатывают идеологию, стиль, приемы в новых работах, которые публикуются на сайте. Udaff.com выполняет функции журнала, кафе, салона как инструментов развития арттрэнда прошлого века.

Вышеизложенное – революционно! Во-первых, каждый может писать и публиковаться, причем писать не «в стол», а для сложившейся аудитории, будучи уверенным в хоть какой-то реакции (все тексты комментируются). Каждый может стать частью сообщества, близкого или симпатичного ему идеологически. Каждый может стать частью целого литературного направления, и для этого не нужно оказываться в нужное время в нужном месте и компании. Удаффком – это новый фольклор цифровой эпохи. Фольклор в хорошем смысле – как творчество массы людей, профессионально не являющихся артистами.

Удаффкомовцы называют себя «настоящие падонки» и пропагандируют идеологию, а скорее лозунг, аналогичный лозунгу «Секс, наркотики, рок-н-ролл». О выпивке и курении марихуаны, а также сексе и – шире – об отношениях между мужчиной и женщиной и написана основная часть текстов. По сути, креативы удаффкома – это смесь литературы поэтов-преступников (типа Франсуа Вийона и Жана Жене), алкоголиков и абсурдистов (Венечка Ерофеев, Мамлеев) с бульварной литературой. Образы, мотивы креативов стереотипичны: брутальные, экспериментирующие со своим телом, «знающие жизнь», разочарованные и то-сующие мужчины и глупые, алчные, навязчивые женщины...

Наиболее радикален удаффком в своем фирменном использовании языка – с обилием матерной лексики, нарочито неправильной орфографией и собственным словарем. Орфография удаффкома представляет собой настоящее стилистическое изобретение: это вовсе не «пишется, как слышится», а стилизация под орфографию двоечника. Человек явно учился, но ничему не научился, зато растерял последние крохи здравого смысла. Как еще можно объяснить «СОУЧАСНЕГ»?

В итоге продукт удаффкомовской деятельности довольно парадоксален. Авторы часто называют себя контркультурными писателями. Табуированность мата и порнографические описания, конечно, делают эту литературу непригодной для массовой публикации и популяризации. С другой стороны, идеология удаффкома отражает представления современных российских мужчин о себе и женщинах и воспроизводит типичнейшие стереотипы. Это своего рода литература «для мужчин», «любовные мужские романы», по аналогии с «женскими романами». Такой сплав протеста, брутальности, самостоятельности, индивидуального творчества и в то же время адекватности модной культуре мачо уникален. Очевидно, эта ниша литературы, да и творческо-социальной жизни до этой поры не была покрыта рынком культурной продукции. И лишь новые технологии смогли предоставить технические средства для развития этого современного культурного процесса.

NOTA BENE

Литературно-публицистический журнал

Главный редактор **Эдуард Кузнецов**
Заместитель редактора **Рафаил Нудельман**
Заведующая редакцией **Елена Вайнштейн**
Корректор **Лена Драгицкая**
Полиграфические услуги **«Клик» (Иерусалим)**

Адрес редакции:

POB 45156, Har-Hotsvim, Jerusalem 91450, Israel

Тел. 02-5325931. Факс 02-5324863

Электронный адрес: omegag@bezeqint.net

NOTA BENE

Literary-Publicistic Magazine

Editor-in-Chief **Eduard Kuznetsov**
Deputy-editor **Rafael Nudelman**
Manager **Lena Wainstein**
Printing-house **«Click» (Jerusalem)**

The Magazine's Address:

POB 45156, Har-Hotsvim, Jerusalem 91450, Israel

Tel: 02-5325931. Fax: 02-5324863

E-mail: omegag@bezeqint.net

NOTA BENE

כתב-עת ספרותי פובליציסטי

עורך ראשי **אדוארד קוזנצ'וב**
סגן העורך **רפאל נודלמן**
מנהלת אדמיניסטרטיבית **לנה ויינשטיין**
סטודיו "קליק" ירושלים **הדפסה**

כתובת:

ת.ד. 45156, הר-חוצבים, ירושלים 91450, ישראל

טל: 02-5325931

פקס: 02-5324863

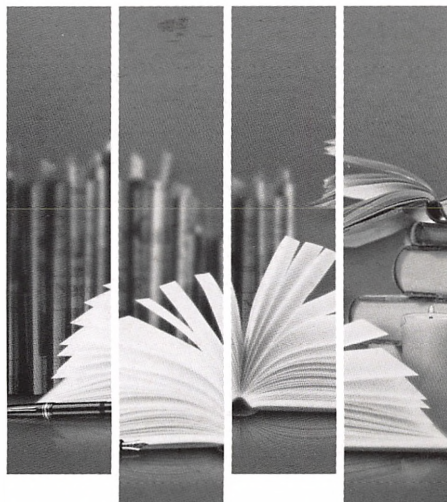
E-mail: omegag@bezeqint.net

Nota Bene (NB) © Э. Кузнецов



Nota Bene

ЛИТЕРАТУРНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ



Использование материалов журнала без ведома и согласия редакции не разрешается.

Присланные материалы не рецензируются и не возвращаются и в переписку по этому поводу редакция не вступает.

Мнение авторов публикаций не обязательно совпадает с мнением редакции. Авторы несут ответственность за достоверность приводимых ими фактов и цитат.



номеров,
включая
доставку

Журнал
выходит раз
в два месяца

СТОИМОСТЬ ГОДОВОЙ ПОДПИСКИ*

В Израиле (почтой)	₪ 210
В России (авиапочтой)	\$ 65
В Европе (авиапочтой)	€ 55
В США (авиапочтой)	\$ 70

* Цена включает доставку и НДС

Телефон для справок: 02-5325931

РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА

В Израиле:	
в магазине	₪ 40
в редакции (вкл. доставку почтой)	₪ 35
В России (авиапочтой)	\$ 11
В Европе	€ 9
В США	\$ 12

Желающие оформить подписку могут выслать чек, выписанный на имя компании «Journal Omega», по адресу редакции

**Журнал
можно приобрести
в книжных магазинах:**

- **Афула:** ● «Арбат», ул. Арлозоров, 13
■ **Ашдод:** ● «Спутник», Мерказ Сити, ул. Ха-Клита, 3/6; Мерказ «Йуд», ул. Ха-Невиим, 7 ■ **Бат-Ям:**
● Книжный мир, ул. Бальфур, 49 ■ **Безр-Шева:**
● «Радость», ул. Гистадрут, 37 ● «Спутник», ул. Яир, 33;
ул. Гистадрут, 55/4 ■ **Герцлия:** ● «Спутник», ул. Соколов, 58
■ **Герцлия-Питуах:** ● «Меркурий», Каньон Мерказим 2001
(напротив «Моторолы») ■ **Иерусалим:** ● «Золотая карета», ул. Яффо, 129; ул. Агрипас, 3 ● «Гешарим», ул. Агрипас, 10 ● «Аквариум», ул. Бен-Иегуда, 34 ● «Меркурий», ул. Кинг Джордж, 20 (или ул. Элиаш, 6) ● «Спутник», ул. Яффо, 91 ■ **Кармиэль:** ● «Альтернатива», ул. Ха-Галиль, 2 ■ **Кфар-Саба:** ● «Арлекин», ул. Вейцман, 72 ● «Спутник», ул. Вейцман, 148 ■ **Нагария:** ● «Альтернатива», ул. Геатон, 2 ■ **Нацрат-Илит:** ● «Арбат», Мерказ Раско ● «Альтернатива», Мерказ Раско ■ **Петах-Тиква:** ● «Пегас», ул. Хаим Озер, 13 ● «Спутник», ул. Хагана, 14 ● «Светлана», ул. Пинскер, 9 ■ **Реховот:** ● «Рая», ул. Герцль, 175 ● «Спутник», Пассаж Фарлан, ул. Герцль, 161 ■ **Ришон ле-Цион:** ● «Элла», ул. Ротшильд, 82 ■ **Тель-Авив:** ● «Дон-Кихот», ул. Алленби, 98 ■ **Хадера:** ● «Арбат», Пассаж, напротив банка «Дисконт» ■ **Хайфа:** ● «Дон-Кихот», ул. Герцль, 59 ● «Здесь!», ул. Ха-Невиим, 23 ● «Азбука», ул. Хаим, 4 ● «Колизей», ул. Ха-Невиим, 24 ● «Улыбка», ул. Халуц, 55 ● «Адар», ул. Герцль, 48 ● «Альтернатива», ул. Халуц, 42 ● «Спутник», ул. Ханита, 40
■ **Холон:** ● «Спутник», Кикар Вейцман, 13
■ **Книжный интернет-магазин:**
www.neshima.com